

Виктор Сокирко и Лидия Ткаченко

Жизнь и поражения советского
инакомыслящего

Поиски
взаимопонимания
(до тюрьмы и в тюрьме)

Том VIII

Москва, 2015



Оглавление

ПРЕДВАРЕНИЕ	5
ПРЕДИСЛОВИЕ ВИКТОР СОКИРКО – МЫСЛИТЕЛЬ, ДЕЯТЕЛЬ, ЧЕЛОВЕК (А.Н. АЛЕКСЕЕВ).....	6
ОТ РЕДАКТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ	43
Л. ТКАЧЕНКО. О ВИТЕ	47
ЧАСТЬ 1. ПОИСКИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ В БЛИЖНЕМ И ДАЛЬНЕМ ОКРУЖЕНИИ	100
1.1. О САМОМ ВАЖНОМ ПЕРЕД АРЕСТОМ.....	100
1.1.1. <i>«Активно думать, успешно работать, смело жить!»</i>	100
1.1.2. <i>Долгая предыстория.....</i>	111
1.1.3. <i>Репортаж о первом обыске</i>	143
1.1.4. <i>Экономика 1990 года: что нас ждёт и есть ли выход....</i>	148
1.1.5. <i>О возможности и жизненной необходимости союза между сталинистами и диссидентами</i>	169
1.1.6. <i>К вопросу о диссидентской этике</i>	175
1.1.7. <i>Прошение о выводе войск из Афганистана.....</i>	184
1.1.8. <i>На случай ареста.....</i>	186
1.2. Люди из ближнего круга о В. Сокирко.....	186
1.2.1. <i>Обращение к Генпрокурору Руденко Р.А. от Оболенского А.В.....</i>	186
1.2.2. <i>М.Я. Гефтер. Интервью, данное итальянскому корреспонденту 16 апреля 1980 г. (отрывок)</i>	190
1.2.3. <i>Г.С. Померанц. Мой собеседник Виктор Сокирко</i>	192
1.3. Поиск взаимопонимания с властью.....	204
1.3.1. <i>Объяснительная записка В.Сокирко (июнь 1980).....</i>	204
ЧАСТЬ 2. БУТЫРСКИЙ ДНЕВНИК (В ГОД ОБЕЩАННОГО КОММУНИЗМА)	213
2.1. События января 1980 г.	213

<i>Арест 23 января</i>	213
<i>Первый день</i>	224
<i>Первая неделя. Камера 252</i>	232
<i>Выдержки из дневника Лили</i>	236
2.2. СОБЫТИЯ ФЕВРАЛЯ-МАРТА	243
<i>Жалоба на следователя</i>	243
<i>Сокамерники</i>	248
<i>Уход из камеры 252</i>	263
<i>Из дневника Лили</i>	267
2.3. СОБЫТИЯ АПРЕЛЯ.....	285
<i>Новые сокамерники</i>	285
<i>Общения за пределами камеры</i>	312
<i>Из Лилиного дневника</i>	319
2.4. СОБЫТИЯ МАЯ	339
<i>Празднование 1 мая и камерные новости</i>	339
<i>Лилины записи</i>	351
2.5. СОБЫТИЯ ИЮНЯ.....	364
<i>Поворот</i>	364
<i>История с окнами</i>	378
<i>В камере голодающих</i>	385
<i>В карцере</i>	392
<i>Вывоз 27 июня</i>	406
<i>Из Лилиного дневника</i>	423
2.6. СОБЫТИЯ ИЮЛЯ.....	440
<i>Новые сокамерники и «пытка ожиданием»</i>	440
<i>Высвечивание Фетисова</i>	445
<i>Лилины записи</i>	453
2.7. СОБЫТИЯ АВГУСТА-СЕНТЯБРЯ.....	469
<i>Вызов к следователю 11 августа</i>	469
<i>Голодовка</i>	474
<i>Последние бутырские дни</i>	476
<i>Последняя ночь и последние книги</i>	488
<i>Окончание Лилиного дневника</i>	494

Предварение

Дорогой читатель! Перед тобой первая половина наших семейных материалов, связанных с Витиными поисками взаимопонимания как на свободе, так и в тюрьме, как с людьми ближними, так и с дальними. Я прошу у читателя прощения за то, что наше с Андреем Николаевичем Алексеевым – к.ф.н, социологом, автором Предисловия к данной книге и по сути её дотошным составителем – желание подробно, с разных сторон рассказать о Витиных поисках делает твой читательский труд чуть ли не подвигом. Правда, у тебя есть выбор – прочесть только ту половину, которая тебя больше привлечёт. Когда в процессе чтения тебя, дорогой читатель, стукнет мысль, что у книги должен быть один автор - В.Сокирко как носитель идеи «поисков взаимопонимания» и как автор большинства, входящих в книгу материалов, поверь, пожалуйста, что это и моё, и А.Н.Алексеева нереализованное желание. Л.Ткаченко

Предисловие

Виктор Сокирко – мыслитель, деятель, человек (А.Н. Алексеев)

Моя первая - заочная - встреча с Виктором Владимировичем Сокирко состоялась 35 лет назад

Из дневниковой записи:

«13.01.1980. Из «Диссидентской этики» В. С.: 1) ответственность... 2) трудолюбие... 3) бесстрашие... (три заповеди!).

«Экономика 1990: что нас ждет и есть ли выход?»; «О возможности и жизненной необходимости союза между сталинистами и диссидентами (к 100-летию со дня рожд. И. В. Сталина)». [*Названия самиздатских работ. — А. А.*]

Оставляет сильное впечатление. Как и все остальное у В. С. — парадоксально; как и многое другое у него — верно...»¹

Все три названные работы В. Сокирко приведены в настоящей книге. (См. часть 1).

Обратим внимание, что они относятся к тому самому историческому периоду, в котором разворачиваются события «Бутырского дневника».

Притом, что автор этих строк вовсе не был, как сам В. С., в эпицентре диссидентской среды (например, не помню, чтобы я в Ленинграде держал в руках «Хронику текущих событий», разве что при поездках в Москву), эти самиздатские работы Сокирко, написанные им уже в предчувствии, если не предвидении ареста, как-то достигли меня, равно как и несколько выпусков его сборника «В защиту экономических свобод».

Впрочем, из пассивного потребителя самиздата (со второй половины 60-х гг.) я неспешно и осторожно сам продвигался в

¹ Цит. по: Алексеев А.Н. *Драматическая социология и социологическая ауторефлексия*. Том 1. СПб.: Норма, 2003, с. 94.

сторону самиздатского творчества (конец 70-х). Правозащитных писем не подписывал, но вот, сообразно своей социологической профессии, затеял экспертно-прогностический опрос ленинградской и московской интеллигенции, под названием (оно же и тема) «Ожидаете ли Вы перемен?». (Моими компаньонами в этом андерграундном, предприятии были: писатель А. Соснин, экономисты В. Шейнис и Н. Шустрова и, что существенно, для дальнейшего повествования, историк М. Гефтер).

Наши встречи обычно происходили на квартире Анатолия Семеновича Соснина, каждый раз, когда приезжали из Москвы Михаил Яковлевич Гефтер и / или Виктор Леонидович Шейнис. К концу 1978 г. были готовы программа исследования и методический инструмент – анкета, на вопросы которой эксперту предлагалось конфиденциально ответить.

Пожалуй, главной интеллектуальной силой этого проекта был М.Я. Гефтер (скажу не в упрек всем остальным). Обратите внимание, что 1978-1979 гг. были как раз временем развертывания другого проекта – издания в Москве самиздатского «толстого» журнала «Поиски взаимопонимания», в котором, как я считаю, решающую идейную роль также играл М.Я. Гефтер.

Таким образом, оба проекта реализовались параллельно и различались не идейно, а, так сказать, жанрово.

Одним из соредкторов (членов редколлегии) журнала «Поиски взаимопонимания» в декабре 1978 г. стал Виктор Сокирко. Он же был и одним из тех троих редакторов «Поисков» (всего их было семеро), которые в 1980 г. были судимы по ст. 190-1 УК РСФСР и приговорены к различным срокам лишения свободы - именно за участие в издании этого журнала.

Судьба «Ожидаете ли Вы перемен?» была счастливее, чем у «Поисков взаимопонимания» (в смысле репрессий). С 1979 по 1981 гг. удалось собрать лишь 45 экспертных интервью, к тому же результаты опроса не обнародовались, а накапливались. Ленинградское управление КГБ, прознавшее об этой акции,

когда она по существу уже сошла на нет, по-видимому, опасалось проникновения этой информации на Запад. Но автор этих строк (как, кстати сказать, и Виктор Сокирко) вовсе не склонен был к мировой известности. Когда же «тучи стали сгущаться», он уничтожил все комплекты экспертных листов, кроме одной копии, которую удалось сберечь в «захоронке» до времен Перестройки. Материалы этого исследования были опубликованы в 1991 и в 2003-2005 гг.

А поскольку анонимность интервью соблюдалась строго, никто из авторов методики и участников опроса не только не пострадал, но даже и не был заподозрен в причастности. Автору же этих строк это «обошлось» всего лишь официальным предостережением органов госбезопасности.

Обозревая материалы этого опроса, еще в начале 80-х гг. мною был обнаружен экспертный лист, хоть и анонимный, как все прочие, но такой, который мог принадлежать только Виктору Сокирко. Ибо в нем содержалось краткое изложение упомянутых выше его самиздатских работ конца 1979 г. (Вероятно, к В. С. с вопросами нашей анкеты обратились либо М. Гефтер, либо В. Шейнис). Ответы этого эксперта принадлежали к числу интереснейших. Я потом опубликовал их в «Драматической социологии...» под заголовком «Прогноз-предостережение».²

Так состоялась наша вторая - и тоже заочная! - встреча с Виктором Сокирко. Лично знакомы мы тогда не были.

Третья встреча также была заочной, но уже интерактивной. В 2000 г. когда я затеял свою 4-томную «Драматическую социологию...», в которую предполагал включить и материалы «Ожидаете ли Вы перемен?», я, узнав адрес В. Сокирко, запросил у него разрешение на указание его авторства «экспертного листа № 30». В. С. не вспомнил самого факта участия в опросе, однако подтвердил, что текст того ответа о вероятном сценарии перемен, который я прислал для «опознания», действительно принадлежит ему.

² См. там же, с. 109-115.

Кроме того, он прислал мне связку «старых бумаг», среди которых была и его работа 1992 г. «Вспоминая старые прогнозы К. Буржуадемова (В.В. Сокирко), составителя сборников «В защиту экономических свобод». Там были такие строки:

«К сожалению, пессимистический прогноз 1979 г. в главных чертах осуществился. Необходимые преобразования начаты поздно и проводятся непоследовательно. К конструктивной экономической реформе страна еще не приступила и потому тенденций развала и сползания к новому тоталитаризму еще не преодолела. В. Сокирко. Ноябрь 1992».

(Думаю, разглядеть тогда перспективу «сползания к новому тоталитаризму» были способны немногие).

Между В. С. и мною завязалась переписка. Частично она опубликована.³ Среди прочих материалов, которые я получил тогда от своего корреспондента, был текст предисловия («предварения») М. Гефтера к собранию работ В. Сокирко. Речь идет о рукописи, в которой были собраны работы 1970-80-х гг., как уже упоминавшиеся (70-е гг.), так и некоторые относящиеся к начальному периоду Перестройки, в частности: «Рынок и коммунизм», «Об условиях выживания и развития», «За гражданский мир и взаимопонимание (открытое письмо “борцам перестройки” от самиздатского автора 70-х годов)».

Приведу здесь фрагмент из этого предисловия М.Я. Гефтера:

«...Полемические заметки В.В. Сокирко кажутся мне не просто заслуживающими внимания — в ряду других заметок, писем и откликов, которые вызывает перестройка. В них ощущается определенная позиция, за ним стоят годы продумываний, позволю себе сказать — выстраданных в самом буквальном смысле. «Самиздатский автор 70-х годов» был одним из пионеров борьбы за **экономическое**

³ См. Алексеев А.Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия». Том 3. СПб.: Норма, 2005, с. 80-85.

раскрепощение и в качестве такового отведал и Бутырки. Это, разумеется, не означает, что с ним надо соглашаться на этом единственном основании. Но вслушаться в его голос — и нравственно, и практически полезно.

Тогда, в 70-е годы, В.В. Сокирко избрал себе псевдоним «К. Буржуадемов» (коммунист — буржуазный демократ). Сочетание странное, не правда ли? Кому-то может показаться и отдающим безуминкой. Людей, которые в нынешних спорах на темы собственно экономического свойства всерьез исходят из коммунистических убеждений, вероятно, совсем немного... Это само по себе должно было бы навести на размышления. Споря, В.В. Сокирко подвигает нас именно к размышлениям. Мало ли этого?

Являясь сам сторонником **многоукладности**, как экономической доминанты, несущей в себе крайне существенное социальное и политическое... содержание, я, естественно, с симпатией отношусь к соображениям автора, идущим в этом русле...

В сущности, речь идет о цели. О попытке сформулировать цель, **смысл жизни**, и не где-то сбоку конкретной злобы дня, вводимых и намеченных к введению экономических реалий, а - внутри них.

По-моему, это крайне интересно и поучительно.

М. Гефтер, 10.04.1988»

По-моему, Михаил Яковлевич был точен в своей оценке **ЭВРИСТИЧНОСТИ** историко-философского поиска В. Сокирко, в котором соединялись «конкретная злоба дня» и «цель, смысл жизни» (аттрактор) общечеловеческого развития.

И вот, наконец, личная встреча. Она произошла осенью 2007 г. в Центре им. А.Д. Сахарова, на одной из самых ярких (хотя бы прагматически и безнадежных) акций нашей «пятой колонны» (тогда еще так не называлась) - попытки выдвижения В. Буковского кандидатом в президенты РФ.

Найдя друг друга в скоплении народа, мы с Виктором очно познакомились, обменялись книжками (он подарил мне свою

«Сумму голосов присяжных...»), договорились о дальнейших встречах.

Я посетил семью Сокирко в квартире дома по ул. Гурьянова (кстати, расположенного неподалеку от дома, взорванного террористами в Москве в сентябре 1999 г.), после чего уже только переписывались (с Виктором и его супругой Лидией Ткаченко).

В ту пору я еще не знал всех подробностей биографии моего нового друга. (Мог бы знать о них и раньше, но как уже отмечалось, от «диссидентской среды», особенно московской, я в советские времена был далек). Но меня ожидали иные, не менее интересные открытия.

Из письма А. Алексеева Виктору Сокирко и Лиле Ткаченко:

«...Второй день хожу под сильнейшим впечатлением от вашего сайта (персональной страницы), под неприятным там названием “Виктор Владимирович Сокирко и Лидия Николаевна Ткаченко”... Меня пока хватило на прочтение нескольких обзорных и пояснительных текстов и др. Бегло - отдельные файлы, чтобы понять содержание и структуру. Просмотрел и прослушал целиком «Весну света» - убедился, что Ваши диа- или слайдфильмы доступны моей машине (и видеоряд, и звуковая дорожка).

Очень внимательно прочитал Лилино «О Вите».

Освоить **все** - труд, пожалуй, не меньший, чем чтение всех 4-х томов моей “Драматической социологии...” (кстати, построенной, в общем, по тому же хрономатематическому принципу). Но, в отличие от указанных томов, ваше с Лидией многосоставное произведение не подавляет габаритами, поскольку они виртуальны...

Я, конечно, с давних пор относился к Вам, Виктор, с чрезвычайным уважением, но тут “зауважал” (не то слово!..) непомерно...

Однако **многого** я не знал - и не только в 80-х и 2000-х, но и до вчерашнего дня...

Во-первых, не знал о существовании вашего замечательного СЕМЕЙНОГО ТАНДЕМА... Относил все “за счет” Виктора...

Во-вторых, ничего не знал о вашем “ПАРТИЗАНСКОМ КИНО”. Этот ваш уникальный изо- и аудио-самиздат есть то самое любительство, что выше всякого профессионализма, особый, бесценный культурный вклад.

В-третьих, не предполагал такую степень нашего с Вами со-звучия в попытках *сбережения жизненных следов как свидетельств времени* (дневники, диафильмы).

В-четвертых, вдруг осознал всю *многосторонность и целостность* Вашего таланта, где соединяются черты социального мыслителя, общественного деятеля и культурного творца.

Вообще-то, любого из разделов вашего сайта-жизни (будь то “партизанское кино”, “дневники”, “идеология”, “экономика и нравы”, “антивоенное движение”, “семья и дом”, к чему можно было бы добавить “путешествия”, кабы не пронизывали они все остальное), так вот - любого из этих аспектов хватило бы на славный жизненный итог. Но тут - “человек-оркестр”... И жизнь - симфоническая.

Удержусь от дальнейшей рецензии на “феномен Сокирко”... Скажу только, что другого такого примера среди людей, с кем свела судьба, у меня нет (ну, может, несколько...), чтобы так все сочеталось...

Стоит заметить, что мы с Вами, Виктор, “паслись” все время на соседних “полянах”, разве что моя не была так “заминирована”, как Ваша. Притом, что оказывались с 60-х по 90-е гг. на расстоянии одного “посреднического” рукопожатия (это были и Марк Поповский, и Михаил Гефтер, и Виктор Шейнис с Аллой Назимовой). Было, однако, у нас различие в возрасте... идейных прозрений, гораздо более раннем у Вас (что и привело В. Сокирко в деятельный диссидентский круг в конце 60-х, когда Ваш нынешний корреспондент разве что “почитывал” самиздат и тамиздат)....

В общем, у каждого своя жизнь... Кажется, буквальный перевод “синергии” (от которой - синергетика) - это сотрудничество человека с Богом. Тут - соединение Личности, Случая и Обстоятельств (вместе - Судьба). В том, что от Вас зависело, мне кажется, Вы распорядились своей судьбой наилучшим образом.

Кстати сказать, в истории диссидентского и правозащитного движения место (иногда говорят - “ниша”) Буржуадемова-Сокирко уникально. Ну, я думаю, Вы и сами это сознаете. Не знаю, чтобы кто-то еще из правозащитников 70-х гг. ставил экономическую свободу во главу угла, вовсе не пренебрегая другими свободами. Ну, в гефтеровском поиске взаимопонимания, духе **диалога** - хоть с соратниками, хоть с оппонентами, и даже с властью, Вы были не так оригинальны. И слава богу, что в этом не одиноки...». ⁴

Из письма В. Сокирко – А. Алексеву:

«...Я хотел бы, чтобы читатель увидел на сайте, как страна прощалась с диктаторским понятием коммунизма и имперским пониманием России – через мои мысли и споры со знакомыми и героями книг. 1980 г. – «год коммунизма» в тени Бутырки – пик этого осознания. Но даже эта, очень суженная тема чрезмерно широка для ознакомления сходу. Вот если удастся сузить ее еще кардинальней, до сотни страниц, тогда появится надежда, что кто-то сможет с ней ознакомиться взаправду...

Другая линия основной части нашего сайта - история религиозно-философских учений, включая нынешний естественный атеизм.

Третья сторона нашей жизни – домашняя экономика (дети и шашки).

И, наконец, последняя, итоговая сторона - про разнообразие российских стран – регионов. *(Имеются в виду свыше сотни*

⁴ Это письмо А. Алексева к В. Сокирко и последующий ответ на него цитируются по: Алексеев А.Н. и Ленчовский Р.И. Профессия – социолог.... Том 2, СПб.: Норма, 2010, с. 261-267.

диафильмов, изготовленных на материалах семейных туристских путешествий. – А. А.)... 28.12.2007».

Таково мое личностное и отчасти биографическое введение в Предисловие к книге В. Сокирко «Поиски взаимопонимания. Бутырский дневник».

Роль конкретно-исторического и отчасти идеологического введения к настоящему Предисловию отдам тексту «К истории «Поисков»», опубликованному в «Русском журнале» в 2003 году (год 25-летия журнала «Поиски взаимопонимания»).

Приведу его почти целиком, несмотря на размер цитаты⁵:

«"Свободный московский журнал ПОИСКИ" выходил в самиздате (1978-1980 гг.) и тамиздате (Нью-Йорк, Париж, 1979-1984 гг.). Это был "толстый" художественно-публицистический журнал, издатели которого провозгласили принцип взаимопонимания, равноправного представительства различных концепций, идей и точек зрения, существующих в то время в стране. Издание просуществовало по самиздатским меркам довольно долго, и история его разгрома широко освещалась в правозащитных документах этого времени .

В журнале публиковались произведения авторов как хорошо известных читателю официальной и неподцензурной литературы (А.В. Белинков, М.Я. Гефтер, Г.Н. Владимов, В.Н. Войнович, Ю.Н. Вознесенская, Ю.О. Домбровский, Ф.А. Искандер, А.Ф. Кормер, Л.З. Копелев, Ст. Лем, В.П. Некипелов, Г.С. Померанц, Г.И. Снегирев, Б. Чичибабин, Д.И. Хармс, А. Сент-Экзюпери и др.), так и начинающих, участников демократического движения СССР и других стран коммунистического блока (Я. Куронь, будущий президент Чехии В. Гавел и др.), узников ГУЛАГа и т.п. В редколлегию «Поисков» входили: В.Ф. Абрамкин, В.Л. Гершуни, Ю.Л.

⁵ См.: http://old.russ.ru/politics/20030609_poisk.html

Гримм, П.М. Егидес, Р.Б. Лерт, Г.О. Павловский, В.В. Сокирко.
6

Активное участие в формировании основных направлений, подготовке и издании "Поисков" принимали: С.А. Белановский, Е.Ю. Гайдамачук, М.Я. Гефтер, Л.З. Копелев, П.А. Подрабинек, Г.С. Померанц, Т.В. Самсонова, С.Ю. и В.М. Сорокины, Д. Сорокин, Л.Н. Ткаченко, В.В. Томачинский, М.Ю. Яковлев и др.

Зарубежные номера "Поисков" выходили в издательствах "Детинец" (А.П. Григоренко, Нью-Йорк) и "Поиски" (П.М. Егидес, при участии С.Ю. и В.М. Сорокиных и поддержке А.Д. Сияевского, М.В. Розановой).

Основатели журнала провозглашали независимость не только от государственной, но и от идеологической цензуры "единомышленников" ("Поиски" - журнал разномысленников, разномыслов", *В.Гершуни*). Программную идею журнала (полное название "Поиски взаимопонимания") точнее всего сформулировал один из его основателей историк Михаил Гефтер: «"Круглый стол" - и без лимита на сюжеты, и без кадровых в составе!... Нет для нас места в Мире, если не сделаем **миром** собственный дом: **миром в Мире**»...

Период, получивший название "эпохи застоя", по мнению многих современников, стал временем возникновения и развития разнообразных общественно-политических направлений, идей, своеобразным ренессансом традиций поиска исторического пути, "поиска выхода", восходящих к XVIII-XIX столетиям - идеям просветителей, западников и славянофилов, русских религиозных философов, Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. Очевидно, что катализатором этого процесса стал XX съезд КПСС и прекращение массовых репрессий.

Действительно, все 50-е и 60-е годы как грибы вырастали организации, союзы, группы, и даже партии самых различных оттенков. В 1968 г. А. Амальрик, подводя итоги развитию

⁶ Примечательно, что все редакторы журнала, за исключением Г. Павловского (выступавшего под псевдонимом), обозначили свои фамилии на титуле.

общественной мысли этого периода, пришел к заключению, что "за последние три десятилетия выкристаллизовались, по крайней мере, три идеологии, на которые опиралась оппозиция". Это "подлинный марксизм-ленинизм", "христианская идеология, предполагающая переход к религиозным нравственным принципам в духе славянофильства, с претензией на особую роль России" и, наконец, "либеральная идеология", которая, в конечном счете, предполагает переход к демократическому обществу западного типа. Вместе с тем, общей целью участников движения остается "охрана правопорядка", (защита) прав человека.

Дальнейшее развитие этих направлений в 70-е гг. привело к формированию более или менее устойчивых кругов единомышленников, что, в свою очередь, вывело на новый уровень самиздатскую публицистику - в самиздате получил распространение жанр "толстых", проблемных журналов... На страницах самиздатской периодики почвенники, либералы и марксисты вели яростную полемику, накал которой возрастал с каждым годом... Каждое из направлений претендовало на ведущую роль своей программы преобразований, что вело к изоляционизму и отсутствию взаимопонимания между ними...

Конец 70-х гг. стал переломным моментом во внутренней политике властей относительно инакомыслия. После ареста одного из редакторов "Хроники текущих событий" Т.М. Великановой, священника Г.П. Якунина, деятеля литовского национально-религиозного движения А.Терляцкаса и других начались обвальные репрессии, обращенные не только против отдельных людей, открыто выступающих с критикой режима, но и против инакомыслия как явления. В результате давления со стороны властей диссидентское движение сосредоточилось почти исключительно на защите его участников, все дальше отходя от проблем общества в целом. Это еще более усугубило изоляционизм, привело к своего рода "профессионализации" движения, сузило круг его участников, увеличило пропасть не только между диссидентами и властью, но и между диссидентами и обществом...

Таким образом, можно говорить о кризисе, переживавшемся инакомыслием в конце 70-х. Попытку предложить выход из этого тупика предприняла группа интеллигентов, объединившаяся вокруг журнала "Поиски". В концептуальную основу издания легли два постулата:

- сосуществование различных идей "в одном доме" и приоритет диалога как процесса над его результатом. Процесс обмена идеями ценнее самих идей и даже возможных результатов их синтеза. Диалог самоценен, ибо создает "дом" - прообраз нормального общества.

- развитие традиционной для 60-х гг. концепции о невозможности "брести к истине в одиночку". Согласно этой концепции создание идеальной модели общества осуществляется путем коллективных поисков, обсуждений, "снятия сливок" с каждой программы...

Синтез - это не эклектика... Это захватывающая и неподъемная творческая работа. Редакция "Поисков" решила проделать эту "совместную" (и очень напряженную) "работу мысли", вовлечь в нее широкий круг идей, расширить рамки диссидентства, найти точки его соприкосновения с обществом в целом. Насколько удалось выполнить постулированную программу за два года деятельности журнала, судить историкам.

Круг проблем, затрагиваемых журналом, был чрезвычайно широк: конституция и право, экономическая реформа и правозащита, культура андеграунда и "соцреализма", восстановление исторического прошлого и социальные вопросы... Профессиональный уровень журнала выделялся на фоне самиздатской периодики того времени.

История "Поисков" - это еще и судьбы людей, делавших их - один из самых драматических эпизодов истории правозащитного движения. За двадцать месяцев (столько времени выходил журнал) "Поисков взаимопонимания" восемь его издателей и сотрудников провели (в 1979-1987 гг.) в общей сложности более двадцати лет в тюрьмах, лагерях, ссылке, В.В. Томачинский погиб в тюрьме. Десятки людей, принимавших участие в издании и судьбе журнала, подверглись внесудебным

репрессиям: принудительной эмиграции, обыскам и задержаниям, увольнению с работы, исключению из института, партии и комсомола и т. п. История преследований "поисковцев" широко освещалась свободными СМИ того времени («Хроника текущих событий» и др.).» (Конец цитаты).

Вот теперь автор настоящего Предисловия может, «с чистой совестью», не полагаясь на безотносительную к вышеприведенному обзору осведомленность читателя в предмете, задав историческую и концептуальную рамку, КОНТЕКСТ событий, описываемых в данной книге, обратиться к самой этой книге: **Виктор Сокирко и Лидия Ткаченко «Поиски взаимопонимания»**, - произведению, как я считаю, выдающемуся.

Сразу оговорю, что, какую бы задачу ни ставил перед собой автор при написании этой книги или отдельных ее частей, это НЕ МЕМУАРЫ, и даже НЕ документальная проза, а некий не прекращающийся ДИАЛОГ автора с героями своей книги, а теперь - и с читателями, а также... с самим собой, ибо понять себя порой не проще, чем других, равно как и других побудить к взаимопониманию.

Это, конечно, пример литературы *non fiction*. Но такой, где едва ли не каждый факт (не придуманный) оказывается частью художественно-публицистического и, позволю себе сказать, нравственно-философского осмысления. Здесь «поиски взаимопонимания» переплетаются со смысложизненными поисками. И, хотел автор того или нет, а получился ... «учебник жизни» (разумеется, один из множества возможных учебников).

Так уж сложилась жизнь (а может – рефлексия о жизни), что каждое действующее лицо, представленное хоть в авторском описании, хоть в текстовом автопортрете, оказывается социо- и психотипом, а взаимодействие автора или других героев с этим лицом сплошь и рядом приобретает характер МОДЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ, словно специально

придуманной для обнажения пружин социальной коллизии или раскрытия типических характеров.

Иногда просто диву даешься, насколько художественно выразительным оказывается – в определенном контексте – абсолютно бюрократическая, протокольная запись. Приведу только один пример.

Из протокола допроса 28.01.1980. соседа по лестничной клетке КОНЬКОВА Виктора Александровича, 1948 г.р., члена КПСС, ассистента МАДИ [Московского автомобильно-дорожного института].

“По существу дела могу сообщить следующее. По указанному адресу я проживаю со своей семьей с августа 1974 г. Примерно тогда же я познакомился с Сокирко, соседом по лестничной площадке. Насколько я знаю, материальное положение в семье Сокирко следующее: у них четверо детей - старшему сыну примерно 16 лет, дочери лет 11-12 и двойняшкам, мальчику и девочке, по 5 лет. Старшие дети учатся в школе, младшие посещают детский сад. Семья Сокирко очень часто ходила в походы, об этом я узнал из разговора со старшим сыном Сокирко. С самим Сокирко и его женой у нас дружеских контактов не было. В квартире Сокирко очень часто собираются гости, иногда мне приходилось видеть гостей Сокирко на площадке. Среди гостей Сокирко бывали и молодые, и пожилые, и мужчины, и женщины, и даже дети самого разного возраста. Больше всего молодых в возрасте от 20 до 35 лет. Обычно взрослые часто дружно выходили курить на лестничную площадку. Я обратил внимание, что среди гостей было довольно много бородатых мужчин. Из женщин я запомнил бывавшую у Сокирко пожилую женщину невысокого роста, судя по внешности, еврейку. Гости обычно приходили к Сокирко в будни, но бывали и в выходные дни. По словам моей жены Ларисы Николаевны Коньковой, визиты к Сокирко особенно участились в последние 3-4 месяца, в частности, по четвергам и вторникам. По времени гости приходили примерно от 18 до 20 часов, уходили от них от 23 до 01 часа ночи. Последний визит к Сокирко был 26 января в субботу.

Хочу дополнить, что, выходя однажды со своей собакой, я случайно услышал, как один из гостей Сокирко, молодой человек называл пожилую женщину, о которой я упоминал выше, как о еврейке, мамой.

Из разговора с сыном Сокирко Артёмом я знаю, что сами Сокирко ранее ездили в отпуск на Урал, точнее на Северный Урал, в район Байкала, а в 1979 г. на Каспийское море, в район Махачкалы. Обычно супруги Сокирко ездят вдвоём, детей отправляют отдыхать к бабушке в Волгоград. По словам сына Сокирко Артёма, его отец снимает имеющейся у него кинокамерой фильмы и делает звуковое сопровождение...

По роду своей работы я иногда бываю в дневное время дома, поэтому могу сказать, что периодически слышал доносящиеся из квартиры Сокирко стук работающей пишущей машинки. Иногда этот стук был слышен и по вечерам. Бывая в квартире Сокирко, я видел, что у них есть пишущая машинка типа “Континенталь”, большая и старая, примерно 30-40-х годов. Какой шрифт, я не знаю...

Однажды вечером, примерно в ноябре-декабре 1979 года, находясь со своей собакой на прогулке за нашим домом, я посмотрел вверх и обратил внимание, что окно большой комнаты квартиры Сокирко затемнено, что в комнате работает кинопроектор. О числе гостей Сокирко я могу судить только по тем, которых я иногда видел курящими на лестничной площадке. Их обычно бывает 8-10 человек. Во вторник 22 января 1980 г. *(это было накануне ареста В. Сокирко 23 января. – А. А.)* примерно в 18-20 часов к Сокирко приходили гости, которые ушли в обычное время, которое я уже указал. 26 января 1980 г. среди гостей Сокирко я видел двух молодых женщин, которые вечером курили на площадке, а днем, позвонив в квартиру Сокирко, я через открывшуюся дверь видел у Сокирко в квартире мужчину лет 30-35.

Хочу уточнить, что стук работающей машинки прослушивался не через стенку, а с лестничной площадки, и чаще всего этот стук слышался по вечерам. Примерно в 1977 и в 1978 г. семья Сокирко выезжала в Среднюю

Азию. Поездки эти приходились в основном на лето или на начало осени. Как-то сын Сокирко Артём говорил мне, что его отец ездит подрабатывать, но где и каким образом не пояснил». (Конец цитаты).

Я намеренно выбрал для иллюстрации своей мысли этот монолог «**проходного**» (третьестепенного) персонажа книги. (Понятно, соавтором является следователь). В этом монологе – весь человек и Время (не только не отдаленное, но то, к которому мы вновь приближаемся). Вы только подумайте – какое УСЕРДИЕ, какая «добросовестность» и поразительная «наблюдательность», какое бескорыстное стремление «помочь» органам, коль скоро соседа по лестничной площадке «замели»!

Такие цитаты надо включать в хрестоматию.

Автор этих строк полагает, что представить читателю настоящую книгу можно двумя принципиально различными способами:

1) как остросюжетный триллер, с каскадом событий жизни одного человека за определенный (относительно краткий) период времени (основная сюжетная линия пролегает от конца 1979 к началу 1981 г.;

2) как «приключения духа», на мой взгляд, не менее увлекательные, в ходе которых ставятся и так или иначе решаются некие ключевые вопросы смысла жизни, нравственной ответственности, взаимодействия личности со средой и т. п.

Пожалуй, четко разграничить эти способы презентации не удастся... Но сначала – еще об авторе книги.

Читатель теперь уже не так мало знает о Викторе Сокирко. Обратимся к «Википедии», где информация хронологически упорядочена.

«...Виктор Владимирович Сокирко, родился 1 января 1939 г., в г. Харькове.

Отец Виктора, убежденный коммунист, постарался передать сыну веру в коммунистические идеалы. В юности – активный комсомолец, один год был секретарём комсомольской организации школы, но уже в 1955 (*16 лет. – А. А.*) составил письменные комментарии Краткого курса (истории) ВКП(б) и передал их директору школы, что привело к первым неприятностям у отца на работе.

В 1956 г. поступил в МВТУ на факультет технологии машиностроения (специальность - оборудование и технология сварочного производства). Летом 1957 и 1958 гг. работал на казахстанской целине, награждён медалью «За освоение целинных и залежных земель».

В 1961-м (*22 года. - А. А.*) направил в ЦК КПСС свою «Критику Проекта программы КПСС» и выступил с её (этой критики) основными тезисами на факультетской комсомольской конференции. Был исключен из ВЛКСМ за «клевету на советскую действительность, неубежденность в марксизме-ленинизме и непринципиальное поведение» (отказался назвать имя студента, с кем спорил о коммунизме). Направленное в ЦК КПСС его письмо с разбором, возможно, неверных толкований положений Программы, позволило защитить диплом в феврале 1962 г.

В 1962 г соединил свою судьбу с Л.Н. Ткаченко - выпускницей МВТУ того же года, в 1974 году в их семье – четверо детей. В 1962-64 гг. работал на Коломенском тепловозостроительном заводе, сперва мастером в сварочном цеху, последний год - технологом в отделе главного сварщика...

В январе 1965 г. начал работать старшим технологом на Московском трубном заводе, в начале 1971 г. (*32 года. – А. А.*) перешёл на работу в ЦЭМИ, где подготовил диссертацию по определению потребности страны в цветных металлах, которая из-за постоянных отказов в выдаче характеристики так и не была защищена. С октября 1972 г. ... работал во ВНИИНЕФТЕМАШе.

В 1968 году подписался под письмами: в защиту подсудимых Галанскова, Гинзбурга и др., с предложением

ратифицировать Пакты ООН о политических и экономических правах человека, с просьбой о пересмотре судебного решения по делу демонстрантов на Красной площади и в защиту права крымских татар на возвращение в Крым. Подвергся проработке на заводском профактиве...» (Конец цитаты).

Приостановимся. В 1968 г. Виктору Сокирко 29 лет. Вся предшествующая биография - не безоблачна, но и относительно благополучна. В старшекласнике Сокирко сочетаются общественный темперамент и пытливый ум. Он комментирует Краткий курс истории партии, потому что эта история для него значима. В 1956 г. (год XX съезда), он уже первокурсник МВТУ им. Баумана (куда поступить нелегко), а к пятому курсу (1961; 22 года) вновь отличается не только успехами в учебе и общественной работе, но и критикой проекта новой программы КПСС, согласно которой к 1980 году должен наступить коммунизм.

В 22 года Виктор Сокирко так же искренен и простодушен, как и в 16: тогда вручил свой трактат директору школы, теперь – мало что отправил в ЦК КПСС, еще и на факультетском комсомольском собрании обнародовал. Вот тут он был впервые заклеимен за «клевету на советскую действительность» (что в ту пору влекло за собой исключение из комсомола, но не правовые последствия).

Итак, общественная отзывчивость, независимый ум и... простодушие или предельная открытость – вот те черты личности, которые без труда усматриваются в нашем герое еще в юности, и они сохранились в нем... на всю жизнь, как мы увидим позже.

Получив институтский диплом, Виктор Сокирко, в качестве молодого специалиста, начинает строить производственную карьеру (кстати, на заводе восстановлен в ВЛКСМ), а потом пытается строить и карьеру научную. Одновременно возникает и строится и семья.

1960-е гг. для Виктора Сокирко, как я понимаю, это также годы интенсивного самообразования (начатого, впрочем, еще в институте), причем в далеко «не профильных» для его

основной, технической специальности областях: экономика, социология, философия. Лидия Ткаченко в своем очерке «О Вите» рассказывает о его безуспешных попытках поступить в философскую аспирантуру. В конце концов, работая уже в Центральном экономико-математическом институте, Виктор вынужден «удовлетвориться» технико-экономической диссертационной темой.

1960-е гг. – это годы НАКОПЛЕНИЯ жизненного, профессионального, общекультурного, научного опыта, благодаря чему стала возможной изумительно яркая самореализация в 1970-е.

1968 год (год вторжения советских войск в Чехословакию) был рубежным для поколения шестидесятников, к которому принадлежит Виктор Сокирко. Если прежде Виктор-школьник и Виктор-студент проявлял стихийный персональный нонконформизм, то здесь начинается этап сознательного ИНАКОМЫСЛИЯ и участия в диссидентском, правозащитном ДВИЖЕНИИ.

Вернемся к «Википедии»:

«...В 1969-70 гг. написал и передал в самиздат полемическую книгу «Очерки растущей идеологии» под псевдонимом К. Буржуадемов, в которой пытался найти ростки рынка и демократии в СССР и призывал двигаться в этом направлении...»

В 1968-1972 гг. перепечатывал и распространял «Хроники текущих событий» (№№ 2-27)...»

Псевдоним «К. Буржуадемов» хорошо маркирует Сокирко-диссидента. Как уже отмечалось выше, Виктор Сокирко занимает едва ли не уникальное место в рядах правозащитников. Его соратники, как правило, ставили во главу угла политические свободы, он же (не в противоречии с марксистской парадигмой) настаивал прежде всего на свободах экономических. Буржуазная демократия для него есть прежде всего свободный рынок, без которого немислимы и все остальные свободы. При этом он вовсе не отказывается от ИДЕИ коммунизма, сколь бы она ни была скомпрометирована практикой «развитого социализма», не

говоря уж о сталинизме. Просто, коммунизм обозначается им как отдаленный ориентир, продвижение к которому возможно только через «буржуазную демократию».

Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что в деятельной и творческой практике инакомыслящего Виктора Сокирко уже тогда проявляется особая склонность к рефлексии и ауторефлексии. В его заметках и трактатах рубежа 1960-70-х гг. все отчетливее звучит мотив: «Как жить» и «Что делать». Нравственная природа правозащитного движения находит яркое воплощение как в его сочинениях, так и в повседневном поведении.

И еще одна особенность диссидентства Виктора Сокирко. Он хочет защищать права человека в тоталитарной обществе и, вместе с тем, не отказываться от всех других способов самореализации, будь то наука, семья, альпинизм, «партизанское кино», для чего нужно как-то «уживаться» с властью и с обывательской средой, которая с этой властью в общем согласна.

В «Википедии» приводится цитата из Сокирко тех лет: «Мы должны жить не в тюрьме, а на свободе, жить и работать вместе со всеми, в том числе с властями и с поддерживающим его (их) большинством».

Вот тут, пожалуй, главное противоречие всей жизни нашего героя, его великая иллюзия. Простодушный смолоду, Виктор Сокирко и в зрелом возрасте хочет соединить, пожалуй, несоединимое: лояльность и свободу, бескомпромиссную критику общественного уклада и господствующей идеологии и «компромисс» с властью, будто бы способной эту критику терпеть.

Здесь образцы и гражданской смелости, и способности «додумывать до конца», и принятия на себя нравственной ответственности за судьбу народа, а стало быть, и своих детей. И здесь же - наивная вера, что власть предержавшие его поймут, надо только им «хорошо объяснить». Этакий романтизм и «антипрагматизм».

Но и не без «русского авось»: я не могу не подписать этого письма в защиту моих товарищей и единомышленников; возможно, придется за это поплатиться, но... «авось пронесет!». Если бы не стихийность и сугубо нравственная мотивированность действий нашего героя, можно было бы подумать, что он испытывает границы возможной свободы поведения в условиях тогдашней несвободы.

В сущности, Виктор Сокирко не противник режима, он лишь его критик, будь то в сфере научного анализа или правозащиты. Он словно хочет доказать, что это совместимо с жизненным, служебным, семейным и прочим благополучием.

И наконец, одна особенность личности нашего героя, которая прямого отношения к сказанному выше не имеет, но с ним переплетена. Назовем ее - ДОКУМЕНТАЛИЗАЦИЯ жизни. Виктор Сокирко живет напряженной, насыщенной, нравственной и красивой жизнью (это, понятно, мои определения), но при этом все время стремится записать, запечатлеть, зафиксировать значимые для него моменты бытия. Для чего? Чтобы сберечь себе и потомкам, чтобы поделиться с друзьями, чтобы самому осмыслить пережитое.

Способы такой документализации могут быть различны: путевой дневник, личное письмо, открытое письмо, фотография, диафильмы, эссе, трактат... Тексты самых разнообразных жанров собираются в композиции, складываются в АРХИВ, но не просто бумагохранилище, а живой оборот, предмет общения.

Чтобы хоть как-то иллюстрировать сказанное, приведем здесь оглавление одной из таких композиций.⁷

«В. и Л. Сокирко. Наши горы. 1967-1977 гг.

Раздел I. Северный дневник. Диафильм «Кожа». 1967 г.

Раздел II. Горы 1968 года

Диафильм "Джан-Туган"

"Будем альпинистами дома" (В. Сокирко)

⁷ См. на сайте В. Сокирко и Л. Ткаченко:
<http://www.sokirko.info/Tom2/>

Приложения к разделу II. 2008 г. ...
Е. Полищук. Смысл альпинизма
О наших горных диафильмах
Раздел III. В порогах. 1969-1970 гг.
Уральский дневник. 1970 г.
Раздел IV. «Хроника текущих событий». 1971-1972 гг.
Раздел V. Алтай. 1972 г.
Алтайский дневник. Август 1972 г.
Диафильм "Алтай".
Перевалы и озера
Белуха - гора воспоминаний
Раздел VI. Падение и после. 1973-1977 гг.
«Дневник мелкого процесса». Март-июль 1973 г.
После суда. В спокойных водах. 1974-1977 гг.
Приложения
Приложение 1. Письмо ортодоксу. 1968 г.
Приложение 2. Переписка маленьких людей. 1968 г.
Приложение 3. Письмо Т.С.Ходорович. 1976 г.
Приложение 4. Письма о Конституции. 1977 г.
Открытое письмо Л.И. Брежневу и А.Д. Сахарову.
Предложения по исправлению Конституции СССР
Письмо составителям самиздатских бюллетеней
«Вокруг проекта Конституции СССР»
(В 1970-е гг. все это было только в машинописи, на бумаге,
и – слайдфильмы – на фото пленке; сейчас – оцифровано,
общедоступно в интернете).
И все же, завершая эту часть обзора, в поисках
обобщающего определения жизненной мотивации нашего героя
я бы взял не самореализацию, не инакомыслие, не философскую
и / или экономическую рефлексию, не документализацию
жизни, а то, что автор вынес в заголовок своей книги и что
совпадает с названием самиздатского журнала, соредактором
которого он успел – недолго! – побыть: ПОИСКИ
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ.

Да, именно так: поиски взаимопонимания с другими, будь то друзья или антагонисты, близкие или далекие, «свои» или «чужие». Такие поиски могут совершаться только через ДИАЛОГ. И именно в процессе диалога находит наш герой смысл и главное содержание жизни.

В данном биографическом экскурсе мы сейчас находимся в первой половине 1970-х (герою – 33-34 года): Счастливая, прирастающая детьми семья. экстремальный туризм, профильная и «непрофильная» наука, приобретение московской квартиры, друзья – «соль солей земли» (цвет московской интеллигенции), осмысленное коллективное правдоискательство... Кажется, все это совместимо. Так ли?

В 1973 г. состоялась первая (если не считать юношеских) «Голгофа» Виктора Сокирко. Эта история подробно описана в очерке «Дневник мелкого процесса», включенном в настоящую книгу в качестве приложения. Наш герой оказался в числе ста с лишним лиц, допрошенных в качестве «свидетелей» по громкому делу диссидентов. Процесс над Якиром и Красиным – один из самых чувствительных ударов КГБ по правозащитному движению. «Свидетели» (в основном те, кого пристегнули к делу сами повинившиеся Красин и Якир), вели себя по-разному. В тогдашней диссидентской среде большой вес имела заповедь отказа от дачи каких бы то ни было показаний.⁸ Так поступил и Виктор Сокирко, хоть это в общем и противоречило его собственной установке на компромисс.

⁸ «Для тех, кто прочно уяснил себе всю тщетность юридической эквилибристики со следователем, лучшим во всех отношениях будет категорический отказ от дачи каких-либо показаний. Преимущество, которое вы при этом получаете, гораздо дороже 20 процентов зарплаты – максимум, что вы можете потерять» (Из «Юридической памятки А.С. Есенина-Вольпина, 1966; цит.по: <http://antology.igrunov.ru/authors/volpin/pamyatka.html>) .: !

Для Виктора Сокирко личным категорическим императивом было то, что я бы определил: «Не навреди другому» (кстати, прямое следствие из «Золотого правила этики»). Это значит: все, что угодно, только не показания против (указания на...) кого-либо. Это моральное требование Виктор Сокирко (и после не раз попадавший в подобные ситуации) свято соблюдал всю жизнь. (Чем не каждый может похвалиться).

Отказ от дачи свидетельских показаний в общем гарантирует соблюдение указанного морального требования, но он и чреват (у нас, кстати, и по сей день) уголовной ответственностью (пусть не тяжкой). Применяется соответствующая статья УК не часто, но ссылка на нее является формой давления правоохранительных органов на свидетеля.

От нашего героя требовалось всего лишь подтвердить, что он дал свой фотоаппарат Красину, у которого тот потом был изъят (как используемый «в антисоветских целях»). Причем информация о «происхождении» этого фотоаппарата исходила от самого Красина, которому невозможно было навредить больше, чем он сделал это сам - себе и своим бывшим товарищам. Как быть?

Виктор Сокирко реализует вариант поведения, которым не мог навредить никому, кроме него самого: отказался давать показания, а затем...стал объяснять, почему он так поступает. Тем самым, по существу, стал давать показания против себя самого. Компромисс? С кем? Ему показалось неудобным, невежливым не ответить на вопрос следователя: «Почему же Вы отказываетесь от дачи свидетельских показаний?». Не спровоцировал ли он этим дальнейшую «работу» следователя?

Его вызвали еще, пригрозили судимостью по статье 182 УК, а самое страшное - пообещали вызвать его супругу (Л. Ткаченко; ведь именно она лично передавала злополучный фотоаппарат Красину, по поручению Виктора)

Наш герой стоит на своем, но жену просит («разрешает» ей) не идти по его стопам, и та благополучно опознает фотоаппарат, который она в свое время передала Красину. В отношении же В.

Сокирко следствие решает устроить показательную экзекуцию, и дело об его отказе от дачи свидетельских показаний передается в суд.

Виктор спохватывается, заявляет о своей согласии на дачу показаний, но уже поздно («Мы Вас предупреждали!»). На суде он признает свою ошибку, ему присуждают полгода исправительных работ по месту его работы (с отчислением 20 % из зарплаты); потом его снисходительно «прорабатывают» на собрании трудового коллектива. Все кончилось благополучно, если не считать... конца научной карьеры (защита готовой диссертации так и не состоялась).

В этой истории, случившейся за 7 лет до событий, описанных в «Бутырском дневнике», в зародыше, в прообразе представлены важнейшие коллизии основного сюжета книги.

Нельзя сказать, чтобы этот жизненный эпизод как-то искривил линию жизни Виктора Сокирко. Он продолжает работать во ВНИИНЕФТЕМАШе инженером-экономистом. Летом – туристские походы и /или шашки; растет фонд диафильмов, на просмотры которых регулярно собираются друзья и знакомые; в 1974 г. рождаются близнецы – в семье уже четверо детей.

В середине 70-х гг. наш герой возвращается к самиздатской деятельности, которая становится у него все более творческой, авторской. Его идеи, относящиеся к необходимости рыночной экономики и поддержки ее ростков в виде так называемой «теневого» экономики (те же шашки, например), становятся все более отчетливыми, обоснованными, однако не находят понимания в правозащитной, диссидентской среде. По выражению Л. Ткаченко: «...не находя единомышленников, он был рад тому, что с ним спорили». А полемистом и дискуссионником он был неутомимым.

Важное место в творчестве Виктора Сокирко занимают моральные вопросы, в частности, поднятые в эссе А.И. Солженицына «Жить не по лжи!». В 1976 г. наш герой пишет своего рода манифест: «Активно думать, успешно работать, смело жить» (он приведен в книге) и тем самым развязывает

среди московских интеллигентов дискуссию, нашедшую отражение в трех выпусках сборника «Жить не по лжи», подготовленных К. Буржуадемовым – В. Сокирко (1977-1978).⁹

Вернёмся к «Википедии»:

«...В 1977 г. принял участие в обсуждении Конституции, послав свои предложения Л. Брежневу и А. Сахарову, которые были опубликованы в самиздатском бюллетене “Вокруг проекта Конституции СССР”.

В 1978 году написал статью «Я обвиняю интеллигентов-служащих...» с призывом поставить требование свободного рынка на первое место. Ответы на неё были собраны в сборник «В защиту экономических свобод» (ЗЭС № 1). До ареста (январь 1980) собрал, отпечатал и распространил ещё шесть ЗЭСов.

В декабре 1978 года становится соредактором самиздатского журнала "Поиски взаимопонимания"...». (Об этом журнале см. выше).

С этого момента начинается собственно сюжет настоящей книги, и лучше не пересказывать его, а читать книгу.

Следует заметить, что задача автора настоящего Предисловия во многом облегчена включением в книгу очерка «О Вите», принадлежащего супруге и главному со-участнику жизни (мысли, слова и дела) Виктора Сокирко. (Она же – редактор-составитель этой книги). Многое, заслуживающее отображения в настоящем предисловии, мною опущено, поскольку это прекрасно сформулировано в очерке Лидии Ткаченко. В нем органично сочетаются: апология, критика и защита Виктора Сокирко.

⁹ Некоторые авторы выступали в этой дискуссии под своими именами. Например: В. Абрамкин, Т. Великанова, Г. Померанц, М. Поповский, В Сокирко. Использувавшиеся другими авторами псевдонимы ныне раскрыты в комментарии к современной публикации выпусков сборника. (См.: <http://www.sokirko.info/ideology/gnl/intro1.html>)

Автор настоящего Предисловия убежден, что и в первом, и во втором, и в третьем наш герой нуждается.

В центре книги - пребывание Виктора Сокирко в СИЗО Бутырской тюрьмы с января по сентябрь 1980 г. Это – период испытания главных ценностных ориентаций нашего героя. Испытание личности «на излом», ее способности адаптироваться к экстремальной ситуации и адаптировать эту ситуацию к себе.

Можно, мне кажется, выделить несколько главных тем в этом произведении: А) Тюремный быт, повседневная среда обитания и общения в тюрьме; Б) Взаимоотношения узника и представителей власти (следователя, его «коллеги» из КГБ, сотрудников прокуратуры, судебных органов); В) Синхронность событий, происходящих с героем в заключении, и событий жизни его семьи (дневниковые записи Л. Ткаченко); Г) Участие деятелей официальной науки в «изобличении» отечественного инакомыслия; Д) Взаимоотношения В. Сокирко и его товарищей, друзей, коллег, в частности - диссидентской среды, в период до и после суда над ним. Есть еще две специфических тематических линии: Е) самообразование и интеллектуальная работа нашего героя (с использованием тюремной библиотеки); Ж) конфликт поколений (письма матери Л. Ткаченко к дочери).

А. Наблюдательность и цепкость памяти Виктора Сокирко позволяют ему, уже по выходе из заключения создать галерею выразительных психологических портретов своих сокамерников. (Тюремщики позаботились о разнообразии его жизненных впечатлений: сначала он сидит с мошенниками, потом с уголовниками рецидивистами). С некоторыми из сокамерников ему удастся найти общий язык, некоторые же являют собой такой распад личности (то же можно встретить и среди тюремщиков), что «компромисс» практически невозможен. И слава богу, что наш герой лишний раз убеждается в неуниверсальности «поисков взаимопонимания».

Его общение в этой среде избирательно, сплошь и рядом ему приходится отстаивать свои права - перед микрогруппой. Его решения и шаги порой непостижимы для других (например, отказ от продуктовых передач). Его «тюремная биография» включает в себя и голодовку, и карцер. Ограничусь минимумом комментирования этой тематической линии «Бутырского дневника».

Б. На протяжении всего времени пребывания в тюрьме, Виктор Сокирко находится под постоянным мощным психологическим давлением со стороны «правоохранителей». Несмотря на эпизодические «удачи» этих последних (вроде дела Якира и Красина, еще в 1973 году), отечественные диссиденты в массе своей держались стойко, не каялись и получали сполна, свои сроки лагерей и ссылок. В отношении нашего героя, являвшего собой к тому времени заметную фигуру в диссидентском движении, как видно, рассчитывали на определенный «успех», ввиду его: а) известной установки на компромисс и лояльность и б) семейного положения (ведь четверо несовершеннолетних детей!). Понятно, что оба фактора были для узника значимы.

Виктор Сокирко, обвиняемый в редактировании журнала «Поиски» и в издании сборников «В защиту экономических свобод», вначале отказывается давать показания, потом соглашается - «в обмен» на обещание изменения меры пресечения и возвращения в семью до суда, что было для него принципиально. От него требовали «полных» показаний и признания своей вины, но он соглашается только на показания о себе самом и отказывается признать наличие клеветы в журнале «Поиски взаимопонимания» и сборниках «В защиту экономических свобод». (И сумел провести эту линию поведения до конца).

Все это – несмотря на шантаж, состоявший в угрозе применения к нему не ст. 190-1, а более суровой – 70-й статьи УК РСФСР, грозившей переводом в КГБшную тюрьму Лефортово и многолетним сроком лишения свободы.

Будучи отнюдь не категоричным в любых своих суждениях, Виктор Сокирко не исключал возможности каких-либо своих заблуждений, но только не клеветы. В самом деле: клевета есть намеренная ложь, а он и его товарищи, когда писали и публиковали свои труды, были уверены в своей правоте; и признать за собой (или за ними) клеветнические намерения было бы заведомой неправдой. А доказать ему его «ошибки» обвинение не могло, не помогли и эксперты (о чем ниже).

(В принципе возможно логически доказать ложность некоторого утверждения, но это не значит, что доказана клевета, т.е. заведомая – с точки зрения говорящего, а не других людей – ложность утверждения или сообщения).

Правда, был один момент, в котором обвиняемый был готов согласиться с обвинителями: это то, что его труды могли быть использованы за рубежом для нанесения «вреда» советскому государству и... народу. Это своего рода отождествление государства и народа было, пожалуй, одной из немногих теоретических ошибок нашего героя, ошибкой, на мой взгляд, капитальной.

Поиск «компромисса» между узником и властью вылился в многомесячный торг, начавшийся с попытки Виктора Сокирко письменно объяснить обвинителям свою позицию, а закончившийся подписанием такой версии заявления для суда, в которой фигурировало признание своего поведения «антиобщественным» (обвинители и обвиняемый трактовали эту формулу принципиально по-разному). За такое «самоосуждение» ему было обещано применение относительно мягкой меры наказания (лишение свободы условно).

Добился-таки наш герой и изменения меры пресечения ДО суда, так что на суд он являлся сам, а не его доставляли на автозаке из Бутырки.

Виктор Сокирко считал, что следует пойти на компромисс со следствием и т. д. и вместе с тем вовсе не находит этот свой шаг оптимальным. «Ты сам свой высший суд!». Думаю, В. Сокирко согласился бы с афоризмом: «Прожитыми годами не

горжусь, но вроде и не стыжусь их». Одну из своих автобиографических композиций он назвал: «Жизнь и поражения советского инакомыслящего» (она есть на сайте). О победах пусть судят другие. Нравственный человек ведет счет поражениям.

Считать ли суд над В. Сокирко и «смягченный» приговор его поражением? Наш герой выполнил «договор» с властью: прочитал «свое» заявление. А затем, отказавшись от адвоката, в своей защитной речи камня на камне не оставил от обвинительного заключения. Преследователи были шокированы. Но «утешились» тем, что суд по существу был закрытым (заинтересованных зрителей, кроме жены и двоих друзей, на суд не пустили), В судебном протоколе эта речь отражена несколькими строчками. Правда, сохранилась автостенограмма (она включена в книгу).

В. Собственно «Бутырский дневник», составляющий вторую, центральную часть книги, - это, в сущности, два дневника, или дневник, имеющий двоих авторов: Виктора Сокирко и Лидии Ткаченко. В нем соединены два повествования: Виктор создал свой текст, понятно, уже по выходе из тюрьмы, дневник же Л. Ткаченко писался на протяжении восьми месяцев заключения мужа.

Этот «дует» разлученных супругов наполняет книгу особым драматизмом, который проиллюстрируем лишь одним фрагментом:

«...24 июня 1980 г.

Утро началось с Алексеевской гимнастики, продолжилось беседой с Бурцевым (*следователь, ведущий дело В. Сокирко. – А. А.*) . Длинный и не получившийся рабочий день. Когда позвонил Бурцев, меня бросило в дрожь, и успокаивалась я долго. Беседу трудно записать – была она какой-то сумбурной. Но самое главное, Бурцев сказал, что тебе не грозит больше 70-я, а наговорил ты (*о себе. – А. А.*) уже достаточно, чтобы было тебе послабление и по 190.1. Степень послабления зависит от твоего и моего дальнейшего поведения. После разговор шёл вокруг да около. Правда, наконец, он ясно сказал, что нужны от

тебя показания на людей: кто давал, кому, кто печатал. Для дела такие показания ему не нужны, для дела достаточно технических показаний: эта работа напечатана на этой (твоей) машинке, а нужно тебя сломать, чтобы ты таким образом доказал своё "лояльное отношение к строю". Ты нужен поломанным. На это я ему сказала, что приму тебя всякого и любить буду всякого, но боюсь, что ты не простишь мне, что подтолкнула тебя к падению. Интересно, как он тебе передаст мои слова, т.к. именно с них он собирался начать сегодняшний разговор с тобой. Он сказал, что на этой неделе должен закончить свои беседы с тобой. На свидание после этой беседы, я, наверное, не могу рассчитывать, т.к. отказалась написать, что никакие твои действия я не осужу. Мы долго препирались, и всё же я написала, что никакие твои слова не буду осуждать: "Всё, что ты ни скажешь, я не осужу". Эту фразу я намеренно чётко написала, чтобы ты увидел, что она написана под диктовку. Но может он тебе и не даст письма. Он сказал, что после предыдущего моего письма ты стал говорить с ним суше, ибо в письме была двусмысленность.

Боже, как они тебя замучили, наверное! В такую жару! Мне разговор с Бурцевым никаких страданий не доставляет. Больше того, я сегодня узнала, что тебе не грозит 70-я и рада-радешенька. А тебе-то какво? Господи, дай ему силы!».

Г.Что касается академической общественной науки того времени, то она изрядно скомпрометировала себя своим участием в судах над соредакторами самиздатского журнала «Поиски взаимопонимания». Следственные органы обратились в: Институт экономики АН СССР; Институт философии АН СССР; Институт истории СССР АН СССР; Институт всеобщей истории АН СССР; Институт международного рабочего движения АН СССР.

Экспертные заключения, выполненные в духе демагогической защиты «марксистско-ленинского учения», подписаны тогдашними директорами этих учреждений. (Читайте их в книге). Именно с ними полемизирует, их

опровергает Виктор Сокирко в своей защитной речи на суде 29 сентября 1980 г.

Пикантный эпизод: в июне 1980 г. обвиняемого Виктора Сокирко извлекают из карцера и, кое-как придав благообразный вид, вывозят (сначала в «воронке», а потом пересадив в черную «Волгу»!) на другой конец Москвы, в фешенебельную гостиницу, где его ожидает некий благодушный и самодовольный, прикормленный органами госбезопасности профессор - для «душеспасительной» беседы на политэкономические темы. Разъяснить нашему герою его заблуждения, понятно, не удалось.

Вообще, нельзя сказать, чтобы преследователи Виктора Сокирко, со своей стороны, не искали с ним «взаимопонимания».

Д. Взаимоотношения с товарищами, друзьями, коллегами. Насколько я понимаю, Виктор Сокирко – рефлексирующий экстраверт, что само по себе не ординарно. Круг его общения чрезвычайно широк. У него сильный аналитический, независимый ум. Но вместе с тем парадоксально велика его психологическая зависимость от дружеского круга, от мнения окружающих.

Он прокладывает СВОЮ линию жизни вообще и текущего поведения в частности. Но для него важно одобрение, признание этой линии другими – теми, кого он любит, уважает, ценит. Так было всегда, но это проявляется с особой силой в обстановке тюремной изоляции, где контакт с «референтной группой» невозможен.

Виктор Сокирко соглашается на «договор» со следствием (в указанных выше пределах). Но остро переживает, что его товарищи, соредакторы «Поисков» Валерий Абрамкин и Юрий Гримм, арестованные тогда же и содержащиеся в той же Бутырке, на такой компромисс с властью скорее всего не пойдут и приутожились к лагерю.

Редкостная удача: архитектура Бутырской тюрьмы позволяет связаться с другом и подельником. Валерий

Абрамкин дает Виктору добро на «делку с дьяволом». Позднее В. Абрамкин напишет:

«...Особо мне хотелось бы сказать о Викторе Сокирко. Я знаю, какому давлению подвергся он здесь, в тюрьме, в следовательских кабинетах. Знаю, чем ему грозили. В июне (1980 г. – А. А.) Виктор изложил мне свою позицию, я поддержал его и в основном одобрил. Не думаю, что те маленькие уступки, которые он вынужден был сделать под прессом следствия и суда, могут быть поставлены в вину этому мужественному и честному человеку...»

Сам Виктор, уже после суда, напишет:

«...Моим товарищам по журналу «Поиски» В. Абрамкину и Ю. Гримму выпал путь в лагерь. Я разделяю восхищение их твёрдостью и высокими нравственными качествами, сочувствую горю их родных и им самим в нелёгкой участи, но вместе с тем и сожалею, что они не искали взаимопонимания со следственными и судебными властями и не вышли из тюрьмы...».

Сожаление Виктора Сокирко понятно. Но в данном случае не «выпадает» человеку тот или иной путь, а каждый ВЫБИРАЕТ его сам. И вовсе не обязательно этот путь единственно правильный. Во всяком случае, не может быть единого пути для всех порядочных людей.

Но вот суд состоялся. Приговоренный к трем годам лишения свободы условно, наш герой воссоединился с семьей и обещал уйти в «частную жизнь», во всяком случае - не участвовать в самиздатской деятельности. Но было бы странно, если бы его оставили в покое и не стали обращаться с предложениями, от которых если не невозможно, то трудно отказаться.

Вот, звонит «коллега» следователя (сотрудник госбезопасности) и просит Виктора встретиться с

корреспондентом Агентства печати «Новости». Тот предлагает «всего навсего» подписать заявление для АПН, начинающееся словами: «Как мне стало известно, в некоторых зарубежных средствах массовой информации появились сообщения обо мне, как о «жертве советского режима». Известно мне также, что эти же средства массовой информации расценили сделанное мною в суде заявление лишь как результат давления и угроз, оказанных на меня во время следствия и в тюрьме. Это - неправда!»

Корреспондент АПН неплохой стилизатор. Текст как будто самим Сокирко написанный, да еще с учетом его установки на взаимопонимание, в том числе и с властью. Кончается это заявление словами, словно бы идущими «от души»: «В заключение, хочу сказать, что с чувством большой благодарности я принял приговор суда и постараюсь впредь быть полезным членом советского общества. Подпись. 24.10.1980».

Словно замороженный, наш герой уступает уговорам корреспондента АПН поставить свою подпись. Нет, это уже не компромисс, а что-то вроде стокгольмского синдрома!..

Уже через несколько часов Виктор Сокирко дозванивается до «коллеги» следователя, чтобы дезавуировать это «свое» заявления. Получив обещание «все уладить», он не успокаивается и пишет теперь уже собственный текст на ту же тему, вполне пристойный, не «верноподданический» и концептуальный. К сожалению, лишь через пару с лишним недель он отправляет этот текст в АПН, так и не дождавшись нового появления корреспондента.

Тем временем, его не адекватное заявление попадает (от него же самого) в руки его давнего наставника и консультанта по правовым вопросам (еще со времен «мелкого процесса» 1973 г.), адвоката-диссидента С.В. Каллистратовой. Та выражает свое безусловное неодобрение, и не только в личной беседе, но и в форме открытого письма нашему герою, к чему прилагает злополучное заявление В. Сокирко от 24.10.1980. Оба документа получают хождение в самиздате, причем сначала там, и уж

потом, чуть ли не через месяц, Виктор Сокирко получает текст открытого письма С. К. от нее по почте.

В отличие от Виктора Сокирко, с его установкой на взаимопонимание, даже с властью, диссидентская мораль ориентирована скорее на противостояние, и довольно нетерпима к «отступникам». Возникает ситуация, обозначенная как «диссидентский суд», чему посвящена 3-я часть книги.

Вовсе не оправдывая себя за подписанное им первое заявление для АПН, Виктор Сокирко защищает свою точку зрения, и у него, по счастью, находятся защитники. Эта история находит отражение и в «Хронике текущих событий» (1980, № 60), и даже в «Русской мысли» (май 1981). Не стану пересказывать все аргументы «за» и против», еще долго волновавшие диссидентскую общественность. Скажу лишь, что, после «Голгофы» Бутырской тюрьмы, для Виктора Сокирко это была еще одна «Голгофа».

Одним из самых решительных и мудрых защитников Виктора Сокирко был Михаил Яковлевич Гефтер. В книге приводится его письмо от февраля 1981 г. (к сожалению, адресат неизвестен):

«...Мы пережили здесь – и еще недопережили – трудное время. Трудное с самой важной точки зрения – отношения друг к другу. Я целую неделю читал составленный Лилей отчет о бедствиях, страданиях и исканиях Вити Сокирко, отчет в документах – всех без малейшего исключения. Признаюсь, что такая степень открытости, искренности для меня была бы недоступной. Читать все это было и тяжело, и необходимо. Обсуждать с банальной позиции (хорошо ли он себя вел или плохо, правильно или неправильно?) – бессмысленно. Чересчур непроста вся эта история – и не только в индивидуальном, Витином "разрезе". Капитуляция? – нет. Капитуляцией было бы признание "Поисков" клеветой, а он не только не признал этого, но и твердо отстаивал противоположное на суде (тем самым – по сути – доказывая незаконность преследований и суда). Но если не капитуляция, то что?»

Поражение. Его поражение – и, смею утверждать, наше поражение. Мы потерпели его не в качестве инакомыслящих, какими остались: и он, и другие. Мы потерпели его как люди, которые надеялись добиться перемен, сдвинуть с места, если не большинство, то многих. Остаться наедине с собой – и есть поражение. Для меня (возраст, образ жизни!) это тяжело. Для таких, как Витя Сокирко - невыносимо. Они не могут и не хотят жить кандидатами на выезд. Они не хотят и не могут просто уйти в "обыкновенную" – частную жизнь... Какой же выход? Сокирко искал его в компромиссе, компромиссе между диссидентом (!) и властью. Отвергая "клевету" он оставался (и остался!!) диссидентом. Другая "сторона" вынуждена была признать его таковым – в обмен на покаяние и отказ от прежней деятельности. Не слишком ли тяжелая цена? Может быть, и слишком. Не мне судить отца четверых детей. Но испытание, которое он поставил – не на другом человеке, а на самом себе – смею думать, не останется безрезультатным для всех способных думать, к каким бы выводам они при этом ни пришли... Сторонники и поборники диалога в наших условиях... если, конечно, они не собираются оставаться в сфере "чистой мысли" и нравственных проповедей, вынуждены – и обязаны! – делать тот или иной шаг (шаги) от диалога к компромиссу. Открытый вопрос – какой компромисс и с кем? Но именно: открытый.

Витя Сокирко открыл его не в идеальных условиях и не в самой лучшей форме (это он и сам признает). Но стоит ли "закрывать" его, этот открытый вопрос, с помощью высокомерных назиданий и не идущих к делу сравнений? Заранее знаю, что кто-то скажет: вот они, русские, всегда такие (и до Федора Михайловича Достоевского, и после него). Отвечаю: я сам такой русский. Живу сомнением, недовольный собою и пуще всего на свете отвергающий, презирующий самодовольство (любое!)...» (Конец цитаты).

Читая эту книгу, думая о Викторе Сокирко, три литературных ассоциации возникают у меня: Дон Кихот, Гамлет и князь Мышкин. Казалось бы, несовместимо. Но от каждого в

моем друге, как будто, есть что-то свое, переплавленное в его тигле. Может, я не прав, не настаиваю.

Наш герой не претендует кого-либо учить, но его произведение УЧИТ. Чему? Мне кажется, оно учит трем вещам: а) великой ценности и необходимости ДИАЛОГА; б) осознанию нравственной ОТВЕТСТВЕННОСТИ всякого человека перед «близкими» и «далекими», перед культурой и человечеством; в) опасности АБСОЛЮТИЗАЦИИ любой идеи, даже если это идея поисков взаимопонимания. Май 2015.

От редактора-составителя

Около десяти лет назад по инициативе старшего сына Артёма (Артёма Викторовича Сокирко) начал заполняться наш с Витей сайт.

Со школьных лет Витя (Виктор Владимирович Сокирко) хранил плоды своих раздумий в тетрадах, а с покупкой пишущей машинки (на пятом курсе вуза) - даже не в одном экземпляре. В диссидентские времена напечатанное (в восьми экземплярах) раздавалось заинтересованным читателям, а следующая закладка распределялась по архивным захоронкам, у друзей. В перестроечные времена мы радостно отволокли два чемодана с одним из комплектов наших архивов в заявивший о себе «Народный архив», к сожалению, довольно быстро скончавшийся.

Теперь сохранённое лежит на первом сайте - **victor.sokirko.com** (пополнение закончилось в начале 2011 г.) и на втором - **www.sokirko.info** (пополняемом младшим сыном Алёшей (Алексеем Викторовичем Сокирко) до сих пор). Сетевые ссылки в этой книге я даю на второй сайт.¹⁰

Имея два сайта, Витя всё равно продолжает думать, что сохранять написанное надёжней в бумажном варианте. Как ещё может думать человек с почти 70-летним читательским стажем?! Выполняя его желание, летом 2014 г. Алёша сделал второе издание (первое было в Мюнхене, в 1974 году; до нас дошло всего два экземпляра) первой Витиной книги «Очерки

¹⁰ См.: <http://www.sokirko.info/> . (Здесь и далее сноски принадлежат редактору-составителю. - Л. Т.).

растущей идеологии» - о ещё плохо (тогда) видных ростках рыночной экономики в нашей стране.¹¹

В ходе работы над той книгой Витя завершил формирование (осознание) своего мировоззрения как буржуазно-демократического, уверовав, что путь к коммунизму лежит через буржуазно-демократические ценности, и взял псевдоним «К. Буржуадемов». (При вопросе - что стоит за первой буквой псевдонима, В. В. отвечал сперва «Кадет», но вскоре остановился на «Коммунист», а свои взгляды чаще всего называл «буржуазно-коммунистическими»).

Сейчас мы решились издать книгу о самом напряжённом для нас периоде жизни – годе обещанного Н. Хрущёвым начала коммунизма (1980). В неё вошли (частично) материалы из опубликованных на сайте работ: «Бутырский дневник»¹², «Вокруг «Поисков взаимопонимания». 1978-1982 гг. и дальше»¹³ и «В. Сокирко в письмах и выступлениях 1956-1979 гг.»¹⁴, естественно, с правками, однако не меняющими сути, в чём легко убедиться, обратившись по ссылкам к сайту.

Название настоящей книги первоначально состояло из двух частей «Поиски взаимопонимания. Бутырский дневник» - первая половина отражала жизненную позицию основного автора В.Сокирко, вторая означала условия, в которых ему её пришлось отстаивать... Но более полное раскрытие жизненной позиции В. Сокирко потребовало выхода за тюремный период: «Бутырский дневник» стал центральной частью книги, и она дополнилась частями 1 и 3.

¹¹ Первое издание: Буржуадемов К. Очерки растущей идеологии. Мюнхен: Издательство «Эхо», 1974. (К. Burzhuadegov. Essays on a Growing Ideology, Echo Press, 1974, Второе издание: К. Буржуадемов (Виктор Сокирко) Очерки растущей идеологии. (Антигэлбрейт), Москва: ОнтоПринт, 2014 Электронная версия - <http://www.sokirko.info/kb/>

¹² См.: <http://www.sokirko.info/Tom10/index.html>

¹³ См.: <http://sokirko.info/ideology/vokrugpoiskov.html>

¹⁴ См.: <http://www.sokirko.info/ideology/pv1.html>

Тексты «Бутырского дневника» относятся к периоду января-сентября 1980 г., когда Витя находился в заключении в качестве обвиняемого по ст. 190-1 в связи с его участием в самиздатской деятельности (соредактор Свободного московского журнала «Поиски взаимопонимания» в 1979 г. и редактор сборников «В защиту экономических свобод» в 1978-1979 гг.). Строго говоря, этот «дневник» следовало бы назвать «пост-дневником», т.к. Витя писал его уже после выхода из Бутырки и закончил в апреле 1981 г. В отличие от Витиных, мои дневниковые записи, включённые в «Бутырский дневник», писались «по горячим следам». Приложениями к этой части являются документы из материалов уголовного дела и запись состоявшегося над ним суда (сентябрь 1980 г.), а также записи Витиных размышлений над прочитанными в Бутырке книгами.

В части 1 («Поиски взаимопонимания в ближнем и дальнем окружении») - Витиные статьи и обращения, написанные незадолго до ареста, высказывания о Вите близких людей, а также «Объяснительная записка», написанная в тюрьме.

В части 3 («Поиски взаимопонимания продолжаются») - обвинения в адрес В. С. со стороны большинства ближнего диссидентского круга, его (Вити) защита меньшинством диссидентов и самозащита того времени (1980-1981 гг.).

В «Приложениях к книге в целом» представлены: а) Витиные сценарии двух (из 107) диафильмов, а именно: о шабашке 1979 года и с размышлениями о событиях «года Бутырки»; б) запись суда над соредактором «Поисков» Г. Павловским (1982 г.)¹⁵; в) «Дневник мелкого процесса» (посвященный событиям 1973 года, когда Витю судили за отказ от дачи свидетельских показаний по уголовному делу Якира и Красина)..

«Бутырский дневник», как и предшествующие ему туристские дневники, мы в 1980-х гг. давали читать только

¹⁵ Свободные записи судебных процессов над соредакторами «Поисков» В. Абрамкиным и Ю. Гриммом (1980), к сожалению, никем из присутствующих не велись

близким людям. «Дневник» начинался коротким Витиним предисловием: *«Пишу и очень надеюсь, что семь моих тюремных месяцев, 225 бутырских дней, для нашей семьи останутся единственным путешествием в знаменитый Архипелаг, что этого опыта хватит на всех близких. А для этого надо все поточнее вспомнить и понять самому, как вдруг и почему оказался на одном из его островов. Почему нежелательные арест, тюрьма и суд вдруг стали казаться жизненной вершиной. И вместе с тем - простой ямой-пропастью»*

Лидия Ткаченко Ноябрь 2014 – март 2015

Дополнение. В помощь читателю, пожелавшему узнать больше о человеке, чьи воспоминания и статьи-размышления он, возможно, настроился читать, я прилагаю свой рассказ о подаренном мне судьбой супруге и его родителях - «О Вите».¹⁶
Л. Т.

Л. Ткаченко. О Вите

Прочтя рассказ нашей старшей невестки Аси¹⁷ о том, что она увидела в Витиной самиздатской книге "Память о маме"¹⁸ и что сложилось у неё за 15 лет собственного касания к приобретённым родственникам, я пообещала, что вместо разбора её видения общей картины и частных опишу своё представление о "феномене Сокирко" (термин из газеты "Русская мысль"). Моими инструментами будут искренность и трезвость, т.е. я надеюсь не допустить приукрашиваний.

Меня, к сожалению, могут подвести слабеющая память и нефилософский склад ума, но в своей интуиции на правду я не сомневаюсь. Я буду для надёжности использовать Витины высказывания, сохранённые в разных наших архивных томах. Заранее сообщаю, что мой рассказ (очерк?) будет написан доброжелательной краской в противовес "чернухе" (определение первого читателя Асиного разбора жизни Витиной семьи). Наверное, не появись Асина "чернуха", много лет ещё я не собралась бы изложить свою благодарность судьбе, уготовившей мне совместную жизнь, любовь и дружество с этим человеком.

¹⁶ См.: http://www.sokirko.info/family/About_Vitya.html .
Писано в 2005 году.

¹⁷ Ася Александровна Сокирко (в девичестве Махлина) - жена старшего сына В.В. Сокирко и Л.Н. Ткаченко – Артема Викторовича Сокирко.

¹⁸ См.: <http://sokirko.info/family/mama.html>

До студенческих лет

Витя родился в первый день января 1939 года в семье военнослужащего - авиационного техника (которому тогда было 30 лет) и медсестры (24-х лет). А ведь мог бы и не родиться: врачи не советовали Татьяне Дмитриевне рожать из-за больных почек, сведших-таки её рано в могилу, но уже после рождения последних внуков. Будь она "благоразумной", не было б у меня любимого мужа, а для наших невесток и зятьёв не родились бы мужья и жёны.

На кладбище в Петрищево, где Витины родители лежат рядышком, я сперва благодарю маму за веру в своё главное предназначение - родить и вырастить ребёнка (вырастить первенца-дочку ей не привелось), а затем папу - за его безукоризненно внимательное ко мне отношение и за его ненамеренные уроки поведения во здравии и болезни. Мамины уроки мне тоже часто вспоминаются. А первый из них - обучение меня обращению "мама". В присутствии моей мамы она прижала меня, чужого ребёнка, к своей груди и ласково предложила сказать вслух "мама", а про себя "Витина". И так тепло и защищённо почувствовала я себя на её большой груди, что только секундочка понадобилась мне, чтобы выдохнуть "мама". Это оказалось таким счастьем - получить от судьбы организаторов нашего быта и советчиков в виде мамы-папы (мои-то родители жили далеко, в Волгограде). Жаль, что не смогла я этот урок передать невесткам.

Вступив в войну в ВКП(б), Владимир Климентьевич никогда не был на партийных должностях, но и не порывался выйти. Так что свою веру Витя получил хоть и не с молоком матери, зато с теплотой отца - непорочного коммуниста.

"Как большинство сверстников, я воспитывался в коммунистической вере, сам я долго верил в коммунизм, и в будущем мне хотелось бы называть себя этим именем (не люблю немотивированных, не выстраданных измен своей вере)" (из самиздатской статьи "Размышления о социализме").

Доставшиеся Вите на период возмужания 1953-56 годы не посеяли безверия, разные комсомольские посты (один год был секретарём комсомольской организации школы) не оттолкнули от общественной работы, а наоборот, породили желание сделать эту работу живой и нужной. Подтверждением тому – сохранившийся ответ на его письмо из журнала "Юность" от 29.05.1956. - реакция на его предложения по искоренению формализма в комсомольской работе.

Старшеклассные годы - время составления своей библиотеки из букинистического магазина на старом Арбате (деньги в основном от не съеденных завтраков), составление своей картины мира, осмысление связей исторических событий и дружбы со странными, опальными учителями.

*"Первые признаки моего грехопадения появились ещё в 1955 году, когда я отдал уважаемому историку и директору школы на консультацию свои недоумения в письменном виде после чтения "Краткого курса ВКП(б)". Ответа на свои вопросы я не получил, зато с заводского парткома затребовали данные об отце на предмет выяснения причин уклонений сына... На моё счастье уже готовился XX съезд, и коренные изменения готовились не в моей судьбе, а в судьбе всей страны. От меня же доброжелательные учителя потребовали только сжечь все "неправильные бумаги". По настоянию родителей я обещал и действительно сжёг наиболее сомнительные из них на газовой плите ("Память о маме")*¹⁹

1956 -1961 гг.

Мечту об обучении на историческом факультете МГУ пришлось запрятать в глубины памяти. Родители и уважаемый Витей учитель советовали приобретать нейтральную инженерную профессию. Деканат нашего факультета

¹⁹ См.: <http://sokirko.info/family/mama.html>.

безошибочно назначил Витю старостой группы, и все годы учёбы он не только сам добросовестно учился, но и одноклассников тянул: вёл бои с пропусками лекций, оживлял комсомольскую работу, убеждая всех стремиться к званию "группа коммунистической учёбы". На четвёртом курсе он - один из организаторов успешного училищного диспута "О времени и о себе" (идея - в наше время не должно быть равнодушных к общественной жизни, к задачам нашего общества). Одноклассникам устных и письменных дискуссий на всякие темы от него доставалось больше всех.

На встрече одноклассников в честь 40-летия окончания МВТУ им. Баумана, состоявшейся у нас дома, выпускник из второй сварочной группы принёс сохранённые им мелко исписанные листы одной из таких дискуссий, что безотказно окунуло собравшихся в студенческую жизнь, в которой добродушный увалень, с под нуль стриженной головой и значком Мао Цзе-Дуна, подчиняясь внутреннему призыву участвовать в улучшении жизни для скорейшего прихода коммунизма, вовлекал окружающих (не спрашивая их желания, не дожидаясь удобных моментов) в обсуждение насущных проблем настоящей и будущей их жизни в нашей стране.

Дискуссии выявляли вопросы, на которые он не может убедительно ответить, и он ищет ответы в первоисточниках - по собственному желанию штудирует Ленина, Маркса, экономистов. Прочитанные собрания сочинений Ленина и Маркса до сих пор хранятся у нас на даче. Он читает также всё, что находит о проблемах социализма в Китае и на Кубе, в Югославии и Венгрии и, конечно, в нашей стране.

Трудиться по-коммунистически звали призывы на целину. После первого курса ездили только остро желающие, их набралось 19, они использовались на стройках, а после второго - весь наш курс, работавший на косьбе и подборке валков со скошенным хлебом и на открытых токах, где зерно, дожидавшееся очереди к малочисленным в Кустанайской области элеваторам, мокло и требовало постоянного перелопачивания.

"В спиртовом дурмане гниющего зерна наступало наше отрезвление от трудовой романтики...Люди, которым начхать на нас, использовали наш тяжкий и бескорыстный труд лишь как средство поправлять свои (добавлю, а чаще верхнего начальства, - Л. Т.) дурацкие ошибки. Из героев - добровольцев, мы сползли на ступень услужливых служаек - рабов и даже штрейкбрехеров. Впрочем, в официальном плане всё было наоборот: после возвращения в Москву мне даже вручили медаль "За освоение целинных земель" и надолго записали как бы в "почётные комсомольцы". Однако внутреннее самоуважение было подорвано.

Окончательно оно рухнуло в третий сезон, когда я работал в строительной коммуне измайловского общежития. Надо было обладать моим упрямством и толстокожестью, чтобы записаться участником этого предприятия, подчиняясь притягательному слову "коммуна"... Мои сокоммунники работали лишь из-за суровой необходимости: им грозил или отказ от места в общежитии, или исключение из института...Цинизм, безделье, скука, бессмыслица..." ("Дети и шабашки").²⁰

Потребность в положительной работе привела Витю в СНТО (студенческое научно-техническое общество), сперва на своей кафедре, а затем дополнительно ещё и на кафедре организации производства (от последней ездил в длительную командировку в Таганрог). Из него в конце учёбы вышел неплохой инженер, в любом случае, лучший, чем из меня: его чуткие руки и сейчас находят довольно быстро поломки в механизмах (только в швейную машину он зарёкся залезать), его логичный ум чаще всего составляет правильные технологии изготовления или починки.

Но общечеловеческие законы жизни занимали его голову постоянно, и как следует из написанной на него в те годы характеристики, он "придерживался мнения, что каждый человек должен иметь своё мировоззрение, своё мнение по всем

²⁰ См.: <http://sokirko.info/Part5/Chabarowsk-74/index.html>

вопросам, а вырабатывать такое мнение - это одно из условий сознательного труда на благо общества". А что такое иметь своё, проведённое через сердце и ум, через жизненный опыт, выстраданное мнение? Это значит внутренне освободиться. Следующий естественный шаг - к свободе внешней. Но инакомыслие за пределами студенческой группы активисты того самого общества, чаще всего карьерно ушибленные, терпеть не собирались. Для Вити час Икс наступил в 1961 г., перед XXII съездом партии

"... главное моё преступление заключалось в документе "Критика проекта программы КПСС", направленном в ЦК и "провокационном" выступлении на факультетской конференции. Я был исключён из комсомола с шумом и гамом "за необузданность в марксизме-ленинизме, клевету на советскую деятельность (назвал выборы в Верховный Совет - ширмой партийного руководства. - В. С.) и неправильное понимание товарищества (не назвал имени комсомольца, с которым ранее доверительно беседовал на острые темы. - В. С.)". Моё исключение из института было делом предрешиённым (лишь личное расположение ректора и моё последующее "покаяние" по некоторым пунктам позволили мне всё же получить диплом в 1962г.)". ("Память о маме").²¹

Исключение из комсомола - это ещё и начало маминой гипертонии, и начало нашего сближения. Пять лет мы не представляли один для другого никакого интереса. После случайного общего осеннего похода стали здороваться, встречаясь в коридорах. В этот день мне не захотелось поздороваться, и я отвернулась. Вечером девчонки из общежития сказали, что Витю Сокирко сегодня исключили из комсомола. Утром я бросилась искать его, чтоб извиниться за вчерашнее. Слово за слово, и вот мы уже вместе выходим из училища и не спешим расстаться. Оказывается, что мне очень интересно слушать Витю, а мои незрелые "на ходу" мысли им подхватываются и развиваются. (За следующие 40 лет я

²¹ См.: <http://sokirko.info/family/mama.html>

встретила только двоих, способных радоваться чужой мысли как подарку и развивать её). Где мы ходили, не помню. Помню только сильно стёсанные каблучки моих единственных нарядных голубых туфель.

Пройдёт потом целый год Витиных ненавязчивых, но и неотступных ухаживаний, внутри которого были моё ворочение носом (вроде: "Ямочка на подбородке", "Профиль не греческий"); огромная корзина цветов; лыжный поход в Карелию; распределение, на котором Витя попросился на один завод со мной в Коломну, и многое другое, прежде чем амур запустил в меня стрелу поострей и очнулось моё сердце.

1962-1965 гг.

Витя начал работать на Коломенском тепловозостроительном заводе почти сразу после защиты дипломного проекта (мы защищали его в феврале), а я появилась в Коломне только в сентябре. Конечно, меня отчитали за полугодовой прогул, но я зато хлебнула гор по максимуму: сперва горнолыжная смена в Алибеке и на хижине, потом у родителей дождалась первой альпинистской смены в Цее, а за ней оказалась и вторая и, наконец, в августе поход с друзьями на Алтай. Путёвки на Кавказ были чуть ли не бесплатные - в Училище была мощная альпсекция, а алтайский поход скрытно от меня спонсировал уже работающий Витя, я ж запомнила только большой букет цветов от невесть откуда взявшегося на перроне Вити.

Кроме радости от знакомства с навсегда полюбившимся Алтаем, я привезла в Коломну растерянность от отчуждения друзей. Окрепшая от хождения по Кавказским горам, я должна была бы брать на себя большую тяжесть бивуачных забот, да и требовать более тяжёлого рюкзака, разгружая других, а я этого не понимала и теперь съедала себя за толстокожесть и ревела от потери друзей, как мне казалось, навсегда.

Витя, привыкший к моей невнимательности, просто тихо мне радовался, развлекал прогулками по Коломне и её окрестностям. Разговоры с участниками похода ничего ему про меня не добавили. Он любил меня со всеми моими недостатками, любил, как сказал позже, земную женщину. Удивительно, но прошло всего две недели, и мои беды отступили перед моим вторым открытием Вити, уже не как независимо мыслящего, стойкого, не отступающего от своей главной линии жизни, а как надёжной опоры, источника добра и радости и вообще симпатичного парня. Куда я раньше смотрела?

Мы сняли комнатку с кухонькой в малюсеньком низеньком доме, типичном доме заводского рабочего начала XX века, рядом с заводом. Регистрироваться мы не решились, иначе Витя не смог бы вернуться к родителям и вернуть московскую прописку, а мы оба собирались поступать в очную аспирантуру, да и отрываться от родителей не хотелось.

Витя работал сперва сменным мастером в сварочном цехе, а через год перешёл в Отдел главного сварщика. Я – совсем недолго - помастера в кузнечно-штамповочном, а потом до аспирантуры (с перерывом на дородовой и послеродовой отпуска) в Отделе главного технолога.

По Витиному сообщению (на другой день после первого поцелуя) каждой здоровой семье нашего общества полагалось 2,3 ребёнка. Я начала торговаться с 1, Витя с 3, и огорчённо уступил на 2. Это потрясшее меня понимание молодого человека о правильном устройстве семьи и сильное огорчение Вити, дающего согласие на двоих детей, время от времени выплывало из подсознания в сознание, пока не вызрело в готовность выносить ещё одного ребёнка. Бог дал тогда не одного, а двоих - повезло.

Но в Коломне у нас был только Тёмушка, с рождением которого мы переехали уже в обычный частный дом с множеством комнат, одну из которых в 5 кв.м мы снимали, и с яблочным садом. Вода - в колодце на соседней улице, для готовки и кипячения пелёнок - керогаз, установленный в

холодных сенях, керосин в определённые дни - в керосиновой лавке. И всё же от тех месяцев осталось ощущение полноты счастья. Возвращаясь с работы, Витя подхватывал ведро с нечистыми пелёнками и возвращался почти к заводской проходной, к общежитию, чтоб в вольной воде выстирать пелёнки, которые я потом кипятила, полоскала, сушила во дворе на верёвках, а Витя гладил. Книга, по которой мы растили нашего первенца, требовала идеальной чистоты от пелёнок.

Витя купил бадминтонные ракетки, и на своей безмашинной улице, отодвинув подальше от летающего воланчика коляску со спящим Артёмкой, мы радовались общей игре. Витя даже отпускал меня в заводской спортзал, и я играла в любимый баскетбол. А по воскресеньям он предоставлял мне возможность уходить в читальный зал для подготовки к экзаменам в аспирантуру. В библиотечной тишине я быстро засыпала на раскрытом учебнике, а просыпалась с чувством вины и благодарности. Я до сих пор удивляюсь тому, что 24-летний Витя мог так ценить и пестовать мои потребности, хотя его собственные потребности в свободном времени были постоянно неутолёнными.

Своё членство в комсомоле он восстановил ещё до моего приезда, активно откликаясь на комсомольские инициативы. Отказываясь от дальнейшего осмысления мира и участия в общественной жизни он не собирался и нацелился на поступление в аспирантуру на кафедру философии, для чего читал Маркса, открывал для себя его и Энгельса личности, вгрызался в Гегеля, которого Маркс считал своим учителем, читал утопистов, как и он мечтателей о лучшей жизни для своего народа.

В начале 1963 г. Витя заканчивает "Мировоззренческие наброски".

"В "Набросках" сформулировано моё миропонимание, моя модель действительности, кредо, символ веры (символ веры, потому что здесь почти нет доказательств, одни гипотезы, ждущие доказательства), приведён в относительный порядок накопленный ранее материал: перепечатано большое

количество ценных для меня цитат. Сейчас у меня одно желание, чтобы "Наброски" были последней работой на полку, для себя, желание делать что-то для всех открытое... Цель - уяснить общие закономерности мира, правильно предвидеть будущее, чтобы правильно действовать"

Продолжая считать коммунистическое общество желанным для себя и людей, он искал пути к нему, через критическое отношение к официальной теории - ибо *"она занимается больше оправданием политики руководства, а не установлением научной истины"*. Коломенские годы - время горячей поддержки *"развития кибернетики, которое даёт возможность переосмыслить все результаты общественных наук, поставить в будущем на место качественных законов - количественные"* ("Некоторые вопросы философии кибернетики", Машинописный текст, 1964 г., семейный архив).

На третьем году работы на Коломенском заводе Витя пытается поступить в аспирантуру на кафедру философии в наш институт, где был разрешён приём своих выпускников, но не был отпущен с завода (не получил характеристику, а характеристику для моей аспирантуры мы с ним "выходили", поочерёдно напрашиваясь на приём к тем, кто должен был поставить подпись). В следующем, 1965 году, когда три обязательные года отработки по распределению закончились, наша кафедра философии аспирантов не набирала.

Тогда он попытался поступить в аспирантуру Института философии АН СССР, чтобы заняться социологическими исследованиями по темам философского профиля. У нас сохранился его реферат "Неудовлетворённость трудом как один из факторов технического прогресса", выросший из доклада, сделанного на одном из семинаров в этом институте, которые Витя посещал после возвращения из Коломны. Кажется, основная причина отказа в приёме была - отсутствие диплома историка. Не получилось также поступить в аспирантуру кафедры философии МЭИ (Московского энергетического института).

Но это было позже. А пока шла наша "молодая Коломна". Событий было много: в магазинах надолго пропадали масло и сахар, бывали перебои с хлебом; я впервые воспользовалась услугами ателье и сшила из тяжёлой зелёной, мамой подаренной ткани платье-костюм (так называлась пара юбка с пиджачком, не имеющим подкладки); мне неожиданно как молодому специалисту и матери-одиночке (мы же еще с Витей не расписались) завод дал комнату в 4-комнатной квартире, в которой было вволю воды, на общей кухне стояла газовая плита, да и комната была аж 13-и квадратных метров. На санках мы перевезли своё имущество, основной частью которого была Артёмкина кровать, отскребли от своих зарплат (95 и 130 руб.) денег на диванчик, а стол в виде сплющенного с одной стороны эллипса Витя вырезал из толстой фанеры и поставил на ножки сам.

И ещё Витя сделал из посылочного ящика переносной стульчик для нашего сыночка, куда мы его по летним воскресеньям и усаживали, отправляясь в лес, и где он охотно и подолгу сидел и даже спал, прислонясь к мерно покачивающейся на ходу широкой папиной спине. В то лето, когда Тёмушке исполнялся годик, вся природа особенно щедро показывала нам свои богатства, а может просто камертоны нашего счастья отзывались на всё, чем могут удивить листочек и дерево, небо и облако, ласка воды и вкус ягоды.

Осенью 64-го я сдала экзамены, став аспиранткой своей кафедры, переехала с Артёмкой к Витиным родителям и заменила пучок на голове химической пышиноволосостью. Витя снова оказался один в Коломне. Зато в Москве его ждали и радовались, встречая, родители и жена с сыном. Он терпеливо дорабатывал обязательный трёхлетний срок (поступившим в аспирантуру вроде меня допускался двухлетний) и продолжал искать в книгах ответы на свои вопросы.

В те годы я постоянно поражалась тому, как прочитанное шло ему на пользу: выращенный в юности мировоззренческий "ствол" интенсивно обрастал новыми ветвями и веточками, становясь плодоносящим, своим трудом выращенным деревом.

Его новые знания не могли рассеиваться, т.к. были предназначены не для совершенствования себя, своего ума. Сам себе Витя был не интересен. Важно было изучить, понять политические и экономические ситуации, закономерности, чтобы знать наверняка естественный путь страны и на этом пути быть ей полезным. Он уже освободился от мифов и иллюзий реального социализма, изжил их. Доверие же к людям и их вековым идеалам позволило ему не впасть в грех очернительства существующего строя, а направить усилия на поиски выхода.

Например, кибернетику он воспринял как науку, открывающую фантастические возможности для коммунизма, т.к. она обещает сделать производство полностью автоматизированным, а людей, значит, свободными от обязательного труда. Научная фантастика была интересна тем, что она проигрывала варианты будущего.

1966 -1970 гг.

После разрушения надежды на профессиональное занятие философией или социологией Витя нацеливается на техническую науку: добивается доступа в заводскую лабораторию и своего участия в проводимых там экспериментах, связывается со своей кафедрой, подаёт две заявки на подтверждения изобретений совместно с преподавателями МВТУ и, наконец, осенью 1967 г. поступает в заочную аспирантуру на кафедру сварки, делает экспериментальную установку, проводит свои опыты на заводском оборудовании, пишет обзоры и статью.

В 1966 году в нашей жизни началась полоса диафильмов, ставших нашим увлечением на всю жизнь. Она, к сожалению, отделила нас от туристских друзей, но принесла нам много-много новых знакомых, некоторые из которых, наиболее близкие по духу и по взаимным симпатиям, остались друзьями до сих пор. Первый диафильм - о культуре Сталина. Выговорившись, Витя стал писать сценарии о походных

впечатлениях, о северных деревянных церквях, об истории России на видах Московских церквей и т.д.

Но наступает 1968 год.

"Я считаю, 1968 - кульминацией не только моей жизни, но и жизни многих моих сверстников... февраль - первая подпись под письмом в защиту Галанского, Гинзбурга и Лашковой... май - рождение нашей дочери Гали...июнь - подпись под письмом в Верховный Совет СССР с предложениями ратифицировать Пакты ООН о политических и экономических правах человека... сентябрь - первые Хроники [«Хроника текущих событий». – Л. Т.]... октябрь - три дня стояния перед зданием суда над демонстрантами на Красной площади ...ноябрь - подпись под обращением к Президиуму Верховного Совета СССР с просьбой пересмотреть судебное решение по делу демонстрантов, подпись в защиту права крымских татар на возвращение в Крым. ("Наши горы").²²

Вите, бросившемуся в стремнины движения в защиту людских прав, недостаточно было стать самому "подписантом", какое-то время он верил, что можно привлечь друзей и знакомых. Оказалось, что разговоры "глаза в глаза" почти неэффективны. Он делает попытку выразить призыв к гражданской смелости в рассказе "Будем альпинистами дома".²³ Местом написания была палатка наблюдателей на Ложном Чатыне на Кавказе летом того же 1968 года. В это лето Витя получил третий разряд по альпинизму (выполнил своё желание "догнать" меня, в студенческие годы несколько раз бывавшую в альплагерях). Согласие же побывать наблюдателем за восхождением инструкторов по сложному маршруту было продолжением его восхищения горами и их смелыми покорителями, казавшимися к тому же близкими по духу. Цель его сочинения была *"показать, что достойный человек должен рисковать жизнью и что если человек это поймёт и*

²² См.: <http://sokirko.info/Tom2/gory.html>

²³ См.: <http://sokirko.info/Tom2/budem.html>

преодолеет свой страх в горах , он ту же смелость проявит...в делах общественных".

Не понимал он тогда, *"что одно дело - рисковать своей жизнью при общественном одобрении, ради "родного коллектива" и общепризнанных целей, и совсем другое дело - против "коллектива", против одобрения знакомых и близких людей. Что так называемое гражданское мужество - совсем другое качество, едва ли не противоположное воинскому героизму или альпинистской смелости. Сейчас я могу только предположить, что для укрепления такого рода мужества нужен предварительный опыт независимой от коллектива жизни, опыт отрыва от коллектива. Что-то подобное тому, что мы с Лилей испытали в самостоятельных походах в Фаны или по Северу... Однако у большинства наших друзей, у большинства советских людей нет опыта самостоятельной жизни, опыта одиночества. Поэтому так малочисленно и слабо оказалось наше движение в защиту прав..."* ("Наши горы")

Поиски ответов на вопросы "как жить?" и "что делать?" приводили подчас к удивительным выводам. Например, что пропаганда, т.е. вдавливание в головы людей любых, даже самых правильных идей и убеждений, вредна. Следует полагаться лишь на их естественное и ненасильственное распространение. Всё остальное - экстремизм.

В экстремистских группах задача развития независимой личности вновь откладывается, отодвигается в далёкую перспективу.

Боязнь немедленного преследования за открытое выступление осуждает человека на тайное озлобление и совращает его в экстремизм (там же)» («Наши горы». Раздел III).²⁴

(Хоть я и стараюсь писать только о главном, делать цитаты пореже и короче, но не привести здесь притчу о нашем любимом В.Г. Короленко не могу, тем более, что мне

²⁴ См.: http://sokirko.info/Part5/Sev_Ural_70

представляется: Витя одной с ним породы. Описывая свой открытый отказ от присяги новому царю Александру III и последующую за этим иркутскую ссылку, Владимир Галактионович вспоминает, сколько недоумения и непонимания он встретил со стороны своих друзей и коллег - политических ссыльных. И только один отзыв оказался исключительно верным: "Если бы Вы приняли присягу, то потом стали бы террористом").

Только тюрьма в 1980 году, где Витя свободно говорил следователю: "Да, мой псевдоним К. Буржуадемов, да, я написал..., и участвовал..." окончательно позволит ему осознать себя лояльным к власти человеком, желающим жить в своей семье и в своей стране и стремящимся предотвратить опасные для жизни разломы, подсказывая пути мирного выхода страны к настоящему развитию. А в 1968 году он просто интуитивно делал шаги в сторону сочетания лояльности и свободы.

Прошло профсоюзное собрание на трубном заводе (протокол его Г.Павловский не удержался и напечатал в своём журнале " XX век" в начале перестройки - за колоритность выступлений), где Витино подписание было осуждено. и он предупреждён о том, что *"в случае повторения им подобных поступков, коллектив не потерпит его в своих рядах"* ("Письма 1956 – 1979 гг."). ²⁵ Прошло заседание родной кафедры, куда пришёл сигнал с завода о *"политически незрелых действиях аспиранта Сокирко В.В."* (там же), и зав. кафедрой, который впоследствии много лет был ректором МВТУ, Г.А. Николаев пресёк обсуждения и размышления преподавателей своим вывороченным заявлением, что, дескать, если завод даёт отрицательную характеристику, то какая может быть речь о пребывании в аспирантуре. Между этими заседаниями были запреты на отлучку с рабочего места, даже в лабораторию, где стояла его экспериментальная установка, на подключение её к

²⁵ См.: <http://sokirko.info/ideology/pv1/36.htm>

мощному генератору (без чего опыты были невозможны) и раздрызг с научным руководителем.

В этот раз стать лояльным инакомыслящим Вите не удалось - члены правящей нами партии готовы были выжигать открытое перед властями и миром инакомыслие. Следующее письмо - протест против исключения Солженицына из Союза писателей он не подписал, и больше ему подписываться не предлагали.

Однако чувствовать себя в безопасности не получалось: выше его сил было самому отказаться от чтения сам- и тамиздата, особенно "Хроники текущих событий", и не мог он не ходить за ними на квартиру Якира, не мог не пытаться отпускать в самиздат свои размышления. Витя привык думать с помощью ручки и бумаги, а к этому времени написал уже много толстенных писем, рецензий и философских осмыслений глобальных вопросов. Одно из них "Сущность коммунизма" стало базой его первой книги, отпущенной в самиздат в 1970 году и вернувшейся из Мюнхена тамиздатским томом с двумя (из четырех в рукописи) приложениями. Название книги - "Очерки растущей идеологии". Автор Буржуадемов видит сам и показывает убедительно, что жизнь в нашей стране прорастает буржуазно-демократической идеологией, и это хорошо, и этому надо помогать.²⁶

С этой книгой связан один из счастливейших моментов в моей жизни, момент необычного признания Витиной значимости. В Нью-Йорке (1991 г.) нас позвал к себе американский издатель "Хроники" Эдвард Кляйн, свободно говорящий по-русски. Сначала я была поражена старомодной добротностью обстановки дома, затем удивлением его хозяина перед Витиным прозрением: "Как же Вас не задавила коммунистическая идеология? Откуда такое понимание буржуазных ценностей?" Как я гордилась Витей в эти минуты и продолжаю гордиться сейчас!

Да, судьба подарила мне в мужья человека, умеющего не только мечтать о светлом будущем для нашего народа, для

²⁶ См.: <http://www.sokirko.info/kb/>

наших детей и следующих веточек семейного древа, но и сумевшего с помощью старательских поисков искорок нужных ему знаний о наилучшем устройстве окружающей жизни и своей интуиции увидеть, какие из уже идущих процессов надо поддерживать и как. Не фантаст, создающий свои прекрасные нереальные миры, а строитель-мечтатель, стоящий на твёрдой родной почве.

Э. Кляйн подарил нам одну из изданных в Америке "Хроник" с Витиным большим портретом на задней обложке и совершенно неожиданно... 500 \$ в виде гонорара (?), начавших наш путь к квартире-кормилице, позволяющей сейчас чувствовать себя независимыми от детей и не бояться государственных наездов на пенсионеров. И уже вдогонку мне, совершенно ошалелой, он высыпал в руку кучу жетончиков на метро, когда услышал, что мы не ездим, а ходим пешком и сейчас из Манхэттена в Бруклин тоже пойдём.

Но вернусь в 70-ый год, очень напряжённый для нас: не ладилась моя диссертационная работа - от меня ускользал смысл проделанных экспериментов с гофрированием трубок для сильфонов, не желая укладываться в стройную теорию. Витя помогал, сколько мог, но ведь главными у него были "Очерки..." и "Хроника" (он стал её перепечатником со 2-го номера), был самиздат, который надо было читать быстро и, не задерживая, отдавать, а что-то хотелось перепечатать. К тому же всё больше одолевал нас диафильмовский азарт: написать об увиденном в летних походах применительно к слайдам, вложив свои знания и понимание (Витина задача), отредактировать, подобрать музыку и записать на магнитофонную ленту (подключалась я), а затем показать гостям (Витя показывал, я обеспечивала чайное застолье). К лету 1970-го было записано 26 диафильмов. Детей обихаживали: Галю - моя мама, Тёму - Витина.

В 1970-м мы могли себе позволить только двухнедельный байдарочный поход, в который отправились вместе с Игорем Крюковым, архитектором, индивидуалистом, обладателем аристократических манер. Встречи с местными жителями

("куркулями" по определению встреченных туристов), умеющими обходиться без госпособий в виде пенсий, и постоянное общение с человеком индивидуалистического склада повернули Витю к оценке значимости носителей таких направлений для разрушения родовой коллективистской устойчивости, препятствующей коренным реформам нашего общества. Ведь ни в своей среде (инженерной), ни в диссидентском кругу (в основном из гуманитариев и естественников) людей, приветствующих главную ценность буржуазной идеологии - свободу собственного дела - не находилось. Все мечтали только о свободе слова и вероисповедания (совести).

1971 – 1974 гг.

В феврале 1971-го Витя перешёл работать в академический институт (Центральный экономико-математический институт АН СССР), я в июне защитилась-таки, а в декабре на последующие 21 год стала патентным работником в Институте патентной экспертизы. Витя *"работал со страстью изголодавшегося, с напряжением преследуемого... Я откровенно торопился выйти на диссертационный материал, чтобы через три-четыре года защититься и догнать Лилю. Неустойчивость же положения "хроникёра" только подстёгивали мою спешку: пока с Петром (Якиром. – Л. Т.) и с «Хроникой» ещё ничего не случилось, может быть, и удастся сделать диссертацию...*

«...И потом я привык к мысли: голова боится - руки делают. Вдруг да получится? У нас же был семейный опыт, когда успешно выходили из, казалось бы, безнадежных ситуаций. Хорошо помнится пример нашего северо-уральского похода, когда максимальным напряжением сил при небольших шансах на успех мы смогли-таки во-время вернуться в Москву» ("Наши горы").²⁷

²⁷ См.: там же.

Все перипетии полутора лет работы в ЦЭМИ, причиной увольнения из которого стал отказ в выдаче допуска к секретным материалам, бои за диссертационные материалы с начальником отдела и доведение до предзащиты подробно описаны в сб. "Наши горы".²⁸ Я не стану в них вдаваться. Даже эпизод с Витиным «шантажом» бывшего начальника, так неоднозначно воспринятый друзьями, не стану обсуждать. Сборник "Наши горы" в нашей домашней библиотеке в открытом доступе, а вне дома - в пяти архивах. Скажу только, что к этому времени моё доверие к Витиной интуиции (совести), ведущей его по жизни и не позволяющей изменять своим устоям, не позволяющей добавлять зла в этот мир, уже невозможно было поколебать. Применить к лицемерному и жестокому человеку шантаж, если только он один мог подействовать, это без всяких натяжек значит - уменьшить количество зла. Витины "Тезисы о морали", написанные в начале 1973-го ²⁹, наверное, не только для меня несли освободительные от людского мнения мысли, расчищая поле доверия к голосу своей собственной совести.

Гораздо сложнее (из-за новизны) для Вити оказывалось участие в правозащитном движении. Начав с попытки с помощью своего литературного опуса убедить друзей и знакомых стать смелыми подписантами ("Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день за них идёт на бой" был его девиз) и продумывая, куда может завести неоглядная смелость, Витя понял, что сам "туда" не хочет. Реальная жизнь предлагала выбор: между жизнью на свободе «с нечистой совестью» и тюремной жизнью за действия, совершаемые человеком по зову совести, но не дозволенные существующей властью. Витя склонился к первому варианту. Он нас сильно любил и не мог позволить себе переложить на женские и детские плечи мужские семейные тяжести. Но ведь мир, в который вступили наши дети, пропитан рабской психологией, полон

²⁸ См.: <http://www.sokirko.info/Tom2/>

²⁹ См.: <http://www.sokirko.info/Tom2/fall.htm> 1

несправедливостей, позорно плохо устроен. Участвовать в его выздоровлении - и на это должно хватать сил у мужчины. Значит, надо найти свою меру участия, которая, конечно, всегда будет казаться малой по сравнению со смелыми людьми, с которых хочется брать пример. Но он твёрдо определился - выбранная мера участия не должна доводить до тюрьмы, эмиграции, смерти.

Отказ от открытого подписанства Витя компенсировал участием в перепечатывании "Хроники текущих событий...", сообщавшей новости из политлагерей, о судебных и внесудебных преследованиях, новости самиздата и др., и работой над своим собственным самиздатом, не подписанным или под псевдонимом. Члены Инициативной группы - Ковалёв, Великанова, Ходорович объявили, что распространяли и будут распространять «Хронику», не исключая передачи её на Запад, и этим прямо утвердили её открытость и «легальность», хотя и редакция, и корреспонденты себя не объявляли. На Западе она считалась подпольным журналом. Со временем охранители советского строя хроникёров расклевали... Витя до сих пор гордится своим участием в распространении «Хроники».

Но почти сразу в околехроникёрном кругу Витя столкнулся с тем, что было глубоко неприятно его инстинктам старого комсомольца: он практически поверил, что НТС - издатель журнала "Посев", в котором было много интересной для него информации и хлёсткой публицистики, по-прежнему призывает к вооружённой борьбе с советской властью. Больше всего на свете Витя не хотел гражданской войны, где хроникёры могут оказаться на враждебной нынешнему народу стороне. Но если эта перспектива не была столь уж близка, то собрать всех диссидентов в несколько вагонзакв, убеждая свой народ, потряхивая журналами "Посев", что эти отщепенцы связаны с зовущими к вооружённой борьбе с советской властью, нашим КГБ-шникам ничего не стоит.

"Уже не на одном процессе инакомыслящих НТС исправно играет провокационную роль пугала, пользуясь которой судьи

доказывают преступность любого инакомыслия, ведущего якобы прямо к диверсиям НТС" ("Наши горы").³⁰

Свои просьбы-требования о размежевании он обращал к окружению П. Якира и к нему самому до его ареста. "Выступите с заявлением о непричастности к НТС и с объяснением по поводу изъятых материалов, не допускайте своего ареста, Пётр Ионович", просил Витя. "Нет", - в один голос отвечали все. - "Никаких заявлений. Сейчас нужно держаться твёрдо". У них была своя мера участия и не было в ней знака: "Запрещено - далее тюрьма", хотя, конечно, никто в тюрьму не хотел.

"Что же делать? Ожидать вместе со всеми неизбежного конца или отходить от преследуемой, т.е. ставшей де-факто нелегальной Хроники? Первому мешали убеждения и заинтересованность в жизни и работе, второму мешала простая порядочность и чувство причастности к лучшим людям нашего времени" ("Наши горы").

После посадки Якира Витя собирается и обращается с большим, продуманным письмом к анонимной редакции "Хроники", прося её *"принять действенные меры предосторожности... в смысле максимального возвращения в рамки легальности... Ленинское презрение к ликвидаторству, к отказу от нелегальной борьбы воспитано в нас с детства, но следует ли культивировать его дальше?... Что же касается чести и достоинства, то как раз эти чувства отмицения, борьбы, "око за око" и тянут нас порой на революционный в конечном итоге путь"* (там же).

Конечно, Витя понимал, что "продвинутые" в смысле, более радикальные, чем он, правозащитники будут отмахиваться от него, как от труса, а некоторые и вовсе заподозрят в нём КГБ-шного наймита, и всё же он продолжает твердить:

"Мы должны жить не в тюрьме, а на свободе, жить и работать вместе со всеми, в том числе с властями и с поддерживающим их большинством" (там же).

³⁰ См. <http://sokirko.info/Tom2/khronik.html>

Жизнь продолжала подкидывать загадки. Пётр "потёк" и арестованные после него - тоже. Каким непонятным, немислимым способом достигают капитуляции твёрдых диссидентов? Единственной опорой казалась решимость: если вызовут, то "не вступать в игру с дьяволом", закрыть уши и сразу отказаться от показаний. Таково было общее настроение, и Витя ему поддался, как бы заразился непримиримостью ... от страха перед возможной своей слабостью.

Первое испытание ему было назначено на 5 марта 1973 г в Лефортовском СИЗО. Давать показания по делу Якира и Красина Витя отказался. Отказался и на повторном допросе. Беседовавший с ним в этот раз прокурор объявил, что он будет привлечён к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. Следователь на прощание сообщил, что в ближайшую субботу вызовет меня.

Два дня терзаний, как помочь дорогому человеку выпутаться из коллизии, когда и давать показания нельзя (вдруг кому-то повредишь) и не давать нельзя (возможен суд и увольнение вслед за Витей с уже полюбившейся работы), прорвались Витиным разрешением мне дать показания о фотоаппарате (так случилось, что именно я отдавала его Красину) и больше ни о чём. Все размышления, разговоры, описания допросов, суда и даже вклинившейся перед судом удачной предзащиты Витиной диссертации уже по сложившейся привычке были оформлены в машинописном виде под названием "Дневник мелкого процесса"³¹ (раньше и потом Витя перепечатывал мои походные дневники, снабжая их своими обильными комментариями, и дневники приобретали смысл и привычный для чтения вид).

Ужасно тянет хотя бы упомянуть обо всех переживаниях тех двух месяцев, но я всё же удержусь. С благословения адвоката-правозащитника Софьи Васильевны Калистратовой Витя на суде признал свою вину, согласился дать показания

³¹ См.: Приложение к книге в целом – П.0.3.1.

относительно фотоаппарата и потому "отбывал" 6 месяцев исправительных работ за своим рабочим столом, в колхозе, в Крыму, используя заработанные в колхозе две недели отгулов и опять на свежем воздухе - в совхозе. Связанные с судом переживания прибавили Вите спокойствия и уверенности, он навсегда вернулся к свойственной ему позиции: не отказываться от разговоров и показаний, не скрывать своих убеждений (например, в полезности "Хроники" и самиздата), но в то же время не давать конкретных показаний, избегать всего, что может быть поставлено в вину кому бы то ни было.

1974 - 1979 гг.

В 1974-м в районном КГБ Витю "кадрили" в стукачи и получили ответ: "Я согласен беседовать с Вами на любые темы, работать на взаимопонимание, но... только я не буду скрывать содержание этих бесед от своих друзей. Это неперемное условие". Злобную реакцию описывать не буду. Зато оставили в покое.

Защитить диссертацию не удалось - разобитые КГБ-исты многократно запрещали институтскому треугольнику ВНИИНефтемаша (куда Витя перешел из ЦЭМИ в конце 1972 г.), выдавать характеристику, даже после окончания срока исправительных работ. Путь в официальную науку оказался перекрытым, и Витя с головой ушёл в работу над своими собственными исследованиями в истории, экономике, мировоззрении, а деньги для растущей семьи он начал зарабатывать на шабашках (летом 1974-го мы переехали в купленную в кредит квартиру, родились Анечка и Алёшик, а Витя провёл свой отпуск и отгулы на шабашке под Хабаровском).

Шаг за шагом наступало освобождение. Немало этому способствовало оформление Витиных соображений на всевозможные темы в наших дневниках и диафильмах и их последующее обсуждение вслух с читателями и зрителями. Не упускал он случая писать и письма-рецензии в официальные

издания и знакомым, а в сентябре 1977-го включился в обсуждение проекта Конституции СССР, послав Открытое письмо двум адресатам: Брежневу и Сахарову. Брежнев смолчал, а Сахаров (скорей всего кто-то из его окружения) передал составителям бюллетеня "Вокруг проекта Конституции СССР". Витины предложения выпирали из диссидентского единообразия и потому подверглись довольно значительной цензуре по важным для него пунктам Конституции. Конечно, он послал составителям свои отчётливые возражения. Но...поезд ушёл.

Меня всегда поражало Витино, как сейчас говорят, "интерактивное" чтение: он делал выписки и тут же их комментировал. Со временем записи разных лет по наиболее важным для него книгам и статьям он собрал и обработал в своей книге "Советский читатель вырабатывает мировоззрение". Мне хочется из неё привести две цитаты (обе из комментариев к сборнику статей "Демократические альтернативы"):

"Надо кончать споры и просто постараться ужиться друг с другом, помогать и работать совместно. Работая над своими убеждениями, над выяснением собственных идеалов, не надо огорчаться, что другие люди думают по-иному. Даже спорам о том, куда "пойдёт Россия после демократизации" не следует придавать большого значения. Ибо это решение будут принимать сами люди, народ, а на их волю будут действовать как давние традиции, воспитание, привычные идеи - в пользу сохранения социалистических форм жизни, так и требования рациональности, эффективности, свободы - в пользу рыночного хозяйства, капитализма."

"Сводить свои задачи к политической борьбе без экономического преобразования, которое только и способно подвести устойчивую базу свободного труда под великолепное здание демократии - значит, быть экстремистом. Как дом строится с фундамента (хотя, конечно, не фундамент - самое главное в доме), так и демократизацию нашей жизни надо начинать с хозяйства, с экономической повседневности. Глупо, конечно, всё сводить к фундаменту и им ограничиваться, но не

менее глупо и строить крышу на воздухе. Более целесообразно ограничиться подготовкой элементов дома".

В первой цитате спокойная уверенность в повороте на демократический путь и доверие к людям, к тётям Маням и дядям Колям. По мере роста их желания рациональной и свободной жизни рыночная экономика, которая в виде теневой уже зародилась, будет усиливаться и светлеть-здороветь. Эта мысль, совершенно чуждая интеллигентам - диссидентам, считающим именно себя мозгом, учителем нации, конечно, не могла быть воспринята в те годы. Вите симпатизировали, но к его идеям не прислушивались. Диссиденты строили крышу дома, не беспокоясь о стенах и фундаменте и не дожидаясь, когда остальные сограждане, понесут свои камни в фундамент дома. И так я это явственно представляла и так жалела Витю, не находящего себе единомышленников. Витя не позволял себе переживать по этому поводу, он был рад и тому, что с ним спорили.

Любому, кто слушал, он старался показать естественность и моральность рыночных отношений, неэффективность плановой системы хозяйствования с её безрассудной растратой материальных и трудовых ресурсов. И в организованной им в 1977-ом дискуссии вокруг призыва Солженицына "Жить не по лжи!", Витя отстаивает самостоятельность в работе и жизни, выдвигая тезис: "Чем лучше для нас самих, тем лучше для общества и его будущего". (Я не знаю, почему открытие Адама Смита: свободное преследование каждым своих частных выгод в итоге даёт, как правило, наибольшую сумму благ для всех, - Витя представлял в таком виде. Наверное, так его легче впустить каждому в своё сознание). В дополнение к лозунгу "Жить не по лжи!" Витя предложил: "Жить и работать по собственному уму и воле!", даже если это и будет нарушением официальной устаревшей морали.

"Житейская практика показала мне, как трудно, почти невозможно сделать собственный нравственный выбор, если он противоречит господствующим моральным убеждениям. Необходим хотя бы один человек,

который подтвердил бы правильность твоего выбора... Необходимо затратить много труда, чтобы критерии нравственного выбора сегодняшних людей сблизилась и составили то самое твёрдое ядро, которое остаётся на сегодня вне сферы нравственной свободы"

Во исполнение своих представлений о том, "что необходимо", он тратит много сил и времени на уговоры и на сбор письменных ответов, из которых составляет три сборника откликов на призыв Солженицына. Основной автор третьего выпуска - Г.С. Померанц с его известными "Письмами о нравственном выборе".

Конечно, мне не следует перечислять всё написанное Витей и тем более комментировать. Добросовестный архивист (я старалась быть таковым для нашей семьи, но осталась от идеала далека) давно б имел единый список Витей написанного. Могу только сказать, что отдельных текстов много сотен. Но ведь нельзя же не сказать о программных статьях и о сборниках, за которые его посадили.

Отчаявшись быть понятым в самых важных для него вопросах, Витя пишет в 1978 году резкую (провокативную) статью "Я обвиняю интеллигентов-служащих и потребителей в противостоянии экономическим свободам и прогрессу Родины". О, какой всплеск возмущения и устного, и письменного обрушился на него! Ведь как обидно было людям нашего круга читать фактически про себя такое:

"Для большинства современной служилой интеллигенции спокойная государственная служба лучше беспокойной службы народу, свободным рыночным потребителям, сытое и спокойное рабство много лучше трудной и неустойчивой свободы..."

Если желаете свободной и богатой жизни, то займитесь свободной экономической деятельностью, не жалея своих сил и времени, презрев опасности от государственных преследований и моральные упрёки от "служилой" интеллигенции. Становитесь кустарями,

шабашниками, леваками, спекулянтами, предпринимателями, частниками.

Если же вы не желаете изменять своим прежним духовным занятиям, своему самосовершенствованию, вечным проблемам, то будьте последовательными: ограничьте свои материальные потребности, становитесь йогами, аскетами, духовно очищайтесь, но оставьте наш материальный мир от ваших требований" («ЗЭС» № 1).

На этот раз откликнулось много народа, и это Витя ценил и хотел сохранить, чтобы привлечь ещё большее количество спорщиков. В результате стал складываться первый выпуск сборника "В защиту экономических свобод", отпечатанный в марте 1978-го. Семь выпусков ЗЭС Витя успел собрать, распечатать и размножить на "Эре" до посадки. Витя Сорокин (с 1982-го года живущий с семьёй во Франции) в те годы активно участвовал и как автор, и как советчик. Первые сборники не имели твёрдо устоявшихся разделов, а начиная с третьего, включали разделы "Наука", "Истоки", "Книги и рецензии", "Право и судебные преследования", "Письма и дискуссии". Как мечтал Витя соединить в единый поток информацию о преследованиях за свободную экономическую деятельность с информацией о преследованиях за свободное слово! Но где там...

"Находясь между людьми умственного и физического труда, между крайними представителями - диссидентами и "леваками", я разрываюсь в крике: "Братья, вы ведь одно и то же, не презирайте друг друга!" И получаю по морде... " («ЗЭС» № 1)

Такой настроенностью на положительное решение всех конфликтов, больших и малых, вообще настроенностью на решение наших проблем своими силами, без опоры на Запад, путём выработки взаимопонимания и терпимости, т.е. постепенного воспитания демократического поведения, пронизаны все его слова и поступки. Это его духовная потребность, его "крест". Поиски взаимопонимания начались для Вити раньше, чем он вступил в редакцию журнала с таким

названием (сдвоенный 1-2-й номер журнала вышел в июне 1978-го.)

Как я писала, уже в 1972 году в письме в редакцию "Хроники" Витя пытается найти основу для взаимопонимания между диссидентами и властью. А в 1974-м в редакцию "Литературной газеты" и в самиздат пошло письмо-отклик на статью о Солженицыне "Продавшийся", в котором Витя всячески убеждает автора статьи, а в его лице и всех охранителей власти, что инакомыслие - это нормально, естественно, полезно стране. Резкие столкновения диссидентов и сталинистов вызвали у Вити желание написать статью "О возможности и жизненной необходимости союза между сталинистами и диссидентами", а столкновения между почвенниками и либералами – статью "Ради России".

Своеобразной оценкой Витиной личности является фраза Роберта Боска - французского социолога, иезуита, профессора католического университета в Париже, привозившего в Москву студентов для обучения русскому языку (Лена Сморгунова - русист познакомила нас, а многочасовые прогулки по Москве - подружили):

"У меня с Вами больше понимания, чем со многими моими братьями по ордену".

Витино отношение к религии менялось с годами от "пионер не верит в Бога" до осознания значимости Бога для людей.

*"Огромна церковная тематика, велико накопленное церковью и неизвестное нам духовное богатство. Мы... пользуемся всяким случаем, чтобы воспринять опыт церкви и её истории, перевести его на собственный материалистический озвученный язык... В последние годы я много раз вступал в споры о вере с "ищущими Бога", но окончательной твердости так и не достиг".*³²

В эти самые «последние годы» Витя изучал русского дореволюционного философа Н.Ф. Фёдорова, что позволило ему осознать бессмертие своей атеистической души в делах и

³² См.: <http://sokirko.info/Tom4/nughno.html>

творениях, читал "Протестантскую этику" М. Вебера, открывшую и для меня источник человеческой активности и успешности.

*"Мне, материалисту, оказывается гораздо ближе мораль и миропонимание протестантов, т.е. сектантов, уважающих чужую веру, чужих Богов, исполненных добра и чести и в то же время ориентированных на труд и его рационализацию, на материальное и духовное преуспевание" ("Советский читатель...").*³³

Из анализа книг, касающихся сектантства, он сделал вывод, что все секты, первоначально коммунистические, при продолжительной жизни приходят к хозяйственному процветанию и неминуемо перерождаются в крепкие буржуазные организации. Не потому ли так тянуло его поработать летом в шабашных коммунах (даже когда мы выплатили долг за квартиру), что в них он видел ростки новой идеологии: "через проповедь истинного коммунизма к капитализму - это мировой опыт".

Витин интерес к религии, пробудившийся в 60-ые годы от удивления перед искренней верой нашей однокурсницы Светы К., ставшей адвентисткой седьмого дня ("Москва-Ополье"), с годами рос и увлекал других, т.к. выражался в самиздатских статьях и диафильмах: до 1980 года родились "Московские церкви", "Ополье", "Рассказ об иконах" - о православии, "Огонь Баку" - о мусульманстве и зороастризме, "Среднеазиатские города" - о мусульманстве, "Буддистская Сибирь" - о буддизме, после 1980-го в диафильмах рассказывалось о католичестве, униатстве, языческих верованиях алтайцев, мордвы, коми-пермяков и т.д.

"Каждому из нас нужна вера, не догматическая, а живая, укрепляющая нас в добрых делах на благо мировой жизни.

³³ См.:

<http://sokirko.info/ideology/samosoznanie/weber.html>

*Развиваться же вера может только в общении с Богом или Бесконечным миром, т.е. в реальных делах"*³⁴

Витя отделял свою атеистическую веру от господствовавшего у нас вульгарного безбожия, называя его "антитеизмом". Атеизм потому, видимо, стал его верой, что из двух альтернатив - мир управляется сверхъестественной силой и мир управляется собственными законами - и тогда мы должны познавать их, ориентируясь на практику своих дел" - последняя в большей степени соответствовала его деятельной натуре, его поискам социальной справедливости, т.е. главному делу жизни.

Витино кредо атеиста, по-моему, лучше всего сформулировано в процетированном письме священнику С.А. Желудкову (1978 г.):

"Он (атеист) знает только одну реальность и человека в ней. Знает, что мир (эта движущаяся и взаимосвязанная, т.е. одушевлённая материя) не абсурден, а упорядочен и закономерен, что он не холоден к человеку, теплый, ибо породил человека и способствует его жизни, как может. Однако природа-мать не всесильна и может разрушиться и погубить с собой и своих детей. На людях лежит огромная ответственность - продолжить жизнь и передать накопленное богатство развития в века будущим поколениям. Миллиарды лет существования жизни и миллионы лет горения разума утверждают нас в надежде на практическую бесконечность жизни человечества. У атеистов есть уверенность в существовании своей души и надежда на её бессмертие - в детях и делах, в общечеловеческой памяти и опыте. Надежда, не уверенность".

Эта же мысль в "Письме друзьям" с грифом "На случай ареста" изложена удивительно чеканно и невольно заставляет меня перейти на торжественное чтение:

"Как верующий материалист, я верю в свою бессмертную душу лишь как в совокупность идей и впечатлений, которые

³⁴ См.: <http://sokirko.info/ideology/pv1/64.htm>

через мои слова и дела перейдут к сегодняшним и будущим людям..."

Наверное, за такое отношение к жизни и смерти наши дети и называют нас романтиками, а не за то, что мы любили походы по Подмоскovie и по горам, хоровое пение у костра до рассвета и лыжные прогулки по заснеженному лесу.

В декабре 1978 года Витя согласился стать редактором самиздатского журнала "Поиски взаимопонимания". Доверился названию и "Приглашению" М.Я. Гефтера, поверил в возможность расширить круг обсуждающих экономические проблемы и согласился, несмотря на моё неодобрение. Наверное, сейчас уместно сказать, что я привыкла доверять Витиным шагам, но тут моя интуиция засигналила: "Опасно!" Интуиция молчала по поводу "ЗЭС"ов, хотя почти через два года Витю судили не только как редактора журнала, но и как составителя "ЗЭС"ов. И всё же не будь первого, я уверена, ему удалось бы избежать тюрьмы, чего он желал всем диссидентам. Не то, чтобы "ЗЭС"ы нельзя было признать "антисоветчиной" - про необходимость изменения существующего общественного и хозяйственного устройства можно было выведать почти из каждой их статьи, но не было в них открытого противостояния и обращения к западной общественности.

В конце декабря один из редакторов (Юрий Гримм) объявил на весь мир о существовании "свободного московского журнала", а в начале 1979-го последовали обыски у редакторов и сотрудников. У нас изъяли гору самиздата - 68 наименований и пишущую машинку. Наш личный архив, привычно изготавливаемый в семи экземплярах, был развезён по захоронкам, дома хранились лишь одинокие тома, которые и не заинтересовали "налётчиков". По горячему следу Витя написал очень эмоциональный "Репортаж о первом обыске".

Уголовное дело на поисковцев было заведено в конце марта (коллективное дело? На всю редколлегию? АА) , опасность заставляла спешить. В начале июня Витя заканчивает укладывать в "ЗЭС"ы набранные материалы. (Летом, перед

поездкой в отпуск, я торопливо резала рулоны отпечатанных в 15 экземплярах на "Эре" листов пяти "ЗЭС"-ов).

Прошёл второй обыск, прошли три допроса. Уезжающего на шашку Витю следователь просит: "Надеюсь на Вашу совесть - ничего не сочиняйте, не творите такого... хотя бы месяц!" Месяц Витя вместе с бригадой "творит" двухэтажный дом- профилакторий на берегу Каспийского моря и приглашает меня приехать к нему с детьми. Мы вчетвером (без Тёмы) приехали за 10 дней до окончания работ. Из этих дней получился наш любимый диафильм "Мангышлак", а из последующего месячного похода по Кавказу - четыре больших фильма про лезгин, аварцев, чеченцев и азербайджанцев, правда, уже после возвращения Вити из Бутырки.

1 ноября арестована Таня Великанова - основатель Инициативной группы, хроникёр. Наше восхищение и уважение Таня получила, как только мы узнали её получше. С Таней, её мужем Костей Бабицким и подругой Леной Сморгуновой мы познакомились - пересеклись маршрутами на Севере летом 1967-го. А через год 25 августа Костя в составе уже не туристской группы вышел на Красную площадь, протестуя против нападения СССР на Чехословакию, а Таня его провожала. Таня с Витей часто жестко спорили по тактическим и моральным вопросам (к экономическим работам Вити она была равнодушна), но взаимная симпатия не пропадала. В первые дни после её ареста Витя написал отчаянное письмо-листовку «К аресту Тани Великановой», с которым согласились и поставили свои подписи В. Абрамкин и В. Сорокин. Письмо было отослано, кажется, в "Правду".³⁵

³⁵ Текст этого письма:

«К аресту Тани Великановой

Мы знаем Таню много лет. Она была всегда примером, нет, почти недостижимым идеалом бесстрашия и стойкости, работоспособности и скромности. Она была гарантией безопасности нашего осмысленного существования. Ибо пока жила в своем доме с детьми и внуками член-основатель Инициативной группы по защите прав человека – упрямо открытая Т.М. Великанова, провозгласившая

В письме Витя брал на себя обязательства, которые потом не смог выполнять, т.к. на своём суде он вынужден был по сути отказаться от участия в правозащитном движении, получив взамен условный срок.

Не имея больше возможности разговаривать с Таней, Витя изложил свои мысли в статье "К вопросу о диссидентской этике", где он опять надоедливо, неприятно для диссидентов напоминает, что помощь из-за рубежа вместе с пользой несёт и огромный вред в виде роста паразитизма и отстранения поддержки отечественного окружения, что правозащитное движение защищает только свободы интеллигенции и равнодушно к правам, важным множеству людей: на свободный труд, на свободную экономическую деятельность и пр.

"Ответственность перед нацией, трудолюбие, смелость - вот три этических кита, на которых только и может укрепиться диссидентское движение».

К 100-летию Сталина была написана очень миролюбивая статья "О возможности и жизненной необходимости союза

свое право на распространение "Хроники текущих событий" – этого бесстрастного свидетеля и летописца преступных нарушений наших прав, до тех пор мы были под ее материнской защитой.

И вот теперь ее арестовали – не для суда (Таня не может быть виновной в нарушении законов), а для расправы. И потому пришла пора и нам, ее подзащитным, вступить за свои души и заявить открыто:

- Мы не можем отказаться от защиты себя и других людей, от сотрудничества с "Хроникой текущих событий" и преемницей инициативной группы - "Хельсинкской группой";

- Мы не можем отказаться от Самиздата, от свободы мысли и слова, завоеванного Таней и ее соратниками;

- Мы не можем отказаться от защиты прав человека, от помощи политзаключенным, от ответственности за страну и ее будущее.

Таня защищала нас, защищала страну – пришла наша очередь.

Мы не предадим Родины. В. Сокирко, В. Абрамкин, В.

Сорокин» (См.: <http://www.sokirko.info/ideology/vokrugpoiskov/1.7.htm>)

между сталинистами и диссидентами", вызвавшая, по свидетельству Г. Павловского, наибольшие споры в диссидентских кругах, ведь антисталинизм оставался единственной идеей, общей для всех диссидентов.³⁶

Но для меня и, я знаю, для многих из нашего окружения и дальше самой важной статьёй предпосадочного времени была "Экономика 1990 г: что нас ждёт и есть ли выход". Мне приносили разные перепечатки. Она выглядела как настоящее исследование и была столь убедительна, что оторопь брала: цифры показывают, что страна через пару лет начнёт нищать! Всё! Доехали!

"Единственной настоящей альтернативой для страны и её руководства осталась отныне лишь честная и бесстрашная переоценка ценностей, и, прежде всего - скорейший отказ от смертоносной идеи всеобщего планирования, немедленная легализация общественного, рыночного регулирования".³⁷

С ноября Витя пытается убедить своих коллег объявить о прекращении выхода журнала «Поиски» . Трудно шли поиски взаимопонимания среди редакторов, даже после ареста Валеры Абрамкина (в декабре 1979 г.) . 31 декабря 1979 г. редакция журнала объявила, что прекращает (приостанавливает) свою работу, но было уже поздно...

В 1979 году нам исполнилось по 40 лет. Дети подросли: Тёма перешагнул рубеж совершеннолетия (16 лет), Гале с мая пошёл 12-й год, малышам летом исполнилось по пять. Уже умерли Витина мама и бабушка, мои папа и бабушка. Витиному папе было 71, моей маме - 66, оба продолжали работать, не в последнюю очередь потому, что помощи денежной от нас не могли ждать, не позволяли себе думать о ней. Мама приезжала к нам на отпуск, и всё старалась "оттянуть от плохих друзей",

³⁶ См. ниже: раздел 1.1.3.

³⁷ См. ниже: раздел 1.1.4.

папа переживал молча. В папиной квартире мы бывали редко, там хозяйничала его вторая жена, которая за ним хорошо ухаживала, но не становилась нам родной. Чаще всего встречались на даче, куда Витя считал своей обязанностью приезжать, и к которой я постепенно прикипала по мере того, как просыпались детские огородные навыки. Мама жила в Волгограде одиноко, т.к. со второй женой моего брата, жалея первую, не сдружилась, а время от времени возникающему её желанию переехать к нам мы не радовались, понимая, что здесь и она будет ещё более одинока, и наша жизнь усложнится.

Старшие дети хорошо учились, были самостоятельны в выборе занятий и друзей, малышам вдвоём было не скучно. Быт устоялся. Магазиновые очереди, готовка, уборка не были в тягость, т.к. изыскивались способы уменьшить на них время, втиснуть в промежуток между главными делами: работой, чтением, записью диафильмов, встречами с друзьями, обращениями к искусству, правда, не частыми и многими другими интересными занятиями.

Мы уже 5 лет назад вернули Трубному заводу свою комнату в общей квартире и переехали в кооперативную, ежемесячно возвращая без напряжения долг за неё. Мальчишки жили в одной комнате, девчонки в другой, мы в третьей, а собирались в общей или на кухне. Нам представлялось, что условия для жизни у всех хорошие. От детей мы своих интересов не скрывали, слушать разговоры взрослых на пятничных диавечерах они могли без ограничения. Витя, постоянно во вне рабочее время сидящий за печатной машинкой, охотно отрывался от неё, если ребёнок хотел поговорить или просто получить ответ на свой вопрос - он получал подробный ответ. Общие семейные дела случались редко, вниманием к себе лично каждый ребёнок не был избалован и потому видно, спустя 25 лет, приходится констатировать: не получилась из нас крепко держащаяся друг за друга и помогающая друг другу семья, зато выросли самостоятельные, вполне социальные, с чувством собственного достоинства люди, которых окружают свои семьи и друзья.

И нас Бог не обидел друзьями.

Мы не приживались в тех компаниях, где много пили по случаю и без, но не отказывались от бокала шампанского и нескольких рюмок вина на днях рождения. Наша студенческая туристская компания научила гордиться тем, что для нас предпочтительней общаться между собой и с природой на трезвую голову. На пятничный вечер новичок по незнанию мог принести бутылку вина, но основной напиток был чай, к которому я пекла что-нибудь простенькое.

Друзей мы, как и большинство людей, заводили в молодости. Так что к сорока годам у нас уже был устойчивый круг друзей и очень большой спектр знакомых, завлечённых когда-то на наши диафильмы и не терявших к нам интерес - кто месяц, а кто и годы. В отдалении держались туристские, со студенческих лет друзья. Встречались, с ними в основном, на футбольном поле в Кусково и Григорово. Но было исключение: в 1972-м Толя Жилин пригласил нас на Алтай. И всё прошло бы хорошо, если б не вздумали мы отпечатанный и откомментированный Витей мой походный дневник подарить участникам похода. Какое бурное было неприятие со стороны Гали П. и Толи Ж. (реакцию нашего случайного попутчика Володи Т. не помню)! Ещё раз друзья показали нам, что нельзя не считаться с тем, что каждый очень по-разному видит мир вокруг. Пришло охлаждение. Но настолько сильно кипела жизнь читателей и "писателей" самиздата, в круг которых мы вошли с 1967-го, где никак не давило чувство вины, не будировался комплекс неполноценности, а всё было наоборот, что тоска по старым друзьям ушла в глубину.

Случались расставания и с новыми друзьями. Болезненно была пережита мной необходимость расставания с Таней Т. Мы начали дружить с начала активного участия её мужа Вадима Т. в событиях перед первым Витиным судом. Через год с лишним последние дни перед родами я жила в их маленькой квартире, т.к. Витя был на шабашке, Таня отвозила меня в роддом и слала Вите ликующую телеграмму о рождении двойняшек. Их Лёничка - третий ребёнок в семье - родился на следующий год, и

Вадим решил, как и Витя, подрабатывать на шабашках. Витя уговорил свою МВТУ-шную бригаду взять Вадима и был настолько горько разочарован, что оказался не способен продолжить даже нетрудовое общение. Мы уже не могли дружить ни семьями, ни одна с другой. (Через 10 примерно лет к нам пришло наказание - Таня Великанова отказалась дружить с Витей, не отказываясь от меня, но для меня это всё равно означало конец дружбы, расставание). Незадолго до смерти Вадим приходил к нам и звал к себе в гости. Пришли только на проводы-поминки и были поражены количеством людей, благодарных ему за теплоту и помощь. Участливое слово, обращённое к друзьям, было его силой, а в чуждой шабашной обстановке он был не на месте.

Я не знаю, правильно ли я решаю свою задачу - раскрыть неординарность Витиной фигуры, вспоминая эпизоды из нашей жизни и надеясь, что у читателей создастся объёмный Витин образ. Вот только, может, я мало рассказываю о нём в быту.

Мы строили свою жизнь на труде и радости, не зацикливаясь на заботах о жилье, мебели, одежде, здоровье, еде, домашней технике.

22-метровую комнату в соседнем с родительским подъезде мы получили от Трубно́го завода сразу после рождения Гали, а перед рождением двойняшек вступили в жилищный кооператив, не сумевший распределить 4- комнатные квартиры среди своих сотрудников.

Мебель для квартиры - стенные шкафы, трюмо, двухъярусную кровать, книжные стеллажи делали мой папа и Витя. И это Витя придумал оклеить шкафы в мальчишеской комнате вместо обоев картами. Вот и стала у сыновей потребность в путешествиях одной из первичных. Только в ноябре 2004 г. мы заменили карты обоями, да после окончательного отъезда Тёмы сняли верхний ярус, остальное продолжает служить по назначению.

Одежду-обувь, б/у конечно, детям приносили. Помню Витино удивление, когда, не обнаружив в середине ночи меня рядом, он пошёл с полужакрытыми глазами на поиски, и широко

раскрыл их, увидев, как я сижу у шкафов большой комнаты, а весь её пол занят ну не меньше чем двумя дюжинами пар детской обуви. Мне в тишине и покое нужно было решить, что оставить, а что передать дальше и кому. Пожалел меня.

Для нас обувь и одежду я покупала в комиссионных на рынках (позже их, чтоб отличить от богатых комиссионных в городе, стали называть скупочными). В моей жизни было три сшитых в ателье платья-костюма: белый (свадебный), зелёный (в Коломне) и темно-синий к защите диссертации (в 1971 г.). Юбки шила сама и носила до сильного износа. У Вити было (до кражи) два хорошего качества костюма, которые он надевал редко, предпочитая дешёвые курточки и брюки. Ботинки он предпочитал самые дешёвые - за 7 рублей. С детства не носил перчатки, чтобы мама не могла больше его упрекать в случае их потери. В руках - кокемитовая папка на молнии, которую много раз друзья и сослуживцы пытались заменить чем-то приличным: кожаной папкой, папкой с ручками, сумкой на плече - не удалось. Когда его папка распалась, Витя стал ходить с черной болоньевой сумкой. Мне известно, что в Прокуратуре СССР, куда он в начале 90-х годов приносил в этой сумке кипы документов и свои надзорные жалобы, его звали "мужик с сумкой".

На своё и детское лечение до 40 лет тратить деньги не приходилось. Витя, правда, заразившись в Средней Азии желтухой, пролечился в Боткинской больнице, но было это тогда безденежно, последовавшая диета - необременительна. Родители со своими расходами справлялись сами, у нас не было ощущения, что они нуждаются в нашей денежной помощи, (мой папа оставил деньги от продажи полдома своей сестре, за ним ухаживавшей, Витин папа отдал нам их накопления, которые мы передали детям на их свадьбах).

Еда наша не отличалась ни изысканностью, ни дороговизной. Из двух сортов колбас за 2.90 или за 2.20 выбиралась последняя, из двух масел "Вологодское" или просто "Сливочное" - также второе, из двух сортов мяса - опять же второй сорт, чаще гуляш в нашей институтской кулинарии, а

полуфабрикаты котлет стоили гораздо дешевле шницелей. Зато с лета 1968-го стало много дачной зелени, ягод, фруктов, овощей. Надо было только их дожидаться и наесться на всю зиму. Летняя роскошь частично сохранялась в закрытых банках, и до сих пор по утрам после Витинового ночного чтения газет я обнаруживаю очищенные от варенья вазочки. По пятницам были мои пироги, а от гостей торты и всяческие сладости-вкусности.

Из домашней техники вместе с нами в отдельной квартире поселились холодильник, стиральная машина, пылесос, громкоговоритель, телевизор (спрятанный в шкафу), проигрыватель и "Нота". Магнитофонная приставка к проигрывателю "Нота", купленная за 80 рублей в начале нашей диафильмовской жизни, дожила до сегодняшних дней, работая на износ при записях, при прослушивании, переживая переносы в рюкзаке к местам показа диафильмов. Музыка, становившаяся одной из составляющей наших диафильмов, могла сниматься с пластинок и затупившейся иглой и воспроизводиться низкосортным усилителем, но со всем этим Витя готов был мириться, т.к. главным было - слово. И действительно, мы смотрели много чужих диафильмов, были среди них особо художественные, эмоциональные, но не пришлось увидеть столь же эмоционально осмысливающих поставленные проблемы: исторические, политические, психологические, философские. Рассказывая друзьям о своём понимании устройства мира дальнего и ближнего через открытые для нас Славой Коренковым возможности диафильмов, Витя не упустил шанс реализовать себя как историка и публициста.

1980 -1989 гг.

Наступил первый месяц "года коммунизма" (Хрущёв так обещал в 1961-м). 3 января на допросе в Мосгорпрокуратуре Витя сообщил, что журнал "Поиски" приостановлен и подписался "бывший член редакции..." Он позволил себе думать, что опасность ареста миновала. 10 января Витя написал

Брежневу "Прошение" с просьбой о выводе наших войск из Афганистана. 17 января бывший член редакции Егидес вылетел за границу, 21-го Сахарова отправили в Горький, 23-го арестовали Витю и ещё одного члена редакции - Юрия Гримма.
38

Витя вернулся осенью, 4 сентября, худой и серый после голодовок и карцера, прибитый чувствами разных вин перед всеми, кто его знал и по-своему в него верил. Я же, как правильно написала Оля О., живущая по принципу "что муж ни сделает, то и хорошо", ни на секунду не усомнилась в правильности его поступков. По мне, можно и нужно было оговаривать себя столько, сколько хотелось его следователям, добиваясь освобождения хотя бы до суда. Нельзя было только ничего рассказывать про других и признать журнал и сборники клеветническими. Упреки вроде "да, на других не давал показания, зато предал диссидентское движение, заявив, что, будучи диссидентом, "занимался деятельностью, порочащей

³⁸ Соредакторами первых четырёх номеров Свободного московского журнала «Поиски взаимопонимания» были Петр Абовин-Егидес, Раиса Лерт, Валерий Абрамкин (все трое – ныне покойные), П. Пыжов (псевдоним Глеба Павловского); позже к ним добавились: Владимир Гершуни, Юрий Гримм (оба – ныне покойные) и Виктор Сокирко.

В итоге судов, состоявшихся во второй половине 1980 г., трое из редакторов «Поисков» были осуждены по статье 190-1 УК РСФСР: В. Абрамкин, приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, Ю. Гримм (подвергавшийся политическим репрессиям и до этого) – к трем годам лишения свободы в лагерях строгого режима, В. Сокирко - к трем годам лишения свободы условно. Позднее (в 1982 г.) был арестован и приговорен, по той же статье, к пяти годам ссылки Г. Павловский. В. Гершуни неоднократно подвергался политическим репрессиям и до, и после издания «Поисков».

Кроме того, в конце 1980 г. был осужден по статье 181 УК РСФСР ответственный исполнитель издания «Поисков» Виктор Сорокин.

советский общественный и государственный строй", я выслушивала с недоумением. Разве Витя сказал, что диссиденты занимаются этой самой деятельностью, он написал оговор исключительно на себя: "я по глубокой заблужденности занимался..."

Горько было прощаться с теми, кто вошёл было в нашу жизнь, но не сумел полюбить Витю, сражающегося на воле и в тюрьме за право нормального существования человека оппозиционных убеждений без ареста и тюрем, не сумел поверить в его "непредательскую натуру", сущность которой - поиски взаимопонимания и компромиссов. Ушли желающие видеть в диссидентах героические личности, себе недостижимый пример. Ушли не способные выйти из-под осуждающего мнения сильных, но нетерпимых, для кого любая лояльность есть безнравственная смычка с преступной властью. Отвернулись те, кто поверил в высказанную в листовке "К аресту Тани Великановой" решимость подхватить Танино знамя, говоря: не удержал, капитулировал, отрёкся от взглядов и ещё оправдывается вместо того, чтобы каяться. Их вывод: Витя оказался недостойным общественной деятельности, и потому ему нельзя больше ею заниматься.

У них своё отношение к людям, своя правда, но и по сей день я продолжаю входить в диссидентские собрания ощетиленная, готовая защищать Витину правду, которая мне видится как глубоко человеческая.

Зато каким счастьем был поздравительный поцелуй от Алёны Армант в первое утро после Витинового возвращения, на гимнастике, в ответ на мой выдох "Витя вернулся!" Как благодарна я до сих пор Юре Коновалову, первому приехавшему поприветствовать вернувшегося Витю и после прочтения "Письма друзьям", сказавшего: "Не надо оправдываться, надо жить дальше". И не случилось пустоты вокруг! Тех, кто любил, доверял Вите, оказалось много.

С октября после суда опять по пятницам наполнялись наши комнаты народом. Опять звучали диафильмы и доклады. Опять формировали мы свои архивные тома, лишь гриф на них стоял:

"Семейный архив". Собирались в них материалы вокруг "Поисков", Витины бутырские записки-заявления и мои судебные стенограммы, отзывы экспертов о "ЗЭС"ах и Витина адвокатская, самозащитная речь; записал Витя ещё свежие бутырские воспоминания, вложив в них сбережённые выписки из прочитанных в Бутырке книг, переложённые его комментариями, и мои дневниковые записи, и, наконец, появилось ещё одно размышление вслух - диафильм под странным названием "Наши пансионаты", в котором вперемешку рассказали мы о нашем пребывании в Клязьминском пансионате перед судом и о Витином пребывании в Бутырке, которую он назвал пансионатом за вынужденное своё безделье, казённую постель и трехразовое кормление.

Каждое лето мы продолжали ездить по нашей огромной стране, с двойняшками и Галей или с Сулимовыми. Витя привозил десятками отснятые цветные плёнки и, разрезав, запечатав в рамки, писал по ним сценарии диафильмов, которые после наших горячих споров при правке текста обретали музыку и наши голоса, записанные "Нотой". Так получилось, что, отодвинувшись от запрета властей "участвовать в самиздате" и от запрета диссидентов "участвовать в общественной деятельности", Витя не замолчал и не стал "играть в шахматы", а продолжал и думать, и писать, и устраивать диспуты, и предоставлять квартиру ("площадку" по определению Володи Г.), и собирать слушателей и зрителей для поэтов, художников, философов, религиозных проповедников, экстрасенсов. При этом просветительская цель была второй, впереди стояли всё те же поиски взаимопонимания под девизом "не бояться дарить всем своё понимание и быть благодарным другим за сказанное". Сам Витя уже освободился от страхов пред кем-либо, став свободным в несвободной стране.

Конечно, не все оставшиеся с нами друзья отнеслись к Витиной цене за выход несерьёзно, как я, и время от времени случались в пылу споров высказывания "с высоты своей непорочности" или от сочувствия к "оступившемуся" и не

желающему, ну, если не каяться, то хотя бы стыдливо помалкивать - ведь оказался «слабаком», не устоял. А он держится, как будто был прав, как будто так и должен себя вести диссидент. И тогда я кидалась его защищать. Хочется привести отрывок из одного письма, наверное, потому, что сегодняшние мои записи спокойные, а в 40 с небольшим эмоции ещё определяли все мои поступки.

"Вы полагаете, что Витя изменил своим идеалам, но Вы их просто не знаете, приписывая ему стандартные идеалы. Он, К. Буржуадемов, всегда избегал и осуждал максимализм, приводящий к бунтам и тюрьмам. Его идеал - жить в мире, в полезном диалоге, приводящем к развитию страны, со всеми слоями и группами, в том числе с правительством и КГБ.

"Договоритесь, пока не поздно!" - кричал Ю. Ким в известной Вам поэме. Об этом же твердил Витя, каждой своей статьёй обращаясь к правительству, к диссидентам, к сталинистам и интеллигенции. Да вот не верите Вы, что это и есть основная Витина установка. Даже в тюрьме он вёл трудный диалог с властями в лице КГБ, не теряя своего достоинства до самого конца. Вести свою линию в тюрьме, Вы думаете, многие способны на это? Я за себя сильно неуверена. Гораздо легче сохранить себя, спрятавшись в кокон молчания и доказав тем самым своё враждебное отношение к власти. Вспомните по диафильму, как Витя за несколько часов до выхода радовался, что не выйдет, что не надо больше вести диалог. Даже он устал. В этот день замолчать ему хотелось больше, чем выйти на свободу.

Витя никого не опозорил и от идеалов мирного реформенного преобразования путём вкладывания личных усилий не отказался и сейчас: хочешь свободы слова - бери её, расширяя круг своих слушателей за пределы семьи; хочешь свободы печати - садись за машинку, размножай то, что ты считаешь важным; хочешь свободы собраний

- собирай людей на семинары, диафильмы, лекции; хочешь свободы вероисповедания - исповедуй свою веру-материализм во всё более христианизирующемся окружении. А не делаешь ничего, значит, хочешь только потрепаться да показать свою "прогрессивность". В "прогрессистах" Россия недостатка не знала.

Свободы не имеют привычки спускаться как манна небесная. Старая истина говорит, что их надо завоёвывать в каждодневной жизни. Истина эта для многих звучит лишь красивым аргументом. Услышат, вздохнут, в очередной раз к себе примерят - жмёт, повосхищаются теми, кто надел вериги, и снова будут ждать манны небесной или злобиться на нехватку продуктов, сырья для работы и т.д.

Витя дал обещание не участвовать в самиздате. Но разве самиздат - единственная форма свободы печати? В 1973 году он перестал перепечатывать "Хронику", но начал печатать свои и другие статьи. Сейчас он не будет собирать ЗЭСы, но Вы уже читали Архив, смотрите диафильмы.

Второе Витино "прегрешение" - признание политической вины в заявлении для печати. Оговорюсь сразу, это заявление я для себя не делю на слова, для меня оно просто крупная плата за освобождение, грубо говоря, захватившим путника по праву силы разбойникам, плата, существенно облегчившая карман, но предотвратившая разорение и смерть. Разбойники не могли же отпустить свою жертву с полными карманами. И всё же, какую вину признал Витя? Вы, похоже, даже не делали попытку понять. Он винился только за то, что его работы используются противниками нашей страны в ущерб ей. Витя "без дураков" любит свою страну и готов взять на себя ответственность даже там, где вина его проблематична. Ну, кто может знать, как будет использована даваемая тобой информация: добрые используют по-доброму, злые - во зло. А

его "я по глубокой заблуждённости занимался..."*Да ГБ-исты буквально стали на уши, чтобы диссидента, железно отказывающегося каяться в юридической, подлежащей суду, вине, выдать своему начальству и печати как покаявшегося и достойного освобождения грешника".*(Из личного письма. Семейный архив).

Шли годы, заполненные работой, походами, их оформлением в диафильмы, встречами, новыми знакомствами, пятничными вечерами. Тема "Поисков взаимопонимания" не кончалась: провожали Сорокиных во Францию, Витя писал заявления прокурорам по поводу ареста Г. Павловского, по поводу опасности второго срока В. Абрамкину, Председателям КГБ - о В. Гершуни, Т. Великановой, В. Абрамкине. Желание помочь Валере избежать второго тюремного срока привело к скандальному письму к трём известным диссидентам, от которых Витя требовал позволить Валере снять шлем героя и с помощью компромиссов освободиться. Это письмо и для вернувшейся после лагеря и ссылки Тани Великановой поставило точку в наших отношениях. Я жалею о том, что не пришлось подружить с Таней, Леной, Асей, но до сих пор не жалею, что разнесла копии этого письма адресатам.

Продолжается война в Афганистане, и в 1984 году - второе Прощение Генеральному. секретарю ЦК КПСС, теперь уже Черненко, о выводе войск, а в 1989-м он обращается к американскому президенту Дж. Бушу использовать громадный авторитет США для скорейшего примирения враждующих в Афганистане сторон.

Мы много читаем сам - и тамиздата. Витя на всё значительное пишет торопливые, часто плохо напечатанные рецензии, но теперь они уже не собираются по темам вроде того, как это было сделано в книжке "Советский читатель вырабатывает мировоззрение", законченной в 1978 г.³⁹, а после прочтения заинтересованными людьми собираются в

³⁹ См.: <http://sokirko.info/ideology/samosoznanie/index.html>

хронологическом порядке. Темы: о пользе инакомыслия, о сверхидеалах, которые могли бы объединить разномыслящих, о КСП (клубе самодетельной песни), в пользу движения крымских татар, отстаивающих своё право возвращения в Крым, о проблемах Карабаха и т.д., и т.п.

Главная тема - экономические свободы - до перестройки звучит мало, в основном на пятницах и в письмах. В конце 1981 г. Витя отправил Андропову своё обращение "О реабилитации буржуазно-коммунистического мировоззрения и выражающих его сборников "В защиту экономических свобод" и получил ответ-вопрос от уже знакомого КГБ-шника: "Ну, когда же Вы угомонитесь?!"

Зато в перестройку Витя вкладывает свой разум и силу по максимуму: в собрании "Московская трибуна" он докладывает о новой кооперации, предварительно собрав материал и его расквалифицировав, Горбачеву уходит обращение "О необходимости широкой амнистии", пишутся статьи для разных изданий, возникших в это время, и старых, народным депутатам делаются законодательные предложения, берутся интервью у кооператоров. И, наконец, составляются сборники под названием "Новый ЗЭС" (№ 1-3 в 1989 г. и № 4-6 в 1990 г.) и тоненький сборник "Амнистия хозяйственникам".

Летом 1989-го Витя "по наводке" В. Абрамкина знакомится с И.С. Котовой, отсидевшей почти все отмеренные ей 8 лет и работавшей тогда разнорабочей на бумажной фабрике в Серпухове. С попытки добиться её реабилитации осенью того года начала работу "Группа защиты осуждённых хозяйственников" в составе правозащитного Центра В. Абрамкина, которая через год была зарегистрирована как независимое "Общество защиты осуждённых хозяйственников и экономических свобод (ОЗОХиЭС)»

1990 - 2000 гг.

Годы работы ОЗОХиЭС - подарок судьбы Вите. Одна за другой раскрывались его дремавшие способности: организаторские - в наиболее активные годы в Обществе постоянно работало 5-6 человек и несколько юристов, проводились ежегодные собрания, собирались общественные суды присяжных (по 10-15 в год); способности добытчика - три гранта от Сороса с оборудованием в виде компьютеров, принтеров-ксероксов, телефона-факса и пр.; ораторские - стал говорить свободно, и образно. Совершенствовались и известные мне способности, например, журналистские. Писал он теперь легче, убедительней и чаще всего быстро. Надзорные жалобы были нередко поразительными и, как я понимаю, не только для меня, но и для прокуроров-судей, их читающих. В надзорных жалобах он был защитником, а не адвокатом, обязанным следовать букве закона и писать юридическим языком. Витя же, сохранив юридическую строгость в описательной части жалобы, далее говорил языком экономиста, болеющего за нормализацию жизни в нашей стране, показывающего своим адресатам, почему наказание этого конкретного человека не только не полезно нашему обществу, но и вредит обществу, загоняя ещё не посаженных "в тень", всяя дамокловым мечом над каждым человеком, способным к экономической активности. Чтобы не утяжелять мои записки, приведу лишь пару примеров.

1. По делу якутского кооператора, покупавшего бетон на государственной "точке", Витя пишет (1991 г): *"В эпоху перехода от командно-административной экономики к свободным рыночным связям не дело правоприменительных органов вмешиваться в эти хозяйственные связи и толковать их по устаревшим понятиям как хищение, раз всем субъектам этих отношений (включая государство) не принесено никакого ущерба"*. Должно будет пройти ещё пять лет, и закон заставит следователей и судей, прежде чем наложить обвинение "хищение", доказать, что ущерб был причинён.

2. По делу астраханского приёмщика рыбы С. Бодаговского, осуждённого на 15 лет, Витя пишет в Генеральную прокуратуру СССР в том же 1991 г.: *"...ведь в данном случае рыбу не крали у государственных предприятий, а создавали её неучтённые излишки. Государственные планы лова рыбы выполнялись, и государство само по себе не терпело никаких убытков. В конечном счёте, "излишняя" с плановой точки зрения рыба, предназначенная для частной продажи, изымалась у природы, что, конечно, предосудительно с учётом нашего сегодняшнего знания об её оскудении, но не более преступно, чем излишние и расточительные госпланы"*. Прямо в ткань жалобы Витя включает стихи Бодаговского, чтобы иметь право сказать: *"Поэтическая склонность и гордый характер делают, видимо, маловероятной просьбу о помиловании"* (отсидев полсрока, заключённый имел право подать просьбу о помиловании, но для Бодаговского Витя полагал, что пересмотр - более вероятен, чем помилование).

А как горячо он защищал женщин (половина наших подзащитных- женщин были "козлы отпущения" - бухгалтера). "Да как же нет основания?" - возмущённо писал он в ответ на судебскую отписку.

Я называю годы перестройки и первые ельцинские - годами растерявшейся бюрократии, не способной "накинуть платок на каждый роток"- ротков оказалось много. Витя в полной мере использовал эту растерянность, своими руками и мозгами помогая переворачивать нашу экономику с головы на ноги.

Мощный импульс работе нашей Группы, а потом Общества был дан на обсуждении 17 мая 1990 г. в Подкомитете по правам человека Верховного Совета СССР темы "Соблюдение в СССР экономических свобод и прав человека на рыночную деятельность", участие в котором организовал наш изначальный юрист Олег Сокольский. Витин доклад и выступление Олега обсуждались серьёзно юристами и МВД-шниками. Мощную поддержку мы получили от доктора юридических наук А.М. Яковлева, начавшего с того, что "поднятая проблема реальная, существенная и идёт в самый центр нашего существования".

Боевой дух поддерживали успехи обжалования приговоров: в первый же год мы узнали о прокурорских протестах по трём делам наших подзащитных. Уверенность в правильности выбранного Витей пути питалась результатами общественных судов присяжных, особенно когда сторонами и ведущим были юристы с докторскими званиями, а о свершившихся действиях сообщалось по телевидению и в газетах.

Правозащита пронизывала всю нашу жизнь. Даже выезжая впервые за границу на велосипедах, мы, по Витиному настоянию, везли на рюкзаках плакаты на немецком: "Группа помощи заключённым предпринимателям и торговцам в СССР приветствует свободных людей Европы!", "Тысячи заключённых предпринимателей и торговцев в СССР ждут поддержки от вас", "Амнистия советским бизнесменам!" То-то недоумевали случайные прохожие, кому удавалось что-то прочесть. Мы ещё раздавали им свои материалы про наших подзащитных - пусть знают, кого у нас держат в тюрьме. Наверное, мало кто пытался их читать, но для Вити плакаты и листовки добавляли значимости нашим поездкам.

Оглядываясь назад, я признаю, что исходившее от нас - "безлошадных" русских искреннее стремление обратить внимание, вызвать сочувствие к судьбам наших "экономических диссидентов" у европейских правозащитников и журналистов должно было оставлять следы доброго дела и слова. Нам же оно дало много встреч и знакомств, много ответного тепла, тёплые ночлежки и продукты на дорогу. Многонедельных велосипедных заграничных поездок было у нас пять, они все уместились в это десятилетие. В США (в 1991 г.) мы летали без велосипедов, но и там дней, свободных от встреч со старыми знакомыми и знакомств с новыми, почти не было.

А в Москве копились груды писем и ждали помощи заключённые и их родственники. Чтобы как-то справляться, отработав январь 1992 г., уволился из своего института Витя, а я - к лету. Конечно, было жаль - ведь прикипела, но потом-то я поняла, что, увольняясь по собственному желанию, избежала вынужденного увольнения, доставшегося моим сослуживицам.

Витина голова переполнялась проектами, которые незамедлительно внедрялись, если могли способствовать освобождению зря сидящих в лагерях людей, осуждённых за хозяйственные "преступления". Поскольку, как хороший архивист, Витя всё собрал в 23-х "Голосах", то вроде мне и писать об этом не обязательно. Я только назову поражавшие меня: многостраничные «Записки для прокуроров и судей» в качестве ликбеза по нормальной экономике; двухнедельная (честная, с 8 утра до 8 вечера, дома пил горячую воду и спал) голодовка зимой перед "насельниками" Белого дома с требованием амнистии осуждённым хозяйственникам; постоянная работа над законодательными предложениями, касающимися экономического блока статей Уголовного Кодекса и положения заключённых в лагерях и тюрьмах; проведение многочисленных отчётных собраний и даже добывание денег для работы юристов и сотрудников; участие во всевозможных конференциях, круглых столах, демонстрациях для постоянного напоминания о тех, кого мы защищаем; содействие в организации партии экономической свободы; эмоциональнейшие надзорные жалобы, принимавшие судей и прокуроров. Все эти дремавшие в нём способности очнулись, когда открылись возможности открыто заниматься своим делом, в полезности которого для нашей жизни он не сомневался. К пенсионному возрасту он успел реализовать свой потенциал.

В 1996 году Витя поднял огромную глыбу - проведение и видеозапись исследовательских судов присяжных и по собранным материалам написал книгу "Сумма голосов присяжных в поисках граней экономической свободы".⁴⁰ Огромнейшая доступная нам работа по восстановлению в нашей жизни престижа судов присяжных была доведена до

⁴⁰ Сокирко В.В.. Сумма голосов присяжных в поиске граней экономической свободы. М.: Издательство "РосКонсульт", 2000. Электронная версия - <http://www.sokirko.info/ecomomy/prisyaghnye.htm> ; <http://lib.ru/POLITOLOG/SOKIRKO/prisyazhnye.txt>

возможного конца. Читайте! Витя сделал всё, что мог. Книгу рассылали, дарили, продавали. Самый крупный подарок - районным библиотекам Москвы и страны, более 1600 книг.

Начало XXI столетия

В этом столетии мы - пенсионеры. В ноябре 2001 г. судья Люблинского суда окончательно закрыла наше Общество ЗОХиЭС (по совокупности независящих и зависящих от нас обстоятельств). Витины многолетние попытки (до закрытия Общества) найти себе молодого сменщика оказались неудачными. Находились люди, готовые взять "раскрученное Общество", но не понимающие, что его успешность держалась на неимоверной Витиной работоспособности, даже точнее, самоотдаче, на всеохватности его ума и на обаянии.

Письма из колоний продолжают идти, но "наши" писать перестали, пишут только осуждённые по уголовным статьям, и отвечаю им, за редким исключением, я, причём по установившейся традиции всем без исключения. Витя начал писать книгу о гранях экономической свободы. Удастся ли ему ясно выразить, что мы защищали 10 лет, где проходят границы между недопустимыми и допустимыми деяниями людей в нормально действующей экономике? Первый вариант оказался неудачным, да Витя и сам согласился, что начинать надо с примеров, говорить проще, а любимые базовые философские построения оставить на конец. Вот и пишет он второй вариант. Работа идёт, к сожалению, с многомесячными перерывами.

Главная "отвлекалка" - стройка фундаментального дома на нашем садовом участке. Колоссальные земляные и бетонные работы на месте будущего цокольного этажа начались летом 1998 года, а первые огурцы под стеклянной крышей (на третьем этаже) я посадила в 2003 году. Отделочных работ ещё много и они могут затянуться, т.к. на Витю сильно действует моё отравляющее его нежелание в новом доме жить. Мне привычно и не в тягость житьё по устоявшейся схеме. Если дети жили б летом на даче, возможно, нам стало бы тесно, но пока Галя

предпочитает по-другому проводить лето, а у Ани свой дом за городом. Думать о необходимости жить на даче зимой, пока я нужна внукам, мне и вовсе не хочется. Затоскую.

Вторая "отвлекалка" - перевод наших диафильмов на компьютерный язык. Последний наш диафильм о велопоходе с американцами от Чопа до Киева мы сделали в 1990-м году. И с тех пор только переживали, что слайды выцветают, а магнитофонные плёнки сохнут. Дети нам сочувствовали, и вот Тёма подарил сканер, Алёша составил программу, чтоб Витя мог сохранить свои труды. И теперь часы-дни-месяцы Витя этим занимается. Я согласна с Тёмой, что перезаписывать надо только лучшие диафильмы, но Витя то ли так ценит их, то ли в нём звучит пиетет перед его величеством историей, для которой архивы - основа и подпитка. В общем, труда своего ему не жалко, и уже добрую треть он перезаписал на дискеты и раздарил.

Третья "отвлекалка" - строительство Алёши-Полиного дома. Мы гордимся, что справились вдвоём с фундаментом (хотя проявившиеся летом 2003 г. на Алтае боли суставов, видимо, от этого расплзлись сейчас по моим ногам). И во второй половине лета 2004 года Витя много времени и забот посвятил этой стройке. В это лето мы никуда не поехали, учитывая и стройку Алёшиного дома, и наш недострой и оправдываясь, что поездки были же: у меня в конце зимы с Тёминой семьёй в Альпы, где Тёма и Ася катались на лыжах, а я с двухлетней Танечкой гуляла и много читала, пока Танечка спала, а Витя ездил в Германию на две недели в начале мая помогать детям переезжать из одного дома в другой и общаться с внучкой.

И, наконец, последнее - неисчерпанное переживание событий и людских судеб. Ещё задолго до официального закрытия ОЗОХа Витя стал постоянным пикетчиком в группе, протестующей против новой войны в Чечне. Они стоят напротив памятника Пушкину каждый четверг полтора часа и в мороз, и в зной. Война же всё не заканчивается, наоборот, расплзается по стране с возвращающимися из Чечни

милицейскими отрядами, заражёнными вседозволенностью, с озлобленными солдатами. За пять лет пикетчики стали близкими друг другу людьми, между которыми были и резкие споры, и примирения, и общие чаепития, и несколько выпусков тонкого журнала, и участие в митингах, демонстрациях, выставках и т.п. Новые Витины товарищи и являются, в основном, читателями его статей - откликов на взволновавшие его события или исторических размышлений.

43 года назад свела нас с Витей судьба, а потом крепко переплела детьми - внуками, друзьями, диафильмами и самиздатом, тюремной разлукой, походами и велопоездками, десятилетней глобальной работой на благо нашей выздоравливающей экономики. Мне совсем не хочется кого-либо уверять, что жизнь наша протекала при полном взаимопонимании, без ссор и обид, без мировоззренческих столкновений, без отстаивания своих личных интересов и времени на них. Сейчас, когда мы стареем и труднее соображаем, размолвок даже стало больше, хотя, казалось бы, столько лет притирались. Но в дни лада и покоя мы продолжаем мечтать - успеть завершить все начатые дела и умереть в один день. Дай Бог и вам такой мечты! 19.01.2005.

Часть 1. ПОИСКИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ В БЛИЖНЕМ И ДАЛЬНЕМ ОКРУЖЕНИИ

1.1. О самом важном перед арестом

1.1.1. «Активно думать, успешно работать, смело жить!» (1976)⁴¹

Уезжая из страны, А.И. Солженицын оставил нам призыв "Жить не по лжи!" Он не требовал невозможного и потому ждал от нас неучастия во всеобщей лжи лишь в меру сил каждого. Таков призыв.

Автобиографические книги А.И. ("Архипелаг ГУЛАГ", "Бодался теленок с дубом") показывают нам, как он применял сам это правило в собственной жизни. Надо сказать, что А.И. был достаточно гибок, прекрасно владел фигурой умолчания и, например, во время написания "Архипелага" мог встречаться и "по-товарищески" беседовать и с министром внутренних дел, и с творцами лагерных законов, и даже соглашаться с ними. Т.о. умолчание, а иногда и прямое притворство никак не отвергалось А.И. в своей личной практике.

Но я не только не осуждаю такой "прагматизм", а от души приветствую и даже восхищаюсь. Он был необходим Солженицыну, чтобы исполнить главную жизненную задачу - раскрыть людям официальную ложь и реальную правду о лагерях и стране. В итоге вся его жизнь стала исполнением завета: "Жить не по лжи!", а повседневные умолчания и даже

⁴¹ <http://sokirko.info/ideology/gnl/burghuademov.html>

мелкая ложь были лишь тактическими несущественными отступлениями. И все же лозунг "Жить не по лжи!" мне не кажется достаточным и даже не кажется главным, ключевым. Может быть, при обращении его к писательской, гуманитарной интеллигенции он и может стать основным, поскольку раскрытие правды - их хлеб, их дело. Для прочих же людей правило "жить не по лжи" никак не меняет характер основной деятельности, не может преобразовать жизнь. Конечно, если бы все вдруг перестали привычно лгать-лицедействовать по известным правилам, вдруг отбросили бы привычные шаблоны поведения, то наша жизнь круто изменилась бы. Нет, она просто взорвалась бы, развалилась, уступив место хаосу.

"Жить не по лжи" - всегда было и будет доступно лишь немногим праведникам, святым людям. Обычных же людей этот лозунг новой жизни не учит. Но что можно предложить в качестве руководящего принципа?

В III томе "Архипелаг ГУЛАГ" изложена чрезвычайно интересная история завоевания эсками 50-х годов своей свободы - с помощью "ножа", т.е. убийства (по тайному приговору эзковского руководства стукачей и пособников лагерной администрации). А.И. убедительно показывает, как еще до смерти Сталина тактика террора против стукачей привела к изоляции администрации, к ее вынужденным уступкам, к внутреннему освобождению и объединению заключенных, к началу их успешной борьбы за свои права и свободу. Становится ясным, что не столько смерть Сталина и разоблачительная смелость Хрущева привели к сильнейшему сокращению и едва ли не уничтожению всей системы сталинских лагерей, вездесущего Архипелага. Нет, огромную, а может и решающую роль сыграла здесь и борьба самих заключенных за реальную власть в лагерях, и их фактическая победа. Постепенно преобладающей формой лагеря конца 50-х годов стало законное, т.е. свободное (с семьями) содержание. Преобладающей формой отношений с администрацией - заискивание последней перед организованными заключенными. Если бы сама страна самоосвободилась так же быстро, как и

лагеря, то и нынешний Архипелаг давно стал бы достоянием истории.

Однако в 1961 г. был введен в действие Указ о смерти за убийство в лагерях, за террор против "исправившихся". Фактическая безнаказанность террора против стукачей и пособников администрации была ликвидирована, а сам террор сломлен. Стукачи и администрация снова взяли силу, и "Архипелаг" самовосстановился.

Рассказывая эту историю, Солженицын отказывается делать окончательные выводы о "благодетельном влиянии ножа". Нет, он не закрывает глаза и на перерождение самих "борцов-террористов". Да и сама христианская вера запрещает ему прославление насилия. Однако и правды скрыть он не хочет.

Что же остается делать нынешним заключенным, когда не только мораль, но и закон смертельно осуждают террор? Солженицын рассказывает и об ином способе воздействия на пособников администрации: раз за разом у них крадут и портят обувь и т.п. Все подобные методы оказываются нужными, чтобы противостоять засилью стукачей и, следовательно, администрации, чтобы сделать возможной самоорганизацию и самоосвобождение.

Но обратите внимание: в первый раз освобождающиеся заключенные нарушали заповедь "не убий", во второй раз - заповедь "не укради", о соблюдении заповеди "не лги" и говорить нечего... Все это - реальные примеры реального освобождения в нашей стране. И все они сводятся не к отказу от действий ради соблюдения своей моральной чистоты, а, напротив, к самостоятельным активным и успешным действиям по собственной воле и разумению, даже если это связано с нарушением моральных заповедей против гулаговцев. Видимо, в этом-то и состоит **главное - чтобы осмелиться жить по собственной воле, а не служить по воле начальства.**

"Самостоятельно думать, ответственно решать и смело действовать" - вместо традиционного у нас "внимательно слушать, беспрекословно повиноваться, выполнять не рассуждая". И если прирожденные службисты мешают

свободной жизни - против них идет активная борьба со всеми естественными моральными издержками.

Главное - самим научиться быть свободными людьми, научиться свободно думать, работать и жить - и отстоять себя в таком качестве от посягательств старых службистов, прислуживающих "Народу", "Революции", "Партии", руководству, администрации ГУЛАГа и т. п.

Не надо думать, что я призываю к устранению всяческих моральных запретов в отношениях между приверженцами Архипелага и приверженцами свободы. Нет, даже в горячей войне соблюдаются известные нормы и правила, от нас не требуется соблюдение еще большей жестокости, моральных запретов (например, запрет террора и насилия) и общечеловеческих законов, но есть и определенная грань в таком моральном ригоризме, за которым следует лишь фактический отказ от успешной борьбы и эволюции... Но отвлечемся пока от проблем конфронтации приверженцев старого и нового.

Спросим себя: "Но что значит стать свободным на деле?" Мне кажется, это прежде всего: перестать надеяться на какие-либо кардинальные, радикальные изменения - "освобождения" (сверху или снизу - все равно). Ждать "освобождения" - уже означает признавать свое сегодняшнее рабство, т.е. иметь рабское, ожидающее, бездеятельное состояние души. Свободный же человек принимает настоящую ситуацию лишь как трудные внешние условия, в которые он волею судьбы попал, но которые он будет сам изменять и приспособлять себе своим целям на пользу.

Да, нам уже показали примеры действий духовно свободных людей - зэки добиваются расконвоирования, Солженицын добивается свободы печати - в жестокой и длительной борьбе. Трудно, но реально.

Ну, а мы с вами, те, кто ходит на свободе (т.е. "бесконвойно и законно")? - Ведь нас большинство и от нас зависит жизнь страны...

Я предлагаю для обсуждения три возможные у нас модели поведения, три возможные позиции:

1) активно противодействовать властям Архипелага, в том числе и в своей работе ("чем хуже работать, тем быстрее произойдет их крах");

2) служить Власти, помогать ей во всем ("чем вернее служишь власти, тем лучше будет обществу");

3) активно действовать по собственным целям, воле и разумению (чем лучше себе и сейчас, тем лучше будет обществу и сейчас, и потом).

Рассмотрим эти позиции подробнее.

Первая - эта позиция простой ненависти и прямого противостояния имеет и давно известные названия: революционаризм, пораженчество, вредительство. Открыто объявляя себя врагом власти и того большинства, которое ее пока поддерживает, сторонники этой позиции превращают себя в прекрасные мишени, замечательно удобных мальчиков для битья, т.е. для единственного дела, которое властители Архипелага могут выполнять профессионально и которым они могут оправдать свое существование в глазах народного большинства. Реальное существование таких "врагов народа" - козырная карта Власти; укрепляющая ее положение. Террор народовольцев в прошлом веке укрепил Александра III, потуги троцкистов оказали немало услуг Сталину, а когда все же "врагов" не хватало, приходилось их выдумывать ("вредительство спецов").

Постоянное наличие в обществе революционеров, "врагов порядка и народа" и т. д. необходимо для тоталитарной власти, является реально действующей опорой и наилучшим залогом устойчивого существования. Таким образом, принцип этой позиции на деле такой: чем радикальнее сопротивление, чем больше связанные с ним жертвы и вред - тем лучше для власти.

Вторая позиция - полная покорность и действия исключительно по воле руководства приводит систему Архипелага к выявлению ее полной неэффективности, безнадежной дискредитации и практическому краху, когда

подданные уже не хотят, а управляющие уже не смогут управлять по-старому, т.е. к революционной ситуации и самой революции. В этом случае: чем больше и вернее служишь власти, тем будет ей хуже в конечном итоге! Нет больших пособников революции, чем ее ненавистники - ревностные служители Архипелага.

Позиция "лучше служить" - не творческая, она не учит людей самостоятельной работе, правилам свободной жизни, а просто ведет общество к распаду и революции. Революционные же хаос и разруху, как известно, можно преодолеть лишь возрождением "порядка", конечно, по сути того же самого, что был раньше, ибо иного не знают люди. Так через временную гибель система Архипелага возродится и укрепится.

Следовательно, 1-я и 2-я позиции при всей их внешней противоположности едины в своем итоге: обе они ведут к увековечению Архипелага. Только в первом случае, при наличии "врагов-революционеров" Архипелаг живет непрерывно, консервативно, а во втором случае, при засилии служак-консерваторов - он будет проходить через стадии революционного уничтожения и укрепления, т.е. прерывисто, революционно-реакционными циклами. В реальном общественном механизме тоталитарной страны революционеры выполняют консервативную роль. Но и те, и другие - в конечном счете, продолжают в будущее архипелажью систему.

Подлинной альтернативой существованию Архипелага может служить только **третья позиция**: самостоятельности в работе и жизни.

Вот здесь доподлинно: чем лучше для нас самих, тем лучше для общества и его будущего. Старайся для себя, своих близких и дальних, приноси им реальную пользу и выгоду - и от этого будет лучше всем - и сейчас, и в будущем. Такой тезис нам, воспитанным в осуждении "буржуазного эгоизма", понять трудно. Но вспомним, что именно западные (эгоистические) народы достигли наибольших успехов в материальной и духовной культуре всего общества, а потому признаем, наконец, старую (еще от Адама Смита) мудрость: свободное

преследование каждых своих выгод в итоге дает, как правило, наибольшую сумму благ для всех. Мудрость эта стара, как мир, но в нашей стране множество людей открывают ее заново. Самые разные люди из разных классов.

Вот **рабочие**. Не только у нас, но и во всех странах эти люди самой технологией производства обречены на деятельность полуавтоматов, на рабскую подчиненность. И в этом смысле им труднее всех. В сравнении с западными рабочими наши обладают только правом на увольнение и выбор работы, но не имеют права на независимый профсоюз и забастовку. Однако, когда возникает крайне существенная угроза понижения их жизненного уровня, возникают стихийные забастовки, которые обычно бывают весьма результативными (не прямо, конечно, а косвенно). Знаменитый новочеркасский "бунт" кончился, казалось бы, полной неудачей, однако сегодня, после событий 1969 года в Польше, когда рабочие волнения привели к падению власти, они напоминают и нашему руководству о подобной возможности. Отсюда курс на повышение жизненного уровня, отсюда контроль за ценами на продукты и ширпотреб, отсюда даже привилегированное положение рабочих. Наши рабочие не бастуют, но могут забастовать - и этого уже достаточно. На угрозе забастовок держится прочность ныне принятого "реалистического" курса, прочность нашего относительного благосостояния.

Другое дело, что наши рабочие работают плохо, неквалифицированно, незаинтересованно, что они пьют - но как раз с этим они не могут сами "справиться", как нельзя самого себя вытащить за волосы. Основная вина за эти "пороки" современной рабочей силы лежит на нынешней безответственности и бессильности хозяйственной власти, на факте отсутствия подлинных и полноправных хозяев производства. Можно сказать даже конкретнее: виновато отсутствие у производственных руководителей права на свободное увольнение плохих и излишних рабочих. Но, конечно, не рабочим бороться за права хозяйственников.

В условиях безрассудной растраты материальных и трудовых ресурсов рабочие по своей инициативе могут только спасти часть этих материалов и своего времени, вложив их в производство "левой" (т.е. частной) продукции - для себя и других. Огромное положительное значение для страны имеет это "левое", свободное производство. Даже помимо прямой реальной пользы и выигрыша для всех (фактически, это работа на "экономленных ресурсах") оно сохраняет и тренирует рабочую квалифицированную силу, готовит кадры истинных хозяйственников. Ведь не только поделками ("для дома и семьи") ограничивается современный рабочий. Постепенно он начинает обслуживать и своих знакомых и даже незнакомых, нащупывая клиентуру и сферу преимущественного сбыта. Великий жизненный механизм рынка восстанавливает свою силу.

А бригады шабашников, на труде которых держится, можно сказать, почти половина сельского и поселкового строительства? А сообщения в газетах о раскрываемых иногда "левых фабриках"?

Конечно, сейчас "левый сектор" еще очень слаб, полукустарен - из-за репрессий Архипелага, до его организации на мировом уровне еще очень далеко, но тем не менее - только в смелости, инициативности и работоспособности "левых работников" заключена наша надежда на лучшее будущее.

Крестьяне - сегодня это те же рабочие, только в особом министерстве. Но в отличие от промышленных рабочих у крестьян этот "рабочий", вернее, рабский статус искусственен, неоправдан. Ведь на Западе до сих пор эффективным считается именно фермерское индивидуальное хозяйство. Сегодня у нас нет крестьян-хозяев, есть лишь рабочие на государственных плантациях. Правда, эра голого ("феодалного") принуждения в сельском хозяйстве, когда "самостоятельность" колхозов означала работу на государство без зарплаты и без капитальных вложений - **прошла**. Ужасающая неэффективность с.-х. труда и отток населения в города (своеобразная забастовка, а вернее, стихийная борьба сельской молодежи за свои права) привели к

известным улучшениям: государство ныне направляет в деревню миллиарды капиталовложений, а сельские рабочие получают иной раз больше городских.

Но, как и в городе, повышение жизненного уровня мало сказывается на повышении эффективности с.х. труда. Как и в городе, крестьяне могут лишь участвовать в "левой" реализации с.-х. продукции, но не более того. Магистральный путь повышения производительности труда в сельском хозяйстве состоит в передаче поля или фермы под единую ответственность механизатору - будущему фермеру. И если новая такая передача не будет осуществлена сверху, она будет сделана явочным порядком снизу. Частная реализация колхозной или совхозной продукции (неотличимая сегодня от "разворовывания") должна смениться непланируемым, свободным ("левым") производством с.-х. продуктов. Не только выгода - само достоинство человека, живущего и работающего на земле, требует смелых и ответственных действий по собственному разумению.

Служащие - казалось бы, по своему культурному уровню и развитости эти люди гораздо ближе стоят к освобождению, чем все прочие общественные слои. Но как раз у служащих их личное положение самым понятным образом связано с начальством, со службой ему, с карьерой, поэтому именно у них позже возникает воля к самостоятельным действиям. Да и что они могут сделать?

Конечно, добиваясь повышения своей личной заработной платы, служащий вроде бы не отличается от рабочего в городе и деревне. Но если рабочие добиваются этого результата стихийно массовыми "забастовками-миграцией", то у служащих до сих пор преобладающим путем является **служба начальству**. И понятно, почему, в целом, слой служащих, особенно "подслы" технической интеллигенции, сегодня скатился на уровень самых малооплачиваемых категорий работников. Уровень зарплаты, в некотором смысле, можно принять как показатель самосознания рассматриваемого слоя людей, т.е. инженеры намного отстали от рабочих.

Это обвинение в гораздо меньшей степени можно отнести к таким слоям служащих, как работники торговли, бытового обслуживания, здравоохранения и т.д., поскольку они достаточно широко организуют "левое" распределение товаров, услуг и пр. - и в этом смысле, возможно, занимают наиболее передовые позиции.

Другое дело - работники управления, техническая интеллигенция, на которую у нас в стране возложена практическая ответственность за организацию общественного труда, его эффективность. Именно на этих людей ложится самым тяжким, морально задавливающим грузом сознание ужасающей неэффективности общественного и собственного труда и бессмысленности любых усилий по исправлению неисправимого, ощущение никчемности своей работы и своего существования.

Как правило, благополучное развитие того или иного хозяйственного подразделения связано с большим количеством прямых или слабо замаскированных нарушений официально действующих инструкций, с фальсифицированной отчетностью и заниженными планами. Ведь эти запреты и установления, подобно змеям, опутали все наше хозяйство. Их нарушение - необходимое условие нормальной жизнедеятельности любых хозподразделений, предварительное условие организации их взаимодействия на основе взаимовыгоды. Как в сталинских лагерях террор против стукачей позволил заключенным вернуть себе человеческий облик, так фальсификация отчетной и плановой информации позволяет как бы отключить (вернее, ослабить) контроль верховных хозяев Архипелага и расчищает поле для нормального хозяйствования, для введения НЭПа - сначала де-факто, а уже потом, после укрепления - де-юре.

Содействовать развитию таких хорошо действующих хозяйственных подразделений, обороняться от губительного действия верховного контроля, т.е. лучше работать для реальной пользы своей и своих сослуживцев - вот достойная задача для служащих, сознающих свое истинное предназначение.

Основной парадокс **третьей позиции**, как мы видели, заключается в **видимом** противоречии с официально принятой моралью и **мнимом** противоречии с общими моральными принципами.

Даже сама первичная установка третьей позиции - на эгоизм, на личную или коллективную выгоду - аморальна с точки зрения нашего "социализма". А нарушения инструкций, фальсификация отчетов, организация "левого" производства - это уже вообще лежит на грани уголовного наказания. Заповеди "не лги", "не кради" подвергаются здесь суровым потрясениям. Кажущаяся аморальность третьей позиции сегодня является главным препятствием к ее принятию мыслящими, активными людьми.

Только большая умственная работа, только сознание конечной пользы от частного эгоизма и личной свободы каждого может вернуть 3-й позиции принадлежащую ей по праву действительную моральность, истинную человечность.

Только когда мы поймем, что:

- шабашить, значит, не только много зарабатывать, но и благодетельствовать стране;

- "левое" производство товаров и услуг - должно слыть не грабежом, а реальным увеличением эффективности национального хозяйства, приводить к существенному росту реального национального богатства;

- спекуляция - это не "паразитизм" (если ее отличать от создания частной монополии), а дьявольски трудное в нашей стране, но чрезвычайно полезное налаживание жизненно необходимых рыночных связей,

- снабженческие махинации, фокусы бухгалтеров и плановиков просто необходимы для производства, обеспечивают его функционирование, учат НЭПу, готовят свободное экономическое будущее, и т.д. и т.п.

Только тогда мы сможем найти свое место в общей работе освобождения!

И чем быстрее мы перейдем от устаревшей морали сталинского социализма к морали свободного общества, тем быстрее пойдет наше развитие, тем основательнее и надежнее будет рушиться в нашей жизни "Архипелаг".

Подведем итоги: книга "Архипелаг ГУЛАГ" и жизнь его автора показывают недостаточность (а может, и неосновательность) лозунга "Жить не по лжи!" То же показывает и жизнь народа.

Важное правило: "Жить и работать по собственному уму и воле", даже если это и будет нарушением официальной устаревшей морали. Уяснить себе и усвоить истинную моральность свободной частной жизни и на этой основе ее активизировать - наша задача!

22.12.1976.

1.1.2. Долгая предыстория

Для меня внешне эта история начинается со вступления в редакцию самиздатского журнала "Поиски взаимопонимания" в конце 1978 года. Уже через месяц с небольшим, 25 января 1979 г., почти у всех членов редакции прошли обыски, изъятия, а еще через три месяца было возбуждено отдельное уголовное дело против "Поисков", окончившееся арестом и осуждением троих из семи редакторов, эмиграцией четвертого.

До этого я был осторожен. За 12 моих самиздатских лет редакция "Поисков" стала первой диссидентской группой, в которую я вступил и почти сразу стал платить за этот шаг обысками и разногласиями, а потом тюрьмой и враньем. Многие потом говорили, что этот шаг был ошибочным. Но как я его сделал?

Официально меня пригласил и рекомендовал в редакцию П.М. Егидес. Так я показывал на следствии и в суде, тем более что к тому времени Петр Маркович уже был выпущен за границу. И это было правдой, но не всей, потому что к Егидесу

привел меня Валерий Абрамкин, один из главных героев “Поисковой” истории.

С Валерием нас связывало многолетнее знакомство по песенным слетам. Это не было близкой дружбой: Валерий был слишком яркой и известной личностью, одним из лидеров радикального крыла многотысячного и многолетнего молодёжного движения “КСП” (“Клуб самодетельной песни”). Я бывал на их грандиозных праздниках только изредка, гостем, но их проблемы, особенно отношения стихийной молодёжной организации с горкомом комсомола, как представителем власти, меня живо интересовали. Свои впечатления я даже выразил в двух самиздатских письмах “человека со стороны”⁴² Последнее из них было направлено прямо Валерию, к тому времени уже начавшему свой отход - разрыв с КСП, руководство которого вынуждено было признать помощь-контроль горкома. Помнится, я призывал его к сдержанности и компромиссу.

Валерия познакомили со мной как с одним из самиздатских авторов в начале 70-х (возможно, даже рассказали, что моя книжка “Очерки растущей идеологии” вышла на Западе). Наверное, тогда я казался более оппозиционным и “резким”, чем Валерий - ведь за моей спиной уже были исключения из комсомола и аспирантуры, суд за отказ от показаний, самиздатские работы и участие, пусть небольшое, в знаменитой “Хронике”. А Валерий к тому времени обладал ещё очень благополучной биографией и, кажется, продолжал состоять в комсомоле. Но вот развивались мы в разных направлениях. В общем, и тогда одной из моих главных тем было противостояние диссидентскому экстремизму (может, правильнее сказать - революционаризму-марксизму) и поиски жизненного компромисса с властями. Валерий же был настроен против всякого “римиренчества с неправдой”. Ему это было необходимо для выполнения своей главной цели - строительства негосударственной контркультуры (по его определению -

⁴² См.: <http://sokirko.info/ideology/pv1/73.htm> ;
<http://sokirko.info/ideology/pv1/74.htm>

неформальной). Мы встретились в невольном споре: я, как самиздатский либерал, он, как комсомольский радикал. Но ведь важно не минутное состояние, а тенденции развития. Всё наше многолетнее знакомство стало непрерывной дружбой-спором, чаще молчаливым, но благожелательным спором - год за годом, вплоть до тюрьмы, откуда я ушел домой, а он - в лагерь. Вот когда различие линий развития перешло, наконец, в различие жизненных положений.

Уйдя из КСП, Валерий сначала организовал особые “мини-слеты”, кустовые “воскресенья”, расширяя свою аудиторию за счёт привлечения к песенникам представителей иных “неформальных” искусств: авангардистских художников, непризнанных поэтов и др. Вместо двух слетов в год он проводил свои “воскресенья” почти еженедельно. Сначала люди ходили сотнями, потом приелось, популярность упала, стали ходить десятки. Но кипучий темперамент Валерия не желал мириться с приливами-отливами человеческого настроения. От организации “воскресений” - слетов он переходит к изданию самиздатского журнала “Воскресенье”, конечно, первоначально на базе творчества КСП.

Вот здесь наши интересы сошлись очень близко, потому что самиздатский публицистический журнал был моей мечтой еще с 1965 г., когда, даже не зная слова “самиздат”, мы на трубном заводе пытались выпускать светокопировальный “Разбег” (правда, уже на первом номере были остановлены райкомом партии). К 1978 году я потерпел неудачу с сотрудничеством в медведевском “XX веке”, составил свой первый дискуссионный сборник вокруг статьи А.И. Солженицина “Жить не по лжи!?” и начинал готовить его второй выпуск, участником которого стал и Валерий. Я в ответ согласился быть автором и даже сотрудником Валериного “Воскресенья”. Правда, всё моё техническое участие ограничилось перепечаткой 50 страниц какого-то неопубликованного романа и подготовкой отзыва на знаменитое интервью академика Аганбегяна по разделу “ Экономика” (1965 г.).

Однако и с изданием журнала у Валерия дело шло очень медленно и **потому скучно**. Вся возня с перепечаткой, сверкой, правкой, переплётками и тому подобной неблагодарной, черной работой (притом текстов сомнительной художественной и идейной значимости) не была приятной ни ему, ни его друзьям по КСП. А отсутствие энтузиастов-помощников губило всю затею на корню. И помню, что я уже приготовился к тому, что этот журнал быстро засохнет...

И вдруг Валерий ошарашивает меня известием о решении всех технических трудностей: “Встретил людей, готовых взять на себя всю техническую сторону дела - нам остается только собирать и редактировать самиздатские материалы, причем подойдут и художественные и публицистические произведения - как для нормального толстого журнала”. Он не сомневался, что я тут же схвачусь за это предложение, но я встретил его слова кислой усмешкой.

И как часто бывает, скепсис, даже весьма разумный, посрамляется неразумной дерзостью и энтузиазмом. Летом 1978 г., когда мне показали первое детище Валерия и его коллег - “Поиски” № 1, я понял, что на этот раз ошибся: из беспочвенных фантазий получилось хорошее дело. А после знакомства с предисловием к № 1, где целью журнала объявлялись поиски взаимопонимания, дискуссии людей разных взглядов, общественный диалог, почувствовал просто зависть.⁴³

⁴³ «Приглашение

К Поискам и взаимопониманию

Нашему замыслу соответствовало бы название, слишком длинное для журнала - ПОИСКИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ. Нисколько не урезав замысел, мы сократили лишь название, и к участию в наших "ПОИСКАХ" приглашаем всех, кто за взаимопонимание. Всех, кто убедился, что нет сейчас ничего рискованней и неотложнее этого: полного понимания, которого нельзя достичь, к которому иначе не пробиться, как совместной работой мысли, не ограничивающейся одной-единственной позицией, заведомым углом зрения, единственно возможным способом ставить вопросы и доискиваться ответов.

Сказанное, разумеется, чересчур обще. Призыв к взаимопониманию уместен в любое время и при любых обстоятельствах. Разве мыслимо такое время, когда отпадает нужда в понимании, поскольку на все вопросы уже даны окончательные, исчерпывающие ответы? Да и потребность во взаимности, в движении от многообразных начал к проблемам, жизненно важным для многих, если не для всех - эта потребность далеко не всегда и не всеми признаваясь, сегодня не покажется и новинкой.

Призыв к взаимопониманию - либо общее место, либо он нуждается в разъяснении. И, тем не менее, мы рискуем утверждать, что сегодня этот призыв ясен без долгих обоснований. Нам, в Советском Союзе, вероятно, это ощутимее, чем где бы то ни было. Мы пережили с 1953 года целую полосу надежд и крушений, избывания старых и новых иллюзий. Надо полагать, это время дало многое, и не нам одним. Но теперь видно, что оно, переломившись в 1968, пришло к концу. Теперь заметнее не только сделанное, но и то, что не сделано, и сделано быть не могло. И это последнее не менее, если не более важно, чем первое. Глядя на собственные тупики, вложив персты в наши язвы - кто рискнет сказать с полной уверенностью в правоте: я знаю лечение, я вижу выход?! Каждая неувязка в отдельности, каждая несообразность, взятая врозь, кажутся устранимыми - было бы желание, умение и соответствующие "люди на местах"... Но идет время, и все ощутимее, заметней: пропущенные в свое время возможности - самая неподатливая реальность сегодня, как и связь между всеми диспропорциями и напастями, как и отсутствие "соответствующих" и беспомощность тех, кто желает перемен, не ведая, с какого бока за них приниматься, не наклеив бед хуже нынешней. Тупики наши оттого и мысленные, и нравственные - разрывы между поколениями и внутри поколений, которые, похоже, не только не сглаживаются, но делаются все глубже и раздражительней. И вряд ли оттого, что яснее стали ныне ответы, предлагаемые отдельными течениями и людьми. Скорее, наоборот, ожесточенность, вражда - от застревания в чем-то первоначально-отрицающем. Но даже и тут, в этом необходимо-критическом, клеймящем смысле мы оказались неспособны пробиться вглубь, к причинам причин, дойти до корней трагедии, образовавшей эпоху, до природы тупиков, составляющих русскую злободневность, уклад жизни и быт: самое простое и труднее всего выносимое.

Что же произошло? Валерий-мечтатель встретился с другими мечтателями и свободными публицистами - бывшими коллегами Роя Медведева по “XX веку” (выпуск этого журнала

Прежде говорили: не может быть свободен народ, угнетающий другие народы. Сегодня это следует дополнить и уточнить, сказав: не может быть ни свободен, ни уверен в будущем народ, притязающий на то, чтобы собою одним - своими успехами ли, глубиной ли своего отчаянья определить всесветное будущее. Эта истина не так проста - и не только потому, что задевает государственные престижи, национальные самолюбия, претензии первенства, богатства, силы. Она отнюдь не проста и по существу.

Взаимная уступчивость и терпимость - превосходные качества. Право оставаться собой - великое право, становящееся новой международной нормой, суверенитетом МИРА, где впервые за всеми народностями, за всеми человеческими сообществами признано право на независимость в решении своих внутренних дел, как и право на равную причастность к судьбам мира в целом. Два права - нераздельных, и, вместе с тем, трудно совмещающихся.

Мир миров, стремящийся стать человечеством, - вправе ли мы попустить, чтобы "правом оставаться собой" распорядилось многоликое насилие, всякое принуждение к единомыслию, любой владетельный запрет на идейные искания, на движение проблем, не знающих кордонов?!

Таковы общие основания к тому, чтобы сделать поиски взаимопонимания исходной позицией для совместной работы. "Только" поиски - оттого, что на пути к согласной встрече исходно разноначального не одни внешние препятствия. Поэтому мы приглашаем к дискуссии без ограничивающего регламента и с этой, сугубо предварительной заявкой, которая может стать более четкой программой лишь в процессе поисков».

(Поиски взаимопонимания. 1978, № 1. Цит. по: http://old.russ.ru/politics/20030609_gefter.html).

был прекращен Медведевым по требованию властей на втором номере). Это были доктор философских наук П.М. Егидес (несколько лет сидевший, но не смиренный), профессиональный журналист и редактор Р.Б. Лерт и, наконец, бывший учитель истории и ученик известного историка М.Я. Гефтера - Глеб Павловский. Вместе с Валерием они вошли в первый состав редколлегии “Поисков”.

Как я только сейчас догадываюсь, само чудо “технического обеспечения”, так очаровавшее Валеру, было предложено П.М. Егидесом и состояло, наверное, в том, чтобы собирать и редактировать номера журнала **здесь** и переправлять на Запад, а после напечатания **там** единомыслящими эмигрантами (которые только и ждут материалов с Родины), номера будут приходить **сюда** уже красивыми книжками.

Конечно, столь великолепный план ничем не отличался от плана медведевского “XX века” (Рой собирает его **здесь**, Жорес печатает **там** и переправляет Рою хотя бы сотню экземпляров), разве только большей утопичностью, ибо у Егидеса на Западе не было своего Жореса. И, главное, он не мог, как Рой (с его очень лояльным и осторожным изданием для узкого круга интеллигенции) реально рассчитывать, что власти смогут примириться с его детищем. “Чудо-план” Петра Марковича вообще отбрасывал необходимость рассчитывать хотя бы на временное терпение властей. Мечтания доходили даже до того, что, как только всё наладится, журнал станет выплачивать своим сотрудникам значительные гонорары, вполне достаточные для жизни профессиональных литераторов... Бред? Да было бы так, если бы мечта не стимулировала лихорадочную работу.

Впрочем, так всегда и бывает: чем сказочней утопия, тем энергичнее деятельность поверивших в неё людей. Ведь не жалко своих сил и самой жизни, чтоб осуществить такую грандиозную штуку, как, например, настоящий толстый свободный журнал. Нужны лишь смелость да первоначальный пусковой труд - собрать и отредактировать первые номера журнала.

Конечно, то тоже была тяжёлая и черная работа, но душу грела надежда, что так будет только поначалу. Оказалось, что в наших условиях журнал надо печатать на машинке хотя бы в 10 экз., чтобы быть уверенным, что не пропадет на случайном обыске, чтобы было, что обсуждать самим и показывать ближайшим друзьям. Ведь не будешь ждать долгие месяцы (оказалось - годы) заграничного издания, чтобы поделиться с друзьями.

Но как бы то ни было, а от егидесовской утопии Валерий загорелся и заработал с мощностью ракеты. Как было сказано в преамбуле «Поисков взаимопонимания» № 1, в новом журнале соединили свои силы группа “демократических социалистов” (пишу по памяти) и молодёжная группа “Воскресение”. На деле первые принесли лишь свои собственные литературные силы (правда, довольно значительные), а черновая работа легла как раз на Валеру и его друзей. Однако, тепер, одухотворенная авторитетом “стариков” и ”чудо-планом”, она не казалась скучной. Летом появился первый, сдвоенный номер, осенью за 3-м сразу был сделан 4-й, в голове Валеры варились планы 5-го и 6-го, и сам он прямо светился преображением. Вот тогда-то осенью 1978-го он и привёл меня на квартиру Егидеса.

У меня были свои планы - я хотел пригласить Егидеса к участию в третьем, заключительном, выпуске дискуссионного сборника “Жить не по лжи?!” как авторитетного представителя одного из трех (по моим понятиям) диссидентских движений – социалистического. С православно-почвенническим движением у меня случилась неудача - никто из почвенников не хотел “общаться с К. Буржуадемовым”, и напротив, быстро и человечно договорился с таким известным либеральным литератором, как Г.С. Померанц.

Держался Петр Маркович совсем просто и щедро: конечно-конечно, он обязательно будет участвовать в дискуссии “Жить не по лжи?!” , но за это мне предлагается вступить в редколлегию “Поисков” и участвовать в общей работе. Тон был шутливым, но само предложение было сделано в деловом,

торговом плане: я напишу отзыв в Ваш сборник, а Вы вступайте в “Поиски”.

Я согласился сразу, и не из-за торга, а из-за внутренней давней склонности к этому шагу. И еще одно: к тому времени я выпустил два сборника “В защиту экономических свобод”⁴⁴. Можно было ожидать, что в отличие от “Жить не по лжи?!”, намечалось устойчивое издание с очень важной и ответственной, по моим представлениям, ролью. Я очень боялся, что не потяну его в одиночку, и потому искал соратников. Вступление в солидный самиздатский журнал было хорошим выходом для моих сборников, которые я рассчитывал преобразовать в экономический раздел “Поисков”. Они получали базу и, что ещё важнее, аудиторию, широкое обсуждение темы экономических свобод. Как Валера был готов идти на риск и тяжелый труд ради роста контркультуры, ради свободного журнала, так и я был к этому готов ради широкого общественного обсуждения необходимости проведения радикальной экономической реформы, экономического освобождения. Наконец, как ни странно, меня очень привлекала открытость состава редколлегии. Ведь сборники я делал под псевдонимом, а в редакцию пришёл под своей фамилией. Таким образом, мне представлялось, что из составителя псевдонимного, как бы полуподпольного, сборника “В защиту экономических свобод” я превращался в одного из членов вполне легального, дискуссионного и даже лояльного (как по своей терпимости, так и по социалистической направленности) журнала. А если начнутся какие-то неприятности в будущем, то успею разобраться в обстановке. Так я не думал, а чувствовал.

Хотя в 4-м номере моё участие было формальным, но при составлении 5-ого я был уже равноправным вместе с ещё ранее введёнными - В. Гершуни и Ю. Гриммом. Правда, равноправие было формальным, но я не претендовал на большее. Зная, что авторитет нужно зарабатывать лишь собственной работой, я

⁴⁴ См. <http://sokirko.info/ecomomy/Zes1/index.html> ;
<http://sokirko.info/ecomomy/Zes2/index.html> /

хотел только поставить на прочную основу экономический раздел.

Редакционные совещания (до 25 января 1979 г. их было, кажется, два) проходили на редкость бурно и неорганизованно, с шумом и спорами, главным образом между “стариками” (Егидес и Лерт) и “молодыми” (Валерий и Глеб), вёзшими основную часть организационной работы. С Егидесом спор шёл постоянно о сроках и размерах поставляемых им статей, а с Лерт - о содержании и качестве принимаемых в номер материалов. Как профессиональный редактор-марксист, Раиса Борисовна была жёстким (и очень полезным) цензором, и Валерию приходилось громогласно пробивать свои материалы. Раиса Борисовна требовала, чтобы все материалы проходили через её “вето”, которое Валерий и Глеб иной раз обходили, пользуясь большинством в редакции или просто ссылаясь на механические трудности (не удалось во время показать, т.к. сначала надо было распечатать и т. д. и т. п.). Не раз Валера говорил, что уйдёт, еще чаще Р.Б. готовила официальное заявление о своей отставке. Но чем дальше, тем очевиднее становилось, что их разрыв уже невозможен: уходящему было бы безмерно стыдно перед коллегами, покидаемыми в опасности, особенно после возбуждения уголовного дела. Необычайную крепость этой групповой связи я тоже ощутил, но несколько позже.

Честно говоря, бедлам в “Поисках” и особенно на редакционных заседаниях меня совсем не устраивал. Не зная толком о “чудо-плане” печатать издание за границей, я был нацелен на здешний, сугубо самиздатский способ и считал, что коллеги по редакции должны быть равноправными участниками и в тяжёлой технической стороне дела. Идеалом я считал самиздатский коллектив, каждый член которого ведёт свой раздел, имеет своих помощников, распечатывает свой раздел в 10 экземплярах, а ответственный по номеру (в порядке очерёдности) собирает из этих кусков 10 “сигнальных” журналов для последующего прочтения, коллективного обсуждения и исправления, прежде чем номер будет утвержден

для выпуска. Если каждый из редакторов сделает ещё по закладке утверждённого номера, то получится в итоге около 80 экземпляров - вполне достаточно, чтобы журнал стал реальным событием самиздатской литературы.

Много раз я пытался поставить на обсуждение свои представления о “должном” - в частных разговорах и на заседаниях - но не находил отклика: никому не нравилось работать по разделам, все претендовали решать всё. А может, были и иные причины. Да не до того скоро стало. Так что никакого практического участия и тем более влияния на ход дел в журнале я не имел, да и не стремился к этому. Только в апреле-мае 1979-го я попытался один раз выполнить свой долг перед журналом: с трудом нашел машинистку для перепечатывания № 5 журнала, чтобы сделать его известным хотя бы своим ближайшим знакомым. Моя попытка кончилась неудачей. При передаче напечатанного меня вместе с машинисткой задержали на станции метро “Беляево”, что стало потом одним из основных пунктов моего обвинения.

После серии обысков 25 января журнал вдруг оказался в положении практически запрещенного, стал вопрос о его существовании. Помню, в феврале Валера даже рекомендовал в разговорах намекать, что журнала больше не будет. Однако когда изъятый № 5 был возрожден из уцелевшего черного экземпляра, его выпустили в свет с предисловием, в котором, обращаясь к миру, редакция открыто заявила о своем неповиновении: журнал будет выходить и дальше. Прокуратура ответила на это официальным возбуждением уголовного дела, новыми обысками-изъятиями и даже неофициальным предупреждением Валерию: появится следующий номер - посадим, остальных - вышлем. Началось открытое противостояние “Поисков” и властей.

Обыски были и у меня. Многочасовые, с захватом на работе и привозом в прокуратуру на допрос, с огромными изъятиями и страхами. Почему я тогда не вышел из редакции?

Наверное, от того же: стыдно праздновать труса и уходить первому. Думаю, что страх испытали и другие, но из двух

возможных вариантов поведения: уступить власти в данном случае или, напротив, идти напролом, добиваясь своего под защитой мирового общественного мнения, победил последний. Я даже не мог толком высказать свои возражения. Да и высказывать их было стыдно - они были бы расценены как капитулянтство. А ведь все мы очень зависим от мнений окружающих. Поэтому никто не хочет сказать первым о необходимости, например, самороспуска редакции или своего выхода, боясь презрения, с которым станут толковать этот шаг окружающие. Наверное, поэтому я молчал: попал в порог и греб не рассуждая. Очутился в преследуемом коллективе, потеряв собственную свободу выбора действий.

Конечно, если бы редколлегия была готова тогда заявить о своем самороспуске, я бы первый поддержал такую осторожность. Или, если бы тогда редколлегия заявила, что будет стоять на своём, даже когда всех до одного арестуют, я бы, наверное, опомнился. Но она поступила более осторожно: временно приостановила выход новых номеров, а с другой стороны - громогласно объявила уголовное дело против “Поисков” незаконным преследованием. Мне рекомендовали при последующих допросах отказываться от показаний (я так и делал, требуя предварительного доказательств наличия клеветы в журнале, т.е. обоснованности обвинений). Петр Маркович утверждал, что любая информация на допросе, даже самая невинная, может быть использована во вред. Например, на первом допросе Сокирко сказал, что интересуется в основном экономическим разделом, но тогда выясняется, что кто-то иной, например, Егидес, занимается более опасным общеполитическим разделом, а ведь в журнале принят принцип равной ответственности... Гершуни же уверял, что если никто показаний давать не будет, бумаг никаких не будет, дела не оформишь, и потому суда не будет. Доводы такие мне казались наивными, и хоть после пережитого в 1973 году⁴⁵ очень не хотелось снова вставать на позицию тотального отказа от

⁴⁵ См.: П.0.3.1

показаний, я дал соответствующее обещание. Уж очень противно было, что на тебя смотрят как на труса.

Но конечно, голова у меня хоть и кружилась, но ещё была способна соображать. Обыски и объявление уголовного дела я воспринял однозначно, как начало неизбежного конца журнала: раз вцепились, то не отступят, пока не задавят. В таком повороте событий я винил тогда неосторожность Юрия Гримма, который перед Новым годом дал интервью западному корреспонденту о московском свободном журнале “Поиски”, а тот через радио “Немецкая волна” рассказал об этом всему свету и тем навлек преждевременный гнев властей. На деле, интервью Гримма стало лишь последней каплей. Как мне потом “поясняли”, Егидеса могли терпеть пока он лишь “болтал языком”, но выпуски толстого и серьёзного журнала, претендующего на роль идейного объединяющего центра “демократического движения”, были слишком серьёзным делом, чтобы не обратить на них внимания и, соответственно, карательные меры.

Я понимал, что “задают”, неясно было только, как и когда. Моя второстепенная роль в редакции позволяла надеяться, что при этом я сильно не пострадаю, что под суд и в лагерь мне идти не придется, а вот помочь как-то Валерию в осторожности я надеялся. Суд над всеми членами редколлегии казался невероятным - уж очень не любят наши власти устраивать политических процессов. А как же иначе можно было расценить такой суд? Так и получилось.

Прошла сумасшедшая весна, когда так неудачно закончилась моя единственная попытка принять реальное участие в распространении “Поисков”, и, напротив, я успешно оформил весь накопленный экономический материал в виде ещё пяти сборников “В защиту экономических свобод” (ЗЭС №№ 3-7) - не получилось в журнале, пришлось выпускать сборники. В последнем номере я объявил о прекращении своего участия в ЗЭСах, ввиду “чрезмерного внимания ко мне властей”. Кстати, ещё до моего ареста появился ЗЭС № 8, а после выхода из тюрьмы мне довелось прочесть ЗЭС № 9. Насколько проще

было решать такие тяжёлые нравственные вопросы одному, единолично!

Летом все разъехались по дачам и шабашкам, и, может, потому следователь Бурцев начал вызывать на допросы именно меня: раз, два, три, а в промежутках - моих знакомых, по отобранной телефонной книжке, человек 6.

На допросах я отказывался давать показания, но “разговаривал”. И хотя для меня это был разговор с властью, а для Бурцева - просто работой, ни к чему те разговоры не приводили. Помню только один существенный момент: “Неужели Вам, Сокирко, и вправду хочется в лагерь? Ведь сколько читали, каково там, а ведь и хуже бывает... Правда, не хотите? Тогда вот Вам ручка, пишите, что больше не будете писать ничего этакого (самиздата, наверное), и мы выведем Вас из этого дела...”

Вот когда судьба давала мне шанс “выйти из дела” (а может, и нет?), конечно, с большим стыдом, но гораздо меньшим, чем пришлось принять потом, после тюрьмы и самоосуждения в суде.

Сейчас мне кажется, что тогда я сделал ошибку. Не был готов к предложению ничего не писать больше в самиздате, такое условие казалось мне почти духовным самоубийством. Просто не мог себе представить такого.

Я тогда отказался и даже заявил публично, что предпочту этому лагерь. Сейчас я не понимаю своей логики: ведь лагерь тоже означает прекращение самиздатской деятельности, потому что ни в лагере, ни после него под угрозой очередной и гораздо более тяжёлой статьи самиздатом заниматься не будешь. На деле же я говорил, что лучше буду жить под страхом преследования, чем откажусь от своей свободы мысли и слова, надеясь, что угрозы меня все же минуют, а свобода останется при мне. Короче, я еще не верил в неизбежность лагеря. Помню только, что боялся, как бы Бурцев не испортил мне летнюю шабашку, задержав своими допросами отпуск. И был счастлив, когда он всё-таки отпустил, взяв слово, что не буду писать ничего этакого хотя бы месяц... Временное освобождение от

допросов мне казалось чуть ли не победой собственной стойкости. Такой дуралей!

Прошла в августе моя изумительная каспийская шабашка в тесном общении с морем, пустыней, детьми - источник радости на многие годы вперед. Прошёл наш с Лилей сентябрьский поход по Кавказу - морю народов и судеб, закончившийся великолепным абхазским гостеприимством в Гаграх. Ещё никогда мы так полно и радостно не отдыхали от Москвы, и впервые не хотелось в неё возвращаться: радость возвращения домой, к детям чернилась предчувствием опасности от возвращения к запутанным делам “Поисков”, очередным вызовам Бурцева.

Что же оказалось в Москве? Сам я, конечно, не торопился проявлять себя, и потому октябрь прошел тихо-спокойно и был занят проявлением путевых плёнок, печатанием путевого дневника, записью диафильма “Мангышлак”. Переснял на “Эре” и раздал последние выпуски экономического сборника - последняя моя дань “экономическим свободам”. Отнёс три комплекта 3-го – 7-го выпусков Тане Великановой. Было ощущение работы, выполненной до конца, до предела личных возможностей. Теперь уже всё зависит не от меня: вопросы поставлены, заданы так громко, как смог, а будут ли они услышаны и найдутся ли в обществе на них ответы - от судьбы зависит.

А судьба начала показывать когти. В конце октября был обыск у Тани. До того я несколько раз заходил к ней и с грустью убеждался, что вечно занятая хозяйка так и не добралась до моих выпусков, как обещала - лежат они нетронутой грудой в столь опасном месте и опасном количестве. И дождались-таки обыска. Хозяйку пока не тронули, а сборники, конечно, утащили...

Таня встретила меня виноватой улыбкой. Господи, ей ли вечной труженице, виниться? Но ведь и пропажа моя немалая. И как деловые люди, своими руками делающие самиздат и знающие, чего он стоит, мы внутренне соглашаемся, что в данном разе Таня действительно виновата - каков бы ни был

дефицит времени, а сборники надо было сплавить побыстрее. Я мягко досаую, а Таня смущённо молчит.

А 1 ноября её забирает Московское УКГБ. В тот же день и по тому же делу был обыск у меня. Думаю, что как раз из-за изъятых недель раньше у Тани сборников. Вот для меня и ещё одно свидетельство, что “они” знают, кто такой К. Буржуадемов - составитель ЗЭСов. Теперь они узнали и о последних сборниках и, конечно, не обрадовались. Опасность прямо-таки сжимает моё горло. И недаром. Уже при закрытии своего дела я узнал, что Институту экономики отзыв на ЗЭСы был заказан не прокуратурой, а Московским УКГБ ещё до моего ареста. Значит, дело на меня начало оформляться и по ЗЭСам, но лишь в марте КГБ передало его в прокуратуру, поскольку я был уже арестован по “Поискам”.

Аресты Тани, а за ней священника Г. Якунина всколыхнули очень многих людей. Уж очень долго Таня вела, тащила “Хронику” - главный нравственный стержень правозащитного движения, была единственным человеком, открыто объявившим о своей причастности к “Хронике”, о своей готовности свободно распространять её. Для меня Таня значила много, очень много, она казалась гарантией легальности правозащитного движения. С её арестом эта “гарантия” оказывалась иллюзией легальности и непреследуемости каждого из нас. И если прибавить ещё и давние добрые наши отношения, несмотря на все идейные расхождения, то можно представить, каким обвалом для меня оказался её арест. Обычные подписи под протестами не удовлетворяли, в них не отражалось чувство покинутости, а главное, не представлялось, как Танина открытая приверженность к самиздату, к “Хронике” будет продолжена.

Поэтому я составил собственное письмо “К аресту Т.М.Великановой” (оно было потом подписано ещё Валерием и Витей Сорокиным).⁴⁶ Главным в нем было именно объявление открытой и легальной приверженности (“мы не можем отказаться...”) к “Хронике”, к “Хельсинской группе”, к

⁴⁶ <http://sokirko.info/ideology/vokrugpoiskov/1.7.htm/>

самиздату и к помощи политзаключённым. Как бы клятва верности основным правозащитным знаменам - притом на высшем уровне, ибо приравнивалось она “верности Родине”. Это письмо было отправлено в редакции советских газет и, конечно, в самиздат. Много раз я потом слышал отзывы о его чрезмерной смелости. Я так не считаю, ибо опасность исходит не от открытого объявления своей “верности”, а от реальной деятельности. И в тюрьме, и в суде мне не ставили в вину письмо в защиту Т.М. Великановой, как впрочем, и все последующие письма... В обстановке сильной опасности от следствия по “Поискам”, от обыска по Таниному делу, одним письмом больше или меньше – казалось не существенным, зато хотелось сказать всё важное, пока тебя не заткнут. А там уж один ответ за всё...

В ноябре же я начал составлять свои последние самиздатские письма-статьи, торопясь высказать самое важное:

- о приближающемся кризисе в экономике (прогноз социальной катастрофы, если не будет радикальной экономической реформы),

- о необходимости взаимопонимания между либералами (диссидентами) и “народными сталинистами”, потому что только их союз может обеспечить проведение радикальных реформ,

- о диссидентской этике, о желательности большей самостоятельности диссидентов от западной поддержки в 80-х годах.

Последним, уже в январе 1980 г. стало письмо Брежневу с просьбой о выводе наших войск из Афганистана. Я писал, как перед смертью, спрятав на всякий случай, завещания - письмо на случай ареста. И потом, когда арест всё же случился, с удовлетворением мог сказать себе: самое главное успел сказать громко и открыто, а теперь можно думать и о себе, о своём глубинном, и отказ от личной самиздатской деятельности был легок и естественен: “Всё уже и так сказано. И отказываться не от чего...”

Но как ни странно, в том же ноябре, в период своей максимальной раскованности, отчаянной свободы и началось моё “отступление”, поиски реального выхода из надвигающегося “Архипелага”. Это трудно понять. В одно и то же время, в одном и том же человеке шли два противоположных процесса: эскалация открытых до отчаяния, резко-критических писем и поиски реального отступления, прекращения уголовного дела против “Поисков” в обмен на его самороспуск. Общее у них только происхождение - реакции на опасность. Первый процесс был реакцией на неопределённую опасность, мобилизацией всех сил и наличной агрессивности: до наступления неизвестного часа X успеть сделать максимум возможного. Второй - реакцией уже на осознанную, понятную, конкретную опасность, которую следует устранять конкретными же мерами.

Где-то после ноябрьских праздников со мной встретился Женя П[олищук] и рассказал, что его вызывал Бурцев и официальным протоколом записал его рассказ о том, как он нашел для меня машинистку. Летом он давал объяснения по этому поводу, а теперь их “оформляют” протоколом... Этот незначительный, казалось бы, факт и перевёл вдруг мою ситуацию из какой-то неопределенной, едва ли не мистической и далёкой угрозы в совсем иной, реалистический план: известный мне следователь Бурцев вызывает людей, оформляя на меня дело. До жути реально осозналось, что существует конкретный срок, чтобы через несколько месяцев (а может, дней) посадить кого-то из нас (а может, и меня - раз на меня оформляют протоколы) в реальную тюрьму.

А ведь, сколько было до этого признаков, свидетельств, разговоров, предупреждений об опасности... Вот, в октябре меня неожиданно послали на курсы повышения квалификации после долгого убеждающего собеседования со мной самого директора института: “Будь умней и пожалей своих детей”. Потом старый знакомый рассказал по секрету, как с ним тайно беседовали обо мне “из органов” и просили поспособствовать, ибо, видно, Сокирко не понимает, насколько положение его серьёзно.

Каждое из этих предупреждений было серьёзно, но неопределённо, походило скорее на угрозы, которым, прежде всего “нельзя поддаваться”, чем на неотвратимое доказательство. А вот после рассказа Жени неотвратимость будущего суда я хорошо осознал. Ведь, хоть и медленно, но работа над 6-м и 7-м номерами “Поисков” (а в заглавнике лежали материалы на 8-й номер) продвигалась и рано или поздно, но окончилась бы выпуском этих номеров. После этого неизбежно начнутся вызовы и аресты - ведь угрозы даются для того, чтобы их выполнять. Неизбежно готовятся три последующих номера, но ещё более неуклонно готовит Бурцев обоснования к нашему аресту. И если ничего не делать, то никакого “не может быть”, никакого “чуда-спасения” не будет, а надо просто ожидать ареста со дня на день.

Никогда я не хотел тюрьмы - не только потому, что боялся её, а действительно считал, что надо избегать посадки всеми силами, как события вредного, не только в личном, но и в общественном плане. Правда, последний год меня посещали иногда мученические мечтания: суд, на котором я смело говорю, что как Буржуадемов хотел правды и честного труда, что спасение страны в свободной инициативе и законности, надеясь, что после моих слов идея экономических свобод станет публично обсуждаемым фактом (по старой традиции: “тогда лишь дело прочно, когда под ним струится кровь”, и если не кровь, то хотя бы суд и тюрьма - сильны ещё в нас эти экстремистские чувства, даже во мне, их давнем гонителе). Такие тщеславные фантазии были редкими и стыдными, а трезвый рассудок быстро подсказывал, что давать себе волю в подобных намерениях через горе близких и стыдно, и нехорошо. А потом Лиля... Каким-то образом она угадывала у меня такие настроения и однажды с тревогой спросила: “Ты что, созрел для тюрьмы?” И я с горячностью опровергал ее беспокойство, с остервенением подавлял в себе такие поползновения, убеждал себя и других, что в тюрьму я не попаду.

Теперь же, после информации Жени, когда вдруг обнажился реальный ход следственной машины, я понял, что

должен как-то прервать его или всем нам готовиться к тюрьме: сначала Валере, потом другим.

Прервать ход следствия можно только прекращением деятельности редакции, которая в то время, несмотря на отсутствие новых номеров, была весьма активной в виде участвовавших редакционных заявлений по самым разным поводам и предложениям. Заявления часто подписывались просто “Редколлегия свободного московского журнала “Поиски””. Собраться вместе было трудно, а заявления были срочными, поэтому я иной раз узнавал о “своём заявлении” уже после его выхода в свет, что меня особенно сильно раздражало. И сделать ничего нельзя - ведь и вправду из-за преследований трудно и опасно собираться и совещаться. Редакционная коллегиальная работа стала невозможной. Редколлегия без журнала оказалась просто одной из диссидентских групп (да и группой лишь по названию, ведь после лета мы не собрались ни разу вместе) для заявлений по разным, в том числе и внешнеполитическим поводам, вызывая у властей, наверное, глухое раздражение, побуждая прокуратуру ускорить ход её машины.

Я договорился о встрече с Валерием и Глебом, ибо только с ними я был близок в редакции. Они понимали важность моих мотивов: следствие полным ходом идёт к завершению, т.е. к арестам. Если мы не хотим садиться, то надо спешить с объявлением о прекращении журнала, конечно, при одновременном выпуске последних номеров, что необходимо для частичной моральной компенсации. Однако итог нашей встречи был отрицательным. Валерий тихо, но твёрдо отвергал мои доводы. Он тоже не хочет садиться в тюрьму, но спасение видит лишь в ещё большей смелости, активности и твёрдости в защите. Например, вступить в проектируемую тогда ассоциацию самиздатских журналов и т. д. Понятная психология: “от неизвестного - смело вперёд!” Мои прогнозы следствия отвергались - мол, понять “их” всё равно невозможно, а любые уступки “им” - смертельны... В общем, ответ на всё один: “нельзя уступать”. Глеб, говоря со мной, соглашался, что надо искать выход, но в разговоре с Валерием тоже оседлал

известный мотив: “их” действия абсолютно злы и непредсказуемы, и потому ничего сделать невозможно.

Что же мне оставалось? Действовать самому! Таким шагом стало моё письменное заявление в редакцию о прекращении своего участия в редакционной работе (не снимая ответственности за уже подготовленные номера), в общих заявлениях. По существу же это было выходом из редколлегии.

Своё заявление я написал в том же ноябре, недели через две после письма о Тане, и потому сразу же объяснил, что не отказываюсь от самиздата, а только выхожу из группы, попавшей в положение противостояния. Я выхожу, потому что редколлегия вынуждена прекратить реальную работу по журналу, а противостоянием я заниматься не собирался и не хочу. Надо уйти из-под удара и искать иные формы работы.

Вот эта моя бумага, отданная Валерию дождливым вечером (кажется, 22 ноября) в церковной сторожке на подворье Антиохийского Патриарха, и стала началом моей решимости - выйти из тюрьмы ещё до посадки в неё, началом поисков компромисса.

Волновался я при этом отчаянно, ведь речь могла идти и о нашем полном расставании. Обвинения в трусости я тогда не боялся. Но поймёт ли он справедливость моих доводов? Надежд почти никаких... Валера при чтении тоже волновался, а после молчания только сообщил, что ждал чего-то подобного после нашей последней встречи. Его Катюша даже выразила вслух: “Вот увидишь, Витя уйдёт”. Я не возражал. Он молчал и только один упрёк допустил, и я был ему благодарен за эту откровенность: “Мы, Витя, давно с тобой спорим. И сейчас наш спор длится. Для меня главное - нравственность, а для тебя - польза дела”. На что я возразил: “Нет, не так. У нас с тобой просто разные нравственные цели. Ведь сохранение нормальной, не тюремной жизни и работы - вполне нравственная цель. Выстоять в противостоянии даже ценой гибели - тоже нравственная цель, но иная, не моя”. Валера на это промолчал, наверное, не согласился.

Моему решению была рада только Лиля: “Как будто тебя совсем захлестывало, а сейчас ты всё же начал выплывать”.

Как бы то ни было, но теперь я отделился от преследуемого коллектива, снова не связан групповой дисциплиной и, с учётом ранее взятых обязательств, смогу быть свободным и в жизни, и в своём поведении на следствии. К моему удивлению, реакция редколлегии на моё заявление не оказалась сплошь отрицательной. Во-первых, практически полностью меня поддержал Глеб, вернее, моё право на такой “смелый шаг”, как он выразился. А во-вторых, и это было самым радостным за всю осень событием, в один из диафильмовских наших вечеров в конце ноября пришёл вдруг Валера и попросил меня забрать назад заявление и уничтожить его, потому что практически вся редколлегия согласна сделать на днях заявление о приостановлении журнала на неопределённое время с одновременным выпуском трёх последних номеров. Конечно, заявление такое будет последним, и потому нужды в моей отставке нет. Каждый из нас будет сам распоряжаться собой. У него лично уже есть свои планы...

Конечно, я выполнил просьбу Валеры. В этот вечер мы стали как будто намного ближе. Вдруг открылся новый Валерий - способный к трезвой оценке ситуации и к трудным поворотам. Но ведь если подумать, то и не могло быть иначе: многие годы он был вожаком молодёжи и, значит, учился трезво учитывать обстоятельства.

Валерий говорил, что такое решение он уже успел согласовать со стариками. В положительном же отношении Гримма и Гершуни он был почему-то уверен. Особенно трудны и мучительны были его переговоры с Егидесом, но всё же и он согласился.

Правда, прошло время, и к радости (ведь гораздо лучше выходить из-под удара вместе, чем одному, рискуя прослыть отступником и шкурником) начало примешиваться беспокойство. Снова я оказался в коллективе “Поисков” и зависел от того, когда будут готовы последние номера, чтобы можно было собраться и составить свой последний документ. А

уже я хорошо знал, сколь медленно едет коллективная улитка, особенно сейчас. Ведь старики очень неохотно, лишь под Валериным нажимом, понимая, что арест грозит ему - в первую, а им - в последнюю очередь (Раиса Борисовна была опасно больна, и следователи это знали, а Пётр Маркович уже получил разрешение на эмиграцию и срочно оформлял документы), согласились на публичный спуск знамени "Поисков". Всё будет идти очень медленно, а Бурцев ведь ждать не будет, можно просто не успеть. Но Валерий спокойно отвечает: "На днях..." И меня снова захлёстывает радость, что мы вместе, что в таком жизненном вопросе мои слова были услышаны и приняты, может, впервые в жизни...

4 декабря Бурцев арестовывает Валерия. Мы всё же опоздали со своим решением и, наверное, опоздали очень сильно. "Это" случилось, и все знали, что суд и лагерь для Валеры стали теперь неизбежными. Уже в тюрьме Бурцев объяснил мне, что Абрамкина арестовали после того, как на каком-то обыске обнаружили материалы "Поисков" № 6: "Мы его предупреждали - и вот результат".

А что теперь будет с решением о приостановлении журнала без Валерия? Первая и естественная коллективная реакция - письмо в защиту арестованного Валерия Абрамкина. В этот момент я пытался подать свой проект этого письма, в котором наряду с протестом была и информация о выходе в свет последних номеров журнала, подготовленных с Валериным участием, и об остановке журнала во исполнение подготовленного с ним же решения. Я доказывал, что наряду с протестом мы должны сразу же легализовать последние номера и объявить следствию, что "Поиски" как редакция больше не существует и потому суд над Абрамкиным будет местью, а не целесообразной охранительной акцией, доказывая, что только такое наше кардинальное решение может облегчить Валерино положение и судьбу.

Однако сразу наткнулся на решительный отказ Лерт и вынужден был подписать лишь голый протест, смирившись, что "сейчас для этого - не время". А когда будет время? Может,

когда дождёмся очередного ареста за № 7 и т.д.? Или просто свяжем себя заявлением, что будем “стоять до конца”, пока Валерия не выпустят, т.е. до своего конца, потому что его не выпустят - это точно. И ни на какие переговоры и условия с нами власти не пойдут, не так воспитаны и не для того арестовали.

Декабрь был ужасным, сосредоточенным на одной лишь цели - осуществить приостановку журнала уже как волю Валерия, потому что только этот аргумент и мог воздействовать на стариков. Теперь мы были вместе с Глебом, а основным противником оказался Егидес. Пётр Маркович не отказывался, что с Валерием у него было “о чём-то условлено”, но о чём именно, он сообщал очень неопределённо и глухо. Теперь он соглашался на объявление о временной приостановке журнала только в обмен на освобождение Валерия из тюрьмы, т.е. на заведомо утопических условиях. Думаю, что он и сам понимал нереальность своих условий, но на деле ему не хотелось останавливать журнал, не хотелось уезжать на Запад представителем уже несуществующего журнала. Впрочем, каждый раз он благородно заявлял: “Я буду согласен с любым общим решением, раз сам я уезжаю, но уверен, Витя, что с Вами никто не согласится”.

Спорили мы почти весь декабрь. Практически друг с другом, потому что Раиса Борисовна лежала в больнице и была вне досягаемости. С Гершуни и Гриммом я, в отличие от Егидеса, был почти незнаком, и мне было неудобно начинать переговоры с ними за спиной у Егидеса, а общая встреча всё откладывалась и откладывалась... Моя настойчивость оказалась бы безрезультатной, если бы не твёрдая поддержка Глеба и его учителя М.Я. Гефтера. Именно Михаил Яковлевич был основным автором последнего, заключительного заявления “Поисков”, удовлетворившего, в конечном счете, всех нас. Именно он по старой дружбе навестил Раису Борисовну в больнице и убедил её в правильности такого решения: действие журнала приостанавливается, а редколлегия становится группой по защите Валерия Абрамкина. Раиса Борисовна передала нам

письмо с согласием на текст Михаила Яковлевича и с просьбой “ не ссориться”. Её письмо решило всё за несколько дней до Нового года.

Но пока шли переговоры, я жил как в лихорадке, чисто физически ощущая уже не ход, а бег времени, со дня на день ожидая, как Бурцев вызовет кого-нибудь из нас и скажет: если выйдет № 7, будете арестованы Вы. Особенно я боялся за Глеба и потому торопил его как мог. А когда я узнал, что Бурцев вызвал Глеба, то был убежден - именно за этим. Кажется, никогда я не был так красноречив, уговаривая его, прежде всего, заявить о произошедшем выходе в самиздат трёх последних номеров журнала, чтобы предупредить угрозу. Хорошо было бы намекнуть, что редакция свёртывает свою работу, и только арест Валерия задержал объявление этого. Если “им” и вправду нужен не процесс, а лишь закрытие журнала, то такая информация должна притормозить ход следовательской машины. Только потом я понял, что Бурцев и его заказчики имели разные интересы: если заказчики были заинтересованы по-тихому закрыть журнал, то Бурцев - дооформить начатое дело и потому обращаться с такой информацией к нему было бесполезно.

Помню, что я прямо заявил Глебу: “Не скажешь ты, скажу я сам. Пусть это и нехорошо - делать единолично заявление такой важности без согласия других, но уж нет никакого времени, да и невозможно добиться согласия Петра Марковича, а ведь дело идёт о судьбе всех нас. Нет уже времени, нет!” Так зримо, почти вещественно я ощущал тогда опасность.

Глеб обещал приехать ко мне вечером сразу после допроса... и не приехал! Воспринял я это, как очередное колебание, и потому к утру написал своё заявление на имя Бурцева. Отвести его взялась Лиля - было проще ей опоздать на работу, чем мне отпрашиваться у начальства, которое и так потеряло голову, не зная, что со мной делать и как относиться.

В то утро я снова почувствовал себя отдельным от всех и снова ошибся. Перед обедом ко мне на работу приехал Глеб. Вчера он просто не успел, а Бурцеву он заявил всё же, что последние номера журнала (№№ 6, 7, 8) существуют и уже вне

нашей власти. Узнав, что Лиля отвезла в прокуратуру моё письмо, сильно возбудился, если не сказать больше... Я даже почувствовал себя виноватым, как вдруг меня позвали к телефону. Звонила Лиля из прокуратуры: “Бурцева нет на месте, а его сотрудница требует оформить заявление официально через регистратуру как письмо. Как быть?” – “Ничего не надо, отбой!”

Снова случай не позволил мне отделиться от общей редакционной воли “Поисков”. Если бы я был мистиком, то сослался бы на рок. С Глебом мы помирились, а после этого случая действовать он стал очень энергично, сначала сам, а потом с помощью Гефтера.

Наконец, Егидес согласился собрать всех на своей квартире, правда, после моих визитов домой к Гершуни и Гримму (впервые). Нас было пятеро, Валерий в тюрьме, Раиса Борисовна в больнице. Решать было почти нечего: текст заявления о приостановке был одобрен Раисой Борисовной, Глебом и мною, о принципиальном согласии Валерия тоже все знали. Оставшись практически в одиночестве, Петр Маркович “не возражал”. Однако так долго я добивался этого заседания, что до последнего момента не верил в успех и держал в кармане заявление о выходе в случае неудачи. Помню, как Глеб меня тихо успокаивал: “Не волнуйся Витя, тише. Новый год мы встретим с тобой частными людьми”.

Так и получилось. Перед Новым Годом последнее заявление редколлегии “Поисков” появилось в Самиздате. Счастлив я был безмерно. Кончился период добровольно “повязанных рук”, вынужденных обязательств, безнадёжного бессилия, когда знаешь, что действовать надо, но не имеешь на это права, связанный желаниями и мнениями других членов группы. Больше никогда в жизни я в подобные группы или редакции, как бы их ни называли, входить не буду. Конечно, я сам влез в эту ситуацию-западню. Сам испытал, как легко было вступить в самиздатскую редакцию год назад и как трудно оказалось выйти из неё. Но был счастлив, что всё же смог выкарабкаться, успел до ареста.

ПОСЛЕДНЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ
"ПОИСКИ" «К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ»⁴⁷

После выхода первого номера "Поисков" прошло 20 месяцев. Сейчас мы предлагаем читателю последние номера: шестой, седьмой и восьмой – и хотим подвести некоторые итоги.

За это недолгое время мы стремились строго следовать принципам, выраженным в "Приглашении", которым открывался первый номер свободного московского журнала. В самом сжатом виде, они гласят: диалог во имя взаимопонимания.

С этим мы адресовались ко всем. Мы не оговаривали участие в журнале ни предварительными условиями, ни тесными программными рамками. Равно ответственные, мы отказались от предпочтения какой-то одной позиции, одной точки зрения, одной системы взглядов.

Не скроем: держаться этого стиля работы было нелегко. Через многое в самих себе приходилось переступить. Многие сочтут, наверное, что нам следовало больше преуспеть и дальше продвинуться. Но ясно одно: дело диалога пустило корни и в наш солончак. Лиха беда начало!

Но и мы начинали не с пустого места. Незачем перечислять все попытки, всех предшественников поименно, притом разных. Укажем только двух: "Новый мир" Твардовского и – легендарную "Хронику..."

⁴⁷ Опубликовано в № 8 журнала «Поиски взаимопонимания»

"Новый мир" тех, уже давних лет, не только шел в ногу с ростом общественного самосознания, но и в том лучшем, что он передал читателю – опережал и его, и время. Он отвоевал место для открытой мысли и открытого слова. Его поражение – из тех, что не забудутся, поистине: зарубка на века.

Следующей зарубкой стала и продолжает быть "Хроника текущих событий", неотъемлемая от Самиздата, как и тот неотъемлем от инакомыслия, от движения в защиту прав: всех наших соотечественников и, стало быть, каждого из них.

Высоко ценя старое доброе наследство 60-х годов, мы отдавали себе отчет в ограниченности сделанного тогда. Кто поставит в вину шестидесятым, что они загнулись, что они оказались не в силах остановить попятные стремления и закончились всеобщим застоєм? Не вина это, а беда.

Беда разобщенности. Беда взаимного недоверия. Беда от незнания: куда идти? Но именно тогда, в 60-х, многие были подвигнуты на важное – на свободное слово, несущее страшную правду, освобождающее совесть от накипи фальшивых оговорок и утешительных софизмов.

Это было лишь начало. Разбуженная мысль продолжала работать. Настала пора Диалога. Доверие и взаимопонимание ищут себе поприще, приложения к делу – и признания их делом. Эта идея носится в мировом воздухе, у нас же она прямо – на острие ножа. "Поиски" лишь дали этой идее имя, журнальный переплет; стали для нее испытательным полигоном.

Нам ли судить о качестве опубликованных материалов?

Главной заботой инициаторов и редакторов было и остается: дать выход всем ищущим голосам. Нашим рабочим кредо было и остается: нет неважных идей, пустых мнений, лишних подробностей, когда речь идет о кровном, касается ли это России или Мира; всех наших соотечественников или немногих из них – и даже судьбы одного. Все оттенки и все "детали" смысла, так или иначе, соучаствуют в создании той структуры живых различий, какая если не общество, то его прообраз. Дверь в него, открытая всем живым.

Этим мы начинали "Поиски". И сегодня вправе сказать: дело, которое мы делали, не отдаляло и не отдаляет нас ни от одного дельного и мыслящего человека – на каком бы "месте" он ни находился и как бы ни относился он к нам сегодня. Конечно, мы далеки от мысли, что сам по себе диалог достаточен, чтобы оградить от худшего – нас, детей наших и детей их детей... Но мы уверены, что нет иного начала у пути, способного предотвратить общую беду.

Этим мы начинали, но здесь нас вынудили остановиться.

Систематически ужесточающиеся гонения лишили и нас большинства средств, необходимых, чтобы продолжать эту работу. За попытку прорвать блокаду диалога, за открытость своих имен и действий мы уже заплатили арестом одного из редакторов – Валерия Абрамкина. Горько думать, что человек необыкновенной душевной энергии и нравственности – за решеткой Бутырок...

Поставленные перед насильственной и лживой дилеммой: смириться с чьим-то правом ставить пределы для ищущей мысли или – уйти в подполье, мы отвергаем то и другое как равно ложное.

Мы оставляем за собой право – определять самим форму и срок продолжения дела, равноценного для нас смыслу жизни.

Мы отказываемся, сегодня и в дальнейшем – прятаться и спорить шепотом.

Мы не ввели игру в "политику" – и не согласны на условную ничью, чего, видимо, ждут от нас. Адресуясь читателю и соотечественнику, мы признаем лишь его критическое верховенство. Мы повторяем, что готовы все вместе с Валерием Абрамкиным отстаивать законность "Поисков" и необходимость честного диалога для страны, граждан и государства.

Мы не ставим риторического вопроса "кто виноват?", предоставляя его суду читателя, вместе с восемью томами "Поисков". Сами же сосредотачиваемся на действиях в защиту наших коллег В.Абрамкина и В.Сорокина.⁴⁸

в уверенности, что начатый нашим журналом диалог во имя взаимопонимания неискореним из общественной жизни.

Мы благодарим всех, кто своей бескорыстной помощью и активным участием сделал возможным выход свободного московского журнала – в течение двадцати месяцев труда, сопротивления, диалога.

Редакция журнала "Поиски".

⁴⁸ О Валерии Абрамкине - см. выше.

Что касается Виктора Сорокина, то он, хоть и не состоял в редколлегии «Поисков», был одним из главных технических исполнителей самодеятельного издания, а его жена - Соня Сорокина – выполняла основной объем машинописных работ. Сорокина несколько раз допрашивали и угрожали ему, а в декабре 1979 г., в подкрепление угроз, арестовали на 15 суток, якобы за оскорбление представителей власти. Впоследствии, уже в конце 1980 г. он был осужден по статье 181 на один год лишения свободы. Освобожден по УДО в апреле 1981 г. В 1982 г. эмигрировал.

Москва, 31 декабря 1979 г.”⁴⁹

Правда, чувства избавления от опасности не было. Я понимал, что следствие давно уже запущено и наше решение не может остановить его. Знал, что опасность грозит мне не меньше, чем другим: и потому что для следствия очень выгоден и эффектен эпизод задержания меня с машинисткой в метро, и потому что они, конечно, знают, кто такой Буржуадемов и кто составляет сборники “В защиту экономических свобод”, и потому, что они знают мою мягкость поведения и могут рассчитывать, что в тюрьме я сломаюсь... В общем, всё говорило об опасности, но всё же чувство радости освобождения было главным в январе нового, 1980 года. Даже если меня будут судить, лучше я буду жить и отвечать сам за себя, как Сокирко и К. Буржуадемов, а не как член редакции, зависимый от чужой и непонятной мне воли и мнений.

Кончился период моих диссидентских колебаний. Однако сейчас, пройдя тюрьму и суд, как расплату за этот год, я вспоминаю утешительные слова следователя: “В жизни, наверное, всё бывает, надо и диссидентом побывать...” и соглашаюсь с ними. Этот жизненный опыт, наверняка, был для меня необходимым, как мощная прививка против вступления в какую-нибудь партию. А партией в наших жёстких условиях противостояния становится любая публично заявленная организация. Так и редколлегия “Поисков” с начала следствия превратилась в политическую группу, где вместо разных людей разной воли стали необходимы “члены группы” с единой волей, а эту волю диктовал самый максималистский и нещепетильный

⁴⁹ Автор предисловия к настоящей книге А.Н. Алексеев (в дальнейшем – А. А.) спросил меня: «А где тут заявление о самороспуске редколлегии и о прекращении выпуска «Поисков»?». Отвечаю: «Да, прямо не сказано, если не считать слов «...вынудили нас остановиться». Похоже, в предназначенном для читателей «Обращении» хотелось сохранить некоторую неопределённость, а реально самороспуск редколлегии состоялся». Л. Т.

лидер. Мы смогли “приостановиться”, разойтись по-хорошему. Как же было трудно это сделать! Но хорошо, что сделали, ибо оставили за собой лишь память о восьми номерах большого дискуссионного и оппозиционного журнала конца 70-х годов, не осложнив её политическими распрями. Редколлегия “Поисков” кончилась, но... пусть здравствуют без нас поиски взаимопонимания!

Сразу после новогодних праздников я получил повестку и впервые с удовольствием явился к Бурцеву. Теперь я смог спокойно объяснить ему: делайте, что хотите, но история нашего журнала окончена, и преследовать нас нет резона. Только судьба Валерия заставляет нас держаться вместе. Если же Ваша цель - месть или оформление уже начатого дела (а на деле так оно и было), то можете арестовывать хоть сейчас...

Бурцев меня не арестовал, хотя не смог удержаться от уже заготовленной угрозы: “Следующим можете оказаться именно Вы”. А я спокойно ушёл домой, убедив себя, что теперь-то после столь полного объяснения арестовывать меня как **бывшего** члена редакции “Поисков” совершенно нет резона...

Я и сейчас вижу, что мои надежды тогда имели под собой разумные основания, но ведь не только разум диктует решения. Репрессивная машина была запущена, решение о том, что будет суд над “Поисками”, уже существовало и, наверное, даже решили, кто именно будет реальными участниками уголовного процесса. Были выбраны Grimm и Сокирко, потому что “оба здоровые и уже были судимы” (так мне объяснил Бурцев). Конечно, если бы я был чутче к оттенкам бурцевских угроз, то понял бы, что следователь выжидает отъезда за границу Егидеса, чтобы поставить точку: трое в тюрьме, один в эмиграции, двое в больнице. И только Глеба спас случай: вызванный в эти же январские дни на Лубянку, он смог там правильно сориентироваться, дал обязательство впредь не заниматься политической деятельностью, и был оставлен, к нашей общей радости, на свободе...

17 января 1980 г. П.М. Егидес вылетел за границу. Через неделю моим арестом закончилась ПРЕДыстория «Бутырского дневника». Декабрь 1980 г.

1.1.3. Репортаж о первом обыске

В январе 1979 г. двое веселых неизвестных (представившихся работниками Мосгоругрозыска), имея при себе трудолюбивого следователя прокуратуры, двух робких понятых и печального милиционера, унесли из моей квартиры два мешка машинописных рукописей и пишущую машинку. Прикрытием у них был ордер на обыск с целью обнаружения “клеветнических материалов, порочащих советский государственный и общественный строй” по делу №46012/18-76 [в отношении «Хроники текущих событий»].

Правда, “веселые ребята” не устали утешать меня, что изымают не совсем, что “там” разберутся и все хорошее и правильное, безусловно, вернут. Однако, и чужой, и мой личный опыт показывает, что верить этим обещаниям нельзя. В 1973 г. мне клятвенно обещали, что забранный при обыске у Якира фотоаппарат вернут после суда, а потом так и не вернули. Зачем они так делают, зачем нарушают не только собственные обещания, но и свои собственные инструкции и законы (конфискации может быть подвергнуто только имущество осужденного, но никак не свидетеля), понять невозможно. Я лично склоняюсь к признанию низменных мотивов: помешать работе - изъятием машинки, месть за обличения и критику – изъятием всех дорогих ему материалов, или простая корысть (до сих, пор гадаю, кому попал мой старый товарищ по походам - фотоаппарат “Зенит-3М” с объективом “Мир”, сожалею о нем и злобствую на похитителей).

Итак, 25 января 1979 г. меня в числе других участников самиздатского журнала “Поиски” ограбили, очевидно, с низменными целями. И при этом я не сопротивлялся, не кричал

и не созывал добрых людей на помощь. Наоборот, открыл двери квартиры, выпроводил побыстрее дочь на хоровой кружок, раскрывал все шкафы, разворачивал коробки, листал книги, стремясь побыстрее закончить обыск и избавиться от непрошенных гостей. 6 часов мы неутомимо работали, как говорится, плечом к плечу, отбирая все, что могло интересовать “веселых ребят” (я до сих пор не понимаю, почему репортаж политзаключенного, кажется, Снегирева, из Владимирской тюрьмы они все-таки оставили, хотя и держали в руках, а вот обычные путевые дневники и выписки из краеведческой литературы забрали.) И при этом, кажется, мы даже не теряли симпатии друг к другу. Они помогали мне одевать двойняшек в детском саду, а я приглашал их ужинать вместе, когда кормил детей.

Но как возможно такое? Такое сотрудничество и даже приязнь? Такое извращение?

Я объясню: они понимали, что изымают не клеветнические материалы, а материалы журнала “Поиски” и все, что может стать его редакционным портфелем, а также все, что характеризует меня самого. Они понимали, что я вовсе не “патологический клеветник” и не “агент американского империализма”, а обычный инакомыслящий, если и больной - то совестью, тем, что с грибоедовских времен называется в России “горем от ума”, и потому не могли не проявлять уважения и стеснения.

Я же понимал, что они пришли сюда не по собственной злой воле, а по долгу службы, может, даже тяготятся своими мерзкими обязанностями, и сочувствовал им. Ведь в комсомольской молодости я и сам оказывался в аналогичных ситуациях - например, в пору организации добровольных народных дружин и оперотрядов. До сих пор не могу забыть стыд, когда нас, студентов МВТУ им. Баумана, привели в ГУМ и заставили довить “спекулянтов” и “нарушителей правил социалистической торговли”, т.е. тех, кто, купив туфли или кофту, потом из-за неподходящего размера и т.п. решают продать их за ту же магазинную цену... Все мы - советские люди

и попадаем иногда в стыдные ситуации, и лишь немногим счастливым удается избежать их, да и то не всегда и не полностью.

Может быть, момент острого стыда придет и к моим молодым “гостям”, но пока они веселы и играют с самого начала до самого конца разбитных и своих парней.

Я их увидел в 12 часов дня, ввалившихся в наш вагончик (меня на 2 недели послали от института помогать прокладывать на улице кабель - привычная для всех хозяйственная гримаса - и, конечно, мы, ставшие из конструкторов и технологов чернорабочими, почти не работали, сидели больше не в канаве, а в вагончике для обогрева). “Ну, где тут лопаты, дайте, ребята, поработать... вместо Сокирко... Есть такой? Его на работу срочно вызывают. Ну, а мы сейчас...” “А через минуту, когда я выкарабкался из теплой конуры, они уже кончали балагурить: “Ну, мы пойдем, переоденемся и завтра придём...” “и быстрым, догоняющим шепотом мне в спину: “Ладно, это мы просто так говорили, а на деле: вот машина, поехали.” “И уже в машине, зажатый двумя веселыми грабителями, я услышал: “Ключи от квартиры с собой?” Теперь всё стало понятно.

Впрочем, они не были самостоятельными «разбойниками», а лишь пособниками тех, кто послал их на дело. Впрочем, и начальство их тоже творит не собственную волю, а плывет по воле обстоятельств. Безрассудно и бездумно. Всех их можно понять и посочувствовать...

Обыск шел 6 часов, спокойно и деловито, с профессиональным распределением обязанностей. Один из веселых ребят вел со мной душевительные и доверительные беседы, другой руководил обыском, указывал, что взять, а что оставить; следователь переписывал подсовываемые папки, понятые лихорадочно считали количество листов и складывали изымаемое в специально запасенные мешки. В беспомощном отчаянии я наблюдал, как стекаются в их бездонное нутро мой труд, мысли, чувства, жизнь - на уничтожение. Не только моя жизнь, но и других людей. Квинтэссенция не только прошлой, но и будущей жизни. Ведь если они захотят, то на этих

материалах состряпают “дело” - им это просто, и засадят на какой-угодно срок, вычеркнут большую часть жизни - у меня, у родных, у знакомых... Но сейчас мне жалко не столько будущего (бог знает, каким оно будет), а прошлого, уже воплотившегося в вечной бумаге и вот... погибающего.

Хорошо верующим, они могут отнестись с презрением к человеческой памяти в бумаге и делах, уповая на потустороннюю душу. Я же знаю, что моя бессмертная душа живет только в этом, сотворенном и напечатанном, и я трепещу за ее существование. Слава богу, пока исчезают лишь копии. Главное сохранилось, но надолго ли? Что-то уже пропало навсегда, останется лишь в непрочной памяти. Как я буду все это восстанавливать и когда? И будет ли на это время? А мешки все полнятся ... Ах, проклятые.

Но мне не дают долго отчаиваться. Веселый собеседник нашел новую тему разговора. Мы с ним перебрали уже много тем: и прокладку кабеля, и спецодежду, и кооперативные взносы, и дату установки телефона в квартире, и воспитание детей, и выезд за рубеж (“не только евреи выезжают”), и обучение в МВТУ им. Баумана, и защиту диссертации, и денежную базу самиздата, и летние походы, и еврей ли Солженицын, и роль Сахарова в журнале “Поиски”/?!... Ну что еще?

- А Вы были на Пушкинской, на последней демонстрации?

- Был.

- Почему же я Вас там не видел?

- Просто шел с Бульварного кольца, а Вы, наверное, на улице Горького всех задерживали.

- А-а...⁵⁰

⁵⁰ Замечание А. А.: «Все-таки 1979 год. Непонятно, зачем надо было сообщать о своем участии в демонстрации в День политзаключенного 30 октября «веселому собеседнику». Л. Т.: «Мы с Витей так и не признали для себя ценность «многозначительного умалчивания». Помнится, Ю. Шиханович, относя к нам домой номер

И мы пускаемся в воспоминания. Впрочем, вспоминаю, конечно, я: глухой забор, возведенный вокруг памятника Пушкину, грохот компрессора и отбойных молотков на случай речей, кучка молодёжи у забора, сцепившихся за руки и полные решимости не поддаваться на провокации, а вокруг них - кольцо наблюдателей и метущихся “неизвестных”, насакивающих на сплоченных людей. Сам видел, своими глазами - и эту стойкость немногих людей, и эту бешеную злобу “веселых ребят”, когда от толкания и шипения: “Щенки проклятые!” - они переходят к действиям: вцепляются в волосы, бьют каблуками по поясице...

Мой собеседник молчит, а потом переходит на другую тему... О своей дочери, которая сейчас болеет ангиной, и о том, какие у меня хорошие дети и как всё же нехорошо... И как все-таки начались у меня эти досадные отклонения? Неужели все началось с комсомольской активности? Неужели с раздумий о причинах царящего кругом бардака и циничного безверия в коммунистические идеалы? Странно... А всё же, может, подумаете - ведь 70-я статья тяжёлая.

И я соглашаюсь: “Да, тяжёлая... А за что?” - Он пожимает плечами. Потом вместе с ним и одним понятым : “весело” шагаем в детский сад за моими двойняшками, грузим их на санки и с почётным эскортом улыбающихся дядь катим домой. Через полчаса дети накормлены, понятые отпущены, я читаю протокол обыска, а «милые грабители» сидят на диване и читают оставленные ими книжки... “За остальными и диафильмами мы приедем в воскресенье”, - шутят они (на следящее утро я утаскиваю свою диафильмовскую “душу” в неизвестном направлении, ибо от этих шутников можно всего ожидать).

Мы ждем хозяйку с работы, чтобы было на кого оставить маленьких, когда хозяина повезут на допрос. Все чинно и

«Хроники» с напечатанной там историей нашей переписки с С.В. Каллистратовой, заметил в разговоре со мной, что не стал бы близко дружить с Витей из-за его чрезмерной открытости».

пристойно. Пусты мои полки. И только протокол подпрыгивает в моей руке - свидетельством о будущей кремации.

А в машине, в том же окружении, меня начинают посещать мысли выздоровления: “А что же дальше? Как же жить теперь под угрозой нового обыска или, еще хуже, ареста? Можно ли привыкнуть к жизни под угрозой, к ожиданию нового беззакония?” И как бы почувствовав мое новое состояние, «ангел-хранитель» (или дьявол-охранник) заводит очередное: “Разве нельзя иначе - через письма в компетентные органы, конструктивно...” “На что получает неожиданно горячее: “Нет, нельзя иначе!”

Про себя я продолжаю: “Нельзя без поиска, нельзя без альтернатив, нельзя без раздумий, без споров и взаимопонимания равнодушных людей, нельзя без риска! Никак нельзя! Без этого страна погибнет, развалится, не будет будущего у детей, у всех детей!”

Как же не понимают этого люди, стиснувшие меня в служебной “Волге”?! Все наши люди?! Как они не понимают, что отказываться от собственных мыслей и надежд, от их воплощения, значит - предать Родину, стать презренным в будущем, погубить свою реальную душу? Как же они не жалеют себя? 31.01.1979

1.1.4. Экономика 1990 года: что нас ждёт и есть ли выход

Два главных чувства преобладают ныне в экономических разговорах: недовольство настоящим и бессилие что-либо понять и тем более изменить.

Но эти же недовольства и бессилие угадываются в бесчисленных и бесплодных попытках властей реформировать и благоустроить наше плановое хозяйство. Едва отойдя от вакханалии хрущёвских перестроек, с 1965 г. мы видели и попытку проведения либеральной экономической реформы, и её

отмену, потом курс на автоматизацию планирования и управления посредством АСУ, потом введение производственных объединений вместо главков, программно-целевое планирование, а в этом году – новое постановление ЦК КПСС «О совершенствовании хозяйственного механизма» вновь пропагандируется как коренной поворот к будущему улучшению. Ни в одной капиталистической стране хозяйственный механизм не претерпевал столь частых «коренных» реорганизаций и реформ. И, тем не менее, хозяйственные затруднения не разрешаются, а лишь усугубляются. Всё большему числу становится очевидным, что все последующие попытки такого «реформирования» тщетны, пока не будет устранено главное: претензии государства обладать абсолютной экономической властью в форме всеобщего планирования.

Сама идея совершенного планирования из центра всех трудовых действий представляется абсурдной: но в том-то и дело, что этот абсурдный идеал провозглашён не прямо (официально говорят о централизованном планировании лишь главных пропорций, оставляя частности на усмотрения предприятий), а косвенно, через запрет автоматического рыночного балансирования всех этих частных, случайностей и ошибок планирования. Конечно, запрещённое идеологически и юридически, рыночное регулирование по необходимости всё же существует. Через толкачей, снабженцев, леваков, дельцов, чёрные и прочие рынки, где вместо денег действуют связи, блат, дефициты – оно всё же увязывает концы с концами, плохо и с большими потерями, но всё балансирует хозяйство и тем позволяет ему существовать.

На деле нет и быть не может чисто планового хозяйства. На деле только и есть: **нелегальное рыночное хозяйство**, задавленное и изуродованное гигантской системой директив и планов, пытающихся смоделировать те балансовые решения, которые могли быть установлены обычным путём рыночного регулирования. Без рыночной корректировки, и тем более против неё, план всегда опаздывает, неточен, ошибочен,

антиэкономичен. Хороший хозяйственный руководитель всегда борется с планом, нарушает инструкции и законы, всегда виноватый, всегда преступник и потому находится в личной зависимости от милующей его до поры до времени власти.

Либеральная экономическая реформа 1965 г. была неосуществима в самой своей идее: освободить хозяйство от мелочного регламентирования, дать ему в качестве экономического стимула – прибыль, и в то же время – не легализовать рынок и ценовое (рыночное) регулирование. Хозяйство обрекали на хаос, оставляя его даже без грубой госплановой балансировки (по обобщённым позициям). Эту реформу можно было или развить частичным введением рыночного регулирования – как и произошло в Венгрии - или вернуться к усилению централизованного планирования. После чехословацкой неудачи 1968 г у нас произошёл окончательный поворот к идеалу совершенного планирования, теперь на основе вычислительных машин и АСУ. Химеричность этих надежд была понята после многомиллионных затрат на АСУ и ухудшения качества планирования.

Последнее постановление о совершенствовании планирования на деле уже не вводит никаких радикальных изменений. Констатируя необходимость кардинальных улучшений, оно упирается лишь на стёршиеся лозунги о повышении ответственности, усилении материальной заинтересованности, поощрении инициативы, улучшении планирования и т. д. и т. п. Провозглашается перевод хозяйств на показатель чистой продукции, как главный показатель работы. Однако это тоже неосуществимо в условиях планового хозяйства, как и провозглашённый в 1965 г. перевод предприятий на показатель прибыли. Ведь балансировать сверху можно только вал, материальные потоки, а не чистую продукцию. И если предприятия будут в погоне за премированием пренебрегать валовыми показателями ради максимума чистой продукции, то быстро наступит та же дезорганизация чистой продукции, которая уже началась однажды – в 1965 г. после введения показателя прибыли. А в

остальном почти ничего нового, как будто власть выдохлась. И чувствуется, что сами создатели этого постановления несут в себе двойственный дух недовольства и бессилия, когда дальше ехать некуда и остаётся только латать всё увеличивающиеся дыры, ожидая развязки.

Если посмотреть на динамику развития советского хозяйства за последние годы, то прежде всего бросается в глаза снижение темпов роста главного экономического показателя страны – национального дохода: за период 1951-55 гг. – 11,4%, 1956-60 гг. – 9,2%, 1961-65 гг. – 6,5%, 1966-70 гг. – 7,8%, 1971-75 гг. – 5,7%, 1976-80 гг. – 4,1% (оρίζается).

Само по себе падение темпов роста по мере увеличения объёмов хозяйства у развивающейся и догоняющей Запад страны – явление естественное, тем более прирост нашего населения низок – меньше 1% в год, что должно обеспечить повышение благосостояния людей даже при небольшом росте национального дохода. Важно другое: приостановится ли тенденция снижения темпов роста на сколько-нибудь приемлемом уровне (например, в развитых капиталистических странах средний темп роста национального дохода, как правило, 4-5%). Если нынешнюю тенденцию падения темпов роста национального дохода в СССР экстраполировать в будущее, то получится, что уже в 1985-1990 гг. **прирост национального дохода станет меньше прироста народонаселения**, и страна начнёт нищать: не относительно других стран, а абсолютно, и не по отдельным группам населения, а в целом. Препнее положение, когда большинство населения год за годом всё же улучшало своё материальное положение и потому мирилось со многими неурядицами и со своим бессилием, исчезнет, что откроет эру социальных потрясений. Страшное предсказание Амальрика о конце системы в 1984 г. становится социально-экономическим прогнозом на 1990 год и его окрестности. Если же мы учтём, что официальная статистика не учитывает реально протекающую инфляцию (по некоторым исследованиям – около 1,5% в год), то реальный темп роста национального дохода уже сейчас находится на уровне 2-3% в год, и страна начнёт реально

нищать ещё раньше 1984 г. Прогноз Амальрика может оправдаться даже по срокам.

Чтобы предсказание не сбылось, необходимо следующее: начиная с нынешнего года темпы роста национального дохода снижаться не будут, а при благоприятных условиях даже повысятся до 4-5%, свойственных нормальным капиталистическим странам, и будут несколько превышать рост народонаселения, или понизится прирост населения до отрицательной величины (потому что 1-2% и так очень низкий процент). Но не думаю, что кого-нибудь устроит процесс национального вымирания.

В первом варианте следует рассмотреть перспективы двух факторов, за счёт которых может устойчиво расти национальный доход: **рост производительности труда** за счёт технического прогресса и **рост трудовых ресурсов**, особенно в части квалифицированности и умения. Впрочем, есть ещё и третий важный фактор. Высокие темпы роста национального дохода могут быть достигнуты за счёт широкой распродажи природных ресурсов страны. Так, наивысший уровень благосостояния достигнут не в развитых странах, а в Кувейте и иных нефтедобывающих странах.

Стало почти общепризнанным, что плановое хозяйство органически противится техническим нововведениям и уступает им лишь под сильным нажимом власти, вынужденной конкурировать с Западом, или при закупке иностранной, более совершенной техники и технологии. Тьма существующих у нас научно-технических организаций сегодня работает вхолостую или паразитирует на западных образцах. В условиях планового хозяйства нет главного условия технологического прогресса: рыночного выявления эффективности новой техники и технологии. Из-за этого рыночного «регулятора и отбраковщика» наша страна расплачивается трудом вхолостую своих инженеров и учёных, продажей природных богатств за технические новинки, **принципиальной** отсталостью. Ибо за срок внедрения у нас любого западного достижения там успевают родиться и внедриться новое. В плановом хозяйстве

неустранимы огромные потери из-за балансовых неувязок (в рыночной экономике они возникают обычно только в периоды кризисов). Сегодня, согласно даже официальной статистике, уровень производительности труда в нашей стране больше чем вдвое ниже этого уровня в США.

Возможна и другая модель. За счёт массовой закупки новейшей техники и технологии («выхватывания патентов») при жёсткой организации их использования, можно превзойти уровень производительности труда в некоторых из развитых капиталистических стран, достигнув высокого материального благосостояния, обеспеченности и социальной устойчивости. Но для этого надо обладать гигантскими, легко доступными запасами природных ресурсов и идеально вымуштрованной рабочей силой (немецкого или японского образца). Практически этот вариант для нашей страны исключён.

С этим ещё можно было бы мириться, когда страна «догоняет», сокращая разрыв, по этому (следуя определению Ленина) главному критерию прогрессивности общественного строя. На деле оказался утопией даже вариант равных с Западом темпов роста производительности труда (но на более низком уровне абсолютного её значения). Так, я слышал от лектора на курсах повышения квалификации, что в последние годы темпы роста производительности труда в нашей стране ниже, чем во всех развитых капиталистических странах, и что этот факт «очень тревожен». Не знаю, как для наших властей, но для меня такое сообщение было не просто тревожным, а грозным свидетельством перехода из «догоняющих» в «регрессирующие», сигналом начала конца. Прошли времена, когда можно было утешать себя: пусть мы живём пока что хуже Запада из-за прошлых войн и разорений, но год от года общество живёт всё лучше и скоро станет с миром вровень. Общественному сознанию придётся смириться с чувством национальной ущербности, с комплексом неизлечимо бедной, неспособной, второсортной страны-неудачницы. Но смириться с этим ни одно национальное сознание не способно. Дело может

окончиться общенациональным кризисом и социальной перетряской.

Что же касается возможности поддержать достаточный рост национального дохода и материального благосостояния с помощью форсированной продажи природных ресурсов, то этот источник близок к исчерпанию и не спасёт нас в предстоящем десятилетии. Дело в том, что хоть в принципе мы обладаем огромными запасами ископаемых (ведь шестая часть суши захвачена предками для нас, одной пятнадцатой части человечества), но ближние запасы, доступные для дешёвой добычи и «рентабельной растраты» сегодня, при реальных наших силах и технике – близки к исчерпанию.

Было время, и Россия торговала с миром продуктами земледелия - они ведь тоже в немалой степени дары земли, природные ресурсы. Сегодня мы потеряли силы и способности брать от нашей земли её продукты и себе на прокорм, и на вывоз. Сегодня 80% нашего экспорта состоит из ещё более даровых нефти, газа, руд и цветных металлов, не говоря о пушнине, лесе, рыбе, икре и т. п., но добыча и этих земных даров требует труда и капитала. Надежда прожить наш век кувейтскими шейхами (чтоб не сказать проще – паразитами) на продаже и растрате национального благосостояния – беспочвенна. Тем более, что природные ископаемые не восстанавливаются, как плодородие почвы или квалификация рабочей силы, а тают по мере выкачивания. Нефтяные скважины перестают фонтанировать, и чтобы поддерживать поток нефти, землю накачивают водой, травят кислотой, топят паром и огнём, бурят на многие километры вглубь до дальних горизонтов, тратят несметное количество труда при резком понижении качества получаемого продукта. Примерно то же происходит и с газом, падение добычи которого сегодня ещё компенсируют освоением дальних уголков нашей родины, терпя огромные убытки в северных условиях, при постройке тысячекilометровых газопроводов. То же самое и с древесиной, ибо леса около дорог и сплавных рек уже вырублены, а строительство новых дорог и выращивание нового строевого

леса требуют гигантских затрат труда, времени, денег. Выбит пушной зверь и выловлена рыба, что требует дотаций на зверофермы, рыбколхозы и т. д. и т. п.

Одно только сохранение достигнутого уровня добычи природных даров требует всё увеличивающихся затрат труда и капитала (и чем дальше, тем больше, вот в чём ужас!), не говоря уже о росте объёмов добычи, необходимом для удовлетворения потребностей растущего народного хозяйства и расширения экспорта, т.е. валютных поступлений, достаточных для поддержания нашего материального благосостояния, для покупки западной техники и компенсации ею низкой производительности труда.

Уже сегодня становится очевидным, что мы вступаем в эру бессилия и неспособности даже **взять и продать (!)** свои природные богатства. Так, в последние годы в нашей стране стремительно рос объём добычи нефти, подхлестываемый ростом мировых цен, обеспечивая валюту и рост национального дохода. Долгое время Госплан считал, что этот поток будет нарастать и в будущем, планируя в 1990 г. получить 750 млн т. И лишь в последние годы наступило отрезвление. Доступные на сегодня месторождения уже освоены, и компенсировать естественное падение добычи нечем. По слухам, Министерство нефтяной промышленности теперь планирует на 1990 г. лишь сохранение нынешнего уровня добычи – 582 млн. т, конечно, при ещё большем росте капиталовложений и труда, чем в прежние периоды.

С добычей газа дело обстоит пока лучше, и рост её объёма будет продолжаться, особенно при обострившемся дефиците нефти. Однако надо учитывать, что в общем балансе энергетических ресурсов газ составляет только 2%, и потому трудно надеяться, что за его счёт можно долго преуспевать.

Стабилизация добычи нефти может означать в скором времени прекращение нефтяного экспорта, даже переход к его импорту ради собственных «всё возрастающих» нужд. Повторится история с российским зерном! Но если за зерно мы ещё в состоянии расплачиваться колымским золотом, то для

покупки нефти уже никакой Колымы не хватит. Энергетический кризис вплотную подошёл к нашему порогу.

Одно из главных препятствий к продолжению добычи угля, нефти, руд сегодня – не столько бедность ресурсов, сколько неразвитость инфраструктуры, в частности, железных дорог. Заготовленный лес годами гниёт в Сибири на товарных складах (под Красноярском и в других местах) и бесцельно становится трухой из-за перегруженности дорог, не находя пути к потребителю. БАМ несколько исправит положение, облегчит вывоз даров Сибири на мировой рынок, но один БАМ, конечно ж, не решит проблемы.

Пожалуй, в скором времени для нас единственным выходом покажется привлечение иностранных рабочих и капиталов (как это уже происходит с помощью стран СЭВ) - переход от продажи природных богатств к распродаже концессий, т.е. права на извлечение ископаемых. Тогда при определённых гарантиях и выгодах в страну хлынут иностранные деньги и рабочие, как во всякую колонию. Однако полученная экономическая передышка станет крайней ступенью национального паразитизма и порогом социального краха.

Наконец – трудоспособность населения, которая ведь тоже не есть неизменная величина. Так может быть, она-то нас и спасёт? К сожалению, нет. Как раз в области трудовых ресурсов мы уже находимся в состоянии кризиса. Это знает и чувствует вся наша страна, каждый человек.

Короче говоря, выбраны уже **все резервы рабочей силы**. Официально работают почти все, хотя на деле многие только паразитируют на государственной службе. Особенности же демографического роста приведут к тому, что в предстоящем десятилетии прироста рабочих рук просто **не будет**. Зато количество детей и пенсионеров возрастёт. Конечно, это неприятная случайность, но она совпадёт с наступающим кризисом и усугубит его.

Обычно считают, что непрерывный рост образования и производственного обучения повышают эффективность рабочей силы, увеличивая её производительность. Но плановое начало

вторгается и сюда: обязательность среднего образования (всеобуч) приводит к повсеместному снижению требований к качеству обучения и трудового воспитания. Несколько лучше положение в высшей школе, поскольку там ещё сохранился конкурс и отсев. Однако её выпускников поджидает беда того же планового, т.е. нерационального распределения трудовых ресурсов.

Не меньше, если не больше бед приносит запрет на увольнение излишних или плохих работников (под флагом борьбы с безработицей), ибо поощряет недисциплинированность, безделье и пассивность, прогулы и пьянство. Справиться с этими бедами в плановом хозяйстве можно только двумя методами: угрозой тюрьмы и пряником материального роста. Первый способ широко использовал Сталин и, надо сказать, успешно: жесточайший террор, несравнимый по тяжести с простым увольнением, воспитал-таки трудовое и дисциплинированное поколение, которое до сих пор работает хорошо – просто в силу привычки, по инерции. У тех, кто хоть немного хлебнул сталинских трудовых навыков, кому в 1953 г. было 25 лет, в ближайшие годы наступит пенсионный возраст. Их же дети имеют совсем другие привычки и интересы. Они не будут хорошо трудиться при любых условиях, как их отцы, они привыкли не работать, а получать жалование – своего рода пособие по безработице. Как правило, хорошо работать они могут при перспективе повышения их индивидуального заработка выше среднего уровня, что заставляет ценить своё место и бояться его потерять.

Другой способ дисциплинирования кадров – тюрьмой, сегодня не может стать основным, ибо стране, пережившей великий террор, психологически трудно к нему вернуться. Поколение идейных фанатиков, из которых можно было рекрутировать беззаветных чекистов, вымерло подчистую.

Сегодня единственным работающим стимулом является **рост зарплаты**. Но не в меру общего роста реального дохода, а сверх него, чтобы за счёт этой разницы создавать очаги временной конкуренции за обладание выгодными

рабочими местами. Такие различия не могут быть устойчивыми. Быстрый отлив работников из невыгодных мест заставляет повышать зарплату и там. Такой круговорот ведёт лишь к инфляционному росту заработной платы, не обеспеченному соответствующим выпуском товаров.

Процессы эти идут уже всюду, катастрофически убыстрятся они в ближайшие годы. Сегодня же особенно тяжёлое положение с работниками в деревне – несмотря на то, что в последние годы государством были затрачены гигантские усилия, чтобы вырваться из сельскохозяйственного кризиса. Некоторые успехи в производстве зерна и мяса почти начисто съедаются развращением и разбазариванием деревенских трудовых ресурсов – главного родника, питающего до сих пор трудовыми руками всё наше хозяйство.

При Сталине деревня жила ужасно. Но зажатые паспортными и другими запретами, получая за свой труд в колхозах мизер, селяне выживали в основном за счёт продукции приусадебных участков, кормились с них, урывая ещё и на продажу в город, чтобы на вырученные деньги купить необходимые городские товары (иных источников денег просто не было). Но вот режим ослаб, отток людей на лёгкие городские хлеба и комфорт усилился, а прекратить его решили единственно возможным сегодня средством – деньгами. Зарплата нынешнего сельского механизатора 200-300 руб., что превышает доход среднего горожанина. И хотя отток людей из села не ослаб (блага городской культуры для молодёжи важнее денег, да и сами деньги в городе весомее), трудовое прилежание остающихся не увеличилось, а сильно снизилось. Ибо они, как и прежде, получают не за результаты труда, а за **должность, место** (большие деньги, щедрая поставка техники и капиталовложений только развращают доступностью этих благ), зато теперь им не надо корпеть на личных огородах, выращивать овощи и скот на продажу, а для себя продукты можно заказать в магазине. Вот где причина упадка производства продуктов в личном хозяйстве, которое даже на сегодня составляет около 30% от общего сельскохозяйственного

производства страны. Прирост продукции в колхозах и совхозах, достигаемый благодаря невероятным усилиям властей и закупкам иностранного оборудования, почти полностью съедается падением производства не приусадебных участках. Самый большой пример - программа подъёма сельского хозяйства Нечернозёмной зоны, через которую за последние годы вложено много миллиардов средств на строительство, мелиорацию и техническое перевооружение; тем не менее, объём сельхозпродуктов не растёт, во многих областях просто падает.

Кризис сельского хозяйства, собственно, уже начался. Всё больше колхозов и совхозов ищут для работы шабашников или вызывают из города «шефов» (даровую рабочую силу). Но с шабашниками надо расплачиваться большими деньгами, а за весьма непроизводительный шефский труд платит государство – жалованием по основному месту их службы. Многие совхозы уже не мыслят своего существования без сотен приезжающих «шефов». Весь летний сезон те заменяют основную рабочую силу. Местных же хватает только на должности звеньевых и кладовщиц, чтобы было кому командовать, покрикивая на приезжих горожан, как на ленивое быдло. Высокооплачиваемые рабы, высокообученное быдло – где ещё виданы такие парадоксы? И далеко ли ещё катиться?

Сфера торговли и услуг находится даже в более печальном положении. Отсутствие нормальных рыночных, равновесных цен – едва ли не главный порок директивного планирования – порождают неизбежные неравновесия в торговле, излишки одних и дефицит других товаров. При инфляционном росте зарплаты преобладает, конечно, дефицит – набирает силу неизбежно связанный с ним чёрный рынок. Государственная торговля и сфера услуг становятся почти неизбежно агентами этого нелегального рынка. Равновесие между вздутым денежным спросом и скудным товарным предложением устанавливается поднятием нелегальных цен на дефицитные товары (продажа их из-под прилавка), ухудшением качества товаров (разбавление и обвешивание), хамским обращением и

ещё массой разных способов, отваживающих покупателей от покупок.

Всё, что государство отдаёт отдельным категориям работников в качестве инфляционного излишка, затем отбирается торговцами и спекулянтами и тратится ими на собственное гипертрофированное потребление. Но вину за последнее следует возлагать всё-таки на государство, создавшее своим планированием эти диспропорции и потери, а запретом на гибкие цены и рыночное регулирование, мешающее выравниванию диспропорций и конкуренции между самими спекулянтами. Пусть вины на спекулянтах нет, а их деятельность в целом даже полезна и необходима (балансирует спрос и предложение), но их самих она развращает и портит, делает неспособной к нормальной трудовой деятельности, к нормальной торговле и услугам. Обогащение за счёт разницы между рыночной и государственной ценой (или расценкой) - это одно, а эффективная конкуренция в торговле и услугах – совсем другое. И когда придёт час окончательного развала планового хозяйства, мы окажемся не только без сельского хозяйства и промышленности, но и без сферы услуг.

Простое экстраполирование предсказывает кризисную точку где-то на рубеже 1990 г., с учётом непризнаваемой инфляции – в районе 1984 г., понимая под ней начало падения национального дохода на душу населения, т.е. начало абсолютного обнищания населения СССР. Однако анализ источников роста национального дохода показывает, что плавно снижающаяся кривая темпов роста в ближайшие годы, видимо, резко упадёт к отрицательным величинам.

Конечно, этот вывод следует незамедлительно проверить и подкрепить (или опровергнуть) более тщательным исследованием. Я убеждён, что наши профессиональные экономисты и социологи, среди которых есть обеспокоенные судьбой страны, обладая техникой моделирования основных тенденций развития (по примеру таких зарубежных прогнозистов, как Медоуз, Форрестер и др., а в нашем случае основные тенденции развития более устойчивы и легче

поддаются моделированию), не могут не взяться за эту общественно необходимую работу.

Однако социальные процессы хотя и зависят от экономического положения, но далеко не прямо, и обладают собственной инерцией. Конечно, начало абсолютного обнищания большинства людей породит сильнейшее недовольство, однако ещё далеко не сразу приведёт к взрыву. При прогнозировании последнего необходимо учесть и внешнеполитические обстоятельства, и национальные распри, и те контрмеры, которые обязательно предпримет власть, чтоб отвести надвигающуюся угрозу. Сейчас можно только продумать логически вероятные сценарии развития кризиса. Их может быть несколько. Мне же наиболее вероятным (90%) как из-за догматических иллюзий руководства, так и из-за развращённости и пассивности низов, включая образованные слои, представляется следующий вариант:

1.Руководство страны продолжает нынешнюю «оппортунистическую» политику поддержки внешнего благополучия без радикального изменения курса – вплоть до явного кризиса, при этом социально-экономические болезни нашего общества окажутся запущены до состояния неизлечимости.

2.С момента, когда средняя зарплата людей (реальная) начнёт снижаться, болезнь вступит в стадию острого протекания, что выразится в громком недовольстве, снижении производительности труда и падении трудовой дисциплины. Поддерживать последнюю хозяйственные руководители кое-как смогут лишь форсированным, фактически бесконтрольным повышением зарплаты своим работникам, что без товарного обеспечения (а откуда оно?) приведёт к росту инфляции. При сохранении плановой системы, т.е. неизменных в принципе цен на товары, инфляция будет означать расширение чёрного рынка, нелегальных операций, объёма спекулятивной прибыли и размера вынужденно-паразитического потребления чернорыночников.

Таким образом, абсолютное обнищание советских людей будет сопровождаться, как ни парадоксально, сильнейшим обогащением верхних слоёв – чёрнорыночников и номенклатурной элиты, находящейся на спецснабжении. В преддверии экономического кризиса усилится классовый раскол в обществе – основа социальной катастрофы.

Этому процессу не помешает даже введение карточной системы – излюбленное средство экономического спасения диктатур в крайних условиях. Оно бесполезно, потому что у потерявшей доверие системы не будет беззаветных защитников, способных эффективно ввести карточную систему и сурово нормировать потребление всех людей без изъятия, начиная с самих себя. Введение карточной системы в нынешних условиях приведёт только к формализму, нелегальному обходу новых запретов, дальнейшему расцвету и усилению чёрного рынка, на котором будут продаваться уже не только дефицитные, но и ворованные из распределителей товары и продукты.

3. Очень важно, что недовольство большинства людей обрушится в первую очередь на чёрнорыночников, как на «хозяев положения» и новых господ-выскочек (привилегии управляющей номенклатурной элиты для массового сознания более традиционны и привычны). Именно их будут винить во всех своих бедах. Винить несправедливо, ибо истинная вина лежит на управляющей элите, вцепившейся в свою абсолютную экономическую власть, в абсурд «планирования».

В этот-то момент и вскроется, что наша официально-плановая система на деле – кентавр: планово-чёрнорыночный, легально-нелегальный. И чем хуже планирование, чем больше его просчёты и диспропорции, тем больше дела для исправляющего его чёрного рынка, тем больше он жиреет, утилизируя эти диспропорции в потреблении своих агентов. Трагедия в том, что к агонии и развалу ринутся не только плановое хозяйство и корректирующий его чёрный рынок, но и сама **идея рынка**, ибо для массового сознания именно чёрный рынок представится главным виновником краха. У нас нет достаточно чёткого понимания разницы между чёрным рынком

– необходимым дополнением плановой системы – и нормальным рынком, к которому следует перейти всей нашей экономике, чтобы излечиться от своих давнишних болезней. Агония планового хозяйства будет сопровождаться ростом ненависти не только к чёрному рынку, но и к неотделимым от него элементам здорового рынка, существующим в нашей стране, уже сейчас. Это чревато ростом симпатий к прежнему «крепкому» плановому хозяйству (ведь в экономике приходится на деле выбирать между основными типами организаций – плановым и рыночным).

Развал планового хозяйства и рост массовых симпатий к плановому хозяйству – это ли не дьявольская ирония нашей несчастной истории? А рост народной ненависти к чёрному и иному рынку только подхлестывает власти в их надежде извернуться, сохранив лозунг «социализма» - принцип централизованного планирования, что окончательно доконает экономику. Но что толку видеть этот исторический капкан недалёкого будущего, раз нет понимания, как избежать его.

4. По-видимому, в качестве последнего средства укрепления дисциплины, карточной системы и трудового энтузиазма руководство прибегает к внешнеполитическим авантюрам, обычным для развивающихся общественных систем. Тем более, что наш растущий военный противник – Китай – будет с помощью Запада усиливаться год от года. Однако, как бывало уже не раз, авантюры, развязанные с целью укрепить систему, означают начало её конца. Наступит «час Амальрика»-мы вступим в свой «1984-й год»...

Однако, даже пережив ещё одну перетасовку и разруху, оставшиеся в живых люди сохранят ненависть, прежде всего к рыночному «беспорядку», и мечту о восстановлении крепкого, безрыночного «порядка», чистой сталинщины. И они достигнут этого, но только ценой катастрофы.

Мечта о Сталине сегодня – нелепа и утопична, ибо некому её осуществлять. Зато **после катастрофы**, в эпоху политического разброда, иностранного вмешательства, вооружённых банд и вымирания наиболее гуманных,

образованных, совестливых и трудолюбивых людей, в огромном бродиле «неестественного отбора» гражданской войны выкуются кадры будущих фанатиков и беззаветных исполнителей; вот тогда Сталин вернётся обязательно. Круг замкнётся.

Довольно скоро нам придётся своей шкурой испытать банальный революционный расклад, много раз повторяющийся в иных восточных «развивающихся» странах. Деспотическая правящая элита в союзе с хищнической компрадорской буржуазией ведут страну к развалу и взрыву, в котором и гибнут, увлекая за собой и ростки ещё не развившегося нравственно и экономически здорового рыночного хозяйства (национальной буржуазии). После всегубительного пожара в стране воссоздаётся лишь укреплённый и очищенный от рынка (буржуазии) деспотизм - диктатура в других одеждах (и конечно, тут же заводится новый чёрный рынок).

Да, круг замыкается, но через смерть нашу и наших детей. И когда потомки будут разбирать причины и исследовать возможности иного выхода из нынешней, ещё не совсем пропавшей ситуации (у меня лично ещё есть слабая надежда на мирное проведение коренных реформ), их поразит нынешняя слепота и потеря чувства опасности и у верхов, и у всего общества.

Повторяю, я убеждён, что шансы на спасение есть, хотя они исчезающе малы. Основания для моей надежды:

- Наша страна совсем ещё недавно пережила опыт сталинщины, и пока в её памяти живы её мрачные уроки, до тех пор стремления людей к твёрдому порядку будут соединяться с мечтой о законном, свободном, демократическом строе.

- В стране растёт разное верие. Наряду с официальным марксизмом и признаваемым православием, есть множество христианских сект, и находится в стадии вызревания не меньшее количество всяких коммунистических и национальных (и националистических) ересей. Такой плюрализм вер и идеологий также может помешать возрождению новой сталинщины, ибо необходимая её база – единая государственная

идеология (неважно какого свойства). Одновременно рост числа вер увеличивает общее количество разнoverующих в стране и укрепляет их мораль, причем нормы разнoverующих часто оказываются близкими. Нравственное же возрождение – необходимое условие социального спасения.

- В стране растёт уважение к авторитету индивидуальной и свободной трудовой групповой деятельности, в области как физического, так и интеллектуального труда – труда кустаря, шабашника, частника, приусадебника и т.д. Сюда же надо отнести и всех работников государственных хозяйств, которые ведут себя не как чиновники, винтики, а как настоящие хозяева, себе и потребителям на пользу: директор предприятия и председатель колхоза, изобретатель и учёный... да мало ли их? Главное, что эти люди по мере ослабления и развала планового хозяйства окажутся способными к конструктивной работе спасения - по собственной инициативе.

- В отличие от прежних эпох, существующее в стране оппозиционное диссидентское движение носит подчёркнуто легальный правозащитный характер - и не из тактических соображений, а по своей внутренней сути. Оно защищает основные свободы человека, в том числе, **право на свободный труд** и ни в коей мере не заражено брезгливостью к рыночной экономике. И пока именно правозащитное движение будет возглавлять, а потом и формировать оппозиционное массовое сознание, до тех пор в стране будут развиваться и укрепляться начала свободной деятельности людей, а страна увеличивать свои шансы на спасение.

- Руководство страной чем дальше, тем яснее чувствует, что надежды на систему всеобщего планирования тщетны, что единственной альтернативой гибели является радикальный и твёрдый поворот к высвобождению культурных и экономических сил отдельных людей – то есть к рыночному социализму, ленинскому НЭПу. Осмысленный поворот, потому что всякие половинчатые реформы, вроде провозглашённой в 1965 г., только внесут в систему сумятицу и погубят дело спасения. Радикальный – потому что болезнь зашла далеко и

ждать уже некогда, твёрдый – потому что процесс перестройки всегда связан с трудностями и риском. Но консервативной альтернативы этому нет.

Призывая власть к настоящим реформам, мы должны сами независимо от неё искать достойную форму своей трудовой деятельности, чтобы обеспечить себя и свою семью: не за счёт государственной благотворительности, из кошелька распродажи национальных богатств, а за счёт личного труда. Мы обязаны приветствовать всех людей, живущих свободными тружениками, умея быть полезными для людей (конечно, я имею в виду не только физический труд), помогать им и защищать их свободу. Мы должны требовать от государства, чтоб оно ценило их и помогало именно таким, свободным и трудолюбивым людям, ибо в них – шанс на спасение страны.

И тогда, может быть, мы сумеем выполнить свой долг.

Публикация речи Л. Брежнева на Ноябрьском (1979 г.) пленуме ЦК КПСС о положении народного хозяйства лишь подтвердила мои ожидания. Сам факт обнародования столь критической речи говорит о резком ухудшении экономической ситуации, о том, что дальше твердить лишь об «успехах» невозможно. Впервые мы слышим резкие обвинения министерств и ведомств, осуждающих Госплан, впервые признаётся тяжёлое положение ряда народнохозяйственных отраслей – транспорта, энергетики, добычи нефти, производства качественного металла и т. д. – провал общих хозяйственных планов. Из последующего доклада председателя Госплана СССР Байбакова на Верховном Совете СССР стало ясно, что в 1979 г. национальный доход вырос всего на 8 млрд. руб. Лишь косвенно из доклада можно понять, что абсолютный объём национального дохода в 1979 г. равен 408 млрд. руб. и что темп его роста **был меньше двух процентов.**

Из утверждения Байбакова можно понять, что рост населения в последние годы был всего лишь 0,9% (кстати, столь низкий общий прирост населения СССР, учитывая, что многочисленное население Средней Азии и Закавказья растёт много быстрее, означает для народов России, Украины,

Прибалтики, по-видимому, **отрицательный прирост**, т.е. вымирание). Следовательно, рост национального дохода на душу населения в 1979 г. по официальным данным составляет около 1,1%, а если учесть весьма сдержанную, но официально не учитываемую оценку ползучести инфляции в 1,5%, то можно сказать, что уже в 1979 г **материальное благосостояние советских людей не повысилось, а снизилось пока только на 0,4%**. И я уже сейчас вынужден сделать поправку: начало конца наступило не в 80-х годах, а в 1979 г. – по исторической насмешке предпоследнем году наступления коммунизма («построения в общих чертах»), как обещает до сих пор Программа КПСС. И мы, возможно, ещё испытаем коммунизм в 80-х годах, только не хрущёвский, с «бесплатным транспортом», а реальный военный коммунизм...

Снижение благосостояния ещё невелико и неощутимо для привилегированных слоёв населения – жителей столиц, сельских механизаторов, высокопоставленной интеллигенции, не говоря уже об элите и чернорыночниках. Но для провинции и малооплачиваемых работников оно обнаружится очень скоро и очень болезненно, а для мыслящих людей эти цифры звучат похоронным звоном. Не от того ли тревожны призывы Брежнева к удвоенной и утроенной энергии его помощников, для поднятия качества продукции и производительности труда, ибо – «иных альтернатив нет»?

Однако и голос сверху становится сразу голосом в пустыне, а очередная пропагандистская кампания в печати – лишь мёртвым и искажающим эхом чьей-то, возможно, действительной тревоги.

Призыв к повышению качества и эффективности уже не альтернатива, а битая карта, ибо в десятой пятилетке она была испробована и не привела к положительным результатам. Настаивать на ней сегодня – настаивать на иллюзии.

Единственной настоящей альтернативой для страны и её руководства осталась отныне лишь честная и бесстрашная переоценка ценностей и, прежде всего – скорейший отказ от

смертельной идеи всеобщего планирования, немедленная легализация общественного, рыночного регулирования.

Долг всех честных и понимающих людей – потребовать этого открыто. Именно сегодня. Ибо завтра уже будет поздно. Поэтому я и составил это письмо. 30.11.1979

Примечание: Статья была отправлена автором в редакцию газеты «Правда» в декабре 1979 г., а 14.03.1980. сотрудник её отдела пропаганды марксистско-ленинской теории С. Родин ответил следующим образом:

«Написанное Вами не может быть предметом обсуждения, ибо оно провокационно и по духу и по содержанию.»

«Все Ваши рассуждения о ликвидации централизованного планирования и переводе социалистической экономики на рельсы рыночного хозяйства есть, другими словами, предложение о ликвидации общественной собственности на средства производства, т.е. о ликвидации социалистического строя.»

«Однако, к Вашему сожалению, наша экономика продолжает успешно развиваться и впредь будет развиваться темпами, которые недоступны капиталистической системе. И конечно не случайно виднейшие буржуазные экономисты вот уже много лет пытаются изобрести способы перевода капиталистической рыночной экономики на рельсы планирования.»

1.1.5. О возможности и жизненной необходимости союза между сталинистами и диссидентами⁵¹

- Знаешь, в войну шли в бой за Родину, за Сталина. Давай и мы выпьем за Родину, за Сталина!
- Не обижайся, но не могу я пить за Сталина, много страшного он сделал. Давай выпьем за Родину!
- ...Ну ладно, тогда давай выпьем за Родину и Советскую Власть!
- ...Давай!»

(Из разговора грузинского крестьянина и московского туриста летом 1979 года)

В августе-сентябре 1979 г. я целый месяц был туристом на Кавказе и часто встречался с именем Сталина. Приближающийся столетний юбилей бывшего вождя заставляет особо вдуматься в причины популярности этого, казалось бы, давно разоблачённого исторического злодея.

Упрямая любовь и уважение к Сталину в Грузии могут быть легко объяснены национальными пристрастиями, ореолом национального героя. Однако уважение к этому имени и восхищение его действиями со стороны простых жителей Азербайджана, Дагестана и даже пострадавшей от насильственной депортации Чечни и Ингушетии – понять трудно. Также трудно понять уважительную память о Сталине многих простых людей в иных частях страны, что проявляется и в разговорах, и в портретах Генералиссимуса в автомашинах и рыночных ларьках, в распродаже набора сталинских фотографий в поездах и подворотнях. Распродажа усатых портретов оказалась прибыльней открыток с ядовито красивыми

⁵¹ В оригинале называлось: «О возможности и жизненной необходимости союза между сталинистами и диссидентами (к столетию со дня рождения И.В. Сталина)».

девицами и голубками, и было бы легкомысленно отмахиваться от столь авторитетного рыночного свидетельства.

Напрасно думают, что под этими внешними признаками народная приязнь к Сталину – лишь отголосок прежних сталинских мифов, лишь их “реакционный пережиток”. На деле открытое выражение приязни – тоже своего рода оппозиционность, даже протест против сегодняшнего руководства и именно поэтому едва терпится властями, которые, конечно же, были гораздо теснее связаны со Сталиным в прошлом и раболепно служили ему в отличие от нынешних бесхитростных “народных сталинистов”.

Сталинизм как народная оппозиционность и протест имеет глубокие корни. Думаю, что они гораздо сильнее и устойчивей, чем даже правозащитное движение, идеями которого волнуется в основном только интеллигенция. Правда, “народный сталинизм” не имеет пока своих общеизвестных выразителей-идеологов, но, во-первых, такие попытки уже были, во-вторых, легко предсказать, что такие идеологи обязательно появятся в скором будущем.

Как правило, либерально настроенные интеллигенты, сталкиваясь с проявлением этого феномена, презрительно морщат нос от народного “невежества”, забывшего, мол, лагерные смерти, и ужасается “народной дикости”, ведущей к реставрации кровавого культа. При этом у них возникает только одно желание: поскорей “промыть мозги”, просветить и воспитать этих невежественных людей, а с другой стороны – попривержать их в государственной узде, как опаснейших антидемократических элементов, как будущих фанатиков, а быть может, и палачей.

Однако либеральная реакция интуитивного страха – нетерпима и губительна. Она неверна, потому что народный сталинизм пока совсем не враждебен демократии и даже либералам-диссидентам. При столкновении с их неприязнью в народе обычно удивляются и недоумевают: “А что Вы имеете против Сталина?” Простой человек совсем не желает возобновления террора и репрессий, существование которых в

прошлом объясняет влиянием злых помощников Сталина, вроде Берии.

Такая позиция либерального интеллигента нетерпима, потому что к искреннему проявлению народного самосознания он относится предубеждённо и с ненавистью – сразу, с порога, не разбираясь в его сути.

Она и гибельна, потому что без поисков взаимопонимания с людьми самых различных идеологий, тем более, с людьми честными и работающими, переживающими за порядки в стране, диссиденты-либералы не смогут выработать общеприемлемую, **народную точку зрения** на необходимые жизненные реформы и действия и не спасут страну от надвигающегося хаоса, от гибели.

На мой взгляд, есть следующие основные причины устойчивого существования, а возможно, и роста сталинских настроений в стране, роста мифа о Сталине:

- Недовольство нарастающими экономическими беспорядками и нравственным упадком, неэффективностью и обесцениванием своего труда, упадком производственной дисциплины и энтузиазма в работе, иждивенчеством и бездельем молодёжи. Отсюда миф: **“При Сталине был порядок и все работали”**.

- Недовольство растущим дефицитом товаров и постоянным ростом цен – ползучей инфляцией, бьющей, прежде всего по низкооплачиваемым группам населения. Отсюда миф: **“При Сталине в магазинах было всё, а цены на товары только снижались”** (один из самых распространённых).

- Раздражение растущей зависимостью от чёрного, нелегального рынка и засильем спекулянтов и расхитителей государственного имущества, т.е. обострение антагонизма между относительно нищающими низами и богатеющими рыночниками. Отсюда миф: **“При Сталине воров и спекулянтам спуску не было, а честные люди жили в достатке и почёте”**.

Конечно, есть и иные причины роста сталинского мифа. Важно и психологическое чувство вины перед отцами, которые

умирали “За Родину, за Сталина!” (реальные отцы умирали, наверное, иначе, но думается сегодня именно так). Возможно, жива и память о потерянных некоторыми людьми привилегиях. И не только чекистами! Шахтёры часто вспоминают, что при Сталине уважения к ним и достатка было больше. Конечно, национальные чувства (грузин и т. д.)

И всё же это не главное. Основной фактор – глубокое недовольство сегодняшним обществом, идущим к нравственному упадку и экономическому разладу.

В той или иной степени недовольство ощущают многие – сегодня, наверное, подавляющее большинство нашего населения. И никто не имеет при этом конструктивных предложений и ясных альтернатив существующему, не видит выхода. Недовольное большинство впадает в пьянство, апатию, плывёт по течению.

Народные сталинисты всё же лучше прочих, ибо они, как им кажется, имеют альтернативу и видят конкретный выход: в возвращении к твёрдому порядку Сталина. Иных конструктивных предложений у них просто нет. Православная монархия кажется прочно забытой и непривлекательной сказкой, либерализм и рыночная экономика не только опорочены пропагандой и давними революционными традициями, но и опытом столкновения с нынешним чёрным рынком, с его “буржуями-ворами”. Сталинское время кажется невозвратной молодостью – нелёгкой, но трудовой, дисциплинированной, честной и добродетельной: прекрасным прошлым, но омрачённым “отдельными ошибками” и “бериевскими злоупотреблениями”. Фактически перед нами – очередной вариант крестьянского мифа о добром царе (теперь – вожде).

Таким образом, народный сталинизм кажется сегодня вполне естественной и неизбежной реакцией людей на болезненное состояние нашего общества. И потому именно со сталинистами следует заводить диалог нам, диссидентам, так же желающим стране выздоровления, хотя и на совсем иных путях. Главное, есть для такого диалога прочная база, основа. И у

народных сталинистов, и у диссидентов одна и та же цель - спасение Родины, и потому есть надежда, что на путях этого исторического компромисса они смогут договориться о средствах достижения своей главной цели. Действительно:

1. Сталинисты видят выход в укреплении строгой, но справедливой и законной власти, которая искоренит воров и грабителей, одновременно не трогая честных и трудовых людей, не допуская “бериевщины”.

Диссиденты видят выход во власти, твёрдо идущей по пути охраны правопорядка, законности, защиты прав и свобод законопослушности граждан. Между этими двумя позициями нет неразрешимых противоречий.

2. В области экономики сталинисты считают самым важным укрепление трудовой дисциплины, порядка, авторитета, свободы рук хозяйственным руководителям. Многие из них вспоминают, что при Сталине “дело” ставилось превыше всего, так что хозяйственники в своей области были самостоятельной и ответственной, чем сейчас, руководство Сталина было достаточно прагматичным и стремилось к понятной всем пользе, не обращая внимание на теоретические догмы. Так, в области авиастроения Сталин устроил систему конкурирующих главных конструкторов – “для пользы дела”, не обращая внимания на догмат о плановом хозяйстве, не терпящем, мол, параллелизма. Для пользы дела твёрдый хозяин может повернуть руль экономики и в сторону НЭПа, как это сделал Ленин, отказавшись от военного коммунизма. Здесь народный сталинизм вполне одобрит такую твёрдость и прагматизм.

Либеральные диссиденты, как известно, видят выход в твёрдом и последовательном проведении экономической реформы, освобождающей рабочих от бюрократического планового аппарата, т.е. во введении рыночного регулирования и дисциплинирования. И здесь между сталинистами и

либералами нет непримиримых противоречий. Скорее наблюдается деловая взаимодополнительность: первые настаивают на твёрдой власти, вторые - на эффективной экономической и культурной свободе. Но устойчивым на деле может быть только соединение твёрдой власти и свобод населения. Без первой права и свободы не будут обеспечены и утонут в анархии, а без свобод твёрдая власть переродится в культ личности и погибнет. И только соединение твёрдой власти и воли к обеспечению свобод населения способно реформировать страну. Опыт двух стран, успешно эволюционировавших от деспотизма к демократии, - Японии и Испании - говорит об этом недвусмысленно.

3. И сталинисты, и диссиденты выше всего ставят нравственные принципы, народную мораль. Эти принципы, конечно, могут различаться, но основа – едина. И потому они обязаны найти общий язык и прийти к взаимопониманию.

Я уверен, что все остальные, внешне непримиримые противоречия при благожелательном друг к другу отношении могут быть развеяны. Только не надо свирепеть от одного имени бывшего вождя, или бывших буржуев, или бывшего монарха. Надо всегда помнить, что при всей несомненной связанности новых идеологических течений с их прежними знамёнами, настоящее связывает их гораздо крепче. Нынешние сталинисты – это отнюдь не реальный Сталин, как либералы – совсем не прежние буржуи, а православные почвенники очень далеки от царских жандармов. Зато цель спасения и укрепления страны у всех одна и та же. А это главное. И осуществить её можно только компромиссом этих внешне противоречивых течений. Пусть пример режет ухо, но смогли ведь испанцы соединить фалангистский корпоративизм, католический монархизм и демократический социализм, добившись этим мирного перехода к демократическому и свободному государству!

Более того, сталинисты и либералы исторически необходимы друг другу. Если первые добьются власти без либеральных реформ, то они не смогут обновить страну, а лишь

вергнут её в ещё более страшный кризис. А либералы никогда не смогут провести свои реформы без твёрдой власти. Повести страну по пути постепенных демократических преобразований может только **твёрдая либеральная власть наверху** – при глубоком взаимопонимании и союзе сталинистов и диссидентов, интеллигентов, либералов внизу. Поиски взаимопонимания и начала широкого исторического диалога между ними должны подготовить почву для заключения исторического компромисса снизу. Гигантская и благородная задача!

Одновременно этот диалог - и только он - может спасти и **саму Советскую власть**, и даже нынешнее руководство, раздираемое сейчас сталинистскими вожделениями и либеральной “порчей”.

Так что лозунги сталинистов “За твёрдого хозяина!” и либеральных диссидентов: “За свободы и права человека!” должны соединиться и стать основой союза: “За настоящую, прочную и развивающуюся советскую власть!” Ноябрь 1979г.

1.1.6. К вопросу о диссидентской этике

Пожалуй, осенними арестами 1979 года – Татьяны Великановой и отца Глеба Якунина, двух наиболее активных и стойких деятелей правозащитного движения – власть надеется добиться перелома в «излечении» общества от диссидентской “заразы”.

И эти надежды имеют под собой, увы, реальные основания. За последние годы (начиная с кризисного 1973 г.) правозащитное движение внешне вполне устойчиво. Действуют Хельсинская группа, Фонды помощи политзаключённым, выходит “Хроника текущих событий”. Вместо арестованных и отъезжающих появляются новые люди, и тем самым сохраняется среди диссидентов преемственность традиций. Появляются даже новые формы – свободные профсоюзы,

независимые пресс-агентства (Соловьёва, Поповского), делаются попытки издания самиздатских журналов и т. д. Это создаёт впечатление роста и развития.

Однако, на мой взгляд, впечатление благополучия обманчиво. Существуют и много тревожных тенденций:

1. За последние годы неизмеримо выросли связи диссидентов с Западом. Ограниченное разрешение эмиграции с начала 70-х годов привело к возникновению за рубежом большой группы бывших диссидентов, заинтересованных в поддержке оставшихся в стране. Они с большой оперативностью мобилизуют мировое общественное мнение в поддержку наших протестов, оказывают информационную и материальную помощь политзаключённым.

Всё это, конечно, усиливает действенность диссидентства. От чтения слепых, разрозненных машинописных копий публика перешла к чтению добротных книжек тамиздата, и наши авторы вместо забот о самораспространяемости своих произведений теперь озабочены переправкой их за рубеж. Участие многих людей в протестах против нарушений прав человека стало излишним, ибо протесты и информационная деятельность Хельсинской группы, оповещающая мир о нарушениях прав человека, оказывается более эффективными и удобными для множества людей. Помощь политзаключённым в немалой степени стала осуществляться из “Русского общественного фонда”, “Фонда Солженицына”, что соответственно уменьшает нужду в сборе личных пожертвований.

Таким образом, помощь от инакомыслящих за рубежом при всей её громадной положительной роли имеет и очень важную нравственно отрицательную сторону: уменьшение самопожертвования и работоспособности среди нынешних участников движения, рост нетребовательности к себе, своеобразный паразитизм. Из-за арестов и эмиграции поколения диссидентов сменяются очень быстро, неустойчивы их традиции и облик. Чем прочнее опора на помощь зарубежных единомышленников, тем менее значимой и потому ослабевающей становится поддержка отечественной среды, тем

больше изоляция и внутренняя шаткость правозащитного движения.

Стоит расчётам на помощь с Запада зайти достаточно далеко, как власти, усилив меры пресечения, насильственно перекроют все каналы неофициальных связей (и это вполне осуществимо при каком-либо обострении международной обстановки), и диссиденты окажутся без вольной литературы, без Фонда помощи, без общественной защиты.

Изменился и сам состав участников движения. Большой удельный вес стали иметь люди, принявшие решение об эмиграции – немедленной или в некотором будущем. При всех нравственных достоинствах этих людей принятое решение об эмиграции накладывает на их деятельность и позицию определённые отрицательные черты. Я имею в виду, прежде всего, пессимизм, ибо добровольно покинуть Родину чаще всего решаются те, кто разочаровался и не верит в её будущее. Их активная общественная деятельность теряет патриотическую значимость и распространяет среди инакомыслящих неверие и скепсис. Кроме того, глубокая изоляция этих людей от советского окружения. Человек, решившийся на эмиграцию, стал тем самым как бы гражданином иного, зарубежного мира и потому начинает смотреть на своё окружение отчуждённо, а иногда с недоброжелательством, как свидетель с иной планеты, что, в свою очередь, вызывает реакцию отчуждения и у окружающих. Ещё хуже, если человек и вправду начинает работать в качестве добровольного иностранного описателя и корреспондента, пишет статьи, картины, книги – уже не для нас, а для иного мира, зарабатывая себе авторитет в нём (хотя с общей точки зрения – что тут ужасного?) Последней же степенью падения в этой самоизоляции, на мой взгляд, является решение будущего эмигранта принимать активное участие в правозащитном движении, хотя внутренней склонности к нему он не чувствует, но собирается завоевать некоторую известность и добиться скорейшего выезда (своеобразный карьеризм). И наконец, диссиденты, решившиеся на выезд, чаще занимают максималистские позиции. К этому их толкает и пессимизм, и

чувство наступившей освобождённости (говорю, что хочу, всё равно выпустят), и изоляция от лояльной советской среды.

Повторяю, все эти отрицательные моменты никак не порочат конкретных людей, но в целом, они, конечно, ослабляют правозащитное движение.

2. На мой взгляд, наиболее тяжёлые последствия для нас будет иметь замедленное идейное развитие различных диссидентских групп. В самиздате мало появляется работ о проблемах реальной жизни и путях их разрешения. Однако если самиздат будет ограничиваться лишь острой критикой существующего и самозащитой, то он не выполнит своей главной задачи и не станет существенной сферой самосознания нации.

Наиболее интересной попыткой в последнее время был выход нескольких номеров свободного московского журнала “Поиски”, который реально начал излагать различные точки зрения и завязывать общественный диалог различно мыслящих людей. Однако ориентация на мировое общественное мнение почти свела на нет и это интересное начинание. Ещё не успев встать на ноги, едва начав работать, редакция объявила о своём существовании на пресс-конференции иностранным корреспондентам, что вызвало обыски и возбуждение уголовного дела со стороны Мосгорпрокуратуры. Слежка и частые обыски практически парализовали деятельность журнала, и он остался фактически неизвестным публике.

С иными самиздатскими журналами, ориентированными на западное издание, по-моему, дело обстоит ещё хуже. Ибо они начинают рассчитывать на эмигрантского читателя и уже потому не могут найти связи с читателями на родине – и не только с нынешними диссидентами, но и с будущим широким читателем, с нашим народом. Можно сказать, что замедленное идейное развитие сегодняшнего диссидентского движения является следствием его излишней ориентации на мировую поддержку и недостаточного внимания к важнейшим национальным проблемам.

3. Другим отрицательным следствием этого крена является значительная индифферентность диссидентов к защите прав человека в полном комплексе – не только права на свободу выезда, слова, творчества, передачи информации и т. д., но и права на свободный труд, на свободную экономическую деятельность, права трудовых коллективов и их руководителей и иных прав, имеющих громадное значение для множества людей. Можно сказать, что правозащитное движение, состоящее в основном из представителей интеллигенции, уже научилось защищать свободы интеллигенции, но его пока не трогает вопрос о свободной деятельности иных слоёв населения.

Эти отрицательные явления способны привести правозащитное движение к кризису, если не сейчас, то в будущем, т.е. к снижению числа его участников и их активности. Выйти из этого кризиса диссиденты смогут, только изменив свои внутренние установки, только переориентировавшись на собственные силы и внутреннюю помощь, переключив своё внимание на решение самых насущных проблем страны, только став широким и разноидейным оппозиционным движением. Впрочем, перестройки потребуют и обостряющиеся социально-экономические трудности страны.

Поэтому сегодня, в преддверии кризиса, бесполезно снова поставить вопрос о диссидентской этике, вернее, о будущей диссидентской этике.

Мне думается, что мы, авторы и читатели самиздата, прежде всего, должны перестать смотреть на себя лишь как на потребителей любопытного чтива. Нет, мы обязаны смотреть на это не совсем безопасное занятие, как на исполнение гражданского долга. Судьба нам отвела участь стать интеллигентами – и не просто по анкете, а по всем мыслимым критериям, включая и строгие дореволюционные характеристики о совести и разуме нации. Раз мы ищем, читаем и волнуемся самиздатом, этим истинным, неофициальным голосом нации, значит, мы, действительно, входим в состав “мозга нации”, но тогда должны и оправдывать делом такое

самоназвание. Мы должны на деле стать независимой от государства интеллигенцией, т.е. общественной прослойкой, занятой профессионально или по призванию (интеллигент, зарабатывающий на хлеб физическим трудом, – всё равно интеллигент) усвоением или переработкой информации, жизненно необходимой обществу. Подчёркиваю: обществу, нации, а не государству за жалованье. Особенно сейчас, в пору нарождающегося национального самосознания интеллигенция обязана выражать чаяния и проблемы всех слоёв общества и воодушевляться единой целью его спасения и преобразования, поисками взаимопонимания, взаимоприемлемой программы спасения.

Конечно, интеллигенция – это и самиздатские авторы, и те, кто доводит до авторов новые веяния и мысли, кто чисто словесно формулирует витающие в воздухе мысли, кто читает и, следовательно, по-своему осмысливает общественные проблемы, обогащая их собственным опытом, и передаёт дальше в цепи стихийной общественной мыслительной работы. И кто собирает и хранит самиздат, и кто организует его обсуждение и т.д. и т.п. Тут нет неважных функций, они все необходимы. Важно только осознать свой долг, а уж каждый сам найдёт наилучший способ приложения своих сил. Но только когда все эти функции мы будем исполнять сами, автономно и стихийно, по велению собственной совести, только тогда процесс национального самосознания будет протекать быстро, устойчиво и неуязвимо для репрессий. Только тогда мы сможем выполнить свой гигантский долг.

В осознании своего долга и ответственности (перед обществом, нацией, Богом) за работу самосознания, за возникновение и развитие общественных дискуссий, за существование и действенность самиздата состоит, на мой взгляд, **первая и самая главная заповедь** интеллигента или диссидента, называйте, как хотите.

Второй по важности диссидентской заповедью я считаю трудолюбие, имея в виду, как раньше говорили, трудолюбие в Божьем деле, а именно – в создании,

распространении и хранении преследуемого самиздата. Почти каждый из нас имеет пишущую машинку и свободное время. Следовательно, почти каждый имеет возможность печатать и распространять самиздат, делая его бессмертным и неуязвимым. И каждый по долгу совести должен это делать. Как раньше верующие обязаны были отдавать десятую часть доходов в церковь на милостыню и иное Божье дело, так и сейчас настоящий интеллигент обязан десятую часть своего времени отдавать печатанию самиздата. Только исполняя свой долг, он сможет иметь чистую совесть, и его не будет терзать унылое: “А что я могу?”

К несчастью, исполняющие заповедь диссидентского трудолюбия довольно редки. Наоборот, распространено барское убеждение, что интеллигентам пристало заниматься чтением, или, по крайней мере, написанием своих произведений, но никак не перепечаткой “чужого”. Такая гордыня – громадный грех. На деле, трудолюбию диссидентов нет приемлемой замены и потому нет цены. Мощности и возможности тамиздатской литературы ограничены, каналы поступления её продукции к нам узки и могут быть легко перекрыты. Печать с помощью наёмных машинисток и левых множительных аппаратов в государственных учреждениях тоже бесперспективна. Во-первых, потому что в условиях растущей инфляции плата за ручную и тем более за опасную перепечатку или за левое копирование возрастает очень быстро. Этот путь требует больших денег, сложных методов сбора и расчёта средств, конспирации. Я лично пробовал осуществить его, но достаточно быстро от него отказался. К тому же он втягивает в производство самиздата людей равнодушных или даже просто мало нравственных (например, пьяниц на множительных аппаратах). Да и странно выглядит, когда мало зарабатывающий интеллигент тратит деньги на производство духовно необходимого ему самиздата с гораздо большей расточительностью, чем если бы он сам перепечатывал его и тем избавился от необходимости зарабатывать на него деньги. Так было бы полезней для всех, и безопасней, и нравственней.

Повторяю: убеждён, что альтернативы диссидентскому трудолюбию нет. Однако, к сожалению, лень и барство изживать нам всем очень трудно. Надеяться на силу моральных призывов не приходится.

Сегодня примером трудолюбия могут служить, пожалуй, только сотрудники “Хроники текущих событий”, вкладывающие в перепечатку её материалов свой труд и досуг, жертвуя не только личной безопасностью, но и творческим временем, не говоря уж о денежных интересах – лишь бы жил и действовал главный выразитель и защитник диссидентов. Они занимаются “Хроникой” с истинно религиозным рвением, как, впрочем, и должны заниматься самиздатом.

После кризиса и отказа от опоры на зарубежную помощь станет ясно, что только самиздатское трудолюбие интеллигенции сможет сделать процесс национального самосознания широким, неуязвимым и необратимым (ибо невозможно пересажать всех инакомыслящих, если они все, а не только инициативные группы, будут распространять самиздат).

Наконец, **третьей главной заповедью** диссидентов я бы назвал смелость, потому что отсутствие её в большой степени тормозит и парализует процесс национального мышления в самиздате. Я имею в виду не смелость открытого протестанта и правозащитника. Она тоже необходима обществу, но далеко не обязательна для каждого интеллигента, ибо далеко не каждый должен обречь себя на открытое противостояние власти и, как следствие, на изоляцию от нормальной человеческой жизни. Нет, я имею в виду именно смелость автора и читателя самиздата, который безбоязненно хранит, перепечатывает и обменивается самиздатом, не делая трагедии, если власти вдруг сделают обыск в его доме и отнимут самиздатские произведения. Интеллигенту присуще чтение самиздата, как любому современному человеку – слушание иностранного радио, и потому этого факта не надо стыдиться и скрывать. Конечно, с такой смелостью связан некоторый риск, но, как показывает опыт, очень небольшой (обыски редки и направлены в основном лишь против активных диссидентов). А главное,

надо осознать, что издержки от нашей самиздатской боязни очень велики. Нередко слышишь, как при одном известии о произведённом у диссидента обыске, от него катится по знакомым настоящая волна страха: в панике ожидают, что “завтра придут и к ним” и начинают срочно перепрятывать, т.е. перевозить свои самиздатские библиотеки другим знакомым, которые часто и не читали ничего подобного и читать не будут. И бывает, что, разобравшись с содержанием подкинутых им “красных свитков”, новые хранители приходят в ужас и перепрятывают их другим или уничтожают как “опаснейшие бумаги”. Такая волна страха часто губит гораздо больше, чем изъято властями на самом обыске, ибо переданный на хранение, а не для чтения самиздат выпадает из оборота, из мыслительного общественного процесса. Сохраняясь физически, эти тексты, создание которых досталось так дорого, уничтожаются духовно, т.е. на деле.

Мне кажется, что перепрятывание должно расцениваться, как переключивание на другого, практически неосведомлённого человека, своих собственных опасностей и тягот, что просто непорядочно. Настоящий интеллигент не станет заниматься такой нечистоплотной конспирацией, а просто будет исполнять свой долг, заботясь о сохранности самиздата не с помощью хранения в чьих-то тайниках, а с помощью распечатывания.

Разумеется, что из этой моральной нормы: “Не прятаться!” могут быть исключения, когда угроза обыска весьма реальна и просто жалко, что снова “всё очистят”. Но как только близкая угроза исчезает, самиздат должен вернуться домой, занять своё открытое место на полках и читаться, читаться, читаться. Ведь его так мало, а думать нам нужно много, и уже почти нет времени. Самиздатские книги – самое важное, что у нас есть, и потому их надо беречь. Я не вижу ничего ужасного даже в том, чтобы записывать (зашифровывать), кому даёшь книгу на прочтение – это почти необходимое условие нормального кругооборота. Опасность расшифровки не велика, да и почему читателю не брать на себя и этот риск, раз он берёт самиздатскую книгу и уж этим становится интеллигентом?

Ответственность перед нацией, трудолюбие и смелость - три этических кита, на которых только и может укрепиться диссидентское движение и преодолеть свои нынешние слабости. Сам я давно уже пытаюсь преодолеть ориентацию на чью-то помощь, барство и паразитизм, трусость и изолированность от среды и хотел бы найти в читателях своих единомышленников. Ноябрь 1979 г.

1.1.7. Прошение о выводе войск из Афганистана

Генеральному секретарю ЦК КПСС
Председателю Президиума Верховного Совета СССР
Брежневу Л.И. от Сокирко В.В., проживающего по
адресу <...>

ПРОШЕНИЕ

Осознав личную ответственность за будущее страны и своих детей, выполняя гражданский долг, я обращаюсь к Вам с просьбой дать указание о немедленном выводе всех советских войск из Афганистана.

Предвидение многих бед, которые придут в наши семьи и ко всей стране в случае продолжения нашего прямого участия в этой гражданской войне, заставляют меня впервые обратиться к Вам с подобным письмом.

Решение о вводе войск в Афганистан является изменением всей долговременной внешней политики и показывает дурной пример. Вводы наших войск в Венгрию 1956 г. и в Чехословакию 1968 г., как их ни расценивать, были осуществлены в признанной миром сфере советского влияния. В Корее, Вьетнаме, на Кубе и в Африке наши войска не воевали.

Сейчас все изменилось. Решение 1979 г. - это шаг в пучину, ибо умиротворение гражданской войны в горной стране с 16 миллионами фанатичных воинственных мусульман потребует

громадных усилий, времени и жизней, а кроме того, поставит нас во враждебное положение ко всему мусульманскому миру. Россия XIX века воевала с горцами Кавказа больше четверти века, война с басмачами после революции тоже длилась больше десятилетия. Афганистан же может потребовать большего. А ради чего?

Чтобы принять на себя заботы о прокормлении разоренной страны, непрошеном контроле над религиозным народом? Чтобы создать прецедент и соблазн военной “поддержки” очередных “восстаний и революций” в очередных странах? Чтобы жертвовать жизнями своих солдат в чужой войне и в охране афгано-пакистанских и афгано-иранских границ? Чтобы обеспокоить все страны за свою внутреннюю и внешнюю безопасность, озлобить и сплотить против нас, похоронить надежды на разоружение и разрядку?

США потерпели поражение в попытках умиротворить борющийся Вьетнам, наша страна может потерпеть еще большее поражение в Афганистане.

Я предлагаю отозвать наши войска из Афганистана. Если существует взаправду внешняя угроза Афганистану со стороны Ирана, Пакистана и Китая, то следует просить ООН о посылке ее войск на афганские границы для предотвращения агрессии. Если нынешнее правительство не может обеспечить безопасность работающих там советских специалистов, надо их отозвать до окончания войны. Если подавляющее большинство афганского населения поддержит “контрреволюционеров”, то следует предоставить политическое убежище нынешним “революционным властям”.

Политика невмешательства и отказа от экспорта революции в другие страны должна быть восстановлена в полном объеме. Вы обязаны спасти страну от разорения, а молодежь от бессмысленной гибели. 10.01.1980. Подпись

1.1.8. На случай ареста

Дорогие друзья! Вы хорошо знаете, что я очень не хотел ареста, и если не сумел всё же избежать его, то потому, что приходилось рисковать настоящим, чтобы облегчить свою жизнь в будущем.

Вы знаете, что как верующий материалист, я верю в свою бессмертную душу лишь как в совокупность идей и впечатлений, которые через мои слова и дела перейдут к сегодняшним и будущим людям. Мои главные дела - в диафильмах и в самиздатских статьях.

И я прошу всех, кто любит меня, спасти мою душу, её самую главную и самую важную часть, воплощённую в диафильмах и статьях. Я прошу показывать и смотреть мои диафильмы, сохранить их от уничтожения и забвения, а также читать, оспаривать и распространять мои статьи – ведь я писал их не для себя и они больше меня. Убеждён, что даже в наших с Лилей дневниках есть много интересного, в них надо только заинтересованно разобраться.

Об этом моя главная просьба. Сознание, что вы на неё откликнетесь, придаст мне силы спокойно отсидеть, сколько выпадет, и дожидаться более справедливых времён.

[Ноябрь-декабрь 1979 г.] Подпись

1.2. Люди из ближнего круга о В. Сокирко

1.2.1. Обращение к Генпрокурору Руденко Р.А. от Оболонского А.В.

Товарищ Генеральный прокурор!

Недавно Мосгорпрокуратура арестовала В.В. Сокирко в связи с уголовным делом, которое возбуждено против него, насколько мне известно, по ст. 190-1 УК РСФСР. В связи с этим

я, как человек, хорошо знающий В.В. Сокирко, как юрист и как гражданин считаю своим долгом указать на следующие обстоятельства.

Я знаком с В.В. Сокирко около 10 лет и потому со всей определённостью могу утверждать, что он в высшей степени порядочный, трудолюбивый, честный и принципиальный человек, талантливый учёный, прекрасный товарищ и семьянин. Ему абсолютно чужды корыстолюбие, тщеславие, неприязнь к людям, пренебрежительное отношение к моральным и правовым нормам, т.е. качества, лежащие, как известно, в основе подавляющего большинства случаев преступного поведения. Поэтому представляется, что следствию в данном случае особенно необходимо тщательно проанализировать не только существо инкриминируемых тов. Сокирко поступков, но и мотивы их совершения.

По моим представлениям, в основе действий, которые могут быть вменены В.В. Сокирко в вину, лежит та черта его личности, которая в условиях нашего общества не только не может рассматриваться как криминогенная, но, напротив, является необходимым качеством подлинного гражданина, идеалом, к которому мы все призваны стремиться. Я имею ввиду **активность жизненной позиции, непримиримость к недостаткам, готовность поступиться личными интересами ради общественных.** В.В. Сокирко обладает активным гражданским темпераментом и глубоко, лично переживает проблемы, возникающие в процессе развития нашей страны. Он всегда искренне заинтересован в позитивном решении любых проблем, больших и малых.

Как гражданина и как отца четверых детей тов. Сокирко не могут не интересовать проблемы экономического и социально политического развития страны, в которой он живёт, ибо от того, как они будут решены, зависит будущее, в том числе, и его детей.

Конечно, человек, ищущий ответа на острые вопросы, неизбежно в чём-то ошибается. В той мере, в какой мне известны взгляды Сокирко, думаю, что они часто бывают

спорными и даже неверными. Но взгляды человека, как известно, независимо от их характера, не являются компетенцией следственных органов и не могут служить основанием для его уголовного преследования. Что же касается взглядов В.В. Сокирко, то их уж во всяком случае нет оснований рассматривать как «заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй», ответственность за распространение которых предусмотрена ст.190-1 УК РСФСР, т.к. понятия искренности убеждений и их «заведомой ложности» несовместимы (в данном случае можно говорить не более чем о добросовестном заблуждении), а критику существующих недостатков с целью их преодоления следует рассматривать не как стремление «опорочить советский строй», а напротив, как желание поспособствовать его совершенствованию и укреплению.

По моему мнению, существованию в нашем обществе людей, подобных В.В. Сокирко, следует радоваться. Они хотя бы отчасти компенсируют такие пороки, как мещанство, обывательское равнодушие ко всему, что выходит за рамки личных дел. Люди его типа не только не представляют социальной опасности, но, наоборот, если правильно их использовать, способны принести советскому обществу немалую пользу.

Далее, и по своему складу, и по роду занятий тов. Сокирко – учёный. А для учёного обычным методом выражения своих мыслей служит их запись. В тех случаях, когда рукопись не публикуется, учёный, естественно, передает её для прочтения коллегам либо просто людям, мнение которых для него важно. Те, в свою очередь, если считают нужным, отвечают ему в письменной форме. Это нормальный, общепринятый в научной среде способ обсуждения. В рамках социалистической законности он ни в коей мере не является уголовно наказуемым.

Тем более нельзя рассматривать с подобных позиций и направление в различные инстанции писем, содержащих всякого рода предложения или указания на конкретные недостатки. Более того в Конституции СССР и общесоюзном

законодательстве, как известно, прямо установлен порядок рассмотрения таких писем, а также предусматривается ответственность лиц, преследующих граждан за критику.

Мне известно также о намерении В.В. Сокирко выпускать совместно с несколькими друзьями нечто вроде рукописного журнала. Собственно, называть подобного рода соединение машинописных текстов «журналом» можно лишь весьма условно, так как по чисто техническим причинам он может быть практически доступен только для крайне узкого круга людей. Общий девиз этого материала – «поиски взаимопонимания» – также вряд ли может вызвать какие-либо серьёзные возражения, т.к. именно поиски взаимопонимания всегда составляют исходный пункт обсуждения любого вопроса. Сами инициаторы данного начинания не видели в нём ничего криминального и не считали нужным от кого-либо его скрывать. Исходя из перечисленных обстоятельств, я считаю, что любые репрессивные меры против организаторов «журнала» были бы антидемократическими, ошибочными как с юридической, так и с политической точки зрения.

Другие факты, которые могут быть инкриминированы В.В. Сокирко в рамках ст. 190-1 УК РСФСР, мне неизвестны.

В силу изложенного призываю Вас дать указание о пересмотре предпосылок, положенных в основу обвинения по данному делу и, в случае отсутствия у следствия фактов иного рода, о его прекращении и освобождении из-под стражи В.В. Сокирко и других лиц, арестованных на тех же основаниях. Полагаю, что только такое решение будет соответствовать принципам социалистической законности, демократии и справедливости.

Существует и ещё одно обстоятельство, в силу которого быстрое и гуманное решение вопроса особенно необходимо: у В.Сокирко четверо детей, двое из которых находятся в возрасте формирования человеческой личности. Уголовное преследование их отца, которое они неизбежно воспримут как несправедливое, принесёт им не только материальные лишения. Оно может искалечить их психику, пагубно повлиять на их

социальные установки и всю последующую жизнь. Тем самым отрицательные последствия допускаемой сегодня следственной ошибки будут сказываться много десятилетий. Об этом мы, ныне живущие и принимающие решения, тоже обязаны помнить, поскольку от наших поступков в значительной степени зависит, каким станет будущее нашей страны.

В любом случае прошу это письмо приобщить к делу.
С уважением, А.В. Оболонский [Февраль 1980 г.]

1.2.2. М.Я. Гефтер. Интервью, данное итальянскому корреспонденту 16 апреля 1980 г. (отрывок)

...Не смотрю ли я на мировые события с "диссидентской" колокольни? Не исключено. Говоря о поражении, я имел в виду и нас, и себя. Но не поймите это чересчур буквально. Сейчас нередко можно услышать, что советское инакомыслие агонизирует, что практически оно свелось почти к нулю. Если иностранным корреспондентам не с кем разговаривать, то, действительно, Россия может показаться и вовсе опустевшей... Я не хочу никого мистифицировать мнимым знанием действительного положения вещей. Наши источники "информации" – частичны и случайны, кругозор неизбежно узок. Москва – это особое тело, живущее отдельной от страны жизнью, а интеллигент в Москве – всего лишь частица этого тела; если же эта частица вдобавок исторгается, то нетрудно представить, как неумолимо ограничивается ее образ действительности. Но кого в этом винить? Есть, однако, бесспорные факты, в отношении которых вопрос сводится уже не к признанию их реальности, а к тому, чтобы признать их жизненно важными для себя, если даже они прямо тебя не касаются. Можно сказать, что тут самое больное наше место. Как назвать нынешнее умонастроение: ступором? Прострацией?... Либеральный интеллигент, внимающий радиоголосам, имеет возможность "переживать", не сдвигаясь с

места. И тот же интеллигент, и также не сдвигаясь с места, может поучаствовать в играх иносказания, разочарования, взаимного сжигания прошлого, получая от прикосновения к "чужой" опустошенности своего рода санкцию на бездействие. И опять-таки: вменить ли это в вину? Речь идет ведь не только о немалом риске даже малого шага в сторону от привычного и обязательного. Но куда шагнуть обеспокоенному дельному человеку,... в пустоту – за отсутствием ясной и просто всякой цели? Я не склонен к всепрощению, тем более, когда речь идет о человеческих судьбах. Я не могу отвлечься от того, что вопиет: почему наше "образованное общество" предало диссидентов? Предало молчанием, если не равнодушием. Но я сам себя останавливаю, спрашивая: вправе ли кто-то присваивать себе роль судьи, когда в подсудимых оказываются все? Нет избранничества в мудрости и когда исчезает она, когда место вчерашнего смысла (пусть окровавленного, пусть в исторической грязи, но все-таки смысла) занимает – "пустота", то надо либо вовсе отойти в сторону, либо самую "пустоту" признать своей... Не этой ли иллюзией мы особенно близки сейчас остальному миру?

Тем не менее я не склонен хоронить отечественное инакомыслие, хотя отдаю себе отчет и в понесенных им тяжких потерях, и в том, что оно проходит ныне трудную полосу изживания собственных иллюзий и переоценки ценностей. Но именно это последнее и внушает надежду. Я мог бы персонифицировать эту надежду, назвав не одно имя. Ограничусь, однако, двумя: Валерием Абрамкиным и Виктором Сокирко. Это люди среднего возраста, отцы семейств, инженеры по профессии, способные и квалифицированные специалисты, стоявшие на пороге защиты диссертации и обеспеченной деловой карьеры, когда они почувствовали себя обязанными начать другую жизнь. Я выделяю этот момент. Общее у названных людей – то, что они прежде всего нравственные люди, которыми владеет не честолюбие и не озлобление, люди, которым внутренне чужды всякие бенгальские огни и мелодраматические жесты; движет ими в первую очередь

потребность узнать, понять – отчего у нас так плохо идут дела и отчего так трудно живется людям. Я не уверен, что оба они придерживаются одинаковых взглядов, и знаю, что во многом они думают иначе, чем я. Но из встреч и бесед с ними я вынес стойкое впечатление: это действительно, поборники диалога. Я бы сказал – рыцари диалога, если понимать под последним не просто процедуру, не только взаимную вежливость и даже терпимость, но гораздо большее: взаимную заинтересованность в других взглядах и позициях. Неслучайно жизненный путь привел их в редакцию "Поисков" – самиздатского "свободного московского журнала", девизом и стержнем которого и явилась идея диалога (диалога, как выбора, диалога как выхода!)

Остается только добавить, что оба они, Валерий Абрамкин и Виктор Сокирко, находятся сейчас в Бутырках – под следствием по делу "Поисков". Не могу не упомянуть также, что накануне ареста Сокирко написал статью, в которой доказывает допустимость и необходимость диалога демократов со "сталинистами" (в широком смысле, включающем и то, что он назвал там "сталинской народной оппозицией")...

1.2.3. Г.С. Померанц. Мой собеседник Виктор Сокирко⁵²

В 7-м номере «Поисков» был опубликован диалог верующего с атеистом. В заключительном своём письме верующий, Сергей Александрович Желудков, писал: «Дорогой Витя!... После Вашего письма я имел возможность ближе познакомиться с Вами и Вашей женой и мысленно причислил вас обоих к светлым атеистам. Так я решил впредь именовать

⁵² А. А.: «Публиковалась ли эта работа Г.С. Померанца?». Л. Т.: «Насколько знаю, нет. Она ходила в самиздате. Краткую аннотацию на эту работу Г.С. поместила «Хроника текущих событий», № 56. (См.: (<http://www.memo.ru/history/DISS/chr/XTC56-80.htm>))

для себя людей, которых прежде называл «анонимными христианами». Я согласен с Вами, что в главном, решающем, нам не о чем спорить... Ибо своей веры ни Вы мне, ни я Вам передать в споре не можем. В споре можно способствовать разрушению веры другого. А это может быть опасно – может привести человека к отчаянию, повредить ему в самом главном – в практике достойной жизни...».

Откуда у светлых атеистов их дар света – вопрос метафизический, и я вслед за Сергеем Алексеевичем выношу это за скобки. Но всякий, кто знает Виктора Сокирко, согласится, что он действительно светлый атеист, что никакой компенсации там ему не нужно, его там – здесь, вся полнота бытия – здесь, и гражданская активность – от этой посюсторонности добра, от убеждения (или лучше сказать, ощущения), что человек по природе добр, разумен и не может не откликаться на разумное и доброе слово.

Я несколько раз замечал, что подобный дар нравственного света и деятельного добра даётся людям неверующим, совершенно лишённым сознания «таинственного прикосновения мирам иным», о котором писал Достоевский. И наоборот, некоторые страстно верующие нравственно черны, как сапог, и просто переносят свою злобу на иноверцев. Или еретиков. Это не общий закон, и тот же Сергей Алексеевич – пример светлой веры. Но хочется подчеркнуть, что вера не гарантирует от бесовщины (так же как атеизм), и в наш век крестовых походов (оборачивающихся погромами) больше, чем когда-либо, нужно искать взаимного понимания светлой веры и гуманизма. Иначе фанатизм, выгнанный в дверь, тут же влезает в окно.

Я не соглашался со многими идеями Сокирко. Но я чувствовал в нём ум одновременно страстный и не фанатичный. Никакого желания мести (хотя бы справедливой). Никакой злобы. Никакой любви к риску, придающей деятельности бретерский характер. Риска Виктор положительно не любил и никогда не храбрился. Напротив, он совершенно откровенно писал о себе и себе подобных:

«Их души будут постоянно раздираться тягой к любимой науке и требованиями совести, нравственной борьбы; они будут постоянно колебаться, не останавливаясь ни на одном крайнем решении... Только такая осторожная и мучительная позиция, когда ты и начальству не угоден, и себе самому кажешься, только она позволяет сохранить и развивать науку, труд и саму жизнь».

Судьба автора, попавшего за решётку, поставила здесь точку над *i*, задним числом оправдав мой выбор этой цитаты в эссе о современном нравственном чувстве. Я убеждён, что чуткий человек не может не слышать одновременно **нескольких** нравственных призывов, сталкивающихся друг с другом, и именно это чувство постоянного **конфликта** нравственных законов мешает ему стать фанатиком одного долга, ангелом с пеной на губах, - самым страшным из исчадий добра, становящегося злом.

Я знаю героев, захваченных своим гражданским долгом так, что всё остальное в них приглушено. Знаю учёных, жертвующих гражданской совестью ради науки. Знаю отцов и матерей, молчащих, когда камни вопиют, - ради детей. Ни в кого из них я не брошу камня. До какой-то меры, до какого-то порога они могут найти серьёзные оправдания. Но центр тяжести нравственной борьбы всё больше перемещается в борьбу добра с добром. Без **одновременной** чуткости к **разным** призывам герой становится тираном, мученик, избравший царство небесное, - инквизитором, а талантливый учёный и любящий отец – обывателем. В словах Сокирко, которые я привёл, меня сразу подкупило его совершенное нравственное несовершенство. Не могу это лучше выразить.

Потом я убедился, что также совершенно несовершенен, так же широк Витя и в своих идеях, и в своём национальном чувстве. Он рос в Москве с четырёх лет и казался мне совершенно русским, но после первого обыска самое большое его огорчение было изъятие неоконченной рукописи о нивелировке этнических особенностей Украины. Впрочем, тут не было логического противоречия: Виктор бережно, почти

любовно относился ко всем этническим особенностям, уцелевшим под имперским бульдозером. Но в общественно-политических взглядах Сокирко есть прямые противоречия – с моей точки зрения, очень живые и интересные.

Когда мы познакомились, он объяснил мне свой псевдоним К. Буржуадемов так: коммунист и буржуазный демократ. Я улыбнулся. Мне казалось, что коммунизмом от его взглядов и не пахнет. Но я просто не всё читал.

«Прежде чем добиваться политических и иных прав, - писал Сокирко, - необходимо добиваться более основополагающих прав – экономических, т.е. прав на независимое от государства, свободно-рыночное существование. Не иначе! Ибо предоставлять политические свободы завистливым и ленивым рабам и нахлебникам столь же неразумно, как предоставлять такую свободу детям: набезобразничают, напортят, а потом пойдут по миру просить еды и кредитов».

Это слова либерала, сторонника частной инициативы. Но оказалось, что от народной веры в грядущее царство правды Сокирко тоже не хочет отказываться. Я не люблю спекуляции словом «народность», но здесь оно подходит без всяких оговорок. Нападки Виктора на служивую интеллигенцию и защита экономически активных слоёв – не только теория. Это чувство, связанное, быть может, с рабочей семьёй, корни которой уходят в село. Такое же чувство (Виктор его сравнивает с инстинктом) – верность народной мечте о тысячелетнем царстве. Вот подлинные слова (из «Поисков», № 7):

«На мой взгляд, если коммунизм равен социалистической мечте и может быть осуществлён, то – в далёком будущем, в итоге кардинальных изменений в производительных силах и отношениях; но когда именно – мне до сих пор мучительно непонятно.

Ясно одно: путь к коммунизму – свободному будущему долг и идёт через сегодняшние вершины развития, т.е. через западные вершины – демократии, свободной экономики, либерализма. Убеждён: серьёзный коммунист в нашей стране, по ближайшим целям – буржуазный демократ, либерал.

И.Р. Шафаревич предлагает вообще отречься от социалистической мечты, как главной пагубы человечества, - хотя известно, что инстинкт вытравить из живых существ невозможно. П.М. Абовин-Егидес предлагает осуществить социалистическую мечту сейчас и немедленно – игнорируя исторический опыт того, что все попытки приводят только к застою. Я же предлагаю признать реально существующее: социалистическая мечта, обозначенная в нашей стране как коммунизм, есть только мечта, великая, жизненная, необходимая людям – но только мечта, осуществление её – тайна непонятого до сих пор будущего. С ней невозможно бороться, но не следует навязывать людям скорое осуществление».

В отклике на книгу М. Поповского «Куда девались толстовцы» Сокирко противопоставляет коммуны (объединения единомышленников) и государственный коммунизм. Коммуны, «которые возникли вне воли властей, стихийно, по велению души энтузиастов, оказались эффективными». Виктор ставит их в ряд с колониями протестантов, заложивших основы Америки. Идею Макса Вебера о рождении капиталистического духа из протестантской этики он толкует в смысле эффективности **всякого** объединения единомышленников, живущих по своей воле:

«Главная причина рождения этого «капиталистического духа», духа творческой, независимой работы лежит не столько в характере и деталях самого вероучения, сколько в факте его независимого свободного существования, в том факте, что группа людей, **свободно и независимо** избравших свою веру, твёрдо её держится и начинает истово трудиться, преобразуя мир вокруг себя по вере своей. Сама жизнь, сама свободная деятельность их корректирует то неверное, что было заложено в первоначальной их концепции...»

Я сильно сомневаюсь, что **всякое** мировоззрение вело к могучему труду. Но некоторые монастыри действительно были центрами экономической жизни. И некоторые коммуны действительно были эффективны. Теория Сокирко недостаточно

строго сформулирована, но она позволяет поставить в один ряд монастырь Сергия Радонежского и израильский кибуц, или коммуны Макаренко, как генераторы экономической активности. Однако общество в целом нельзя организовать как монастырь. Сокирко неоднократно подчёркивает, что рынок, как общегосударственный регулятор, пока ничем нельзя заменить.

«Когда Сталин и его присные обвиняли наши эффективные коммуны в кулацком духе - продолжает Сокирко, - они были недалеко от истины, если под кулаком понимать не ругательное слово, а нормального мелкого и среднего предпринимателя». Я думаю, нечто подобное имел в виду Н.И. Бухарин, когда говорил о вращении кулака в социализм. К сожалению, победила линия Сталина, и коммунары, вместе с кулаками, были уничтожены как класс.

Виктор Сокирко на стороне любой экономической инициативы (коммунаров или кулаков), против лени, иждивенчества холуйства государственных служащих. Он подчёркивает, что шабашники (нынешние кулаки) часто работают артелями: «в стране не исчезает море студенческих коммун, шабашных артелей»...

Экономическая свобода кажется Сокирко фундаментом политической и духовной свободы. И он призывает завоёвывать экономическую свободу явочным порядком: «Если желаете свободной и богатой жизни, то займитесь свободной экономической деятельностью, не жалея своих сил и времени, презрев опасности от государственных преследований и моральные упреки от «служивой интеллигенции». Становитесь кустарями, шабашниками, леваками, спекулянтами, предпринимателями, частниками.

Если же вы не желаете изменить своим прежним духовным занятиям, внутреннему самосовершенствованию, вечным проблемам, то будьте последовательны: ограничивайте свои материальные потребности, становитесь, йогами, аскетами, духовно очищайтесь, но избавьте наш материальный мир от ваших требований».

Впоследствии Виктор отступил от некоторых резкостей в формулировке своих идей. В прогнозе на 1990 год он более трезво оценивает чернорыночника и проводит чёткую разграничительную черту между чёрным рынком, неотделимым от чрезмерного государственного регулирования, и свободным рынком. Из этого логически вытекает отказ от чересчур оптимистической идеи стихийного движения к свободной экономике. В прогнозе утверждается другое: если экономическая политика не будет изменена, наступит катастрофа. Как-то учёл Виктор и моё возражение, что «раввин не спекулирует» и что интеллигенция должна оставаться самой собой и как интеллигенция бороться за свободу всех. В том числе и шабашников. Подумав, он спросил, согласен ли я, чтобы моя пенсия, при переходе к свободному рынку практически уменьшилась вдвое? Я ответил, что конечно; лучше отказаться от обеда, чем от свободы. Но это моё предпочтение рынка не есть материальная заинтересованность в рынке. Экономика для меня не основное, не главное. Нет ничего первичного для всех. Каждый человек волен устанавливать свою иерархию ценностей. Интеллигенту важнее всего духовная свобода – и именно эту свободу он может осуществить явочным порядком. И из крепости своей внутренней свободы делать вылазки в сторону других свобод – политических и экономических. Впрочем, практически мы легко сошлись: я согласился, что значение шабашника, в изменившихся условиях, может резко вырасти и что с нравственной точки зрения мы не вправе презирать человека, услугами которого пользуемся; а Витя неоднократно признавал долг интеллигента участвовать в борьбе за всякую свободу, духовную и материальную.

Я упоминаю об этом споре, потому что идеи Виктора Сокирко задиристы, вызывают на спор и предлагают спор. В письме к друзьям на случай ареста он писал: «Вы хорошо знаете, что я очень не хотел ареста, а если не сумел его всё же избежать, то потому что приходилось рисковать в настоящем, чтобы обеспечить свою жизнь в будущем. Вы знаете, что как верующий материалист я верю в свою бессмертную душу лишь

как в совокупность идей и впечатлений, которые через мои слова и дела перейдут к сегодняшним и будущим людям... И я прошу всех, кто любит меня, спасти мою душу, её самую главную и самую важную часть (речь шла о диафильмах и статьях, - Л.Т.)... Я прошу ...читать, оспаривать и распространять мои статьи, ведь я писал их не для себя, и они больше меня».

Подчёркиваю слово «оспаривать». Сокирко верит не в свою особую правоту, а в спор, в артель свободной мысли. И сам он спорит артельно, резко формулируя возражения, но без злобы, без желания осрамить противника. Виктор готов взять в свою артель всех думающих людей. Даже в его анализе книги Л.И.Брежнева о целине нет никакой партийности, напротив, с радостью отмечается каждый случай, в котором крестьянский опыт и здравый смысл побеждали комиссарские привычки. С кем бы Виктор ни спорил, он стремился найти что-то хорошее и взять это хорошее в общий котёл. Любопытно, что Рой Медведев отказался взять в свой журнал его критический отклик на книгу И.Р. Шафаревича «Социализм»: недостаточно партийно, недостаточно зло. Впоследствии этот отклик был опубликован в «Поисках».

С неистребимо доброжелательным отношением к собеседнику связана такая же неистребимая, донкихотская вера в доброжелательный отклик, вера в возможность убедить. Первым донкихотским шагом было письмо 22-летнего комсомольца с попыткой доказать, что обещание построить коммунизм, хотя бы в общих чертах, к 1980 году - нереально. Прошло 19 лет и любопытно вспомнить формулировку, с которой Виктор был тогда исключён из комсомола: «за неубеждённость в марксизме-ленинизме, клевету на советскую действительность и неправильное понимание товарищества (т.е. отказ сделать донос)». Дальнейшие неприятности ожидали Сокирко в 1969 году (отчислен из вечерней аспирантуры), в 1973 (шесть месяцев принудработ за отказ дать показания) и в 1974 году (предупреждён об уголовной ответственности за

распространение самиздата и показ диафильмов тенденциозного содержания).

Тенденциозность диафильмов Сокирко заключалась в том, что он, снимая слайды, думал. И свои размышления, иногда тревожные, записывал на магнитофон. И показывал друзьям картинки вместе с раскручиванием магнитофонной ленты. Например, руины Кенигсберга и взволнованный голос автора: «Своими рваными ранами они кричат: «Голос мести имеет свои права в борьбе, и бомбы могут поразить не только солдат, но детей и церкви. Но после войны чувство должно уступить рассудку... Зачем вы сделали врагами ещё не родившихся немцев? Разве вам хочется ещё воевать?.. Черчилль не без умысла подсунул Сталину эти земли, на долгие годы сделав немцев нашими врагами. То же самое он проделал с японскими островами Итурук и Кунашир. И умирая в атомном вихре, горше всего будет сознавать, что мы сами навлекли на свою страну такую беду. Это ведь при нашей поддержке вырос в Китае Мао Дзе-дун. И мы же вынудили детей двух развитых стран стать антисоветскими реваншистами...»

Видимо, всякая тревожная мысль тенденциозна, на что-то наталкивает, что-то ставит под вопрос. Сокирко никогда не был крайним. Он даже написал письмо в защиту конформизма, против ухода во внутреннюю эмиграцию, за диалог с тем правительством, какое есть. Он хотел оставаться на работе и остался до самого дня ареста, 23 января 1980 года. Он очень не хотел разлучаться с женой и детьми. Но нет у него условного рефлекса - умения вовремя промолчать и не попадаться под горячую руку. Люди гораздо более крайних взглядов (но с выработанной обществом условно-рефлекторной системой) живут и умирают в своей постели без вмешательства органов безопасности. А Сокирко всё время навлекал на себя несчастья. Не столько за свои идеи, сколько за непосредственность и горячность в изложении этих идей.

В декабре 1979 года Сокирко послал в «Правду» прогноз «Экономика 1990 года», а 10 января – прошение Л.И. Брежневу о выводе войск из Афганистана. Прошение было отправлено

только адресату, следовательно, автор искренно надеялся на какую-то, пусть малую, возможность **убедить**, и считал свой поступок вполне лояльным: «Предвидение многих бед, которые придут в наши семьи и ко всей стране... , заставляет меня впервые обратиться к Вам с подобным письмом...» «Осознав личную ответственность за будущее страны и своих детей, выполняя гражданский долг, я обращаюсь к Вам с просьбой...»

Я боюсь, что всё это было воспринято как ирония; между тем, Сокирко совершенно искренне простодушен. Он убеждён, что люди по своей натуре - здравомыслящие и добрые существа, и поэтому выход всегда может быть найден. То, что он предлагает в «Экономике 1990 года» - возвращение к ленинской политике НЭПа надолго и всерьёз – никак не может быть названо разрушительной идеей. Но адресаты, видимо, не способны вынести страстность, с которой Сокирко рисует возможные несчастья, если его предложения не будут приняты. Вот несколько выдержек из прогноза:

«Общественному сознанию придётся смириться с чувством национальной ущербности, с комплексом неизлечимо бедной, неспособной, второсортной страны-неудачницы. Но смириться с этим ни одно национальное сознание не способно. Дело может кончиться общесоциальным кризисом и социальной перетряской». «С момента, когда средняя реальная зарплата начнёт не расти, а падать, болезнь вступит в стадию острого протекания... При сохранении плановой системы, т.е. неизменных в принципе цен на товары, инфляция будет иметь вид растущего дефицита товаров, что будет означать расширение чёрного рынка, нелегальных операций... Абсолютное обнищание советских людей будет сопровождаться, как ни парадоксально, сильнейшим обогащением верхних слоёв – чёрнорыночников и номенклатурной элиты, находящейся на спецснабжении. В преддверии экономического кризиса усилится классовый раскол в обществе – основа социальной катастрофы... Недовольство большинства людей обрушится в первую очередь на чёрнорыночников... Именно их будут винить массы во всех

своих бедах. Несправедливо, ибо истинная вина лежит на управляющей элите, вцепившейся в свою абсолютную экономическую власть, в абсурд «планирования»... В качестве последнего средства укрепления дисциплины, карточной системы и трудового энтузиазма, руководство прибегнет к внешнеполитическим авантюрам... Мы вступим в свой 1984 год...»

Чтобы правильно понять позицию автора, надо вспомнить ещё один документ - рецензию на 125 номер «Христианского вестника»: В течение достаточно длительного периода развития у власти в России будут или коммунисты, или православные националисты. Но кто бы ни находился наверху, лояльная оппозиционность либералов и их направленность на защиту прав останется неизменной. Конечно, сам факт смены господствующей идеологии, революционного разлома и связанных с ним потрясений является нежелательным, поэтому либералы, прежде всего, лояльно критичны к существующей власти». Либералы до 1917 года были конституционными монархистами, а сейчас они конституционные социалисты. «И в этом нет беспринципности, а, напротив, глубокая и неизменная либеральная традиция лояльности..., упорной работы по мирному развитию правовых и демократических начал в реально существующем обществе...»

Сокирко, как и другие либералы, объединившиеся в журнале «Поиски», добивались не власти, а диалога с властью, права на легальный анализ идейных, экономических и политических перспектив. Борьба шла не против порядка, не против охраны порядка, а только против гипертрофии охранительных функций, парализующих мозг страны.

Я не экономист и не в состоянии оценить главных трудов Сокирко: «Очерки растущей идеологии», сборников «В защиту экономических свобод» (и то и другое – под псевдонимом К. Буржуадемов) Но об этических проблемах я много думал и размышления Сокирко в этой области читал с живым интересом. Хочется оценить их английским словом *provocative*. По-русски так не говорят; провокационно – звучит ругательно, а

провокативно - значит, будить мысль. Когда английский учёный хочет похвалить коллегу, он пишет: *provocative*, т.е. интересно, плодотворно. Сказывается многовековая привычка обходиться собственной головой, без окормления церковным или партийно-государственным авторитетом, без страха ереси. Арест В. Абрамкина, Ю. Гримма, и В. Сокирко можно объяснить филологически, нехваткой слова «провокативный» в русском языке. Они мыслили провокативно (в английском смысле этого слова), а оценено это было по-русски, как провокационная вылазка.

Я не знаком с Гриммом и только раз мельком видел Абрамкина. Запомнилось только – хорошее лицо, хорошая улыбка. Но Виктора Сокирко я достаточно знаю, чтобы твёрдо свидетельствовать (вкратце я уже высказал это в прокуратуре 27 февраля 1980 года):

Мотивами деятельности Сокирко и страстной резкости его прогнозов были только личная ответственность и гражданский долг. Если не я, то кто? Значит, надо самому – хоть головой об стенку биться. Владимир Соловьёв удивлялся, как можно вывести из материализма нравственное поведение: «человек произошёл от обезьяны, следовательно, будем творить добро». Но нравственная активность вообще логически не вытекает. Трусость обывателя всегда найдёт увёртки - христианские или атеистические. Нравственная активность даётся личности, «как нам даётся благодать», и если даётся, то приобретает силу инстинкта, заставляющего рыбу прыгать вверх по течению, через пороги. Не могу молчать: вот и всё оправдание, в котором деятельное добро нуждается. Нравственная позиция Сокирко неотделима от его веры в человека; «я убеждён, - пишет он в своём прогнозе, - что шансы к спасению есть, хотя они исчезающе малы... Единственной альтернативой гибели является радикальный и твёрдый поворот к высвобождению культурных и экономических сил отдельных людей...»

В «Информации о ходе следствия», опубликованной в № 6 «Поисков», видно, что и со следователем Виктор, нарушая

диссидентский этикет, говорит, как с человеком (иначе, видимо, не умеет):

«Я объяснил, что, конечно, боюсь тюрьмы и хотел бы избежать уголовного преследования, но не путём отказа от выражения своих убеждений, равнозначному духовному самоубийству. Кроме того, моё членство в редакции «Поисков» вполне сознательно и добровольно и вызывается чувством долга. Кто-то должен начать дискуссию о путях развития страны, начать поиски альтернатив и взаимопонимания – без этого страна придёт к тупику, к катастрофе. Да, я слабый человек и разрываюсь между гражданским долгом и жалостью к своим близким. И всё же постараюсь выдержать... Если за попытку выпуска дискуссионного журнала необходимо платить годами лагерей – пусть моя очередь будет одна из первых. Зато детям не будет стыдно за меня». Москва, март 1980 г.

1.3. Поиск взаимопонимания с властью

1.3.1. Объяснительная записка В.Сокирко (июнь 1980)⁵³

1. 23/01-1980 г. я был арестован по обвинению в клеветнических измышлениях, порочащих сов. гос. и общ. строй в статьях журнала "Поиски" и в экономических сборниках.

За время изоляции у меня были возможности продумать причины случившегося со мной и будущие последствия. Я сознаю, что сейчас моя жизнь на переломе и от выбора правильной линии поведения зависит не только моя личная судьба, но во многом и судьба родных и близких мне людей. Понимаю, что этот выбор должен быть сделан ответственно и

⁵³ См.:

<http://www.sokirko.info/ideology/vokrugpoiskov/2.11.htm>

своевременно, чтобы решающие мою судьбу инстанции имели правильную информацию обо мне.

2. Всю жизнь я считал себя неплохим человеком, честным и трудолюбивым, хорошо учился и старательно работал, не жалея себя. Старался больше принести пользы не только себе и своим близким, но и стране, чтобы жить в мире со своей совестью. Отношение окружающих людей всегда подтверждало эту оценку. Но этого мало. Непродуктивность нашей работы, формализм пропаганды, равнодушие людей подсказывали мне, что причина этих явлений – не отдельные "пережитки", у неё более глубокие корни. Так же, как в свое время страх и угар восхваления Сталина были потом объяснены единым словом – культ личности.

3. Начиная с юношеских лет моим преобладающим увлечением было самообразование – выработка убеждений, способных критически объяснить противоречия жизни и дать советы, как сделать, чтобы стране и людям было лучше. Изучение произведений классиков марксизма-ленинизма привело меня к убеждению, что их учение не соответствует сегодняшней официальной идеологии. Попытки выяснить эти вопросы у преподавателей из-за их уклончивости меня не удовлетворяли. Я видел, что общение со мной оказывалось для них тягостным и небезопасным. Самостоятельное же изучение философии и политэкономии только усиливало мои ревизионистские убеждения.

Появление самиздатской литературы открыло мне людей, родственных по инакомыслию, с которыми можно было безбоязненно и откровенно обсуждать свои взгляды, проверять их в дискуссиях. Именно на выработку убеждений в спорах, на развертывание дискуссий, диалога разномыслящих людей была направлена вся моя самиздатская деятельность. Уверен, что дискуссии, в которых скрещиваются разные точки зрения и аргументы, не имеют ничего общего ни с пропагандой, т.е. вдалбливанием однонаправленных идей, ни с клеветой – однонаправленным искажением истины.

4. В настоящее время мои взгляды уже устоялись. Их можно определить как буржуазно-коммунистические. Моим идеалом является коммунизм как свободное и изобильное общество, в котором человеку даны все возможности для развития, где осуществлен принцип "от каждого по способностям, каждому по потребностям". Но это общество может быть достигнуто в будущем не вопреки капитализму, а лишь на его основе, через полное развитие свободной рыночной экономики. Реальный же социализм мне представляется низшей общественной формацией, пограничной с азиатской формой феодализма. Такой комплекс взглядов был близок и Ленину, когда он вместе с легальными марксистами и в полемике с народниками отстаивал необходимость свободного развития капитализма в России. Отсюда моя убежденность, что переход к рыночной экономике и одновременное обеспечение прав и свобод человека являются необходимыми условиями быстрого приближения страны к коммунизму.

5. Важной составной частью моих убеждений стала также принципиальная нереволуционность. Тезис Маркса: "революция есть локомотив истории" мне кажется неверным. Общественный прогресс происходит именно в мирное время, когда человек работает, а во время войн и революций он только воюет и разрушает. Революция способна только катастрофически отбросить накопившееся развитие страны к исходному рубежу. Отсюда мое отрицательное отношение к экстремизму любых сортов, даже к диссидентскому и демократическому, отвращение к нелегальной деятельности. Любой призыв к насилию или подрыву существующего режима, принимаемого большинством людей, на мой взгляд, вреден. И несомненно, если сегодня большинство советских людей принимают принципы реального социализма, то и я не являюсь его противником, ибо никогда не желал идти против народа (даже если с высшей исторической точки зрения он и неправ). По тем же причинам не могу я быть и против Советской власти. В частных спорах я даже отстаивал необходимость КГБ (в части функции тайной полиции), несмотря на всю мою

непроизвольную неприязнь к этой организации – именно потому что она необходима для устойчивого существования нынешней власти.

6. Вместе с тем я считаю, что страна может устойчиво прогрессировать только при условии ее непрерывного реформирования, т.е. все большего обеспечения гражданских прав и экономических свобод, особенно свобод на инициативный, самостоятельный труд, права на дело. Анализ текущей прессы и своих жизненных впечатлений убедили меня, что несмотря на внешнее процветание, наша страна уже сегодня вступает в пору экономического, а потом и социального кризиса. Темпы развития падают вплоть до нуля, природные богатства эксплуатируются все сильнее, но тем ближе их истощение; труд инженеров и ученых становится все менее эффективным, трудоспособность населения, а вместе с тем и нравственность – падают, зато растет потребительство и развращенность. В этих условиях не только долг гражданина, болеющего за свою страну, но и простое беспокойство отца за будущее своих и других детей требовали от меня отбросить страх за себя и своих близких, и обращаться к властям и окружающим меня людям о настоятельной необходимости принимать меры по предотвращению грозящего кризиса (пусть не сейчас, а через 10-15 лет). Такими мерами, на мой взгляд, должно быть только раскрепощение трудовой и духовной самостоятельности и инициативности людей, а именно:

- экономическая реформа в смысле предоставления хозяйственникам, ученым, изобретателям, частникам и т.д. – права на самостоятельное ведение своих дел, конечно. при контроле Закона и соблюдении законных государственных интересов,

- разрешить деятельность оппозиционных группировок, способных критиковать, демократически контролировать и давать альтернативы правящей партии. Думаю, что уже сегодня оппозиционная деятельность правозащитников играет большую положительную роль по недопущению злоупотреблений в деятельности карательных органов.

7. Эти обстоятельства, а именно чувство гражданского долга и необходимость в дискуссиях вырабатывать правильные убеждения, привели меня к составлению экономических сборников и к участию в свободном московском журнале "Поиски". Это участие я не могу признать преступным, ибо у меня не было ни корыстных, ни тщеславных мотивов, я не хотел ни нарушать существующие законы, ни подрывать власть, ни, тем более, клеветать на нее. Я руководствовался лишь любовью к нашей стране, болью за ее будущее и конституционным правом на свободное выражение своих убеждений.

Но вместе с тем я понимал, что, возможно, буду несправедливо наказан в административном или даже уголовном порядке за эти действия. Практика самиздата предупреждала о такой возможности, хотя она же говорила, что здесь существует большая неопределенность, что если за чтение и распространение некоторых самиздатских произведений или "Хроники" власти людей сажают в лагеря, то за попытки издания журналов, например, "Вече" или "Евреи в СССР" и т.д. ограничиваются лишь давлением в неофициальном порядке. Это создало у меня уверенность, что к дискусионному журналу "Поиски" статьи 190-1 (а 70-й - тем более) не может быть применена, что своим участием я не буду нарушать действующие законы и подвергать себя и семью серьезной опасности. Реальность оказалась другой. Обыски, а затем и возбуждение уголовного дела против "Поисков" в 1979 г. доказало мне это с очевидностью. Что касается экономических сборников, то выводы я сделал сразу же, прекратив свое участие в составлении их.

Решать относительно участия в "Поисках" было гораздо сложнее, так как я был связан словом с другими членами редколлегии о равной ответственности, а также апрельским утверждением следователя Бурцева Ю.А., что в случае выхода последующего номера журнала Абрамкин будет посажен, а остальные члены редакции высланы из Москвы в административном порядке. Принятое тогда негласное решение о приостановке следующего выпуска журнала поселило у меня

надежду, что уголовное дело против журнала окажется лишь временной угрозой. Кроме того, летом 1979 г. следователь сделал мне частное предложение "вывести из этого дела" при условии "не писать ничего эдакого" (как я понял – самиздата). Согласиться на такое требование тогда я мог только в лицемерном желании обмануть, избавиться от наказания и уйти в подполье. Но это совершенно неприемлемо, поэтому я отказался.

Осенью, когда по ряду признаков я окончательно убедился, что уголовное дело на нас заведено серьезно и кончится судом, я сделал решительные шаги, чтобы остановить журнал, а вместе с тем и уголовное дело – вплоть до индивидуального выхода из редакции, как бы это ни противоречило моему чувству товарищества. Свой выход я аргументировал тем, что издание легального журнала в условиях уголовного преследования нереально, ведет только к росту страха, отталкивает думающих людей, действует не в пользу, а во вред нашей главной цели – росту дискуссий, поиску взаимопонимания разномыслящих людей. К счастью, оказалось, что сходные мысли были и у других членов редакции, поэтому, хоть с трудом и не сразу, но было принято решение об остановке журнала и роспуске редакции (к сожалению, это случилось уже после ареста Абрамкина и не повлияло на решение прокуратуры о дальнейших арестах).

Свой арест я расцениваю, как крупнейшую ошибку – и следствия и самого себя. Это ошибка следствия, поскольку оно лишило свободы лояльного и законопослушного человека, пусть он и обладает ревизионистскими убеждениями и занимался резкой критикой. Арестован, несмотря на то, что сам отказался от участия в журнале и в составлении экономических сборников. Это ошибка следствия, потому что в тюрьме и лагере лояльного человека обстоятельства учат только ожесточению и подпольному сопротивлению. В этом я успел уже убедиться, проведя в тюрьме четыре месяца. Это ошибка, потому что делает посаженного человека против его воли – мучеником за убеждения, толкает его к экстремистским идеям. Ведь известно,

что с идеями можно бороться только идейными средствами, другие же средства возбуждают лишь фанатическую приверженность к ним.

Но одновременно я считаю свой арест своим крупнейшим поражением, потому что не смог удержаться на позиции лояльного инакомыслия, не смог удержаться от тюрьмы, этой школы экстремизма, и тем самым невольно стал на путь разрушительного сопротивления, пусть даже против своей воли. Наконец, это мое поражение еще и потому, что главному наказанию буду подвергнут не я, а моя семья и, главным образом, дети. И не только тем, что они будут лишены отца и его заработка, а тем, что они будут отделены от сверстников моей судьбой, ожесточены из-за меня и потому, возможно, не избегнут экстремистской судьбы – не дай этого Бог!

8. Как во многих иных случаях, так и в моем - "ситуация строится с двух сторон". Я знаю, что мое будущее во многом зависит от сегодняшнего выбора, но в еще большей степени она зависит от тех, в чьей воле вернуть мне свободу. Я вижу тут три возможных варианта.

I позиция, к которой я вынужден сегодня арестом – активное противостояние, полное неучастие в следствии, как очевидном беззаконии. Отказ от адвоката, чтобы самому защищать на суде свои убеждения от обвинения их в клевете и антисоветизме. Очевидно, что суд не услышит моих доводов и вынесет решение о наказании по максимуму, в худшем случае к 12 годам лагеря и ссылки, а потом к бессрочной высылке из Москвы, от детей и родственников. Возможно, я буду сломлен этими годами, но скорей по своей неприхотливости перенесу их много легче своей семьи, а ощущение выполненного долга, возможно, компенсирует физические неудобства наказания.

II вариант, о возможности которого мне разъяснено на следствии: давать показания по делу, не заниматься самиздатской деятельностью и признать свою преступность. Тогда просьба о помиловании после суда, возможно, будет удовлетворена. Я буду освобожден от наказания и даже будет решен вопрос о моей работе.

К сожалению, этот вариант в моем случае может быть удовлетворен лишь на основе лжи и лицемерия. Ибо для признания своих действий преступными мне необходимо изменить свои убеждения, понять их преступность, а это невозможно сделать в короткий срок и тем более в тюрьме, под давлением. Любые попытки дискуссий об убеждениях в тюрьме будут бесплодными, это совершенно очевидно. Если же под влиянием жалости к семье я сейчас совру и признаю преступной всю свою жизнь, то потеряю свою личность, уважение к себе самому, уважение окружающих людей и своих взрослеющих детей. Не за отказ от убеждений (может, в будущем я и сам от них откажусь, но только сам, не под давлением), а именно за ложь и трусость в главном. Я много раз читал, как бывшие диссиденты отказываются в печати от своих убеждений и обвиняют своих прежних друзей. И по опыту знаю, какое гадливое чувство возникает при этом у всех людей – и не только за "покаявшегося", но и за тех, кто насилием организовал это покаяние. А в том, что оно было вызвано лишь угрозами и насилием, никто не сомневается. Путем такой лжи я могу освободить себя и свою семью от материальных лишений, но ценой угрызения совести до конца жизни. Пойти на такую ложь я не могу, так же как просто физически не могу давать показания на других, не говоря уже о стукачестве, которое мне уже предлагалось в свое время как цена защиты диссертации. К сожалению, именно такие завышенные требования, вынуждающие людей ко лжи и стукачеству, и толкают их в конечном счете к противостоянию и экстремизму.

III, компромиссный, вариант представляется мне как отказ от мученичества содержания в тюрьме, с одной стороны, но и ото лжи, лицемерного раскаяния и самооплевывания – с другой стороны. Я понимаю, что суд надо мной неизбежен и не прошу освобождения от наказания, я прошу только максимального снисхождения, учета всех вышеописанных обстоятельств, смягчающих мою "вину" перед властью, а главное - учета положения моей семьи, против интересов которой в основном и обращено лишение меня свободы. Ведь кроме ст. 70 есть еще и

ст.190-1, а та предусматривает не только лагерь, но и наказания, не связанные с лишением свободы и длительной разлукой с семьей. Я прошу учесть, что если мне пойдут навстречу, то у меня не будет причин игнорировать следствие и держаться "мученического венца". Конечно, я дам следствию и суду необходимые показания о своей деятельности (естественно, не касаясь других лиц). На суде я смогу отказаться от активной самозащиты, перепоручив адвокату возможность выставить суду все аргументы в пользу смягчения моего наказания. Я не могу считать свои убеждения клеветническими, а действия преступными, но могу признать, что мною сделано много ошибок и постараюсь не допускать их в будущем. Наконец, я могу дать обязательство не заниматься самиздатской деятельностью, поскольку она способна привести к уголовному преследованию.

Думаю, что важным доказательством доброй воли и актом милосердия ко мне было бы изменение меры пресечения и освобождение из тюрьмы до суда. Только после этого я буду способен давать показания и взять адвоката. До суда я могу зарабатывать для семьи, выполнять неотложные домашние дела, успокоить отца и родных и выработать с их участием более спокойную (нетюремную) линию поведения, избавиться от не свойственного мне ореола мученика. 4.06.1980 г.

Часть 2. БУТЫРСКИЙ ДНЕВНИК (В ГОД ОБЕЩАННОГО КОММУНИЗМА)

2.1. События января 1980 г.

Арест 23 января

В отделе ВНИИНЕФТЕМАШа, где я работаю, маленькая суэта - неожиданно на 14 часов назначено какое-то профсоюзное собрание. Мне тоже его не избежать, поэтому сортирую на столе бумаги, отделяя самиздатские статьи и письма (сегодня написал троим знакомым) в отдельную папку. Из-за неофициальных обысков, которые проводит начальство в моём столе, я держу все неделовые бумаги (которыми могу заниматься лишь в обед), только в личной сумке. И застываю: в комнату входит сам Юрий Антонович Бурцев со спутником: "Здравствуйте, Виктор Владимирович, собирайтесь... с нами". Криво улыбаясь, я представляю его сотрудникам: "Знакомьтесь, это мой следователь. Не смогу быть на собрании, к сожалению". А сам решаю: "Опять обыск, домой повезут. Ах, чёрт, пропал вечер, все три запланированных визита. А главное, здесь письма с адресами - вот что ужасно. Будет Бурцев таскать этих людей, трепать им нервы". Спутник Бурцева стоит уже около моего стола: "Что это за бумаги Вы перекладываете?" Я наскоро их показываю: "Рабочие документы", и, свалив всё в кучу, засовываю в самиздатскую папку, и в стол. Завтра разберусь...

Кажется, пронесло, и эта маленькая удача наполняет спокойствием. Наверное, Бурцев ищет 6-8-е номера журнала. 8-го на деле ещё нет, а 6-й и 7-й дома, жалко, если найдёт... С

такими беспокойными мыслями и той же улыбкой я прощаюсь с сослуживцами до завтра. На лестнице догадываюсь: так вот почему час назад ко мне вдруг пришла малознакомая сотрудница соседнего отдела, назойливо расспрашивала о какой-то несусветной чепухе, пребывая в непонятном для меня возбуждении, видно, ей поручили удостовериться, что к визиту Бурцева я окажусь на месте, узнать, что я делаю. Вот стерва!

Машина идёт ко мне домой. По дороге начинаю переписывать свою телефонную книжку, ведь Бурцев её обязательно отнимет. Сотрудник улыбается: "Зачем? Ведь Вам телефоны больше не нужны..." Я смеюсь: "Что, арестуете? Вот напугали-то". Бурцев пожимает плечами: "А это мы посмотрим по результатам обыска. Там и решим". Я отшучиваюсь: "Да дома всё обычно, не стоит и ехать".

Нет, до меня не доходило. Даже такие прямые и недвусмысленные предупреждения казались лишь шуточками, а собственные ожидания ареста в декабре уже были вытеснены из памяти. Да и зачем им теперь арестовывать бывшего члена редакции преследуемого журнала, ведь не могут они и в самом деле считать, что мы клеветники и нарушали закон?

Дома была одна Галя, в школьной форме, пионерском галстуке. Она даже не удивилась моему появлению с "чужими дядями" и сразу ушла в свою комнату. "Дядям" тоже было всё в этой квартире знакомо знакомо. Обыск был деловым, без суеты и кончился достаточно быстро, в 7-ом часу вечера. По разрешению «дядей», Галя сходила в садик за малышами, но Алёшик сразу ушёл гулять, так что к окончанию обыска дома были только мои дочки. Из имущества Бурцев отобрал для себя немного. Конечно, очередную пишущую машинку, пару самиздатских книжек, телефонные книжки, мои черновики, Валерины [Абрамкина] фотографии, последнее заявление "Поисков" ("Вот оно какое?!"), два экземпляра моих последних "Писем" (ругнулся: "И опять-таки пишет!"). Но главное - "Поиски" № 6 и № 7 - не нашёл [до сих пор горжусь своим тайником, - Л. Т., 2015].

И вот протокол обыска написан и подписан, понятия отпущены, изъятое упаковано и унесено, но вместо того, чтобы уйти, Бурцев подсовывает мне: "А теперь... Постановление об аресте Сокирко В.В. в качестве меры пресечения по делу..."

Трудно было осмыслить сразу этот... не удар, а событие, переход в иное состояние. Тупо читаю, тупо хорохорюсь: "Удостоился-таки!", отказываюсь подписать. "Пожалуйста! Собирайтесь!"

Да, надо собираться, но совершенно не понимаю, что надо с собой брать, настолько всё неважно в сравнении с самим уходом. Да и не буду ничего брать, ведь забирают они людей на улице, без ничего. Бурцев только подсказывает, что нужно взять паспорт и военный билет, а вот шарф и всё из карманов надо оставить дома, всё равно там отнимут.

Лиля [я. – Л. Т.] на вечернем дежурстве и не видется нам теперь очень долго, на суде через полгода, в лагере - через год. Никаких записок не допускается, на столе Бурцев оставляет только свой телефон. Я судорожно оглядываю квартиру - что ещё запомнить, что ещё можно сделать? А сколько не сделанного и сделано, наверное, не будет. Дома лишь две живые звёздочки. Прощаюсь с дочками. Когда я говорю Гале, что ухожу очень надолго, бурцевский сотрудник подсказывает: "В командировку", а я из упрямства противоречу: "В тюрьму!" Лицо её возбуждённо алеет. Голова её согласно склоняется, когда я глажу и прошу: "Помогай маме, ей будет трудно, очень прошу тебя". И надо бы обнять её, да не умею, зато Аня сама бросается на шею: "Папочка, не уезжай!" - Чтоб она понимала, эта кроха! – "Ну-ну, Аннушка, надо". И тут "надо".⁵⁴

Уже внизу, усаживая меня в чёрную "Волгу", сотрудник говорит в сердцах: "И как Вам не стыдно, имея детей,

⁵⁴ По просьбе А. А., напоминаю сказанное в очерке «О Вите»: «В 1979 году нам исполнилось по 40 лет. Дети подросли: Тёма перешагнул рубеж совершеннолетия (16 лет), Гале с мая пошёл 12-й год, малышам летом исполнилось по пять» .

заниматься такими делами!" Я немею от обиды и не могу даже ответить, а потом в камере не раз наполнялся горечью, что не смог ответить грубой бранью, а ещё лучше ударом по морде: он меня арестовывает, в натуре отрывает от Аннушки, и он же смеет упрекать меня!!!

Только сейчас я могу представить, что и у этого сотрудника сердце не из камня, и обозлён он был на меня за то, что собственная совесть не была чиста, что не мог справиться со своей жалостью и стыдом за участие в аресте хорошего человека.

В машине я говорю Бурцеву, что теперь разговаривать с ним вообще не буду. Пару минут назад, ещё в квартире перед дверью, вспомнив многозначительное: "По результатам обыска решать будем...", я сделал последнюю попытку остаться дома: "Если Вы и вправду можете решить вопрос со мной без ареста, то хотите, я подпишу обязательство не заниматься самиздатом, о котором Вы говорили мне летом". Бурцев ответил: "Нет, сейчас поздно". (Глеба [Павловского] же на Лубянке гораздо более осторожное обязательство избавило от ареста).

Заводят в милицию. КПЗ где-то рядом с Новокузнецкой улицей. Первый островок Архипелага. Первая запись: фамилия, имя, отчество... Первый надзиратель в чёрном халате с тяжёлым взглядом, первый личный обыск, включая трусы. Отнимаются носовые платки, шариковые ручки, остатки исписанной бумаги из заднего кармана: "Хотели утаить?" Вводят в камеру. Дверь в Архипелаг захлопнулась за мной - я попал в иное измерение, в антимир.

В просторной сумрачной камере (одна лампочка над входом, а, напротив, у потолка небольшое тёмное окошко в мелкой сетке) на деревянном крашеном помосте (основная часть площади) лежали двое, под 30 и под 40 лет, а в проходе беспрерывно сновал третий, юркий старик, по виду за 60. На помосте спокойно улеглось бы человек 10, так что мне пока повезло - автоматически отметил я, вспомнив читанное о переполненных камерах. Ответив на "Здравствуйте!", все трое смотрели на меня с интересом. В своём длинном зимнем пальто

я не выглядел обычным "пассажиром". Ещё больше удивились, услышав мою статью -190-1 - никогда о такой не слыхали. Мои объяснения прервал вызов. Бурцев вернулся из прокуратуры и начал снимать первый допрос с меня, уже не как свидетеля, а как "подозреваемого" (далее будут: "обвиняемый", "подсудимый" и, наконец, "осужденный").

Было 9 или 10 часов вечера. Я молчал. Бурцев нервничал, наверное, он ожидал иного. Вот тут он и сказал неосторожную фразу, которая меня окончательно убедила, что произошедшее со мной необратимо, что возврата к прежней жизни нет. Он сказал так: "Если Вы правильно поведёте себя, то мы можем изменить меру пресечения". Я понял её так: "Будете давать нужные показания и обязательства, отпустим домой с подпиской о невыезде до суда. Суд же будет обязательно при любом варианте". Возможно, он сделал своё предложение в ответ на мою последнюю попытку выйти из-под удара обязательством не заниматься больше самиздатом и невольно проговорился, что суд надо мною он отменить уже не вправе (или не в силах, или не хочет), а значит, три года лагерей по этой статье неизбежны. Так какая разница, когда их начинать: сейчас или после суда? Чем скорее, тем даже лучше. Поэтому и результат следовательского контрпредложения оказался обратным ожидаемому: я совсем замолчал, привыкая к перспективе - на свободу выйду 23 января 83 года. "Ну что же, - заключил Бурцев, последний раз уверившись, что ответов от меня он не дожждётся, - в следующий раз встретимся уже в Бутырской тюрьме".

В камере меня продолжали расспрашивать, кто такие диссиденты. Отвечал я односложно про наш свободный журнал, про свои письма верхам и в газеты. Удовлетворив любопытство, они сами стали выкладывать мне свои оценки современных порядков. Инициативу в разговоре, ставшем потом монологом, прочно захватил 40-летний, видимо, самый авторитетный. Молодой больше молчал, а старик поддакивал и оглядывался. Главная же мудрость, которую мне втолковывал 40-летний (про себя я назвал его "паханом"), заключалась в "безнадёжности

борьбы с ними". "Всё у них крепко сколочено, не прошибёшь. И чем дальше, тем крепче становится. Тем, кто на воле живёт, это не так видно, а нам, как из лагеря выйдешь, так сразу в глаза бросаются перемены: на улице ментов ещё больше стало, на каждом углу стоят, да с рациями, с машинами по вызову, каждое движение у них на учёте. Выйдешь, не успеешь оглянуться - снова у них в лапах, снова в лагере. Что же говорить о таких, как вы, на самую власть руку поднимающих? Раздавят и всё. Вот ты попал сюда в первый раз, а выйдешь, тебе долго гулять не дадут, чуть повод и снова заметут. К семье домой приехал, а прописки не дают, и после двух предупреждений снова в лагерь. Или драка на улице случилась, а ты рядом оказался, так не кого-нибудь, а именно тебя схватят и снова осудят, раз ты уже был судимым. Кто попал сюда хоть раз, с прежней жизнью прощайся - вновь попадёшь сюда же. Они тебе это никогда не забудут". (Таков был смысл его речей).

И я вспомнил знаменитый образ "Исаича": люди безмятежно идут вдоль стены, вдруг в ней открывается незаметная дверца, мохнатая лапа втаскивает зазевавшегося пешехода - навсегда. И снова всё тихо...

Сентенции "пахана" казались мне очень знакомыми, наверное, по самиздатской литературе. Но впервые я слышал эти спокойные и безбоязненные слова от обитателя архипелажского мира, связанные с глубокой неприязнью, скорее, ненавистью к "внешнему миру". Они произвели на меня глубокое впечатление, даже привели к растерянности. Ведь было бы неуместно объяснять "пахану", что я сам совсем не преисполнен ненависти, что мой самиздат и письма - совсем не подполье, не антисоветская борьба, и потому его "советы" как надо "бороться" мне ни к чему. Но как странно, что он выкладывал мне свои наблюдения и выводы доверительно, как своему, хотя я не был ему своим. Неужели из-за статьи 190-1 – "политической" по сегодняшним представлениям?

Потом я не раз попадал в подобное двусмысленное положение, когда ко мне как борцу-антисоветчику обращались уголовники и стукачи, пока не научился не ввязываться в

близкие с ними отношения. А в КПЗ от излишнего сближения меня спасли лишь отвлечения: вызов к следователю, потом сумрачный черный надзиратель снимал с меня отпечатки пальцев (впервые, как крещение, вернее посвящение в чёрное братство). Перед этим была кружка чая с куском чёрного хлеба - первая арестантская еда. Всё впервой, всё интересно – и горечь во рту от этого интереса.

Ближе к ночи старика и меня вызвали "с вещами". У меня из вещей только пальто и шапка, у старика - ещё сумка. Он суетливо объяснял, как мне повезло - сразу в Бутырку повезут.

Недолгим оказалось моё знакомство с КПЗ - несколько часов, вместо дней по обыкновению. КПЗ не успела даже надоесть, хотя в Бутырке, и правда, лучше. Так мне и на воле говорили, да и старик непрерывно вертится - радуется. Он оказался очень разговорчивым, в тюрьму попал, кажется, уже в 10-й раз, теперь за проживание в Москве без прописки (значит, как "чердачник" получит год лагерей), всё о порядках знает и с удовольствием мне объясняет, как будет проходить первая бутырская ночь.

Выводят, спрашивают снова ФИО, присоединяют к нам какую-то девицу, пропитую, омерзительного вида и матерно ругающуюся (бывают же такие!) и из двери в дверь пропускают прямо в воронок (девицу в отдельный боксик). Поехали. Кроме нас двоих в воронке жмётся от холода ещё один, неплохо одетый парень. Со стариком у него пошел сразу какой-то быстрый и невнятный для меня разговор: кто, когда и отчего, общие знакомые - кто и куда... Потом парень достаёт из кармана бутерброды с колбасой и суёт нам: "Бери". Беру, опять же впервые приобщаюсь к тюремному братству: делиться всем, что есть, не держать ничего при себе надолго, ведь неизвестно, что будет с тобой через час. Хорошая традиция, но прошло немного времени, и я стал отказываться от общей "шамовки" - появились на то причины...

Мы ещё куда-то заезжали, и в темноте к нам впихивали всё новых и новых "пассажиров". Я запомнил только парнишку в слишком лёгкой для январских морозов курточке и его

торопливый рассказ, что забрали за драку с милиционером в пьяном состоянии, а потом втихую били в отделении сами "менты" в отместку. В доказательство он закатывал штаны и рукава, обнажая синяки.

Зато сержант перед нашей решёткой - молодой, белозубый и улыбающийся чуваш или мордвин - чувствовал себя в шубе превосходно, непрерывно шутил и веселился. Основной его темой было предположение, как хорошо было бы свести "ребят" с запертой в боксе проституткой, как бы "мы обрадовались", не исключая и моего старика. "Ну что, старикан, небось, и ты соскучился по девочкам, а? Не отказался бы, наверное, да? Да она согласна, согласна, ха-ха-ха..." Ему отвечали тем же. И это удивительное сходство и даже сродство между "пассажирами" и "командиром" в словах и мыслях, когда только решётка и форма разделяют их (т.е. нас), тоже поразило меня своей очевидностью. Но при таком духовном родстве существовало и взаимное презрение: у конвоира - к "преступникам и бандитам", а у "пассажиров" - к "менту-лимитчику". "Лимитчиков", т.е. приехавших в Москву из деревни и провинции и за прописку согласившихся на презренную работу, "пассажиры" глубоко презирали при всём внешнем почтении: "Командир, дай прикурить... Ты, командир, молодец..."

Не больше часа двигался наш тюремный паром по свободной Москве, собирая пассажиров. Наверное, можно было уловить много необычных черт приоткрывшегося загробного мира. Только сил не хватало на осмысление, потому и остались в памяти лишь обрывки.

Наконец, нашу машину через короткую темноту и массивные тюремные двери из лакированного дерева и старинных оков пропустили в первый бутырский коридор, где хозяевами расхаживали уже не милиционеры, а люди в форме МВД (впрочем, уголовники их равно зовут "ментами"), а над головами были развешены благостные лозунги о пользе труда, хорошего поведения и дисциплины (запомнилось: "нельзя жить в обществе и быть свободным от общества").

Оживлённо мы оглядываемся, расстёгиваем свои одёжки, шутим довольные - Господи, что со мной? Чему я радуюсь? Наверное, сейчас начнётся уже известная по литературе процедура приёма и описания, т.е. преобразование свободного человека в обитателя громадного тюремного муравейника. Но нет уныния и чувства одиночества, с такой силой переданного Исаичем. Мы, человек семь приехавших в одном воронке, держимся вместе. А может, действует заочное сравнение Бутырки со страшной Лубянкой. Почему-то литературная репутация Бутырки, как очень приличной, даже весёлой тюрьмы часто вспоминалась мне в первые дни, и я постоянно искал ей подтверждение, уговаривая себя, что мне тут будет хорошо. Первую же ночь я провёл с любопытством польщённого экскурсанта.

Сначала нас помещают в боксы, оставив ботинки снаружи для тщательного шмона. Говорят, с них иногда сдирают даже молнии, сейчас, слава Богу, ограничились только вырыванием металлической полоски из-под стельки. Потом - врачебный осмотр. Раздели до пояса, выстроили в шеренгу, и врач (а может, фельдшер) чуть восточного типа коротко взглянул на нас и ещё короче спросил: "Здоровы? Жалоб нет?" Жалобы были, но их проигнорировали. Потом я понял, что врачи здесь не хотят и не могут не быть грубыми.

Следующим был тщательный шмон в сумках и одежде: раздевались догола перед длинными, обитыми жестью столами, валили на них свою одежду и переходили в другую сторону. Скучающие здоровые мужики в чёрных халатах ощупывали и сминали каждую твою шкурку, прежде чем швырнуть её в наши дрожащие от холода и необычности руки. Иногда они подозрительно кричали: "Эй ты, разинь рот, прячешь там, что ли?"

Потом шло долгое заполнение учётных карточек с описью всей твоей одежды и прочего имущества. Потом - стрижка накоротко под арестантский бобрик и для проформы, той же машинкой снимали волосы под мышками и в паху. Ещё была процедура снятия отпечатков пальцев. Наконец,

фотографирование "Зенитом" в анфас и профиль. Сидишь на вращающемся стуле, перед тобой висит табличка с фамилией и тюремным номером, а поворачивают тебя нажатием кнопки. Интересно... Я видел эти фотографии, - в каких дегенератов превратил каждого из нас тюремный фотоаппарат.

Остаток ночи провели в общей камере "на сборке". Было там примерно 10 железных нар ("шконок") в ряд, а собрали человек 30. Кто мог, вытянулся прямо на железе, другие дремали сидя или доедали домашние припасы, а единицы, вроде меня, шастали в проходе. Чистый вокзал!

Мой старик давно уже пристроился к каким-то знакомым, а я большую часть ночи прошагал от унитаза у двери к первой шконке. Переживал события дня: и уход со службы (кто и как теперь доделает мой отчёт?), и оставшиеся в рабочем столе письма (как я не догадался шепнуть Гале, чтоб мама съездила ко мне на работу, но может сослуживцы догадаются выбросить?), и жалость, что не увидел перед уходом Алёшика (а ведь он крутился где-то у дома, когда меня сажали в "Волгу"), и что думает сейчас Лиля, и краска на лице Гали, и Анины ручонки на шее, и как же теперь пойдёт весенняя работа на даче, и как я буду жить после освобождения - не в Москве, а где-нибудь в Калужской области, под Боровском, в 30-ти км от отцовской дачи на высоком берегу Протвы с изумительным видом на Боровский Пафнутьевский монастырь... В общем, тысячи несвязанных горьких и сладких мыслей грешника в загробном, конечно же, не райском мире.

Часов в 5 двери открылись и всех повели в баню - через внутренний двор тюрьмы, мимо тёмных деревьев в тесном пространстве. Я часто оглядывался, стараясь обнаружить бывшую бутырскую церковь, но ничего не поняв, влился со всеми вместе в предбанный коридор, предвкушая знакомство с описанным Исаичем роскошным заведением с мраморными скамьями, на которых так жёстко сидеть исхудалым эковским ягодицам. Сдав вещи на прожарку (формальную, конечно), получаем по кусочку хозяйственного мыла и вступаем в просторный низкий зал, по всей площади которого с потолка

равномерно сыпет сильным дождиком леечный душ. Полчаса умеренно горячей воды - удовольствие немалое. Да что там - как все же хорошо! В тюрьме хорошо и совсем не страшно, если не думать о будущем. Но поразительным диссонансом к этому блаженству в памяти остался стоящий рядом со мной худенький парнишка, на вид лет 15-ти, младше моего Тёмы. Смотрит испуганно, плечи опущены. И такая жалость полоснула по сердцу - Господи, а этот птенец как сюда попал? Совсем ребёнок среди бывалых мужиков... Неужели такое может случиться и с моими? И как они теперь будут жить - семья политзаключённого? Из-за меня семья политзаключённого...

Стоит рядом со мной мальчишечка, совсем ещё ребёнок, а уже попал в эту блаженную преисподнюю, и душа его уже навек загублена - сформируют её здесь по своему образу и подобию, сделают озлобленным уголовником. И до сих пор щемит сердце от той испуганной фигурки.

Одеваем отсыревшую в прожарке одежду, разбираем ватные матрасы (зелёные или серые мешки со сбившимися в кучу комками), под подписку получаем остальное "хозяйское" имущество - свёртки из одеяла, наволочки, наматрасника, майки, трусов (везде красуется жирный штамп "БТ"), полотенце, эмалированную кружку и грубую силуминиевую отливку - знаменитую кургузую бутырскую ложку. Вот теперь мы стали подследственными заключёнными и нас гурьбой повели на развод по камерам.

Уже 6 часов - это слышно по лёгкой музыке, звучащей у каждой закрытой двери, значит, Бутырка проснулась и демонстрирует новичкам свой весёлый, почти фривольный нрав. Чёрт те что... Сначала идём длинным коридором, мимо общих камер, и наша толпа очень быстро и как-то ловко редет под благожелательными понуканиями толстомордых весёлых конвоиров. Меньшинство добирается до старинного торца тюрьмы, где на трёх галереях двумя крыльями разместились камеры "спец" для "солидных преступников". Меня и ещё какого-то кавказца с большой сумкой и пышными усами (как только их не сбрили?) доводят до тупика левого крыла второго

этажа и распахивают двери камеры 252. Несколько мгновений мы стоим в нерешительности перед паром, которым окутано это тусклое помещение, потом мой напарник решительно шагает внутрь, я за ним. Дверь за нами с шумом захлопывается. Приехали.

Первый день

Стою в ожидании. Глаза привыкают к 60-ваттной лампочке. Длина камеры - 6, ширина - 2 метра, высота - три с лишним. В торце тёмное окно на уровне глаз, забранное решёткой и железными жалюзи, через которое можно разглядеть при желании небо, но только не землю. Створки окна плохо закрываются, и потому в камере холодно. Под окном шконка, вдоль стен ещё две. Между ними металлический стол с деревянной крышкой, вмурованный в кафельный пол. На столе книжки, шахматные фигуры, кусок чёрного хлеба. Остальные продукты в неприкрытом шкафчике - нише рядом с окном, побутырски, "телевизоре". Над правой шконкой в рамке под стеклом "Правила поведения заключённых", утверждённые МВД и прокуратурой. Ближе к двери умывальник под маленьким зеркалом и унитаз, а с левой стороны двухэтажная шконка. У двери слева четыре батарейных секции. Кажется, всё.

Пар клубится от горячей воды в умывальнике "для обогрева", капли висят на когда-то белом, а сейчас грязно-бурым потолке, стекают струйками по маслянистым темно-коричневым стенам - ну и дыра! В ней трое постояльцев: двое сидят у стола, а третий - толстяк с откровенно плутовским взглядом - на нижней левой шконке что-то пишет, не обращая на нас никакого внимания, только ответил на приветствие. Кавказец сразу устраивается на свободной шконке у окна, мне же досталось единственное верхнее место у двери. Молча стою со своим матрасом-мешком, дожидаясь, пока "плут" уберёт свои вещи сверху, располагаю матрац и, сняв ботинки, укрывшись

своим роскошным пальто (никакой холод мне с ним не страшен), ухажу в сон.

Через полтора часа, в 8 часов, меня будит утренняя поверка, когда в тюрьме идёт валом смена надзирателей. Уходящие открывают двери и орут: "Встать! Проверка!", а новый корпусной (старший по этажу) сверяет со своим списком: "Так, пятеро - есть!" и с силой захлопывает дверь. Волна хлопаний катит дальше, а непроснувшиеся эски снова валяются на уже запроваленные шконки. Спать можно всё время, но только поверх одеяла - днём, а под одеялом - ночью, после отбоя в 10 часов.

Заснуть я не успел. В двери открылась форточка кормушки, и торопливые жильцы стали получать дневные дозы хлеба-сахара (450 г чёрного, вторичной выпечки хлеба и около 15 г - три куса быстрорастворимого сахара) и по половнику жидкой утренней каши в миску.

Умывшись, присел к общему столу и я, дожидаясь, когда куском заточенной пластмассы (в ларьке его продают как нож за 10 коп.) порежут одну из выданных паек на всех. Ели все молча и с аппетитом. Вместо чая горячая, как кипяток, вода из-под крана с дневной порцией сахара. Напившись и наевшись до приятной сытости: нормальная каша, хлеб, сладкая вода - чего ещё надо?! - я снова забрался на своё спальное место, но прежде чем сон сморил меня, вслушивался в разговоры своих новых "товарищей по несчастью".

С двумя из них мне пришлось пробыть всего 4 дня, но в памяти они закрепились много прочнее последующих, с которыми прожил гораздо дольше. Алик Пейхасов, с которым я пришел в эту конуру, оказался завскладом и специалистом по шерсти из Грозного. Он отсидел под следствием уже 10 месяцев и ждал, что придётся сидеть ещё немало, потому что был вовлечён в одно из самых знаменитых сегодня и запутанных хозяйственных дел (с участием многих руководителей высшего звена), бессрочную санкцию на расследование которого утвердил сам Президиум Верховного Совета СССР.

Алик был татом или горским евреем по национальности, о чём гордо нам сообщил, и мне было это приятно слышать. Красивый, 38 лет, дома осталось двое детей, выглядит очень молодо. Доброжелательный, открытый и жизнерадостный характер, в общем, это был нормальный и очевидно хороший человек, который воспринял свой арест с юмором, как стихийную беду, спорить с которой бесполезно, но и вины за собой никакой не чувствовал. Его статьёй было, кажется, взяточничество, а на деле - общепринятый у них стиль хозяйствования.

Татской истории и религиозных особенностей он, к моему разочарованию, не знал, и мне приходилось кое в чём просвещать его по истории появления "Авраамовых детей" на Кавказе. Зато он очень живо и хорошо вспоминал своих двух маленьких детей, особенно прощание с младшим мальчишкой. В своё время Алик кончал какой-то "пушной" институт, но до высшего образования ему, конечно, было далеко, а сейчас и не нужно (а когда - нужно?), зато он легко сходил с людьми. За 10 месяцев, отсиженных в основном в "Матросской тишине", он [из общения с лагерниками] хорошо изучил лагерные нравы и с любым лагерником держался не новичком, а заправским "пассажиром". Травил истории про порядки на "Матросской" и слышанные истории, а когда выяснилось, что в камере ещё двое прошли армию, то армейским байкам про ракеты, самоволки и баб не стало конца. И только на прогулке (все четыре дня мы гуляли лишь вдвоём, остальные ленились), он иногда закручинивался и мечтал, что ему дадут не 10, а 8 или даже 7 лет, год он, считай, отсидел, а в лагере интересней, время быстрее пройдёт - вот и дом приблизится...

Вторым из быстро ушедших от нас был Шурик Сеница, на вид шуплый, низкорослый парнишка. Но ему было уже за 25, он успел поработать шофёром в Калуге, по пьянке ограбить продуктовый ларёк, отсидеть 3 года в голодной общей зоне Людинова. Вышел он всего две недели назад и, не доехав до дома, попался снова, теперь в Москве на попытке мошенничества: у какой-то узбечки взял 400 рублей, пообещав

вынести из магазина ковёр. Теперь ему "светит" не меньше 5 лет.

Спрашивал я его: "Не жалеешь?"

- Чего жалеть-то? В следующий раз уж не попадусь.

- Да, не о том я. Сколько ты шофёром получал?

- Ну, за двести (230-270рублей в месяц)

- Это на одного, ведь семьи у тебя нет. Не хватало? Зачем было нужно за чужие деньги хвататься?

- Как чужие? Это же мои?

- Не понимаю. Твои? А не той тётки?

- Да причём тут та баба? Я ведь держал эти деньги в руках, они мои были. ??

Я был обескуражен. Для Шурика просто физически не существовало понятие "чужого", если он мог "это" отобразить. Впервые почувствовал, что здесь не только царствует нечеловеческая этика, но и логика мышления совсем иная и понять её обычному человеку невозможно. Да и по виду Шурик ближе всего подходил к описанному в литературе типу "зэка": согнутые плечи, худоба в лице и теле, глубокие глаза, обшаривающие мир в поисках еды, молчаливость и настороженность и, конечно, сильная, но крепко сдерживаемая злоба на мир. Может, он сидел не три года, а больше. Видно было, что всем существом, всеми потрохами он принадлежит тюремно-лагерному миру. На людей со свободы он смотрел с еле скрываемым презрением. С трудом сдерживаемая ярость делала его неровным и трудным в обращении. То он вдруг проявит непрощеное сочувствие: "Что молчишь, Витёк? Не переживай, три года - не срок..." (наверное, лагерные приличия требовали так утешать новичков), а то вдруг неожиданная вспышка: как я смел сесть рядом с его подушкой?

По ночам он писал сентиментальные и, конечно, безграмотные стихи к невесте, вернее, к возлюбленной. Не знаю, насколько она была реальной. Сначала он писал на обрывках туалетной бумаги, а потом переписывал в школьную тетрадку, прячась от подглядывания волчка и рассчитывая на суде передать "ей" или для "неё". От него остались черновики, и

я познакомился с образцами тюремной лирики. Она вся состояла из описаний будущих встреч, исполнения любовных желаний, обещаний немыслимого счастья, жалобами на жестокость прокуроров и судей ("А говорят, советский суд гуманен: вкатят 10 лет сроку ни за что..."). И вдруг слезливость прерывается грязными угрозами за будущие измены. Кстати, Шурик интересовался, нет ли на примете у меня какой-нибудь проститутки, которая могла бы приезжать к нему в лагерь на будущий срок.

С подчеркнутым уважением Шурик относился только к "плуту", потому что тот успел побывать и в тюрьмах, и в лагерях. Переведя сахар на батарее в "жженку" (после "чифиря" она основной бутырский тонизирующий напиток), он подавал кружку, прежде всего, Валентину, а тот, сделав два традиционных глотка, возвращал её Шурику, после которого она попадала уже к кому-либо из желающих. Лагерная иерархия – по лагерному сроку и опыту просматривалась очень чётко.

Потом я ещё не раз видел молодых ребят, попавших в "антимир" и завязших в нём крепко, безнадежно, но Шурик Синица всё равно остался для меня эталоном человека лагерного типа, той особой человеческой породы, которую описывал в своё время Солженицын. Жива эта порода ещё и сейчас, много их. Мне даже показалось, что отличие их от обычных людей много глубже обычных расовых различий. Зэк - особое существо с совсем иным разумом и этикой, вернее, антиэтикой. И если правда, что люди отличаются от животных разумом и этикой, то уголовник обладает антиэтикой, и потому античеловечен... Сейчас, на свободе, мне стыдно рассказывать об этих мыслях, но так я думал тогда.

С двумя другими сокамерниками: Валентином Егоровым (ст. 143 -мошенничество) и Львом Наумовым (ст.154-спекуляция) я сидел много больше, и потому они мало связались в моей памяти с первыми днями.

В кормушку закричали: "На прогулку!", - и почти сразу же открыли дверь: "Идёте или нет?" Я вскочил: "Конечно, иду, конечно..." (А разве она не обязательна?) - "А ещё?" -

Откликнулся только Алик. Так и повели нас двоих. Я удивлялся: как же можно самим отказываться от прогулки?

Вели по галерее назад, потом по широкой лестнице на последний этаж галереи, а там двумя короткими лестничными маршами в морозный чёрный коридор с открытыми по одной стороне дверями на Божий свет. Дворик 42 оказался тесным, вроде камеры, со стенами из корявого бетона (потом мне объяснили - "под шубу"), но вместо крыши серое зимнее небо за решёткой и частой сеткой. Напротив двери лавочка в одну доску под навесом на случай дождя. Вдоль серых стен в грязном снегу вытоптаны две короткие тропки в пять шажков: туда-сюда, туда-сюда, вот и вся прогулка на целый час. Но мы сразу бодро зашагали по этой грязи взад-вперёд, взад-вперёд. Всё же свежий морозный воздух вместо камерной сырости и дыма от курева, всё же натуральное пасмурное небо над головой, хотя и за сеткой!

Постепенно втягиваемся в ритм разворотов, и Алик смеётся: "У меня на Матросской одна новая ментовка жаловалась другой: "И что они внизу так быстро бегают, мечутся, аж сердце болит глядеть на них. Как звери..." И я тоже веселюсь, а, вспомнив волков в клетке, пытаюсь освоить волчьи повадки с впрыгиванием на стену и разворотом в воздухе. Возбуждёнными и довольными вернулись мы в камеру. Хорошо!

Но на следующий день Алик, простыв на своей шконке под окном, не пошёл на прогулку, а передо мной, уже одевшимся, вдруг захлопнулась дверь: "На прогулку одного не водим". Вот было обидно! Оказалось, что хотя по инструкции о режиме прогулка есть не только неотъемлемое право, но и обязанность заключённого (освободить от прогулки может только врач), однако надзиратели охотно соглашаются не водить на прогулку по причинам "не здоровится", "нет зимней одежды" и т.д., потому что сокращается их работа. Но при этом действует негласная тюремная инструкция: не оставлять в камере одного человека и не водить одного на прогулку ("Случится что с тобой и позвать к тебе будет некому"). Если, например, в камере трое,

то от желания одного будет зависеть, пойдут ли все на прогулку или все останутся в камере. Я был фанатическим приверженцем прогулки, и всё же мне часто приходилось оставаться без этой радости выхода под настоящее небо с белыми облаками в синей глубине или хотя бы под пасмурь и снежные хлопья или капли с прутьев решётки. Не удавалось погладить нежные пятнышки зелёного мха в бетонных складках, или подставить лицо самому солнышку, неожиданно выглянувшему из-за туч - и не по злой воле надзирателей, а оттого, что в камере не находилось человека, желающего разделить эту радость. Право, в этом было что-то неестественное, как в нежелании вернуться к обычной человеческой жизни с солнцем в небе, с дождём в походе.

После прогулки делать нечего, и я снова забрался на свою шконку, прихватив свежую, а потом и все остальные газеты, ещё не разодранные на курево: "Московская правда" или "Московский комсомолец", "Правда" или "Комсомольская правда", "Известия" или "Советская Россия" - их приносили каждый день кроме субботы-воскресенья, зато в понедельник две-три. Самой популярной газетой оказалась "Московская правда", потому что там часто помещались дурацкие кроссворды, и мне потом приходилось хитрить и уговаривать, чтобы заполучить "Правду" или "Советскую Россию"

Не успел я уснуть за газетой, как во втором часу привезли обед: пять мисок жидких щей, заправленных немного каким-то жиром, примерно по полтора половника. В другие дни на обед бывал суп из сечки или гороха, рассольник из перловки. Всё - горячее. С хлебом из второй разрезанной пайки и долькой лука из чьей-то передачи было очень вкусно. Потом минут 10 перерыва за столом в ожидании второго, и баландёр в белой куртке снова открывает нашу кормушку. В очередь получаем в свои миски по половнику каши (как и на завтрак - овёс, перловка, пшено, иногда разваренные в слизь макароны или горох)... Каша съедена, миски складываются у двери, чтобы через полчаса вернуть их баландёру. Остаётся только побаловаться незапланированной кружкой кипятка с сахаром из чьего-то ларька или передачи и хлебом 3-й разрезанной пайки -

и снова отдыхать на шконку. Причём теперь сон мой глубокий и ровный, как на заправском отдыхе, почти до ужина в 7-м часу вечера, т.е. до очередной порции каши. Нет, кажется, в тот день была картошка-пюре с небольшой селёдкой - роскошь даже для свободы и, конечно, опять кипяток вместо чая. Впрочем, чай нам приносили утром и вечером по несколько черпаков в общий чайник, но он был таким холодным и слабым, что почти все предпочитали кипяток из крана. Часто давали ещё одно блюдо взамен каши. Оно было даже обязательным, если в обед не было щей. Это овощное рагу или по-бутырски "солянка": вареная капуста и плохо очищенная свекла с картошкой, заправленные мукой в такое мало аппетитное ёдово, что даже бутырские жители часто отказывались её есть. Однако я свою порцию всегда старался съесть до конца.

Ужин завершил моё знакомство с ежедневным бутырским рационом из расчёта 10 руб. в месяц (если верить словам корпусного). Для такой скудной суммы он был составлен совсем неплохо, даже сытно. И однообразие не тяготило, потому что блюда менялись в течение недели и не приедались. Хлеб даже оставался и шел на чай перед отбоем в 10 часов вечера или закладывался ломтями между секциями батарей на сухари. Если добавить, что каждый из подследственных имел право истратить 10 рублей на продукты в тюремной ларьке и получить из дома одну продуктовую передачу примерно на ту же сумму, то получалось уже 30 рублей в месяц, что для человека с воли, ещё не растратившего свои жировые запасы и здоровье и лишённого аппетита из-за неизбежных в первый арест переживаний, вполне хватало. Но не всегда так было и не во всех камерах, в чём я убедился позже...

Время от ужина до отбоя было самым оживлённым. Никто не спал, всюду гремело радио в весёлой Бутырке (приглушить его очень трудно, лишь с помощью особого мешочка с тряпками в его хайло). Радио гремит весь день, выключают его только на поверку в 8 утра и в 4 часа дня, а иногда на время обеда. Мои товарищи играли то попарно в шахматы или нарды, то вчетвером "в записного" (разновидность домино). Им было

весело от участия кавказца. Для интереса или стимула в игре применяли или приседания (5, 10, 20, 30 раз подряд - по договорённости) или кружки выпитой воды (одна, две, три...). Меня тоже приглашали, но, отказавшись от игры в первый вечер, я так и не притронулся к фишкам все тюремные месяцы, решив, что от скуки я не помру, имея книги и голову для мечтаний, а вот избавиться от конфликтов и ссор на этой почве смогу. И не раскаялся в своём решении. Ссоры из-за игр, действительно, были часто.

В 10 часов вечера выключили радио, а за дверью начался стук: "Укладывайтесь спать. Не знаете что ли, так вас и рас так...", получая в ответ: "Сейчас, сейчас, командир, вот только доиграем чуток".

Теперь я укрыт не только пальто, но и одеялом, и мне совсем тепло, даже хорошо. Вот и прошёл первый тюремный день, день полноценного отдыха, полной отрешённости от всегдашних хлопот и забот, когда ни одни, так другие лезут и налезает друг на друга. Теперь никаких таких забот не будет - и не один, а много дней. Полный отдых. Как будто на полном ходу остановили машину, и она тарацит в изумлении фарами. Закрыты глаза, тепло и мягко лежать в сытости, пропуская через себя трёп сокамерников, курящих на ночь, и вдруг непрошеное чувство подступает к горлу: "А ведь это только первый день, и теперь надолго, может, навсегда я не буду дома... Как же они без меня? И зачем я здесь лежу? Почему?"

И чтобы унять навернувшиеся слёзы, я отворачиваюсь к стенке.

Первая неделя. Камера 252

Первый день прошёл быстро, а в следующий четверг и последний день января я убедился, что целая неделя прошла незаметно. Таким же чередом потом шли и месяцы: уже прошедшие - очень быстро, настоящий же - в томительном

ритме, зато будущий срок казался необозримо длинным и тоскливым. Законы тюремного восприятия.

В среду нас водили в баню, т.е. в душ на нашем же этаже "спеца". Машинкой состригли недельную щетину с лица (как овец, Господи, прости), чуть подравняли голову, дали по кусочку мыла и заперли в коморке с двумя лейками. Здесь можно было регулировать температуру. Распаренные горячей водой и ублажённые чистым бельём: майка, трусы, полотенце, наволочка (собственное бельё можно или сдавать прачкам раз в неделю, или стирать самому в камере, мы предпочитали стирать сами), вернулись домой. Вся процедура на 40 минут, зато удовольствие на весь день.

В ту же среду после обеда меня в первый раз "дёрнули слегка", т.е. вызвали на допрос к следователю. Прогулка вместе с надзирательницей по длинным бутырским коридорам с извечным позвякиванием ключей о любой мелькнувший рядом металл и окриками: "Не оглядывайся, руки держи назад..." - большое развлечение на всю неделю. Я это оценил сразу.

Разговор с Бурцевым всё же состоялся (я чувствовал, что не смогу провести последовательно линию на игнорирование), но шёл очень сдержанно и спокойно. Теперь мне было предъявлено постановление о привлечении уже в качестве обвиняемого и вновь предложено давать показания по делу. "А доказательства наличия клеветы?" - "Будут в своё время". - "Ну, значит, о показаниях говорить нечего".

Логика моя была понятна: раз всё равно осудят, то зачем участвовать в следствии и помогать своему осуждению? Тем более что теперь по положению обвиняемого я и не обязан давать какие-либо показания. Спросил про семью. Ответ Бурцева: "Жена в первый день звонила, спрашивала, где Вы, но встретиться со мной не пожелала. Наверное, всё у них в порядке. Напишите письмо - могу передать".

- Как чувствует себя Валерий? - Физически неплохо. - А как остальные мои коллеги по редакции? - Тоже неплохо. - Где они? - Каждый на своём месте.

И такой вот разговор загадками длился около часа, пока меня не увели в камеру. Первая встреча была как дальняя и пока безопасная разведка. Я уже успел свыкнуться с фактом ареста и неизбежностью отсидки. Но зная, что в будущем все равно раскроется тождество "Сокирко= К. Буржуадемов" (сам об этом говорил Лиле), и мне станут грозить ст. 70 (7 лет строгого режима + 5 лет ссылки), я совсем не был заинтересован в форсировании событий. Ст.70 занимается КГБ, а не прокуратура, и чем больше времени я проведу в Бутырке, чем глубже в моё дело уйдёт Бурцев и меньше останется срок следствия, тем меньше шансов, что моё дело передадут в КГБ, а меня самого в Лефортово. Так что пускай Бурцев не торопится, пусть копает самостоятельно, помогать ему ни в коем случае не следует. Сам же Бурцев сдержан, потому что думает, пока тюрьма мне не надоест, не обрыднет, не стоит и начинать психологическое наступление. Он только осведомился:

- Ну, как пребывание в камере? Нет ли жалоб? - Нет. Никогда я ещё так не отдыхал. - Ничего. Это поначалу так.

Каждый из нас рассчитывал на действие времени в свою пользу, и потому расстались мы спокойно. Обещал, что на неделю. Хорошо.

Важным днём для меня оказался понедельник 28 января: принесли огромную вещевую и продуктовую передачи от Лили. Еле просунули в кормушку. Сокамерники точно мне предсказали: "Жена с передачей придёт в понедельник", и видно, ждали, потому что приняли в получении передач самое деятельное участие (не было только Валентина - его вызвали к следователю). "Да поворачивайся... Клади сюда... Сыпь туда... Продукты в телевизор... Колбасу за окно... Слушай, у тебя тут платков много, я возьму пару, не возражаешь? А я мыло, ладно?" - "Ну конечно, конечно..."

Ошеломлённый вторжением Лили в камеру, щедростью её участия, подавленный благодарностью, я почти не обращал внимания на возню вокруг... да и правильно, они лучше разберутся с продуктами, всё равно ведь в камере всё общее, как же иначе? Сразу представил, что Лиля всё это доставала,

собирала, шила своими руками, и что она думала при этом, может, даже ревела. Увидев чистую, в одном месте зашитую телогрейку с вшитыми внутренними карманами, я едва удержался от слёз: кто-то из знающих лагерные порядки посоветовал ей эти удобные карманы, и вот уже снабдила меня ими в дальний путь. Здесь было всё необходимое: тренировочный костюм, комнатные тапочки, летние туфли - в зимних ботинках всё время тяжело, много лишнего на всякий случай.

Ещё не улеглась суета от передачи, как кормушка вновь открылась: "Кто на П? – Пейсахов?.. На С – Сеница?.. - С вещами!"

Вот это да! Посреди дня, да ещё двоих сразу! Но им некогда думать, почему, срочно собираются, не скрывая сожаления, что уходят от только что полученной передачи. - "Конечно, ребята, берите с собой - яблоки, сахар, колбасу... И счастливо..."

А через полчаса после их ухода возвращается весёлый Валентин. Деланно удивляется опустевшей камере, но на объяснения Лёвы реагирует неожиданно спокойно: "Ну и чёрт с ними. Мне они оба уже надоели. Особенно чёрнозадый. Да и Шурик, всё из себя лагерника строит..." Легко так говорит... Только позже я стал связывать события: не он ли устроил, чтобы два неприятных ему человека были "выдернуты из хаты"? Так, с понедельника мы остались в камере втроём: мошенник (наверное, стукач) «Валентин», спекулянт-музыкант – Лев, и диссидент. Остались на два долгих месяца разбираться в своих и чужих взаимоотношениях

Выдержки из дневника Лили

Примечание: в квадратных скобках записи 2006 г. и позже: фамилии, какие знаю, и необходимые разъяснения. – Л. Т.

25 января 1980 г. Сегодня начала для тебя и для себя дневник. Какой он будет длины: в 3 или 7 лет? А вдруг тебя выпустят? Я обещаю не лениться и писать каждый день хоть немножко. Решила так вчера, когда почувствовала, что дни мои могут раствориться в суете. Я ведь взяла на четверг свободный день править сценарий диафильма и сводить детей в театр. Оказалось, что править теперь не надо. Читать чудом уцелевшие журналы нет мочи. Занялась шитьём - раскроила наконец-то аноракку себе из синего парашютного шёлка. Но было плохо от заикленных коротких мыслей, и тогда я "придумала" дневник.

Сегодня пятница. Я бодрым шагом вошла в комнату, легко и весело отвечала на частые телефонные звонки. Оля (она ещё болеет) даже спросила: "Чего ты такая весёлая?" Отослала тебе дозволенные месячные деньги (с мелочью, чтоб быстрее дошли), передала залежавшееся в архив, провела расчёты с деньгами и людьми и даже написала формулу [формулу изобретения - я работала в Институте патентной экспертизы. - Л. Т.⁵⁵] и приблизилась к ссылке [для отказа] по другой заявке [на изобретение].

А утро началось со звонка Глеба [Павловского]. В 6.30 я с трудом разодрала глаза, потому что уснули мы с Соней [Сорокиной] далеко за полночь, и просыпалась, и сколько-то долго не спала... Мы с Глебом поехали к Саше Л. [Лавуту], чтоб

⁵⁵ В дальнейшем пометка для более поздних вставок – «Л. Т.» - опускается.

забрать вещи и еду, что я купила вчера для тебя, ещё колбасу, потом помчались на рынок, а Соня сразу поехала занимать очередь к окошку для передач, но только перемерзла. Сегодня оказался санитарный день. В понедельник я поеду раненько, хотя ещё не на все 100% я уверена, что ты в Бутырке, потому что Бурцев сказал "наверное". Он пригласил меня на сегодня к себе на 11 часов, но я не пошла. Ни Глеб, ни Саша не советовали, да и не хотелось.

День твоего ареста (23-го) у меня на работе был тяжёлым. Пришла к 12-и и до начала обыска [Галя сказала, когда тебя привезли] записала два уже готовых (в голове) решения, а потом - "все не пошло". Гнетущее настроение. Где-то в конце твоего обыска я поругалась с Арой [сотрудницей] из-за Сахарова (она сказала: "Так ему и надо!"). А в восьмом часу Л. В.[сотрудница] меня отпустила с дежурства, и я поехала к Асе [Великановой - младшей сестре Тани Великановой]. У неё как раз начался приступ. В хлопотах по уходу за ней прошёл вечер, домой пришла в половине двенадцатого. Дверь открыл Тёма, и прямо на пороге я узнала, что ушёл ты надолго.

Утро 26 января. Меньше чем на 2-х страницах уместилось описание первых двух дней, и я почти ничего не могу добавить сейчас. Чудно... А ведь началась новая, без тебя, жизнь. Хотя вот что - я не пошла утром к Бурцеву, т.к. писала твою биографию. Всё равно не успела. Дописала ее и переписала твоё обращение к друзьям только вечером, после ухода Жени, Лены и Марины, так что не отдала им. Да, ничего. Дела твои, в действительности, их интересуют мало. Женя, конечно, другое дело, и я ему была рада больше...

Слушаю «вражеское» радио: "Поскольку Сахаров говорит то же самое, что и президент Картер, нам представляется, что

его наказывают вместо президента Картера". Глава ООН сказал, что высылка Сахарова - оскорбление нашего интеллекта.

Серёжа уверял по телефону, что помнит про долг тебе-мне. Но у меня сейчас есть деньги. Я даже, как ни отказывалась, получила фондовские [из Фонда помощи преследуемым и их семьям] и на них делала покупки. Ты будешь, наверное, огорчён, увидев новые вещи.

Вот сейчас по радио назвали вас с Юрой Гриммом поборниками защиты прав человека. Кто-то заверил, что больше никаких мер против Сахарова принимать не будут, учитывая его заслуги перед страной.

Нам предстоит поездка к деду [Витиному отцу Владимиру Климентьевичу Сокирко] Недопустимо, чтобы ему сообщил о тебе кто-то другой.

Ещё я попросила распечатать твоё "Прошение" об Афганистане, чтобы иметь возможность показывать твоё последнее и, по-видимому, решающее для ареста письмо. А ведь его я сама отправляла, значит, я и есть непосредственный виновник! Вот как обернулось. Отмечаю это с грустью, но без раскаяния. Вообще, ни в чём не раскаиваюсь.

27 января. Вчера утром мы ездили к деду. Я сказала, что тебя забрали и следователь обещает выслать тебя из Москвы на время Олимпиады. "Я же говорил, - сказал он горько, - губит и себя, и детей". Всё же не было для него моё сообщение ошарашивающим ударом. Взяли капусту и прочие гостинцы и довольно скоро уехали.

Оказывается, в тот злополучный день Алёша довёл Т. П. [Тамара Петровна – вторая жена деда] до слёз - он стал следить, что она делает и всему мешать. Чудовищно! Как я за него боюсь! Как нужен ему отец! Но из лагеря ты будешь ему писать письма, а этот год уж как-нибудь.

Сейчас наказала Анюту (сидит в углу нашей комнаты и вопит). Вчера она вела себя у деда так противно и громко, сегодня начала то же самое. И про что она только не вопит...

Вернулись мы домой чуть раньше прихода Славы К. [Коренкова]. Дала ему прочитать твоё "На случай ареста", но видимой реакции не получила. Потом пришёл Лёша Б. [Блехер], его реакция была иной. Когда я пожаловалась на страх, что не смогу на показах диафильмов "разговоры вести", он сказал: "А Вы приглашайте меня каждый раз, когда будете показывать». Ему тоже духовное общение важнее застольного трёпа. Следующей в цепочке гостей была Таня З., она села за штопку детских вещей. Потом Наташа Ш.[Шеремет] - ей досталась готовка к столу. Потом Саша Э. [Эпштейн], с Аней и дочкой Машей. Саша даже предложил сколько-то денег. Но деньги вчера привозили и от Фонда. Я отказываюсь от тех и других со словами: "Витя не велел", но от Фонда всё же взяла. А потом начали собираться гости на диафильм [был привычный еженедельный показ наших диафильмов; поднятые в диафильме темы было принято обсуждать за чаем; на этот вечер была запланирована «Сибирь»⁵⁶ с её переплетением культур]. Показ начали в 18.30. Много пришло людей. За чаем (к моим двум пирогам наташили 4 торта и забили холодильник остальным) Лёша для начала задал мне вопрос, на который я со страху ответила, а дальше повёл разговор сам, но разговор то и дело перескакивал на тебя. Потом Юра К [Коновалов], сказал про тебя хороший тост, и мы выпили чай за твоё скорейшее возвращение, и чтоб я опять переместилась на кухню. Как хорошо бывало, когда ты сидел за столом! Юра вызвался сам помочь в выполнении самого важного пункта твоего "Завещания". Я воспрянула.

Хорошо говорил Глеб. Он звонил Бурцеву, что тебя нельзя засуживать, что ты лояльный гражданин. Высказал ему предложение "на поруки". Вопрос ко мне, как я отношусь к этому, остался без определённого ответа. Зоя [Коновалова] предложила жёнам, оставшимся и сочувствующим, собираться у нас раз в месяц. Я не ответила окончательно. Во-первых, мне не кажется, что это всем нужно. А во-вторых, не очень-то мне

⁵⁶ <http://sokirko.info/region.html>

хочется вступать в круг деятельных людей. Хочется быть на отшибе. Но, с другой стороны, они так искренне мне помогают. Я получила невероятную сумму от Фонда на детей и на первую тебе помощь. Из моих попыток отказаться ничего не вышло. Может, всё же наши четверо детей позволят мне удержаться на собственной позиции. Ведь у меня есть дело, нужное дело - показ диафильмов. Я благодарю за все многочисленные предложения помощи по хозяйству и отказываюсь, зато навязываю им работу по твоему «наследству».

Не ходила я ни вчера, ни сегодня на лыжах, хотя и солнце. Тебе его достаётся совсем мало, а я вот могу, да не питаюсь им. Всё утро с бесконечными перерывами пишу. Правда, совсем с утра убирала. Теперь, когда ты не моешь и не перетираешь посуду, у меня не хватило сил убрать всё самой. К тому же нужно было перетасовывать бесконечное количество фруктов и всякой снеди. Сейчас лежит замоченное бельё. Жду Аркашу [Шапиро], обещал прийти... Конечно, можно было бы пойти на лыжах, но не хочется без тебя, стыдно. Это как печенье с маслом или вареники с мёдом... Пишется и пишется, а стирка ждёт. И ещё нужно окончательно укомплектовать передачу, перевесить (как?) и переписать [взвесить и сделать опись]. К тому же могут приходить гости, а это тоже время.

Пронёсся слух, будто Валера [Абрамкин] не больше не меньше как в Вене [!!] дал интервью. Зин. Ал. [Миркина – жена Г.С. Померанца] рассказывала о тебе Ларисе Миллер и плакала. Арина [Жолковская-Гинзбург] по телефону[в Париж] говорила о тебе Алику [Александру Гинзбургу, составителю «Белой книги»] Напросилась на четверг к С.В. [Каллистратовой], но не доехала до нее. Саша Л. прямо в четверг подошёл к театру, и пока дети смотрели спектакль, мы у него все мои дела обсудили. Он дозвонился Кате Абрамкиной, взял у неё список вещей, еды и все прочие справки. Он же посоветовал ещё раз позвонить Бурцеву, чтобы попытаться, где ты.

А Володя с Леной не пришли смотреть « Сибирь» (хотя ещё в среду собирались, теперь нашлись причины. Но это ожидаемый отказ. Кто из неожиданных?

30 января. В воскресенье ко мне порознь приходили Витя В. [Волконский], Аркаша [Шапиро] и Вера [Свечинская]. Витя смотрел на меня такими грустными

глазами, что я не выдержала: "Да не смотри ты на меня так, ведь не умер же он". Хорошо посидели, так уважительно со мной говорили. Конечно, обещают быть полезными. Особенную надежду я возлагаю на Аркашу, самый сейчас нужный человек. Верочка пришла грустная. Впервые про что-то поговорили.

Была Рина. Очень долго говорила с Тёмкой об оккультных науках. А я собирала и переписывала твои вещи. Потом они вдвоём с помощью рычага взвешивали еду. Наутро оказалось, что моя передача весит меньше дозволенного. К тому же оказалось, что лука с чесноком нельзя больше полкило, зато яблок можно до двух килограмм. Отдав одной женщине в очереди почти весь лук, я не смогла передать ровно 5 кг. Кто-то подбросил немного сухарей и сушек, дали батон, но и этого оказалось мало. Но самое обидное, что после того, как передачу приняли, я обнаружила в своей сумке два больших яблока на завтрак мне и Соне. Напрочь о них забыла...

Это было утром, а накануне вечером я очень обрадовалась Соне [Сорокиной], что не одной мне завтра идти. На вопрос Глеба, как с передачей, я ответила, чтоб не беспокоился, прекрасно донесу. Но оказалось, что Глеб занял в 7 часов очередь, в 8 его сменила Соня (кто? АА), а я приехала в 8.45 к открытию. Стояли мы первые, бланки получили в 9. Около 10 их сдали, а без 10 минут 11 я уже освободилась от обеих передач. Совет Кати - идти с железными нервами, не понадобился, потому что служащие обращались с нами, как и все в сфере обслуживания, грубили не больше обычного и даже одну луковицу взяли сверх нормы. Правда, я подозреваю, что отрезанный кусок колбасы приёмщица возьмёт себе, потому что

вместо 950 г она записала 850. Но тебе луковица лучше колбасы. А вообще-то, я не буду так рано ходить.

Глеб занимал очередь на улице, перемерз и второй день болеет. Вечером в понедельник у нас никого не было. Тёма отметил первый тихий, безлюдный вечер. Я гладила простыни и пододеяльники с отвращением, получалось плохо, твоя ведь работа..

На службе, похоже, уже знают, но деликатно молчат. Люда К. [Комарова] приходила с соболезнованиями, плакала. Ей звонят твои однокурсники. Саша О. [Оболонский] написал очень хорошее про тебя письмо Руденко⁵⁷ с просьбой приобщить к делу. Ещё не послал, ждёт, когда будет предъявлено обвинение. Я его всем показываю, чуть хвастаясь, но боюсь, что Саше не миновать неприятностей. В.Н.. [Оболонский – Сашин отец] делает твои фото. Оказалось, что их почти совсем нет, не с чего.

Потом был вторник. Начался он с гимнастики, но ушла я до окончания. Это обеспокоило Алёну [Армандт], она позвонила и при этом сообщила, что собирается придти 10-го смотреть "Крым".

Выбегала с работы дважды: Серёжа [Белановский] отдал деньги (заодно забежала к Тёмке в школу) и к Лёше [Блехеюу] Он думает, что интерес к твоим работам будет возрастать, просил их... Домой я пришла после Наташи, она гладила бельё. Потом обрезАли [ротапринт, на котором иногда удавалось тиражировать самиздат, использовал для печати рулоны бумаги] «Читателя» [Витину книгу "Советский читатель вырабатывает мировоззрение" ⁵⁸]. Сегодня мне привезут "Не по лжи" [Витей собранные отзывы на статью Солженицына "Жить не по лжи?!» ⁵⁹, и можно будет собирать - выбирать. Что получится из этой затеи? За обрезкой хорошо поговорили.

⁵⁷ См. выше: раздел 1.2.1.

⁵⁸ См.: <http://sokirko.info/ideology/samosoznanie/index.html>

⁵⁹ См.: <http://sokirko.info/ideology/gnl/index.html>

Утром была у Саши Б. [Борисова], отдала твою биографию, показала письмо Саши О. [Оболонского]. От него бежала на встречу с Витей В.[Волконским], потом к М.Я. [Гефтеру], и вот уже скоро 6, а я почти ничего не сделала на работе.

Дети не стали больше заниматься хозяйством. Малыши продолжают быть капризными, но такими "ласковыми", как отметила Лена. Аня сообщает про папу, что он уехал в командировку и вернётся, когда они пойдут в школу. Аня много про тебя говорит и спрашивает.

Люся К. [Колодяжная] помогла мне со сценарием "Мангышлак" [название дифильма] за два дня (во скорость!), она же "достала" Тёмке учительницу английского, и теперь он будет два раза в неделю потеть над английским.

Закончу. Приступлю к работе. Здесь очередные утяжеления: третье решение [отказное решение на одну и ту же заявку на изобретение] должно предваряться экспертным совещанием, а четвёртое идти за подписью замдиректора.

31 января. Вчера вечером был Женья [Полищук]. Привез, что я просила, и ещё - Тёме билеты на Булгаковские чтения и массу продуктов: импортную курицу (вот что есть будем, чудно!), яйца, масло, яблоки и т.д. Объяснила ему, что как человек обеспеченный, больше продукты не принимаю. Женья сейчас рецензирует книгу по интерпретации "Книги бытия".

2.2. События февраля-марта

Жалоба на следователя

Следующий мой вызов к Бурцеву состоялся не через одну, а через три недели. Посчитав, что времени мне на "обдумывание" было предоставлено достаточно, разговаривал он со мной напористо и жёстко. Узнав, что от показаний я снова отказываюсь, он раздражённо заявил, чтобы я не обольщался, на деле мои деяния полностью подходят под 70-ю статью, и если я вовремя не одумаюсь, то ему придётся передать моё дело в

"Комитет". Потом пошёл не разговор, а перебранка. Бурцев толковал, как мне будет плохо, а я уточнял, что может быть хуже. Потом он упомянул, что семье будет плохо, а я уточнял: "Жену уволят? За детей примутся?" "Да, - подхватил он, - кажется Крыленко (знаменитый прокурор республики, соратник Ленина) требовал судить 12-летних..." Угу, - соглашался я, - зато, когда пришли за ним самим, чтобы вести на расстрел, то бесстрашный прокурор забился под нары и визжал от страха - так рассказывают".

Сказал, что показания на себя давать не буду, а по какой статье меня будут судить, уже предreshено, вне зависимости от моего нынешнего поведения. Так что, работайте сами. На вопрос, что передать жене, написал записку, что чувствую себя хорошо, прошу их быть бодрыми, весёлыми и экономными, благодарю за передачи, но в дальнейшем, чтоб на меня не тратились, не приносили дорогих продуктов и не слали денег, кроме одного раза на тетради и конверты. Им деньги нужнее.

Совершенно неожиданно вызов к следователю повторился на следующий день (может, у Бурцева просто было лишнее время?). Снова задавал вопросы, теперь об участии в самиздате жены, снова получил отказ и с досадой отмахнулся: "Хоть о жене говорите, даже не подписывая, если желаете ей добра". Потом записал с моих слов, что жена никакого участия в моих самиздатских делах не принимала, я это запрещал, и сам же подписал протокол. Очень удобно.

Двойной вызов был случайностью, но он снова настроил меня на частые вызовы. Надо сказать, что последующее их отсутствие меня сильно мучило. Парадоксальным образом, но именно Бурцев теперь стал единственной связью - окошком со всем прежним и дорогим мне миром, с семьёй, с друзьями. И потому не радоваться встрече с ним было просто невозможно.

Конечно, именно Бурцев засадил меня, т.е. изолировал от этого мира, значит, от самого себя (если верить утверждению Маркса, что человек есть совокупность общественных отношений), но и он же теперь удовлетворял потихоньку мой информационный голод. Я был подобен человеку в пустыне,

которого лишили воды, а потом изредка (исключительно по своей "доброй" воле) стали давать по глотку воды. Первая злость за "ссылку в пустыню" будет чем дальше, тем больше перебиваться благодарностью за редкие и доброхотные "водяные порции". И надо или принципиально отказаться от выслушивания информации следователя, обречь себя добровольно на информационный голод ради сохранения своей злости, или примириться с тем, что неприязнь в процессе такого общения будет совершенно естественно заменяться доброжелательностью, приручением. Думаю, в этом и состоит простой секрет часто хороших отношений между следователем и обвиняемым.

Вызвали меня только через 7 недель, в середине апреля и из другой камеры, когда я практически уже перестал чего-либо ждать, медленно, но верно переходя в иное, эзковское существо. Не думаю, что Бурцев точно рассчитал дозу этого сильнодействующего на меня средства, скорее, он действовал по интуиции и ещё "по обиде" за отправленную в феврале жалобу на него. А дело было так.

Сразу после допросов я сильно загрустил, такой реальной показалась угроза перевода меня в Лефортово. Убедила не сама угроза, а неизбежность раскрытия псевдонима [К. Буржуадемов]. Ничего не стоит выделить моё личное дело из "Поисков" если захотеть.⁶⁰

Надо было считаться и с тем, что меня арестовали вслед за Валерой именно как человека мягкого (могу предположить) и потому способного, по их мнению, поддаться на давление и

⁶⁰ А. А.: «Выходит, В. С. был арестован по «коллективному» делу «Поисков», а судили его уже по «индивидуальному» делу? Л. Т.: «Да. И выделено было его «индивидуальное» дело из «коллективного» только в августе 1980. А до этого держали в напряжении, какую статью ему «пришьют» - 190-1 или 70-ю. Если последнюю, тогда перевод в Лефортово (тюрьма КГБ) и значительно более суровое наказание».

измену. Повозиться со мной Бурцев повозится, а потом, признав неудачу, плюнет и в самом деле спихнёт "Комитету", раз основания есть. "Грехов" на мне больше, чем у кого-либо, если считать ещё с "Антигелбрейта" ⁶¹, напечатанного на Западе в 1974 г., а злости у следователя за неисполненные надежды ещё больше... 12 лет вместо 3-х - такая глупость! Что же делать? Просто идти навстречу следователю очень опасно. Вслед за показаниями на себя, в том числе и о псевдониме, и обязательства в будущем не заниматься самиздатом (на что я уже решил пойти), следователь потребует показаний на других и публичного раскаяния в клевете и будет требовать тем яростней, чем легче получит первые уступки и чем больше будет у него уверенность, что они получены им в результате его давления.

Конечно, Бурцев может обещать мне что угодно на следствии, но потом суд на основании моих же показаний осудит и меня, и Валеру на полную катушку - ведь это же суд. Причём тут обещания следователя? Нет, нельзя идти у него на поводу!

Но и ждать пассивно, когда тебя перевезут в Лефортово, несмотря на готовность к компромиссу, тоже не годится. Отсюда и решение - надо как можно раньше известить начальство Бурцева и, особенно КГБ, как настоящих хозяев этого дела, о том, что я сам, без давления Бурцева, готов к лояльному поведению, но только на моих неизменных условиях. ⁶²

⁶¹ <http://sokirko.info/ideology/gnl/index.html>

⁶² А. А.: «Насколько понимаю, этими «неизменными условиями» было: не показывать на других и не соглашаться с обвинением в клевете. Так?». Л. Т.: «Да, это так. И оба принципиальных условия Витя выдержал на протяжении всего следствия и суда. Но в рамках этой общей линии поведения были и вариации. Начинал (в допросах еще до ареста) с того, что - вообще никаких показаний не даст, пока нет доказательств «заведомой лжи», т. е. клеветы. Сразу после ареста, в машине Бурцева, сообщил тому о готовности отказаться от участия в самиздате, в обмен на свободу.

Такая информация заставит их требовать от Бурцева работы со мной и отказаться от перевода на ст.70. Вместо выдавливания из меня уступок должен быть торг за приемлемые условия суда и наказания.

Написал жалобу на действия следователя Бурцева (жаловаться я имею полное право) Прокурору Москвы и копию Московскому УКГБ.⁶³ Кстати, направить копию в УКГБ меня надоумил рассказ Бурцева о том, что Глеб дал в Комитете какие-то обязательства не заниматься больше "деятельностью" и потому решено пока оставить его на свободе ("там видно будет"). Правда, Бурцев выразил уверенность, что Глеб скоро станет давать показания ("куда же он денется?"), но этому я не верил. А вот к сообщению, что Глебу "даровали свободу" в обмен на отказ от "деятельности", был очень внимателен. Ведь если Бурцев заинтересован лишь в оформлении на срок, то ГБ заинтересована, чтобы было меньше шума за рубежом, обойтись без сроков, если можно. Тоже парадокс, но именно через заинтересованность ГБ в "тишине и полюбобности" проявлялось защитное влияние мирового общественного

После предъявления «отзывов специалистов» - каких-никаких «доказательств» (см. Приложение 1 к части 2), согласился на дачу показаний, но только на себя: «Я – К. Буржуадемов, соредатор «Поисков», издатель «ЗЭСов»...». В дневнике эта эволюция сама собой всплывает в нужное время».

⁶³ В жалобе Витя указывал на невыполнение следователем обещания изменить меру пресечения в случае дачи подследственным показаний (только на себя). Жалоба была передано Бурцеву на очередном допросе, кажется, 19 июня, как мотивировка причин отказа давать дальнейшие показания.(!). Реакция Бурцева была спокойной: ему, мол, и самому проще – не вести все эти утомительные опознания изъятых бумаг, а доказательства вины и так вполне достаточно. Похоже следователь и сам был бы не прочь отпустить Витю до суда домой, однако на практике решение об изменении меры пресечения в сторону ее смягчения принимается крайне редко и зависит не только от следователя..

мнения. Обращаясь со своей жалобой в КГБ, я тем самым пытался прибегнуть к защите Запада.

Бумага и "шарик" есть, конверты тоже - дело сделано! Но к следователю меня больше не вызывали и проблема будущего срока – 3 года или 12 - стала тускнеть и уступать камерным темам и переживаниям.

Сокамерники

Моими бессменными сокамерниками были музыкант Лёва и мошенник "Валет". Оба среднего роста (но первый - худой, второй - толстый), обоим под 35. Они появились в камере за две недели до меня и держались старожилками.

Лев Александрович Наумов - профессиональный музыкант, учился сначала в техникуме, потом много лет работал в ресторанных и иных оркестрах Сибири и Дальнего Востока, успешно закончил Владивостокскую консерваторию. Слушая его рассказы, легко было понять, что характер у него хваткий и неунывающий. В жизни он всего добивался своими руками и проворством. Бывали, конечно, неудачи, но он преодолевал все трудности. Так, неудачной была его первая женитьба на сослуживице по филармонии. Потом (бывшая? АА) жена в отместку навела на его след райвоенкомат, от которого он успешно скрывался годами в непрерывных гастролях. Однако, попав всё же во флот, он недолго мучился муштрой, определился во флотский оркестр и безбедно провёл три года в таких же самых гастролях, но в форме. Года два назад, женившись по любви во Владивостоке, перевёлся в Москву (отработал год комендантом общежития по лимиту), прописался, прописал жену в отдельной квартире, купил машину, музыкальную аппаратуру, имел хорошую и денежную ресторанный работу и мечтал об устройстве дискотеки, музыкальных программ, но помешал арест, неожиданный для него и случайный. Но уже было видно, что и этот страшный удар Лёва перенесёт, опираясь на свои способности: он уже

расспрашивал о возможности остаться в обслуге тюрьмы, если есть здесь оркестр.

По Лёвиным объяснениям, он сгорел на "помощи друзьям". На какой-то дальневосточной базе он достал себе студийный комплект звукозаписывающей аппаратуры (частным лицам тот не продавался), и всё было бы хорошо. Потом по просьбе московских друзей достал ещё несколько таких комплектов, но при оформлении их перевозки багажом привлёк внимание транспортной прокуратуры, которая и начала "копать". Быстро добравшись до директора базы и напугав его (видно, этот эпизод был не единственным прегрешением), прокуратура добилась покаянного заявления в органы [госбезопасности], в котором тот написал, что, осознав преступность действий представителя крупной московской шайки спекулянтов Л.А. Наумова, как патриот, готов помочь в раскрытии их преступлений. Через несколько месяцев Лёву взяли прямо в его автомобиле, потом взяли, кажется, двоих его друзей и, наконец, привезли с Дальнего Востока на очную ставку самого директора базы и тут же арестовали - не помогло "сотрудничество" и вынужденный донос.

Лёвин случай нельзя рассматривать как спекуляцию, и не потому, что Лёва отрицал свою выгоду, утверждая: за сколько купил на Дальнем Востоке, за столько уступил друзьям, (наверное, в этом он привирал, но я не вижу никакого преступления в спекулянтских добавках к цене "за услуги"), а потому, что аппаратура не предназначалась для свободной торговли, значит, директор базы злоупотреблял служебным положением.

Я Лёву почти оправдывал (почему, собственно, государство установило этот дурацкий запрет на приобретение аппаратуры?). Неожиданный арест остановил его полнокровную жизнь и самостоятельную работу на полном ходу, дома осталась молодая неработающая жена с двухлетней дочкой и без денег. Ему было хуже, чем мне: и неожиданности от ареста больше ("делал как все и вот..."), и домашним труднее, и срок ему грозил больше трёх лет. В камере он старался держать себя в

форме: делал зарядку, занимался английским языком и разбором шахматных партий (как бывший перворазрядник), комментировал для меня музыкальные передачи, особенно зарубежной эстрады. И думаю, я бы сохранил о нём только добрую память, если бы не его подвострастие перед Валентином.

Внешне Валентин Иванович Егоров был иным: толстый, ленивый и насмешливый, очень любил поесть и поспать. Он тоже кончил в своё время какой-то техникум, по специальности почти не работал, после армии пошёл в торговлю, где больше платят (только раз сожалеючи упомянул, что предлагали ему после армии стать офицером в системе МВД - сейчас бы не сидел в камере). Выбился он в мясники, и, думаю, как раз большие и лёгкие деньги испортили его окончательно. Привыкнув тратить их много в ресторанах и гульбе, он приобрёл огромные потребности при угасании способности к нормальному труду (а может, их у него с детства не было). Привыкнув получать деньги за счёт обмана покупателей - живых и конкретных людей, он потерял остатки полученной в семье нравственности, а люди стали для него в своей массе быдлом, годным лишь для обмана. Естественно, что в поисках ещё больших денег Валентин перешёл от торговли к чистому мошенничеству: специализируясь на обмене иностранной валюты на советские рубли - вместо пачки с купюрами подсовывая "куклу". За немногие годы он попался уже четвёртый раз, успел побывать и в архангельском лагере, и в ленинградских "Крестах", и на "химии" в Вологодской области, и в калужской зоне. Везде безбедно устраивался: сначала поваром, а потом, завязав связи и знакомства, каким-нибудь зав. складом, на худой конец бригадиром, а на хороший - нарядчиком (было с ним такое в последний раз). При освобождении получил отличную характеристику ("хоть сразу в партию вступай").

Валентин для Лёвы был авторитетом, источником лагерных сведений и поучений и пользовался этим. Лёва хоть иногда и пытался вести себя независимо, но откровенно

заискивал перед Вальком (по блатному "Валетом"), спрашивая совета после каждого своего вызова к следователю, при каждом повороте своих гаданий о том, "сколько дадут". Это было неприятно.

Я же чувствовал на себе постоянный внимательно изучающий взгляд, а потом и стремление спровоцировать ссору. Прежде всего, из-за прогулок. Как только мы остались втроём, оказалось, что из-за меня на прогулку приходится идти всем, либо лишался прогулки я. Это казалось несправедливым, но отказаться от прогулок я не мог, потому предложил: "Давайте ходить, или я буду добиваться от начальства, чтобы меня выпускали одного". Валентин предпочёл выходить и вынуждать к этому Лёву. Наверное, Лёва не любил прогулки, потому что просто мёрз в своей курточке и тесных меховых сапожках. Но взять у меня тёплые вещи отказывался. Совсем по-иному поступал Валентин: он ходил в моих рубашке, телогрейке, ботинках и перчатках. Только шапка на нём была не моя, но тоже чужая. Казалось бы, чего человеку надо?

Однако каждое утро начиналось с нервотрёпки. Валентин сообщал, что стало ещё холоднее или, наоборот, пасмурнее, и потому, конечно, на прогулку сегодня не пойдём. Лёва, как большой любитель утреннего сна, охотно с ним соглашался и ещё глубже зарывался в свою куртку, а я...только молчал, зная, что тема будет ещё развиваться не один раз, пока в дверь не застучат: "На прогулку". Валентин кинется одеваться, поторапливая матом Лёву: "Давай, давай, разоспался пижон, а то в боксик одного запрут!"⁶⁴

А на прогулках бывало так хорошо! Солнце прибавляло в своей силе каждый день – ведь уже шла весна света. Это было видно даже в камере, в окно которой по утрам солнышко

⁶⁴ А. А.: «Похоже «Валет» все же опасался неприятностей под угрозой Виктора добиваться одиночных прогулок. Ведь отказ от прогулок был все же неписаной нормой, а формально – раз надлежит гулять – гуляй!». Л. Т.: «Похоже, что так».

заглядывало, а на прогулке, в сочетании со свежим морозным воздухом, оно действовало особенно возбуждающе. И я быстро забывал все неприятности до следующего утра. Иногда же Валентин в последний момент решал не выходить и орал в дверь: "Не пойдём!" Обрадованный вертухай захлопывал камеру и оставлял меня злобствовать в ней на весь день. Я клялся, что начну добиваться одиночного выхода, а Валентин делал удивлённые глаза: "Ты ж не возражал". Этому толстому паразиту просто нравилось играть на моих нервах... А может, он это делал и по заданию?

Поняв, что из газет я очень ценю "Правду", особенно по понедельникам, когда выдают три её номера – за субботу, воскресенье и понедельник, он громогласно обсуждал с Лёвой преимущества "Московской правды". Когда я соглашался с их желанием (большинство всё же), то он запрашивал "Правду", но когда просил её я, перебивал совсем иным требованием. Как бы приучал к своей воле и послушанию. А может, в этом проявляется извечная тактика блатных и животных – приручение к своей власти?

Ещё эпизод. Попросил он раз укрыться моим зимним пальто во время сна, а потом как бы присвоил его (за исключением прогулки) и пользовался им как бы по праву, потом попросил рубашку и тренировочные штаны, чтобы выстирать и высушить свою пару, и носил их месяц с лишним, собственные вещи спрятав подальше. "Валёк" как бы ждал, что я взорвусь возмущением, но не дождался. В марте, воспользовавшись его уходом к следователю, я забрал со шконки отданные ему вещи, выстирал их, а потом спрятал. Отношения тогда у нас были совсем испорченные, и эту мою "акцию возвращения" он снёс молча.

Паразитизм он проявлял и в еде. За делёжку общих припасов (от передач и ларька) брался всегда сам и в свою пользу, но так, чтобы не вызвать нашего протеста, тонко учитывая психологию компаньонов. Но ещё больше раздражало, когда он утром, как ни в чём не бывало, сознавался, что "ночью колбаски поел в охотку", а тюремный завтрак возвращал

баландёру: "Брюхо моё эту дрянь не принимает!" И опять хитро поглядывает на тебя, оценивая меру твоего раздражения и необходимые действия, если оно перерастёт в возмущение. Наверное, психологическая практика у Валька была богатейшая.

Впервые я увидел воочию, совершенно ясно при всей его хитрости, тип преуспевающего лагерника ("придурка" на старом лагерном языке). Сейчас их обзывают по-разному, но чаще просто "ментами", приписывая к широкому кругу людей, согласившихся в лагере вступить в СВП (секцию внутреннего порядка, вроде народной дружины) ради формулировки "встал на путь исправления" и выхода на "химию" или на свободу после отбытия половины или даже трети срока. Лагерную администрацию, конечно, понять можно, ей нужно иметь опору в среде заключённых, но, судя по "Валету", попадают в СВП самые подлые. Они отступили от человеческой морали ещё до лагеря. Вступив в лагерный СВП, человек отказывается и от групповой, уголовной морали и превращается в совсем безнравственное существо, действительную "нелюдь", паразитирующую на чём и ком угодно. Понятно, что из этих людей легко вербуются стукачи. Кстати, лагерники жалуются, что год от года давление лагерной администрации всё увеличивается, и в СВП записывают чуть ли не всех подряд, дабы продемонстрировать успех воспитательной работы. Если это так, то СВП во многом станет формальностью и потеряет смысл, но сейчас грань между обычным лагерником и членом СВП существует и не в пользу последнего. Думаю, что вопреки благим пожеланиям начальства, именно в СВП собираются самые подонки и неисправимые преступники. неизбежно. Эти дурные и ленивые люди приходят к выводу, что самый лёгкий и относительно "безопасный" способ заполучения денег - грабёж квартир или мошенничество, потому что денег они захватывают много, а срока за эти преступления полагаются небольшие (2-5 лет), особенно если по первому разу. Содержание в следственной тюрьме в сытости и без работы они переносят спокойно, как заслуженный отдых, а в лагере, вступив в СВП, они могут и на "мужиках" паразитировать и выйти гораздо

раньше на волю к запрятым наворованным десяткам тысяч. И безбедно живут дальше, пока через несколько лет не загремят вновь на очередные несколько "лет отдыха". Если же записаться в стукачи–наседки, то срок свой можно существенно сократить. Так и получается, что если для администрации СВП полезны, то для уголовников они полезны ещё в большей степени. Сама жизнь толкает к такому совпадению интересов.

Симбиоз проявляется не только в практике СВП. Известно, что во многих лагерных зонах процветает практика покупки водки, чая, продуктов, даже свиданий за наличные деньги, которые вора́м передают друзья с воли в большом количестве (так, за бутылку водки берут в рабочей зоне 10, а в жилой - 25 руб.). Бешеные деньги и трудно противостоять их соблазну простым офицерам и иным сотрудникам МВД, а богатым уголовникам такая практика позволяет жить в лагере гораздо лучше, чем тяжко вкалывающим за "среднюю" зарплату вольняшкам. И понятно, почему всякую проповедь перехода к честному труду эти новые уголовные "баи – баре" воспринимают с презрением: "Работать как быдло, как во́лы? – Ни за что!" Да, жизнь их проходит наполовину в воровстве и кутежах, наполовину в тюрьмах и лагерях, но наказание для них гораздо слаще и привычней, чем нормальное человеческое существование. И потому никакого раскаяния у Валентина и ему подобных я не замечал.

Раньше я думал, что есть только один сорт людей, способных смотреть на обычных людей сверху вниз – это начальство, карьеристы. Кстати, в Бутырке их называют чаще всего "коммунисты", подразумевая не простых членов партии, а именно партбюрократов. Теперь же убедился, что есть и иной класс "повелителей и господ" - воры и мошенники, т.е. люди дна. Один из самых распространённых их доводов: "Коммунистам можно, а нам нельзя?" Иногда они даже подводят такую идейную базу: "Мы поступаем справедливо, потому что грабим коммунистов, которые сами грабят народ", скромно умалчивая, что награбленным они, конечно, не делятся с "народом", а квартиры руководителей и торговых работников

выбирают для грабежа только богатые, потому что этот сорт квартирных хозяев часто даже не заявляет в милицию об ограблении, т.к. сами грешны во взяточничестве и спекуляции. В какой-то тесный клубок сплетаются интересы ограбляемых "коммунистов", осуждаемых законом грабителей и "усердствующей" лагерной администрации – и в конечном итоге, всё за счёт простых людей, трудового "быдла".

Валентин специализировался на афёрах при обмене валюты и любил "иметь дело" с западными иностранцами. Последних, по их природной честности, легче обдурить, а самое главное, они почти никогда не жалуются в милицию, напуганные самим образом КГБ. А с африканцами или с арабами, которые советской милиции и КГБ не боятся, работать много опасней. Вот в последний раз Валет попался, связавшись с "этими чёртовыми арабами" ("а ведь ребята меня предупреждали!"), а те "ментов навели". Интересно, что и здесь создаётся воровской миф-оправдание: мы, мол, дурим не простых людей, а "капиталистов". Прямо-таки союзники по борьбе с капитализмом... Впрочем, если разобраться, то разве это не воровская разновидность известного мифа о законности грабежа (экспроприации) капиталистов? Так же, как и о справедливости грабежа спекулянтов и хозяйственников-взяточников? Ненормальная воровская жизнь в своих установках тесно сплетается с неестественными идеологическими представлениями.

Кстати, Валентин рассказывал случаи, когда милиция ловила мошенников-валютчиков и, отняв деньги, милостиво отпускала на волю без оформления дела. Ещё один тип соблазнительного, но преступного симбиоза уголовного и властного миров.

Впрочем, мне не сразу стали очевидными эти связи. Сначала просто подавляло чувство отвращения к стилю паразитической жизни, мелким хитростям и пакостям выбивающегося в лидеры, играющего на нервах...

Вопрос с едой меня особенно раздражал, потому что я боялся, что без моей зарплаты у Лили будут сложности с

деньгами. Мало того, что она не досчитывается моих полутора ста на семейные расходы (номинальный оклад - 210 руб.), она вынуждена ежемесячно тратить на переводы и передачи 20-25 руб. Конечно, дети голодать не будут - Лиля сама зарабатывает больше меня, и на книжке от мамы остались, и друзья помогут, но лучше не рассчитывать на чью-либо помощь. Советуя Лиле быть экономной, я должен начать экономию с себя. Не хочу, чтобы Лили отрывала деньги от детей на покупку для меня " колбасы и пр.", а ими обжирался наглый бандит-паразит и стукач по совместительству, довольно напевая: "Я большой сибирский кот, почешите мне живот".

Отсюда и вытекло решение добиться, чтобы Лили тратила на меня поменьше. Запретить ей совсем передачи я не сразу решился, боялся страшной обиды, да и не был ещё уверен, что смогу добиться в камере права на отдельное питание и выдержать. Для пробы объявил Лёве и Вальку, что не хочу есть колбасу и масло и домой напишу, чтоб не присылали дорогие продукты. Лёва долго удивлялся и с трудом привыкал к моему заявлению, а Валёк лишь коротко и с интересом посмотрел на меня сонными заплывшими глазками и сразу согласился. Может, он не верил в длительность моего решения и надеялся, что пока я буду "капризничать", ему больше достанется. Лёва, возмущаясь, напомнил мне, что его семья в ещё худшем положении, чем моя, а он передачи принимает и переводы просит. А я удивлялся, где же его мужская ответственность за семью?

Оказалось, что я вполне могу обходиться уменьшенным рационом, испытывая не голод, а только неудобство, когда находишься за общим столом, а ешь отдельно. Зато радовало начало независимости от Валета.

В конце февраля от Лили пришёл перевод на 20 руб. Эти деньги я решил растянуть до суда и других переводов не принимать. И когда в первый же приход ларька заказал себе только сахар, тетрадь и конверты, Валет понял, что мои намерения серьёзны и по-серьёзному озлобился: "Не хочешь жрать сам - не жри, но почему не купить для всех хотя бы

белого хлеба и масла?" Ну, что было отвечать на откровенную логику паразита? Что кроме сокамерников у меня дома есть дети, он просто не мог понять. Я продолжал свою линию, не отвечая на мелкие акции бойкота вроде: "Не трогай наших чёрных сухарей!" (хотя их количество продолжало расти – пайки свои мы не съедали), и постоянные вышучивания.

Однако когда по его предсказанию в конце февраля ко мне пришла вторая Лилина передача и в ней снова обнаружилось дорогие продукты (Лиля не успела получить моё письмо), и пришлось отдавать Вальку с Лёвой колбасу и масло (раз перед этим сам от них отказался), Валёк удовлетворённо посмеялся и успокоился. От моего же заверения, что теперь совсем откажусь от передач, отмахнулся, как от полной блажи: "Да кто тебе позволит отказаться?" Нет, что ни говори, эта толстая сволочь хорошо умеет жить в Бутырке, и даже досадить ему было трудно.

В феврале к нам привели четвёртого, теперь я думаю – по заказу Валентина, которому было скучно коротать дни вдвоём с Лёвой, а может, начальство подсовывало своему агенту очередного клиента для обработки, я тогда об этих обстоятельствах лишь начинал догадываться.

Худой, за сорок, **Валерий Арёфьев** был механиком крупного цеха завода полупроводниковых приборов в подмосковном Павловском Посаде. К нам его привезли после двух с лишним недель пребывания на Петровке серого и, если можно так сказать, морально потрясённого как от общения с уголовным миром (потом он много рассказывал об услышанных воровских историях, но мне эти красочные "параши" как-то не запомнились), так и от свалившегося на него несчастья – обвинения по ст.93.1 в хищении государственного имущества в особо крупных размерах, по которой в самом лучшем случае можно было получить 8 лет лагерей с конфискацией имущества, а в худшем - смертную казнь. Об этом он нам и сказал сразу после "здравствуйте".

На мой взгляд, он заслуживал только выговора, максимум – увольнения с должности. В его цехе много печей для

термообработки, а в них платинородиевые термопары, которые полагалось через определённое время списывать, как практически испарившиеся. Но или процент угара был превышен, или печи работали не все смены, но в цехе постоянно оставались недоиспользованные термопары, заменённые по инструкции на новые. Наверное, их следовало по акту списывать в особый платиновый металлолом, но по давно заведённой традиции механики оставляли их в своём сейфе "на всякий случай". Порядок установил не Валерий, он только продолжил, когда стал цеховым механиком. За несколько лет накопилось около четверти килограмма драгметалла (клубок проволоки). В цехе случилась ревизия, и чтоб избежать неприятности обнаружения незафиксированного документами дорогого металла, он принёс его домой. В этом и заключалось его главное должностное преступление, за которое ему теперь грозила смертная казнь. Вот если бы он поступил гораздо аморальнее с общественной точки зрения – выбросил этот клубок проволоки на заводскую свалку, то к нему, конечно, не было бы никаких претензий. Валерий не решился – рука не поднялась, и теперь расплачивался.

Платина долго лежала у него дома, начала тяготить (кажется, он перешел в другой цех), потому он с облегчением подарил её своему знакомому, который продал её московскому таксисту. Когда последнего схватили, цепочка показаний быстро добралась до павловопосадского механика, который и оказался главным расхитителем социалистической собственности в особо крупном размере (стоимость 250 г платины больше 10 тыс. руб.). Знакомый Валерия утверждал, что виноват только в перепродаже, что обещал отдать ему 500 руб., сам же Валерий говорил, что отдал платину бесплатно. Для обвинения Валерия показания знакомого немаловажны как доказательства преступных намерений. Для меня же – не играют никакой роли. Даже если бы Валерий взял 500 руб. за заводскую платину, он не похитил её, а спас. Правда, у него есть вина – мог бы вернуть государству (или уничтожить), а вернул только обществу, но эта вина не может караться столь строго.

Формально законное, с моральной точки зрения такое обвинение Валерия - преступление.

Пожалуй, за все бутырские месяцы Арефьев был наиболее симпатичным для меня сокамерником. Типичный советский труженик с обычными семейными неурядицами (ушёл из дома, где двое детей, вернулся, а сейчас гадал, какая из двух жён приносит ему передачи) в моих глазах он был просто жертвой наших экономических неурядиц, когда уничтожение материальных ценностей по установленным правилам оказывается предпочтительней их частного использования. Теперь в прогулках я перестал зависеть от Валентина, нередко мы уходили на свежий воздух вдвоём с Валерой. Молча выхаживали свои метры или делились рассказами о прежней жизни – спокойно, как люди. Я больше слушал: про завод, про жизнь в рабочем городке, про отношения с двумя жёнами, про детей и дачный участок, про его предков (в городском музее, кажется, есть упоминание об участии его деда в каком-то бунте против советской власти в её первые годы).

Постепенно мы и в камере стали держаться вместе. Обычный человек с неизвращёнными моральными установками, убеждённый, что жить надо трудом, а не воровским паразитизмом или даже ресторанным услужением, он, естественно, стал противоречить и мошеннику, и приспособившемуся к нему музыкант-спекулянту со всеми его интеллигентскими претензиями. Правда, сначала Валерий не одобрял моей пищевой отдалённости, но потом разобрался - ведь Валет пытался подчинить и его, но раз от раза получал всё более решительный отпор и потому едва скрывал ненависть к нам обоим. Думаю, что из-за его ненависти Валерия скоро увели из нашей камеры. Если напряжение со мной, однажды дошедшее с моей стороны до прямых угроз мордобития (а я даже в детстве не умел драться), Валета не раздражало, то на строптивость Валерия он отозвался быстро и недвусмысленно: "Не такой я человек, чтобы прощать обиду... Попадёшь в общак, тогда узнаешь... Буду я проходить мимо, крикну: "Что Валера, хорошо тебе, да?" - тогда поймёшь, кто был прав..."

Помню, я вздрогнул от этих слов. Все прежние мои подозрения сложились в уверенность: конечно, он – "наседка" и может просить тюремное начальство убрать того или иного "клиента". Вспомнилось, как неожиданно взяли "с вещами" Алика и Шурика – к удовольствию Валька. Вспомнилось, как дерзко он разговаривал с надзирателями, а одного нового корпусного, по незнанию приставшего к нему за какое-то нарушение (кажется, не встал вовремя), он даже осадил: "Я ещё посмотрю, как Вы будете здесь работать". Через некоторое время тот корпусной появился у нас с пристыженной мордой и до приторности вежливый к Вальку. Вспомнилось, как часто его вызывали к "следователю-адвокату", и он приносил категорически запрещённый чай (якобы от адвоката), и почти не скрываясь, заваривал на батарее "чифирь", наверное, в виде тюремной награды. А однажды его вызвали на очную ставку в какое-то КПЗ. Вернулся он уже после отбоя, ругаясь для приличия и при этом маслясь от сытости и удовлетворённости. Вспомнились и долгие доверительные разговоры со всеми новенькими и, особенно, с Лёвой: где и что он запрятал из своего имущества и кто, чем из его знакомых ему обязан. И, конечно же, пристальное внимание ко мне, а особенно лобовое, наверное, прямо от Бурцева заявление: "Слушай, Лёва, а ты знаешь, что мы с писателем в одной камере сидим... Да, диссиденты, писатели... У них и псевдонимы бывают... И у нашего наверняка был. Правда?" Нет, не мог Валёк сам придумать слово "псевдоним", притом в совпадении со жгучим интересом Бурцева к ещё не раскрытому К. Буржуадемову. Все догадки соединились в уверенность, доказательства не заставили себя ждать: через несколько дней, 11 марта, утром перед подъёмом вызвали: "На А..." - "Арефьев" - "С вещами!" Прощались мы тихо, наверное, навсегда. Валет, отвернувшись к стенке, притворялся спящим.

Через неделю жизни втроём и всё крепнущего моего одиночества в камеру снова впихнули четвёртого. Александр Григорьевич Каганов, кажется, еврей, чуть моложе меня, но уже начальник цеха Московского ювелирного завода, пришел к нам

практически с воли и был ошарашен донельзя. Конечно, нам он всё рассказал, хотя по известной традиции мы изображали вежливую незаинтересованность. У него статьи 173 и 174 – взяточничество. Два подчинённых ему мастера написали донос, что он собирал с них деньги для директора завода, в целом, около 100 руб. "Такая ерунда, а из-за неё всё рухнуло: работа, карьера, жизнь... А ведь мог вскорости стать главным инженером!"

На допросе в КПЗ он вначале отпирался, не желая подводить директора, но когда "раскололся" начальник планового отдела – главный в этом деле, подтвердил и он частично. Уже при нас он дал и остальные нужные следователю показания, причём Валёк прямых советов "колоться" не произносил (скорее наоборот), но как-то звучало, что лучше "рассказать всё, как есть".

Каганов тоже был производственником, нормальным и, значит, близким мне человеком. Тем более что он любил и собирал книги, регулярно слушал иностранное радио и даже был наслышан о "Поисках" и Абрамкине (только о нём). Но сближение у меня с ним не получилось – он слушался Валета и Лёву и не успел при мне рассориться с ними. Позже Саша поделился догадками о подоплёке своего дела – о давней вражде между директором ювелирного завода, заслуженным работником и депутатом Верховного Совета, и вновь назначенным Гендиректором. Похоже, что грызня дошла до предела, раз Генеральный решился на возбуждение уголовного дела против директора-депутата, сумев, видно, подговорить на донос мастеров. Директора как депутата арестовать нельзя, но с работы снимут, а только это и нужно Генеральному. А что при этом пострадают маленькие начальники, как Саша Каганов, то "лес (директора) рубят – щепки (Кагановы) летят".

Никакого раскаяния Саша, конечно, не ощущал, ведь ничего особенного не делал – поборы не им заведены, всегда есть и будут. Эти десятки рублей - мелочь на ювелирном предприятии, где сотрудники имеют право периодически изготавливать для себя дефицитные золотые и иные изделия...

Так что "жили там все хорошо" и жили бы дальше, если бы не "интриги". Почему-то я не испытывал к нему большого сочувствия и даже не понимал себя...

Позже в моей памяти четыре сокамерника из 252-ой слились с другими уголовными историями и стали, как бы символизировать значимость и "оправдываемость" разных, ныне действующих уголовных статей: Валет – мошенничество–кража, Лёва – спекуляция, Саша – взяточничество, Валерий – хищение соцсобственности.

Самым неприятным и очевидным антиподом для меня был, конечно, Валет - мошенник, очевидная нелюдь, паразит и уголовник (хотя мошенничество интеллигентнее воровства, грабежа и разбоя). У меня и у других нормальных людей с ним не может быть ничего общего, только борьба за ограничение и изоляцию. И очень жаль, что нынешние тюрьмы–лагеря мало эффективны по отношению к таким... Мы с ним взаимно не считаем друг друга за людей.

Второй тип нынешнего преступника – спекулянт. Раньше я полностью его оправдывал как неправильно запрещённого у нас частного торговца, а потом стал делать оговорки. Реальное же знакомство с ним в тюрьме (правда, на примере одного Лёвы) ещё больше меня разочаровало: наши спекулянты гораздо ближе к мошенникам и взяточникам, чем к трудовым торговцам. Они тоже живут под развращающим влиянием лёгких денег. Конечно, к Лёве я не совсем справедлив. Он до конца оставался музыкантом, работником, пусть презираемым как гулякой Валетом, так и механиком Валерием, любил свою профессию, но привычка к ресторанным, полуобманным деньгам привела его к широким операциям с аппаратурой, а привычка к угодничеству сильно сближала с Валетом. Нет, не тянул Лёва на звание "экономически свободного человека". Хотя в теории спекулянты неотличимы от частных торговцев, практика толкает их на использование просчётов госхозяйства, к паразитированию на государстве наряду с остальными уголовниками. Жаль, но так получается.

Саша - "взяточник" и Валерий – "расхититель" были людьми, привыкшими нормально работать и жить по средствам. Я их относил к своим. Однако отношение к их статьям у меня было разное. За взяточничество часто судят хозяев положения, руководителей, а за хищение соцсобственности – обычных тружеников, не устоявших перед соблазном спасти в свою пользу то, что государство само выбрасывает. Взятчники принадлежат чаще всего к верхам, пользующимся своей властью, чтобы задавить экономическую инициативу людей или извлечь из её разрешения взятку. Они вполне довольны системой, пока сами не попадают под действие законов "из-за интриг". Расхитители, несунуны не рвутся к власти, а лишь рационализируют расточительное государственное хозяйство себе на пользу. Они - больше жертвы системы.

Таким увиделся мне мир хозяйственных преступлений в камере 252. Конечно, по столь малым впечатлениям нельзя делать определённые выводы, но от предварительных выводов удержаться я не мог. Самым грустным показалось, что я не встретил в тюрьме экономически свободных людей, действительно полезных для либерального развития страны. А может, это не к грусти, а к радости? Может, эти люди на свободе? Наверное, их надо искать не среди взяточников, несунунов и спекулянтов, а среди инициативных хозяйственников, изобретателей, директоров, шабашников, частных, рыночников. Они тоже нарушают инструкции и даже законы и могут попасть в тюрьму, но это не будет главным отличительным признаком экономически свободных людей. Нет, моим героям среди уголовников, в этих стенах нечего делать. Как и мне самому.

Уход из камеры 252

За эти месяцы не надзиратели, а Валет стал олицетворять для меня злую суть тюрьмы. Конфликт с ним продолжался. 6 марта я написал заявление начальнику тюрьмы с просьбой–

требованием не принимать для меня ни передач, ни денежных переводов, мотивируя ухудшением положения семьи после моего ареста, "а тюремного рациона мне достаточно". На что Валет похихикал: "Дурные менты что ли, соглашаться с тобой. А если твоя жена будет жаловаться? Вот только если режим нарушать будешь, да и то на второй раз в карцер угодишь". Спорить не хотелось, хотя логику его я заметил и даже удивился ей: неужели в тюрьме невозможно проявить свою свободную волю даже путём отказа от получения передач?

Неделю я прождал ответа безрезультатно. Второе заявление тоже проигнорировали, тогда написал жалобу прокурору по надзору в конверте. Уже шла вторая неделя моего ожидания верховного решения и, отдавая надзирателю свой конверт, я понимал, что опять ответа не дождусь (и правда, мне даже не принесли расписаться в объявлении, что "письмо направлено по назначению", как это делается в обычных случаях). Угнетала какая-то безнадежность от правоты мошенника Валета: "никуда ты, падла, не денешься". Хочешь, не хочешь, а тебе всунут в глотку передачу от любимой жены, раз так положено, - такое входит в виды стукачей. Даже передачи из дома могут быть средством давления и перевоспитания. В те дни мне казалось, что если я даже в такой малости не смогу настоять на своём, то перейду к полному неприятию и ненависти.

"Никто твои бумажки и читать не будет, а придёт срок, принесут от жены передачу, в кормушку кинут, принимай и спасибо скажи. А не хочешь жрать, нам отдай", - поучал меня Валёк. - "Не примешь? Менты сактируют и сами сожрут взамен уничтожения. Испугал..." И он был прав, этот уголовник-мент. Да у меня просто не хватит воли всовывать обратно в кормушку продукты из дома, когда рядом стоят жаждущие вкусного сокамерники - не стукачи. И снова этот жирный "кот - почешите мне живот" будет обжираться колбасой, оторванной от детей. Ненависть и негодование просто душили меня. Осталось использовать последнее средство - голодовку, если же оно не поможет - смириться.

Объявление я сделал заранее, а утром 18 марта заставил баландёра взять мою пайку и порцию: пусть ответят на мои заявления. Перед обедом мною заинтересовались: "На С..., Сокирко, почему голодаете?" Выслушал и ушёл. И снова молчание в камере.

Второй день. После обеда: "На С... Сокирко, слегка". Недалеко вели, до стеклянной будки корпусного на нашем этаже галереи, в которой сидел беловолосый капитан МВД: "Статья? А за что? Неужели верите, что ни за что? Ну, а почему голодаете? От нас всегда требуют разыскать родственников, чтоб передачи были, а Вы?" Вроде искреннее недоумение в голосе. Снова объясняю и видно, что верит и семье сочувствует. Но ничего сделать нельзя, администрация не имеет права не принимать передачи. "Ну, а что вы будете делать, если я не буду их принимать? Активировать и уничтожать? Зачем?" – "Ну, да", – неуверенно тянет он. И ничего не пообещав, кроме как справиться о судьбе моего заявления (?), зовёт сержанта, руки за спину - и в камеру. Грустно я уходил от вежливого капитана, почти поверив в безнадежность своего предприятия: "Ладно, отголодаю неделю, там видно будет". А после обеда меня почему-то подозвал к кормушке корпусной и без всяких "кто на С" объявил: "Сокирко, капитан велел сказать, что с твоими заявлениями всё в порядке. Подрез [начальник Бутырки] написал, чтобы передач тебе не принимали. Если же захочешь, чтобы принимали снова, будешь писать новое заявление. Понял? Решено, тебе говорят, честное слово".

Я снял голодовку, и через пару дней убедился, что правильно сделал. Пришёл майор (наверное, начспеца) и показал на моём заявлении подрезовскую резолюцию зелёным фломастером, причём от 6 марта (!), заставил расписаться в ознакомлении и потребовал назад денежные квитанции. Одну из них, первую, я оставил всё же при себе, как НЗ. А тогда, поверив корпусному, я со счастливой мордой обернулся к камере: "Всё, добился, голодовку снимаю. А тебе, котюга", - я почти плясал перед Валетом, - "теперь фиг колбаской от моих попользоваться". Он что-то невнятное пробурчал и притих.

Думаю, понял своё поражение. У меня же была первая победа. Такая маленькая и смешная, даже говорить стыдно, но всё же победа, а не поражение в отношениях с тюремной глухой анонимностью. Оказывается, голодовкой можно прошибить даже безразличие тюремных бюрократов, только надо ставить небольшие и очень реальные цели.

В последние дни марта жизнь как бы утвердилась и успокоилась. Я уже особенно не ждал вызова к следователю и радовался отсутствию общения с сокамерниками. В дискуссии я уже не вступал, Валентин меня не задевал, старался не замечать. Я как бы копил силы для будущей борьбы на следствии – ведь появилась надежда, что успешная борьба в этих стенах, пусть частичная, возможна. Камера постепенно становилась привычным домом, куда я возвращался с прогулки, где предстоит пробыть ещё долго – до лета или даже осени, до суда.

Но я недооценил равнодушия Валета. Когда он недвусмысленно вякнул: "Да ты здесь недолго удержишься, уж я-то знаю", - полоснуло тревогой. Пугает или вправду меня скоро увезут в Лефортово? Нет, не может Валет этого знать. Значит, пугает...

28 марта передачу мне не принесли, и я радовался, что моё требование выполнено, а Валет ничего не получит от "лилькиной колбасы" (какой же я дурак, что в его присутствии как-то назвал её имя!). Но в то же время было грустно, что не увижу каких-то предметов, которых Лиля касалась, готовила, укладывала для меня. А ещё было жаль её саму, как раз в этот день узнавшую о моём отказе и, наверняка, очень обиженную. Ведь о причинах так трудно догадаться.

В общем, я был полон меланхолии, когда корпусной неожиданно крикнул в кормушку: "Сокирко, с вещами, быстро!" Что... Лефортово? Завертелся, пополз и рухнул весь едва налаженный мир камеры 252. Сборы мои недолгие (потом жалел, что забыл взять с собой личный килограмм сахара, а мою рубашку с отсутствующего Валентина потом всё же донесли), короткое прощание навсегда и вперёд... В зимнем пальто и с мешком на спине иду по галерее, не догадываясь, что только

меняю хозяйственников на уголовников-воров. Поднялись на последний этаж галереи и втолкнули в камеру 322.

Из дневника Лили

6 февраля. Видишь, не получается писать регулярно. Но не потому, что мне не хочется. Хоть и дневник, а не напишешь просто о своих занятиях, приходится думать, как писать. В субботу Гале не здоровилось, и оставив на неё малышей, я отправилась обсуждать план "мероприятий". Деловой состоялся разговор, но делать, как я поняла, в основном придётся мне. Я не сетую, главное, мне есть с кем посоветоваться. Вечером были диафильмы. Начала я с "Новгородского зодчества"...

Публика была благожелательная, один из гостей - симпатичный Адис (похоже, поляк). Он реставратор. "Мангышлак" его потряс. На ближнее воскресенье Лёша заказал "Крым", на следующее "Москву". Сколько ещё проживут диафильмы?⁴ У меня нет уверенности, что я смогу их уберечь.

18 февраля. Вчера легла уже в третьем часу ночи. Гости ушли сравнительно рано, остался один Женя [Полищук]. Где-то в начале двенадцатого я даже сама предложила ему уйти, но он сказал, что ещё рано. Действительно, он привык поздно уходить от нас. Рассказывал, как они провели с нашими детками два дня: катались на управляемых санках, играли в шахматы, во всякие игры. Женя с Люсей собираются забрать их в летний поход, чтобы освободить Тёму. Я ведь сообщила Тёме, что он будет сидеть с малышами, когда Галя будет в лагере.

19 февраля. Десятый час вечера, и я совсем очумела от поисков литературы по своей научной работе (сiju в Ленинке), наверное, мне пора идти домой. Но дома сейчас Валя [школьная подруга], приехала из Волгограда, и я не беспокоюсь за детей.

Утром, вернее до 4-х часов, работала с Юрой [Дружниковым] на будущее. У него появилась интересная идея, кажется, осуществимая.

С трудом отпустил меня начальник. В пятницу он поймал меня убегающей в рабочее время и заставил писать объяснительную записку. Но поскольку научную работу всё же делать надо, то какое-то время он меня ещё должен отпустить в библиотеку.

По порядку никак не получается писать. Ну, хотя бы о главном. Каждое воскресенье показываю диафильмы: в прошлое - "Крым", в это, 17.02 – "Тянь-Шань", "Калининград" и "Эстонию" (для Оли-Сашиной компании). Посмотрела на их Льва [Остермана]– симпатичный. Они реагировали сперва ошалело, потом живо. Хотят "Ленинград". В ближайшее воскресенье должна быть "Москва".

Зазвал к себе Саша Б. [Борисов], сочувствовал, предложил существенную помощь.

Получаю деньги от сочувствующих, хотя и пытаюсь отказаться. Решили с Тёмкой купить магнитофон, чтобы отдать Оле – её, но нет в продаже.

Скучаю ли я без тебя?... Любой намёк на тебя мог бы сильно ранить, но не пускаю я его внутрь. Вот только в воскресенье пошла на лыжах на тот берег и стало очень тоскливо. А к маяку я без тебя не пойду. Это совсем невозможно. Иногда всё же реву.

21 февраля. Скоро месяц без тебя. Пишу на работе. Сегодня бурно, с большим столом прошёл день рождения Лены [сотрудницы], но ей не удалось превзойти Валю, которая неделю назад устроила нам такой роскошный стол. Особенно разнообразным было сладкое.

Звонил Лёня [Подгородецкий, из туристской компании]. Он всё собирается в гости. Спросил, бываю ли я дома по вечерам. Я сперва ответила: "Да", а потом: "Редко". Лёня тут же решил, что я ударила в загул, я не отрицала.

Ну, в общем-то, я не скучаю по нашим туристам. Вот когда Глеба долго не вижу, скучаю. Поразительно, что я к нему привязалась. Наверное, за почтительное к тебе отношение, за желание разобраться в ЗЭСах ⁷. Как будто ты ушёл, а твоя духовная часть, не вся, а контуром, осталась и как-то выражается в Глебе. Я отчитываюсь ему, жду и получаю от него советы, доверяю его разумности. Мне хорошо и покойно в его обществе. Вообще, моё отношение к нему, наверное, соответствует отношению сестры к младшему брату (не было у меня младшего, а, возможно, так и любят младшего, но уже взрослого брата) - с уважением, со страхом за его жизнь, с желанием сказать ласковое слово, погладить по головке...

Регина [Лисовская] назвала меня "счастливой женщиной" после того, как начала говорить, что ты был не прав, послав письма, а я ответила: "Чтобы он ни сделал, он всегда прав". Я и в самом деле так считаю, хотя ты иногда и бывал не прав, но по мелочам.

Сегодня отправила маме письмо. Она звонила и про тебя уже знает. Но поскольку я разговаривала очень мирно, то к концу разговора она, кажется, успокоилась и просила писать

22 февраля. Приехала мама. Без предупреждения. Было видно, что наводить порядок. Первые её слова после поцелуя: "Ну, что я тебе говорила?" Я же ответила сразу: "Если ты приехала, чтобы мне это сказать, то уезжай завтра обратно". Она расплакалась и ушла, обиженная, в Галину комнату. Через полчаса на кухне она всё же продолжила разговор, который мне везла. Но, когда она назвала тебя "предателем", я взорвалась, как не взрывалась, наверное, никогда: "Не смей оскорблять Витю, а не можешь, так уезжай завтра же". Она была поражена тоном, реакцией. Снова расплакалась, что выгоняю, потом позвала Валю и плача стала ей выговаривать: "Ты умная, но хитрая, за что я тебя не люблю. Почему ты говоришь, что Лилька живёт правильно, а сама своего мужа в эту яму не толкаешь?" Валя ответила хорошо, а признание в нелюбви для неё не новость... Из Валиного спокойного разговора мама узнала

о "Прощении" Брежневу и как-то сразу успокоилась. Оставшуюся часть вечера мы очень мирно разговаривали. Она собирается съездить в Новомосковск. Мне было бы удобней, если бы она поехала в воскресенье, т.к. вечер с "Московскими церквями" я не хочу отменять. Почему-то думаю, что отнимать диафильмы они у нас не будут, просто запретят мне их показывать. Что тогда делать?

С мамой решила твою-мою тему не обсуждать, отказываться. Она поняла, что я и выгнать могу со своей территории. А ведь мама приехала не с пустыми руками: пирог, кекс, печенье, банка абрикосового варенья тебе. Сегодня утром она мирно спрашивает меня: "Ты к нему ходишь? Варенье туда можно?" Это так по-человечески! Господи, неужели мама так с мозгами набекрень и доживёт до смерти? Вчера: "А у нас какие следователи? – Лучшие в мире!"

Сегодня всё спокойно. Была на гимнастике. Потом тяжёлый рабочий день - почему-то с трудом написала выдачу. В 4 ушла, встретила с Лёшей [Блехером]. После своих личных дел рассказал, что в ЭКО помещён разговор с директором какого-то крупного объединения, которому предлагается жить по показателю чистой продукции, а тот говорит, что только деньгам доверяет.

Всё, бегу домой, уже почти 10. Отсюда мне скоро придётся обратиться совсем. Боится хозяин – мне ещё разрешает, а Глебу уже нет. Ничего не попишешь, и за то спасибо.⁶⁵

Хлопцы фотографируют "Дневники"⁶⁶, но, наверное, только плёнку тратят, т.к. щёлкают по одной страничке, а их

⁶⁵ Отвечая на вопрос А. А., что имеется в виду, Л. Т.: «По просьбе Аси Великановой меня пустил в свою временно пустующую квартиру её гражданский муж. Помощники мои постоянно выдавали мне перепечатки наших материалов, и их надо было приводить в порядок, а нести их домой к детям, я боялась (обыска боялась). Глеб тоже жил в ожидании обыска, и я «потеснилась», дала место его бумагам, уверенная, что симпатичный хозяин не станет возражать. И оказалась не права».

около 2 тысяч. Ну, куда такое денешь? Надо бы по 4 стр. в кадр. Кажется, всё. Вернее, всё писать я боюсь. Поразительное желание помочь!

23 февраля. Вернулась я вчера около 11 ночи и застала Зою с Юрой [Коноваловы], а Саша с Аней [Эпштейны] и ещё с кем-то, и Глеб были раньше. Не дождалась, естественно. Саша с Аней навезли полный воз еды, Анюте красивое платье от своей дочери. Мама их сначала шуганула, но Валя и Тёма увели их в Тёмкину комнату и там поили чаем. Я определённо решила сказать маме, что её планы пожить у меня, пока брат будет устраиваться в Новомосковске, не поддерживаю. Сегодня бесцеремонно сообщила ей про вечер с диафильмом и спросила, не хочет ли она куда поехать, ведь есть куда. На что она громко ответила, что делать ей там нечего, а она останется и посмотрит моих гостей в последний раз. Не откинула бы она фортель.... Нет, не буду я с ней церемониться, не хочу, чтобы она у меня жила. Без её помощи я легко обойдусь, зато тягот и нервов – на целый воз.

27 февраля. Только что позвонил брат Володя. Хорошо говорил, по-человечески. Сообщил, что слышал о твоём освобождении. Пожалел меня.

Новостей хороших мало. Глеб говорит, что тучи сгущаются, много вызовов, даже по его телефонной книжке. Успехи мои пока неощутимы, но я, как та активная лягушка, не теряю надежды. А народ вокруг славный, добрый и внимательный.

Вчера к 3-м часам ходили к Галиной подружке на детский концерт. Алёша убежал со своими друзьями, и мы его не нашли

⁶⁶ См.: <http://sokirko.info/Tom1> ; <http://www.sokirko.info/Tom2> ; <http://www.sokirko.info/Tom3>; <http://www.sokirko.info/Tom4>; <http://www.sokirko.info/Tom5> ; <http://www.sokirko.info/Tom6> ; <http://www.sokirko.info/Tom7> ; <http://www.sokirko.info/Tom9> .

ко времени выхода, мама отказалась, т.к. утром водила малышкой в церковь и устала. Девочки очень хорошо играли, потом был чай, перед этим настольные игры. Сожалели, что нет тебя. Галя сказала, что ты приедешь во вторник. На обратном пути Галя впервые спросила, за что тебя посадили. Путь наш был короткий, и я не смогла много объяснить. При любой возможности продолжу.

Алёша явился домой через полчаса после нашего ухода, перемазанный в смоле. Тёма его до конца не смог отмыть. Тёме он признался, что курил. Может, наврал. А если нет?

1 марта. Ставлю год на газетных вырезках с грустной мыслью, т.к. ни в этом году, ни в следующем ты ещё не сможешь приготовленное для тебя прочесть.

А теперь отчитаюсь за прошедшую неделю. Сегодня суббота. С утра ходила по магазинам, пробежала три круга на лыжах перед домом (Москву-реку уже прорезал ледокол), приготовила еду, подмела. В доме тихо, только что пришла раньше времени Галя и сразу села за пианино. Детки у Володи и Лиды [Сулимовых], вчера их забрали. Всегда беспокоино, как они буду себя вести, но, сознавая, что детям нужно мужское общество, да и ценя возможность посидеть в тишине, я всё же не сопротивляюсь приглашениям. Мама считает деток слишком балованными, да и кто-то из воспитателей так их назвал. Не знаю, где грань между избалованностью и раскованностью. Может, большое количество гостей и поездки их дезорганизуют, развинчивают, а может, всё же они дают им больше пользы, чем вреда? Надеюсь...

Галя сейчас играет на домре – до чего хорошо, свободно, с удовольствием! Конец не получается, но она его добьёт.

25 февраля маминого дня рождения не было. Накануне вечером мама меня встретила, не поднимая глаз, ну, я и не стала заикаться о праздничном столе. Утром же она стала рано собираться, чтобы поехать в Новомосковск. Город ей не

понравился, голодный и переезжать туда она зарекается: "Пока квартиру не дали, никуда не поеду, а тогда уеду от вас всех на Кубань". И в слёзы. Мне после таких слов её жаль. Но ведь не переделаться ей, и мне невозможно с ней жить.

После её отъезда, во мне опять открылись тёплые чувства к ней – ведь столько она выстрадала! Я поревела сейчас, прощаясь с ней. Она сказала, что писать не будет, пока я не пришлю письмо с раскаянием и сообщением, что стала другой. Я всё плачу и плачу, как по неживой. Что это такое? Почему мне так горько? Почему так жестоки люди друг к другу? Почему я не могу смириться с ней, терпеть её нападки, чтобы скрасить её безрадостную старость? В её жестокости отражается моя. Родные и такие далёкие, неспособные договориться. Ведь я образованней и умней, почему же я не могу её уговорить, убедить? В разговоре с Сашей она услышала фразу "когда власть сменится, Витю будут очень уважать" так: "когда власть сменим..." "Воинственная невежественность" – в эту категорию входит мамино отношение к жизни и к нам. Но почему мне не удаётся отделить её "воинственную невежественность" от её человеческих качеств? Наверное, потому, что я слышу непрерывные поправки в неправильном воспитании, в плохом хозяйствовании. Она дёргает малышей, и Алёша ей стал грубить, даже не захотел проститься. И Тёмка, бесовестный, забыл.

В среду я пришла, когда мама спала. После работы у меня был деловой визит, и я мчалась домой, потому что должен был прийти Витя С. [Сорокин], чтобы, переночевав, утром занять очередь к окошку передач. Я боялась, что мама его выставит. Но он приехал полдвенадцатого, и мама обнаружила его только утром. Я отказывалась от помощи, но Витя не уступал. Очередь была не такая уж большая. В следующий раз мне разрешили прийти 27-го (28-го санитарный день), а не 31-го в понедельник. Но ты бы видел, каким королевским кивком получила я это разрешение. Витя уговорил меня отнести топлёное масло, но его не приняли. Мы срочно помчались за простым. Как-то ты с ним обойдёшься? Но пока холодно, может, сможешь сберечь или с

кем поделишься, у кого в другое время передача. Ручку и бумагу не приняли. В очереди сказали, что в Бутырке всего две камеры по 49 человек для подследственных. Если для вас не сделали исключения, то, по крайней мере, двое из вас [В. Абрамкин, Ю. Гримм, В. Сокирко] должны быть вместе. Всё легче.⁶⁷

В четверг на дому допрашивали Зою. Допрашивал КГБ-шник и предрекал тебе 70-ю с её 12 годами. Сказал, что ты злостный антисоветчик уже 20 лет, что в твоих работах под своей фамилией - ещё ничего, а под псевдонимом – сплошная злостность. Говорил с напором, зло, с вымоганием. Зоя только что и смогла противопоставить ему фразу о твоей "кристальной честности". Допрос, как я поняла, она выдержала достойно.

Вчера была у Гр. Сол. [Померанца] Он почитал черновики своего сообщения о тебе.⁶⁸ Сообщение мне понравилось, хотя и удивили сбои на себя. Но ведь это оттого, что он очень лично переживает твои проблемы. Например, рассказ о вводе рыночных цен, которые обесценили бы его пенсию вдвое, с чем он согласился бы ради страны, я сперва восприняла с недоумением, но потом поняла, что у тебя есть такой авторитетный последователь в экономических проблемах. По моему, никто из наших друзей так бы не высказался. Ещё было длинное отступление, я не запомнила. Хороший был вечер. Гр. Сол. просил возражений и охотно их выслушивал, а твою суть он, кажется, постиг глубже меня. Мне стало жаль, что я не понимала твоего напряжения последних дней, что не любила крепко-крепко, не говорила помногу, не ловила слов.... Но меня утешает, что я тебе достойная подруга. Пусть не всегда понимала, недостаточно ценила, не почувствовала в ту

⁶⁷ Я, по темноте своей, приняла на веру, что все подследственные сидят в двух больших камерах, а в остальных камерах сидят осуждённые. «Поисковцев» трое, значит... Усомниться, что подследственных на всю Москву всего 98 человек, я не сумела.

⁶⁸ Г. Померанц. Мой собеседник Виктор Сокирко. См. выше: раздел 1.2.3.

злополучную среду, что долго не увижу тебя. Всё же не заедала и дала расцвести твоей душе.

Рассказала им [Гр. Сол. и Зин. Ал.] забавный случай из нашей жизни. Тёмка всем говорит, что у него родственники украинцы и русские, один папа как еврей. И вдруг предлагают единовременное пособие от фонда помощи еврейским детям – "специально детям Сокирко". Я, конечно, отказалась (пишу это возможным непрошенным читателям).

Гр. Сол. был у Бурцева (перед ним был Копелев). Чётко объявил своё хорошее к тебе отношение и как-то очень правильно объяснил твою экономическую программу: НЭП ленинский по примеру Венгрии. И что в тебе нет злобности, а одна страстность в защите своих позиций.

Закончу, а то пишу очень долго. Да, Витя С. [Сорокин] сожалел, что ты не пожелал обучиться способу передачи своих записей из тюрьмы. Сам он настроен очень деловито.

Бурцев через Катю [Гадамайчук, жену В. Абрамкина] пригласил меня за доверенностью в ближайшее время. То ли его торопят? Я без бумажки, да ещё не первой, не пойду. Катя ищет адвоката. Это трудно. Просила я и для тебя. Постоянно возвращаюсь к магической цифре 12, из которой тут же отделяю 5, надеясь каким-то образом всё же жить в основном с тобой, а домой приезжать проведывать. Через 7 лет Тёме будет 24, Гале – 19, а малышам – по 12.

В понедельник концерт КСП [Клуб самодетельной песни] устраивают в Валерину и твою честь. Петь будут оботфортовские барды и прочие поэты тоже будут. Почётно. А мама твердит: "Друзья до чёрного дня". А сама и в чёрный день не помощник. Она говорит: "Я не считаю, что с вами произошла беда, вы к этому готовились и шли". Правда, нет беды, есть горечь разлуки, страдания за тебя, что тебе тяжело, страх за себя – уцелеть надо: ни под машину, ни под мясорубку не попасть, чтоб детей вырастить... У всех сложности, пришла теперь наша очередь страдать. Я-то это делаю в лёгкой форме, а каково тебе?

Ну, надеюсь, ничего не забыла. Вечером, если не будет гостей (собирались трое), съезжу за “Арменией” на завтра.

3 марта. Этого дня прошёл только час. Закончился диафильмовский вечер. Я даже не устала – “Армению” показывать легко, но как всегда трудно вести разговоры. Лёша своего обещания не держит, но на следующий показ, он, наверное, придёт, т.к. будет «Украина», а он её ценит. Я думаю, что отнимать диафильмы они не приедут, а вызовут и запретят показывать. Как вести себя в таком случае?

Гости сегодня были нехвалючие. Забавно, что это я только сейчас определила – так приятно было самой проехаться по Армении, что этой радости мне вполне достаточно. После показа практически все ушли - это тоже необычно. Остался Солодя С. и наперебой с детками рассказывал, как они провели два дня. Бессовестные детки заявили, что с дядей Женей им лучше. Днём вчера заезжал брат Володя проездом в Ленинград, успел увидеть маму. Она сказала, что теперь будет жить для себя. По-доброму меня расспрашивал, высказывал надежду на твоё скорое освобождение. А про маму договорились, что надо всё же искать слова для её переубеждения. Мы закупили магнитофонную плёнку, и сейчас началось переписывание на 4 дорожки всего подряд (не нашими с Тёмкой руками). С пересъёмкой слайдов не получается - нет фотоплёнки.

12 марта. Ещё целая неделя прошла. Воскресной ночью я не смогла сесть за письмо, не смогла даже помыться

посуду, т.к. накануне не спала, была у “земляночников” в лесу, и пели они для меня в твою честь всю ночь.⁶⁹

Теперь новости за неделю. Пришло письмо от мамы. Вот оно:

“Здравствуйте, все! А с Алёшей не хочу здороваться – он со мной не прощался, Ане носочки довязала, скоро пришло. И ещё чего пришло, Алёше не дам. Вчера я смотрела передачу про женщин. Какие есть умницы наши женщины! Когда, Лиля, ты поступила в Бауманский институт, ты мне писала так: “Какая же ты умница, мамочка, что научила меня любить науку! Если бы ты знала, какие здесь преподаватели! Я только читала о них, а теперь они преподают мне и другим. Мамочка, я тебя всю жизнь буду благодарить и никогда не забуду”. Хотя это письмо у меня кто-то украл или отец, или ещё кто, но я его читала несколько раз и запомнила на всю жизнь. И всю свою любовь к тебе и Володе [мой брат - Владимир Николаевич Ткаченко] несла все годы и надеялась на твою силу, ум тот, которым ты обладала, и всегда верила, что ты будешь среди тех женщин, которых я вчера видела. Но получилось совсем наоборот, окружили тебя не те люди, не те, с сияющими лицами женщины, а те, которые несут мрак и ненависть к окружающему. И тебя, такую умницу, превратили в дуру. И мне так хочется стоять рядом и кричать: дура, дура и друзья твои дураки все!

Как мне тебя жалко, что ты превратилась в мутную женщину, а не в тех цветущих и радиевых (излучающих радость, - мамина терминология) женщин, которых я видела 8 марта. А ты бы могла. Прочитала твоё письмо и узнала, за что Виктора забрали. Вам оно нужно? Ваше дело - работай и исполняй свои обязанности с чистой совестью... А за теми

⁶⁹ А. А.: «Имеется в виду Клуб самодеятельной песни? Или что-то другое?». Л. Т.: « Один из первоначальных кустов КСП, они в лесах рыли землянки для зимних песенных сборов групп их куста».

границами есть люди, которые тоже исполняют свой долг перед родиной, наши защитники. Вот они-то пускай и распоряжаются, надо посылать войска или нет. А вы никакого на то права не имеете. Если вас поджигают наёмники из-за рубежа, то вот я, тёмная женщина, но знаю, что ничего у них не выйдет. Своей дурной головой подумали бы – да как же так не защищать своих границ?!

Вот со всего прожитого тобой и мной я вкусила твою благодарность. Спасибо, благодарила за всё то, что в начале письма я писала тебе. С такой злостью знала меня и за что? За ту правду, что я знала, что когда-либо, а всё же случится? Что вместо спокойной старости ночами не сплю? И Галю эту бедную замотали делами. Не хочешь подумать – у неё своя будет жизнь. Ты б лучше детям больше внимания и к опрятности приучала.

В общем, спасибо за приём. Ни одного отпуска не использовала, как люди. Сколько раз путёвки предлагали, а я отказывалась: нет-нет, мне надо к дочери съездить. Всегда я отвечала любопытным: а кто же поможет, как не мать. И сама так считала, что поступаю правильно, что еду помочь. А вы переучились и простых правил не знаете.

Галочка, учись хорошо, отлично, бери всё, что тебе в твоей жизни нужно. Мне не понравилось, что ты сказала: не хочу быть отличницей. Это нехорошо. Леня это страшное, один раз заленишься, а потом ещё захочется. Учись, счастья тебе, успехов во всех делах. До свидания. Всем здоровья и счастья. Целую. Мать 9.3.80”

Был в понедельник концерт КСП. “Звёзды” – Мирзоян, Бережков, Луферов, Долина не явились по разным причинам. Пели “звёзды второй величины”. Некоторые из них ничего, но всё же мешает не преодоленная сложность стихов. Зато было

очень приятно услышать в самом конце Володю Турьянского – озорного, талантливое. После концерта меня провели в артистическую, где поили чаем, и Володя пел ещё. Я благодарила и кланялась. Жаль, что Кати не было, у неё заболел Алик. Концерт ничем не выделялся, только концом, да и то в артистической. Молодцы ребята, главное – дело доброе. Можно было подумать, что ты целый месяц работал [собрали для нас примерно 200 руб.]

А во вторник была лекция Померанца, но я не пошла, т.к. должна была придти Регина, да и полдня я провела в побегушках. Первое – решительное дело – как сейчас выяснилось, не удалось. Второе (религиозное), кажется, закончено в этот понедельник и больше от меня не зависит.

Утро среды провела, как обычно, в работе, сегодня надо отсюда съезжать. Больше меня там терпеть не хотят. Каким получится новый приют, не знаю.

Напрочь не помню, что было в четверг. Пятница была предпраздничной. Мужчины отдела подарили нам большое овальное зеркало и устроили концерт с пением под гитару. Мы были тронуты. В тот же день у меня была большая за две недели стирка, а потом мы поехали к отцу поздравлять его Там. [Тамару] Петр.

8 марта с утра уехала в лес. В понедельник утром была у Саши Б. Вчера заболел Алешик. Сегодня он уже не лежит и просит есть. Сейчас чистит картошку. Галя пришла рано из школы, я её сейчас покормлю и уеду в РОНО, на работу и дальше. До свидания. Совсем неожиданно написалось “до свидания”. Как будто заканчиваю письмо. Когда оно будет наше свидание?

16 марта. Воскресенье. Полдень. Говорит только радио. Галя ушла с Дашей в музей Ленина. Ей всё равно, куда идти. Тёма - на 2-ом туре физической олимпиады МГУ, мечтает попасть на 3-ий. Детки - у Жени и Люси. Через шесть часов придут гости. С утра было рабочее время и ещё будет. Выспалась, вчера заснула в начале одиннадцатого, даже не

успев переодеться на ночь. Так что с утра было рабочее настроение, можно считать, вчерне я с возложенной на меня работой покончила. Теперь можно отдавать её в руки мастера ⁷⁰

В среду я сделала все дела, получила твои фото и даже застала дома Наташу. Она теперь регулярно приходит по средам, когда я дежурю, и помогает.

В пятницу вечером, после ухода Жени с детками, я пошла звонить и достала письмо из прокуратуры. Тут же прочла. Сперва только радовалась, что весточка от тебя. Потом уже с Тёмкой читали и выяснили много невесёлого. Почему-то было написано, что февральскую передачу ты не взял (сопроводиловка была напечатана 29.02, т.е. на другой день после передачи, правда, письмо отослано только 10.03). Возможно, ты отказался не только от передачи, но и от разговора с ними. Потом мы стали огорчаться, что ты отказываешься есть калорийную пищу. Ведь тогда прошло только три недели, у тебя ещё были силы, а потом их будет меньше, начнутся болезни. Зачем ты так? Ты бы мог догадаться, что я не трачу денег на эту чёртову колбасу. И вовсе не дорого ты мне обходишься... Не нужна такая жёсткая экономия. И нет твоей вины перед нами. Мы все тоскуем по тебе. Детки про тебя спрашивают, Аня отложила тебе две конфеты, а сухари, приготовленные тебе, не просят. Алёша время от времени просит позвонить тебе.

⁷⁰ В ответ на просьбу А. А о пояснении, Л. Т.: «Полтора месяца, в основном по средам, на квартирах знакомых я собирала и чуть-чуть аннотировала Витины разрозненные работы: письма, выступления, рефераты, рецензии, чтобы специалист превратил собранное в книгу. Идею подал писатель Юра Дружников и обещал «довести до ума» то, что я соберу. Но обещание не выполнил – собрался эмигрировать. Социолог Валя Чеснокова мне посочувствовала и через какое-то время взялась доработать, но после суда над Витей она вернула собранный том, убрав все свои вставки. Так, в первоначальном виде этот материал и лежит на наших сайтах - <http://sokirko.info/ideology/pv1.html>».

18 марта. В воскресенье было не очень много народа на "Украине", но почти получился разговор и про Украину, и про искусство.

Вчера была у Гр. Сол. Он закончил про тебя писать, сегодня отдаст в печать. Получилось по-померанцевски густо. Очень хорошо мне с ними. Гр. Сол и Зин. Ал. тебя любят и ценят, и я с ними могу говорить не скрываясь. Ругали тебя за отказ от передач: не ешь, мог бы отдавать коллегам, как ты изящно выразился. Гр. Сол. посоветовал покупать яблоки замухрабистого вида. Хорошо, что ты не знаешь, что лук, чеснок и яблоки я покупаю тебе на рынке. Дали мне денег на передачи – так ты их [Померанцев] разжалобил письмом. Стыдно брать было./ Люди думают, что мы бедные аж дальше некуда. Не бедные. Сам знаешь, что на книжке есть. Но, может, ты провидишь мою "отставку" и уж тогда - бедность? Или общее обнищание? Или свой 7+5 срок? Страшно про всё это думать. Но я уже давно уверовала в то, что ты обладаешь даром предвидения, которым ты боишься меня пугать, а я боюсь невысказанного. Гр. Сол., может, "достанет" адвоката.

25 марта. Утром я получила от Гр. Сол. 13 страниц о тебе и отдала их результативным людям [машинистке], съездила на рынок и вернулась домой. Юра Д. ещё не отказал совсем в помощи, но готов делать только минимум. Он поразился, например, что мои вставки не напечатаны. Написанное от руки он просто не умеет читать. Пижонство! Подборку писем он до сих пор не читал, потому что плохо видно. Я не удержалась сказать, что Гр. Сол. не только её прочёл, но и процитировал. Юра

уже забыл, что сам просил вставки для сведения, а когда я говорила, что не уверена в их качестве, он ответил, что напишет сам, мол, нужно только с чего. А сейчас речь идёт только о правке.... И вообще, у него своей работы много.... Но ведь не тянула же я его за язык. Или, может, он не ожидал, что я так цепко ухвачусь за его предложение? Наверное. Нет у него на деле ощущения значимости твоих работ. И вообще всё здесь обрыдло. Так что, ты как патриот, для него анахронизм. Сказал, что за океаном напечатано твое “Прошение”. Не будет ли тебе от этого хуже? Очень я боюсь, что они разберутся и оценят тебя в полной мере. Ты ведь понял самый главный недуг, а лечить его не хотят. Им нужно только о нём не говорить. Глеб показал полстолбца в “Альтернативах” про тебя. Соня могла бы перевести, но пришли они поздно, когда я уже начала показывать диафильм.

В четверг я торопилась домой, полагая, что Лёня придёт. На карточке потом исправляла 16 на 18. Плохо получилось, грязно, а у нас проверки. Двух сотрудниц наняли по 130 руб., чтоб они стояли около часов и проверяли, как мы отбиваемся. В среду я отбивалась за Олю прямо при этой сотруднице. Теперь и милиционеры смотрят, и уборщицы, и лифтёры. Чёрт-те что! Как я дрожала, но не отбить карточку было нельзя, Оля ведь на меня рассчитывала.

М.И. [Казарновская] сообщила мне жуткую новость, что Игорь Губерман осуждён на 5 лет. Прокурор сказал, что хотя преступили закон те двое, но действительный виновник Губерман, т.к. он дал им денег взаймы. Надо переспросить у Таты. Я ей звонила и насчёт адвоката. Её - не пойдёт, но она обещала его спросить о других. А сегодня у неё свидание с Игорем – разговор через стекло по телефону. Боже мой, даже нельзя будет к тебе прикоснуться! Какое изуверство! Вечером буду ей звонить. Свидетели, т.е. "члены синдиката", как их называли на суде, признались адвокату, что им прямо сказали:

дадите показания на Губермана – уменьшим срок и дали им по 2 и 3 года (один имеет 27 краж). Адвокат обескуражен очевидным неправосудием.

27 марта. Сегодня самый горестный день, хотя и была в нём уравновешивающая новость – мне нашли адвоката. Сейчас 7 часов вечера, а у меня до сих пор горячие глаза. С утра после выхода из приёмной, где у меня не взяли для тебя передачу, я просто редела в три ручья. Зашла в какой-то подъезд и редела до решения: пойти к 3-м часам к начальнику тюрьмы и попросить передать тебе записку: "Как ты можешь так обижать меня и наших друзей? Разве ты не понимаешь, что передача мне ничего не стоит? Мне нужно только её сдать. Мы вполне обеспечены, обласканы друзьями и только по тебе скучаем".

Но не будет тебе такой записки, потому что пошлю, наверное, заявление Бурцеву или начальнику тюрьмы. Мне бы надо сегодня об этом поговорить с адвокатом, но она ещё так мало тебя знает. Лучше советоваться с друзьями. Сейчас я позвонила Зин. Алексеевне, поблагодарила за адвоката. Сильва Абрамовна Дубровская была адвокатом на суде Щаранского. Родные, правда, требовали американского защитника, но отзывы о ней самые высокие. Да ведь ты же сдуру можешь отказаться!!! Не смей, заклинаю! Неужели у тебя не хватит ума понять, что на адвокате нельзя экономить? Эта та самая “крупная вещь”, для которой и лежали наши деньги.

Заехала к Саше Б. Он подсказал мне мысль, что я должна тебе довериться, ты лучше знаешь. Я всегда так и делала. Но ты-то сейчас не знаешь, что у нас материально хорошо, а твои преследователи знают. Они это даже Жене сказали. Так что они тебе просто не верят. Сейчас поговорила с Катей, она передала мне совет Саши Л., чтоб я написала тебе письмо через следователя и прямо в тюрьму. Завтра напишу. Сегодня нет сил.

Вчера они все: Катя, Соня, Витя, Глеб, Ася, Саша, - были во Владимире, где осудили к 5 годам ссылки М. Ланда. Витя [Сорокин] рассказал о доброжелательном отношении местных-приглашали пить чай.

31 марта. Нужно много записать. Сегодня мы с Тёмкой пытались сдать тебе все ту же передачу – ведь ты отказался принимать от меня, может примут от Тёмки. Но оказалось, что на углу твоего заявления начальственный зелёный фломастер начертал: передач не принимать. Это значит - ни Тёма, ни отец не смогут обойти твой запрет. А я строила планы... хотя бы на отца. Ну, зачем ты это сделал? Очень жалко, что не дописала в письме, что послала Бурцеву про это. А может, и не входило в твои планы полностью отказываться? Бурцеву я послала для тебя письмо и ему заявление (заявление моё Глеб переписал, потому что оно было недостаточно корректное). Глеб приходит очень редко. У него вокруг болезни и дни рождения. У близкой знакомой в Одессе - цирроз печени, умирает. Оказывается, что сын Юрия Гримма тоже болен циррозом уже пятый год. Ужасно! Я с Соней Г. сегодня встретила в приёмной. Если он не выживет, то каково будет Соне? Сегодня она мне понравилась больше, чем первый раз. Как мы с годами станем похожими на своих мужей!

Мы с Тёмой ходили на приём к начальнику, но принимал не он, а некто Авдеев Владимир Иванович. Вполне доброжелательно разговаривал со всеми, но я его завела, потому что завелась сама. Именно он показал мне зелёный угол на твоём заявлении. Сейчас жалею, что не посмотрела дату. Очень быстро он помахал им перед моим носом и начал прощаться. Я орала, что буду жаловаться, потом, за дверь, понятно, опять ревела. В общем, стоит мне твой отказ гораздо дороже, чем заботы о твоих передачах.

Вчера было воскресенье, и я с 11 до 7 вечера хорошо поработала у очень симпатичной хозяйки [на второй «конспиративной» квартире]. Приятный день и разговоры в обед и при моём уходе. Детки были у Там. Петр., пришли за час до меня и сразу легли спать.

Утром мы побегали с детками и Тёмой (Галя отказывается, говорит, что болит бок, когда бежит). И в субботу бегали. Было тепло и солнечно. И сегодня тоже. Вкусный весенний воздух...

Про Женин [Е. Полищука] визит [в ГБ-шную контору] пока не буду. Травят его, втравливают.

В прошлую субботу после базы (заработала два отгула, хотя кончили в 12.20) заехала к Ир. Вас. Она после операции (сетчатка отслоилась) пока ещё не читает. Как всегда, ровна и приветлива. Надарила, опять же, как всегда, детям книжек. Потом я направилась к Таниным детям [Татьяны Великановой], посмотрела на Федино сына и Юлькину дочку.

Гости в прошлое воскресенье были благожелательные, да и фильмы ("Аня-Алёша", "Кожа", "Мангышлак") так настраивают. А разговоров общих опять не было. Уж очень разные люди. Про "Кожу" [Кожа – приток Онеги] надо было бы упомянуть, какое значение имел этот наш самостоятельный поход для всей дальнейшей жизни. [Было нам по 28 лет, и мы поверили в силу своих тел и духа, в способность вдвоём преодолеть все испытания судьбы] Больше и чаще мне надо читать дневники. Хорошо, что столько написано, до твоего возвращения хватит перерабатывать.

Наконец-то собралась и написала Вале [подруге] большое письмо. Она имеет народную точку зрения на Афганистан и на ряд других вопросов.

Ещё не написала, что в субботу мы вчетвером были на "Синей птице" в новом просторном зале МХАТа. Детки устали (Аня после театра капризничала), но говорили, что им понравилось. Как они ждали дня спектакля! В субботу, с самого утра (спектакль в два часа) Алёша то и дело забегал ко мне в комнату и справлялся о времени.

2.3. События апреля

Новые сокамерники

Острое, короткое, как ни странно, разочарование. Видно, в душе я не верил или не ужасался Лефортову. Интенсивное желание поехать куда угодно, лишь бы сменить обстановку,

подавляло даже страх от лефортовских последствий. Новая камера открылась как совсем новый и неожиданный мир (кстати, откуда появилась манера сравнивать тесную, в 12 кв. метров камеру с “целым миром”? – наверное, у меня появились сдвиги в психике и оценках).

Не коричневые, а синие стены, через жалюзи на окне видно строящееся на Новослободской белое здание с отблесками вечернего солнца. А на меня со вниманием смотрят 5 человек. Значит, я шестой, в камере перебор, и спать пока мне придётся на полу. Лица удивительно дегенеративные, так что первой моей мыслью было: "к психам" посадили. Потом оказалось – просто к уголовникам, хотя двое из них и были из "умственно отсталых", что недалеко от дегенератов. Сидят у стола и ждут, наверное, ужина, и потому, кажется, повернуться негде. А тут ещё меня впахнули с мешком и в большом пальто. Но приткнул в уголок мешок, повесил пальто, присел на край шконки, понял: обычные уголовники, настроенные довольно весело и приветливо. Часа два назад у них забрали первожителя камеры, так что с моим приходом ничего не изменилось, только несколько человек улучшили своё положение переменной шконок и до сих пор радовались удаче – как бы за мой счёт. Дегенеративные же выражения лиц были скорее от отупляющей обстановки, от жизни вечными лагерниками.

Единственным исключением, т.е. обычным на вид человеком, казался худой пожилой грузин в синем спортивном костюме, обвязанный в поясе шерстяной кофтой. Это был **Борис Григорьевич Пруидзе**, 47 лет, директор сочинского ресторана, посаженный за взятки мэру г. Сочи. Он-то и задал вопрос о моей статье. Узнав, что 190¹, печально закивал головой: "Знаю, знаю, сидел в январе с таким же в 290-й камере" ... - "А кто он?" - Оказалось, Валерий Абрамкин!

Вот была радость поговорить с человеком, который совсем недавно общался с Валерой и мог рассказать о нём. Впрочем, и я месяц назад видел Валеру, правда, мельком. Нас вели с прогулки и на повороте, перед стеклянной будкой корпусного, как всегда, приостановили. Не сразу я заметил, что в будке –

офицер, а спиной к нам, вполоборота, сидит Валерий – обычный, с бородой и что-то спокойно доказывает, за стеклом не слышно. Тут же нас двинули, а на мой сдавленный крик: "Валера!" оглянулся сердито только корпусной, Валерий не услышал. Потом я уже ругал себя, что не хватило ума или смелости (иногда это одно и то же) выбежать из цепи, затарабанить в стекло, заорать во всё горло: хоть на миг, но встреча!

Борис Григорьевич рассказывал, какой хороший Валера парень, выдержанный, но смелый, много читает, регулярно занимается йогой, сидя на шконке с поджатыми ногами, а главное, знает законы и много пишет всяких заявлений (об этом я уже слышал от Бурцева: "Несерьёзно всё это! Раз посадили, то сиди и не разводи канитель, понимаешь..."), и потому "менты" относятся к Валере с почтением. Особенно после того, как он отстоял право не стричь бороду: не только писал заявления, но и физически не давался в бане под машинку. Только когда вызвали "весёлых ребят" и те держали его за руки–голову, он не сопротивлялся. Однако каждый раз привлекать "весёлых ребят" к Абрамкину, видно, накладно, и потому начальство всё же сделало в его карточке пометку – разрешение на бороду. "Значит, можно отстаивать свои права", - сделал вывод Борис, а потом подстёгивал меня: "Да ты пиши жалобы почаще, что у тебя нормального места нет в камере, ты же 190-я, они с твоей статьёй считаются".

Остальные в камере слушали нас вполслуха, убеждались, что "Григорьич" нашёл "кореша", и потому улыбки не сходили с их лиц. А может, мне только так казалось.

Принесли ужин, началась суетливая подготовка стола, недавно им принесли продукты из ларька и потому "телевизор" забит белым хлебом. Идёт раскладка сахара, бутерброды мажутся маслом. Решаю, что отделиться в еде надо сразу, как ни трудно это сделать в атмосфере приветливости. Объясняюсь, ссылаясь, что передач и переводов у меня не будет, сам отказался. Но слова мои всерьёз не принимаются. То, что у меня нет с собой продуктов, они поняли сразу – иначе я бы их давно

выложил, а что из-за этого можно отказаться от совместной "шамовки" просто не входило им в головы. Поняв же, что отказываюсь я серьёзно, приняли за обычную стеснительность новичка, и Борис Григорьевич вместе с Сашей Фетисовым, как самым старшим здесь "каторжанином", привели меня к столу прямо под руки: "Ладно, ладно, может, ты сектант какой, так завтра начнёшь есть по-своему, а сегодня у нас знакомство, нельзя отказываться от стола". Грузинскому хлебосольству отказать просто невозможно. А может, решительность моя была мала или лицемерие в отказе чувствовалось... В общем, вечер оказался у меня прекрасным, праздничным, с белым хлебом и маслом, которых я не пробовал уже полтора месяца. Утром меня снова втянули в общую трапезу.

Спать устроился я на полу между столом и шконкой у окна. Укрылся пальто и провалился в сытый сон, как в счастье.

Так началось знакомство с новыми людьми и новыми книгами. В памяти они слились с бурно наступающей весной. Если март практически не отличался от зимы, то в начале апреля воздух сильно потеплел и снег-лёд в двориках стал быстро таять. Солнце шпарило за решёткой, и смотреть на мощные облака в синем небе было необычайным наслаждением. В конце же апреля город и наши камеры прямо затопило жарой-духотой. День быстро прибавлялся, и вот по утрам, проснувшись иногда до побудки, я не только вслушивался в начинающийся троллейбусный шелест на Новослободской и ловил далёкие тепловозные свистки у Савёловского вокзала, но и следил за медленно двигающимися по стене солнечными зайчиками и радовался воробыному чириканью и голубиному воркованию за нашим окном. Внешний весенний мир как бы просачивался тонкой струйкой в наш каменный санаторий. Шёл третий месяц заключения. Всего-навсего. 12-я часть, если всё будет хорошо.

Единственно близким мне человеком в камере был, конечно, Борис Григорьевич – мой неизменный компаньон по прогулкам. За два месяца я прослушал много историй и подробностей о его жизни, и как жаль, что нет ни памяти, ни дара изложения. Известно, что у грузин очень богатая фантазия,

особенно, когда есть внимательный собеседник. Борис был настоящим грузином, а я по-настоящему благодарным слушателем.

Я услышал о военном голодном и босоногом детстве, об эвакуации из Харькова (где до войны служил его отец, как и мой) в грузинскую деревню к деду и бабушке (мама умерла до войны, а отец погиб на фронте). И о послевоенной юности в удалых компаниях сорванцов, в набегах то на вагоны с солью и углём, то на кусты "лаврушки". А потом армия и туберкулёз, едва не сведший в могилу. Уверял, что после поправки туберкулёз отступил от него окончательно, только когда стал неумеренно пить. Вино и женщины были главными темами его рассказов в камере, и они неизменно приобретали какие-то огромные, просто героические размеры, если судить по количеству выпитого, промотанного в кутежах и покорённых им "тёлок" (все мамыши в Сочи его боялись). Эти рассказы шли с неизменным успехом, но даже "ворьё" им не очень доверяло, подозревая художественный вымысел. И правда, несмотря на блатную терминологию (вроде "тёлка" вместо "девушка"), рассказы Григорьича не были противными.

После техникума он начал работать в общепите, вышел на должность завбаром и рестораном, потом заочно окончил институт (на следствии последний факт он скрывал, чтобы выглядеть проще), но двигаться дальше по служебной лестнице с его характером было ни к чему. Устроить из порученной ему "точки" лучший ресторан в городе, чтобы быть там хлебосольным хозяином для всех друзей, местных горожан и приезжих знаменитостей - лучшей участи для себя нельзя было пожелать. Конечно, в нём была и деловая хватка, и умение подбирать и руководить людьми, и чутьё на красоту. В иных условиях он смог бы стать хорошим администратором или даже владельцем. Сейчас же хлебосольство и любовь к кутежу всё подавляли в его жизни, но удивительно гармонировали с обстановкой траты бешеных денег в главном курортном городе Союза.

Те эпизоды, которые вошли в его обвинительное заключение, кажутся пустячками в сравнении с его собственными рассказами о грандиозных тратах (даже если сделать поправку на художественный вымысел) и игнорировании всяческих запретов. Разбитые витражи и художественный паркет, вскрывшийся от разлива десятков бутылей шампанского, сотни и тысячи рублей в вечер на "музыку и шампанское", приёмы знаменитых гостей – от партдеятелей до съездов воров, непременно оружие без разрешения в багажнике машины и езда по городу в совершенно пьяном состоянии, способы бегства от ГАИ-шников, памятуя наказ друга – начальника ГАИ: главное, не попадайся! и т.д. и т.п.

Рассказал Борис и о своём следственном деле, и о его главном герое – мэре г. Сочи Воронкове, довольно сложном человеке. Важность государственного деятеля в нём сочеталась с беззастенчивым взяточничеством; ум – с бессмысленным скопидомством, когда копились драгоценности на сотни тысяч рублей без надежды на применение; размеренный семейный быт и утренние прогулки ради здоровья – с мелкими радостями кутежа инкогнито в компании с девицами лёгкого поведения. Борис – сошка в сравнении с Воронковым, но жил намного царственней и расточительней (хотя так и не умудрился получить нормальную квартиру и ютился до самого ареста с женой и сыном в комнатках старого отцовского ещё дома). Прямая иллюстрация различия двух характеров, двух типов первоначального накопления капитала – расточителя и скряги. Однако в нашей жизни более прогрессивному скряге-накопителю почти нет места, ему просто некуда девать свои деньги, и потому более распространены кутилы и расточители. "Это ещё что, - рассказывает Борис, - а вот пришлось побывать в Дагестане на свадьбе сына одного из тамошних миллионеров (сейчас он – участник "шерстяного дела") – вот где денег не считают!"

Правда, и Воронков, и Борис оказались в тюрьме, но только за что? - За бессмысленное скопидомство или почти

патологическое расточительство? – Нет. За взятки и махинации? - Внешне, да, но каждый убеждён, что попал в тюрьму не из-за взяток – подарков, почти неизбежного признака окружающей жизни, а из-за “интриг”. Первый раз Бориса осудили в 1973 году, якобы за хулиганство, на год “химии” (несмотря на покровительство Воронкова, а может, именно из-за этого). Борис убеждён, что всё дело в многолетней, едва ли не старинной, вражде Воронкова и второго секретаря горкома партии (первый в Сочи часто менялся и стоял в стороне от грызни). Как я понял, корни этой вражды тянулись в Москву, к покровителям обоих. Кто знает, может, во вражде сочинских деятелей отзывалась давняя распря между МВД и иными “органами”? Как бы то ни было, но Борис даже сейчас трясся от унижения, вспоминая хари второго секретаря и его подручных, когда тот заявлялся в ресторан и, как бы не обращая внимания на максимальную услужливость Бориса, надменно ронял ему: “Имей в виду, будешь ещё...- сгною!” - “И этому человеку я должен был сам нести в машину жареного поросёнка, вино и кучу прочего!”

Негодование Бориса понятно: несмотря на подношения, его всё же “сгноили”. Когда взбешённый очередными придирками Борис выгнал местных репортёров, явившихся якобы проверить “сигналы трудящихся” о самом популярном ресторане города, его осудили сначала в газете, потом в суде, причём по настоянию горкома арестовали и на “химию” повезли не вольным путём, а этапом. Помню его рассказы про бесчеловечность обращения ростовского конвоя, про избиения киянками (деревянными молотками для простукивания решёток) до отбития почек и смерти...

Через год Борис вернулся в Сочи, вёл себя много тише, но темперамент и организаторский талант взяли верх, и его “точка” снова стала знаменитой. Воронков долго сопротивлялся, но всё же был вынужден уйти, однако, благодаря покровительству устроился безбедно заведующим черноморскими курортами в системе МВД, получив ту же зарплату и большую независимость и вызывая дикое раздражение у соперников из

горкома и выше, особенно когда с шиком и рёвом проносился по улицам на своём иностранном автомобиле. "Он думал, что сам чёрт ему не брат, - злорадствовал, по словам Бориса, их главный следователь, старший советник (т.е. юридический генерал) Эфенбах, - но я добрался и до его покровителя!" Когда замминистра МВД покончил с собой, Воронкова арестовали. Потом доставили в Москву самолётом и в наручниках его «подручных» (ведь главарь не может быть без подручных"), в том числе и Бориса, предъявив тому обвинение во взятках-подарках, сделанных Воронкову ещё в 1973 году, т.е. за тот самый эпизод, за который Борис уже отбыл год "химии". Но теперь ему грозило 6–8 лет.

За день до моего появления Борис закрыл своё многотомное дело и начал ждать, когда его передадут в Верховный Суд и начнутся визиты адвоката (рекомендованного Эфенбахом как большого авторитета в Верховном Суде). О том, что он числится за судом, сообщение пришло без опоздания, а вот своего адвоката Борис так и не дождался даже после получения обвинительного заключения. Такому "защитнику" и воры удивлялись. Бориса же, ожидающего вестей от жены, это просто убивало: "Ведь я же говорил ему: только приходите почаще, денег я не пожалею, сколько надо... Ну, я его маму..." Думаю, что Эфенбах просто по-дружески надул Бориса, подсунув ему своего бездарного и ленивого протеже, а тому оправдаться всегда можно будет, если суд даст наказание с разбором. Ведь могли засудить на 8 лет, а дали, допустим, 5-6, значит, адвокат подействовал.

Вторым, а на деле основным по значимости для меня и камеры стал **Александр Алексеевич Фетисов**, профессиональный вор – домушник. Из своих 34 лет он успел отсидеть около 16-ти (в том числе 10 на "малолетке"). С гордостью считает себя "старым каторжанином". Небольшого роста, щуплый, жидкие волосы, нос с горбинкой, голубые порочные глаза навывкате, плечи согнуты, по-каторжански шаркающая походка и чуть шепелявый нарочито говор - под блатняка, что ли. В чёрном трикотаже или ватнике, тело в

татуировке и неприятных струпьях (хоть и убеждал всех, что струпья не заразны, вид аллергии или нервов, а смотреть и общаться всё равно страшно, особенно когда лежишь на полу, а он нависает над тобой со своей шконки, не контролируя ошметки своей слюны).

В камеру "Сашок" пришёл в середине марта вместе с Борисом, в Бутырке уже скоро год. На суде ему дали 12 лет – очень сурово для домушника. Правда, в этот раз он попался на ограблении "Дома мод", конечно, ради "любимой", но суд ему инкриминировал участие в нераскрытой банде, он же утверждал, что основную часть добра разворовали сами торговцы, а теперь "валят на него". Очень ругал директора магазина и грозился сжечь её квартиру за такую исключительную подлость. Говорил, что не побоялся обляять и суд, и саму власть, как только услышал о 12 годах. Однако кассационный суд направил на переследствие, и теперь, после очередного визита к следователю, а потом к адвокату, "Сашок" бывал умасленным, что через 3–4 года "гулять будем на свободе", а то снова жаловался, что 12 лет в лагере он не выживет и один только выход – готовиться к побегу.

Сначала он днём больше спал, а ночью вёл разговоры с "Васьком" или с "Серёгой" Свиридовым. Потом он изменил порядок сна на нормальный, но всё же спал часто и в этом был похож на Валентина Егорова. Кстати, толстого Валета он знал, а может, сделал вид, что знает. Выслушав мой рассказ и подозрения, он высказался горячо, что этот толстый жлоб – мразь, но моё убеждение, что Валет – наседка, отмёл: раз нет твёрдых доказательств, то и говорить не стоит. Вряд ли Валет пойдёт на это, ведь он знает, что в лагере его за такое и пришить могут. Что ему жизнь не дорога? А если он докажет, что напраслину на него возводишь, то тебя же пришьёт, не сам даже, и прав будет, потому что болтать зря не надо... Нет, конечно, бывают стукачи, сам двоих высветил, но так, что они сами к двери бросились ментам звонить, тем и спаслись, а то б разорвали... Впрочем, мнения Сашка менялись. Позже он говорил, что Валет, наверное, увидел, что с тобой у него ничего

не получается, вот и кинул ментам: уберите, мол, его из камеры, ну а здесь у нас таких нет, сам видишь, потому что если что – смерть...

И я ему верил, верил своему первому впечатлению. И откуда мне было знать, что откровенничаю с новой, более опытной и осторожной "наседкой"?

Был он очень болтлив и часто прямо навязывал свои истории и жизненный опыт. За 16 тюремных лет узнал он, конечно, немало. Его детство младшего и потому избалованного сына в хорошей семье (как часто случается, что именно младший - вор!) прошло среди московской подростковой шпаны в пределах Садового кольца. Не говорил он, за что сел в первый раз, но видно за очень серьёзное, раз неминуемо была бы ему вышка, и только по малолетству заменили её 10 годами лагерей и тюрем. Судя по его рассказам, самое худшее - жестокое и изуверское – сосредоточено именно в колониях и тюрьмах для малолеток. Подростковая анархия ("беспредел" – частое бутырское выражение) и тюремное подавление – худшего сочетания не придумаешь: драка и преимущества тупой силы, издевательства над совестливыми и слабыми физически, вытравливание всего порядочного, заложенного семьёй. Думаю, что дети, прошедшие "малолетку", в большинстве искалечены на всю жизнь, становятся почти прирождёнными туземцами Архипелага. Сюда они возвращаются, как домой, как на трудную, но привычную Родину из богатых свободных, но чужих краёв. И хотя клянут свою "родину", но носят в душе её традиции и привычки, а к нормальной жизни на свободе не пригодны.

Вот так получилось и у Сашка: просидев с мучениями свои десять лет, он стал профессионалом - нынешняя "ходка" у него третья, а за два периода свободы (по несколько лет) он успел сделать по несколько десятков краж, и, видимо, имел в загашнике не один десяток тысяч рублей. Научился держаться спокойно в лагере, даже комфортно, не пренебрегая воровским этикетом, но и не ставя его выполнение своей святой обязанностью. Совсем не так, как в первые 10 лет, когда его

били и сажали в карцер, а он всё равно считал долгом дерзить и своим, и "ментам". Теперь он понял, что лучше лишь на словах поддерживать авторитет старых лагерных (воровских) традиций и презрение к "ментам", а на деле играть на людских слабостях, паразитировать на их благодарностях. Сначала меня удивляло, как Сашок после всяческой ругани "ментов" и их помощников из СВП и т.п., тут же вызывал надзирателей, лстыл им в глаза и выпрашивал таблетки, которые здесь идут взамен наркотиков. Понятно, что если такого человека поставить перед выбором: 12 лет или 4 года при полном сохранении тайны, то он может стать "наседкой". Да таким людям совсем необязательно попадать в лагерь, они могут долго оставаться в тюрьме. Кстати, Валентин Егоров собирался уехать в лагерь весной, а мне довелось разминуться с ним при визите к следователю в июле – значит, никуда не уехал товарищ, продолжает свою нелёгкую службу.

В начальной школе у меня был яркий недруг, кошмар детства. Я до сих пор помню его фамилию – Бучнев. Едва поступив в московскую школу в начале 3-го класса, я потерпел поражение в драке с ним на виду у всех. Не от слабости, а от неумения и от недоброжелательности окружающих. Потом, поверив маминым убеждениям не драться (конечно, зряшным), многие годы я жил в постоянном страхе безответного удара, потому что вёл себя независимо, но и в драки не вступал. Бучнев ушёл в ремесленное училище, что стало с ним, не знаю, но думаю, что кончил он "хулиганкой" и "малолеткой", судьбой Фетисова. В Саше Фетисове я угадывал черты своего детского врага Бучнева, но только теперь он был другим и уговаривал не бояться его. К концу моего пребывания в камере отношения с Фетисовым нормализовались на нужной мне основе, и я мог воспринимать это как свой маленький реванш.

Третий обитатель камеры 322 **Василий Васильевич Бучнев**, лет 25-и (и везёт же мне на встречи с "Бу"). Васёк сам, не стесняясь, называл себя умственно отсталым, не смог или не захотел кончить второй класс для неполноценных детей. В житейском смысле он не был дураком, иногда даже напротив. Читал свободно, особенно сказки и про животных, но писал

довольно непонятно. В камерной иерархии он занимал самое низкое место, был уступчив и брал на себя всю общественную работу: готовить бутерброды, убирать камеру (в 252-й уборку делал дежурный, назначаемый, как и положено, корпусным по очереди). Сокамерники относились к нему с пренебрежительной ласковостью: "Василёчек, сделай то-то и то-то..." О причинах такой ласковой дискриминации я не знаю, но, судя по намёкам Фетисова, они были. Может, слабоумие, может, потому что он не имел денег на ларёк, а получал лишь передачу от матери, может, он тоже был в услужении у "ментов" (хотя какие сведения от него можно получить?), а скорее по иным, неизвестным мне причинам.

Васёк был "чердачник", т.е. его посадили за тунеядство и прожитие без прописки (хотя родные в Москве прописаны). По этой статье полагалось наказание не больше года, обвинительное заключение он на руки получил, но видимо, суд потребовал врачебной экспертизы, а он постоянно симулировал заболевание (сыпал извёстку в рану на ноге, и она вспухала или использовал иные способы "настырки"). И потому проведение требуемой экспертизы затягивалось по планам Васька до сентября, когда по истечении года, его выпустит на волю сама Бутырка, без утомительных этапов и лагерей.

Обыкновенно Василёк молчал, но иногда возбуждался и становился чрезвычайно разговорчивым, повествуя о себе самом самые невероятные байки, с серьёзным видом поправляя пальцем разбитые стёкла очков в тонкой под позолоту оправе. Тут были и легенды, например, как он катался в детстве на крыше шестиэтажного дома и неудачно свалился (или скатился) с него, повредившись чуть в голове; и про подвиги своей овчарки Дуная, которого он регулярно натаскивал кидаться на чучела, одетые в милицейскую форму; и как "менты" из отделения его не любят, но боятся и уважают; и как легко он зарабатывает деньги: в деревне - пастухом, в городе - бумажным и иным утилем, ремонтом квартир, перепродажей утащенного по "мелочам" госимущества. ("Были мы с корешем в каком-то институте. А туда ящики какие-то привезли, кореш

посмотрел, говорит: это медицинские машины какие-то. Посмотрел и я, а там какие-то щёточки, блестящие трубочки. Ну, я, конечно, эти штучки со всех 16-ти машин поотвинчивал, а потом какому-то чудаку толкнул..." Среди разнообразных способов заработка была и такая экзотика – обслуживание сексуальных потребностей пожилых женщин и старух, что, конечно, вызывало особый интерес у камеры и последующие подначки. Но Васёк и не думал смущаться, он пёр дальше: "Дураки! Что вы понимаете!"

Вообще-то сексуальные рассказы Василёчка проливались большей частью ночью, в тишине, для избранных, когда ничем не сдерживаемая фантазия заносила его далеко-далеко в небывальщину, так что слушатели раскрывали рты в эротическом упоении: "Ну, а дальше, как те ей, а?", не желая замечать очевидное: Васёк сочинял на ходу, приноравливаясь к желаниям слушателей. Вот, к примеру, одна из его ночных историй, когда я был разбужен и не смог сразу уснуть. "Приехали из города, девочки первый сорт, особенно одна, лет 17-ти. Посадил я её на лошадь - хочешь прокачу? Поскакали к лесу, то да сё... ну я, конечно, трусики с неё снимаю, а она не даёт, стесняется, значит... А тут мамаша её приехала... я и к ней с полным уважением. А она: Вася, Васенька и зовёт, понимаешь, сама в баню, ну и всадил я, аж визжала... а потом мамашу закрыл, а сам в постель к дочке, аж плакала... а потом обоих вместе..."

Чем такие истории кончались, я не знаю, потому что снова засыпал под Васильковый говорок, но слушатели бывали довольны, и утром Сергей Тобин сообщал мечтательно: "А мне приснилась твоя, ну, та... Я и струхнул как надо". Все стыдливо отворачивались от его самодовольной наглой рожи и запятнанных зелёных трусов.

Что мне нравилось в Бучуеве, так это любовь к рукодельничанью. Он постоянно что-то точил, связывал, шил, клеил коробки на хлебном клейстере, приделывал к нашим алюминиевым кружкам ручки и т.д. Был он в камере самым хозяйственным мужиком, и это как бы отделяло его от воров,

вернее делало лучшим из них (ведь на деле, ему бы следовало сидеть за мелкое воровство, а не за "чердак"). Только трудно было переносить его органическую неопрятность. Все мы бываем иногда неопрятными в житейской спешке, но в камере делать нечего и все невольно становятся чистоплюями, как бы по инстинкту стараясь не загаживать наш единственный и такой тесный мир. Васёк был иным и поддерживал себя лишь от понуканий окружающих. Как будто он сроднился с помойкой и не хотел отказываться от её привычек. Конечно, человек не виноват в своём воспитании, и если баланс твоих оценок его всё же положителен, можно мириться и с грязью, которая буквально шибает тебе в нос – ведь из камеры уйти невозможно. Но моя итоговая оценка Бучуева была отрицательной и потому память так стойко хранит плохое о нём. И грязь, и подозрения в доносительстве, и его попытки подняться в глазах сокамерников за мой счёт вызывали у меня сильное раздражение, так что уход Бучуева из камеры в конце июня я воспринял с облегчением.

Ещё один эпизод. В своих рассказах он часто поминал, как сильно любит малышей и как они его любят, а племянница Танюша никогда не отпускает от себя. Вот освободится в сентябре, обязательно съездит ко мне домой, привезёт моим деткам гостинцы – "Давай адрес запишу". Ничего не подозревая, я написал, чтобы через месяц раскаяться. В мае я услышал, как он выспрашивает адрес у молодого московского парнишки, посаженного к нам на неделю, потом ещё... Я уже понимал, с кем имею дело, меня самого Фетисов как-то втихую попросил "дать наколку" (адреса) богатых и, конечно, неприятных мне знакомых для будущего ограбления... Успокоился я лишь, когда усмотрел, где Васёк прячет адреса (в лацкане пиджака), и одной ночью уничтожил всю информацию, оставив в лацкане пустую бумажку. И только тогда отлегло от сердца кошмарное ощущение, что мог сам наслать воров на собственный дом. После этого я стал предельно осторожным и ни адресов, ни имён своих родных и близких не называл. В антими́ре любая оговорка может стать опасной для нормальных людей.

Серёга Свиридов – лет 28-ми, с женой не лады, сыну 7 лет. Один раз он уже попадал в лагерь за "хулиганку", работал там кузнецом, на свободе стал шофёром, а вот теперь ему вменяют грабёж и избиение. По судьбе и по профессии схож с Шуриком Синицей, но весёлый и лёгкий по характеру. Мне он казался даже работающим и совестливым - обычный рабочий парень, опора власти (интересно, что, когда по радио помянули члена Политбюро Гришина, он отозвался: "Хороший мужик, я сам его видел, когда он приезжал на митинг нашей автобазы, правду говорю: свойский мужик"). Почему же он снова попал в тюрьму?

Как-то на прогулке он рассказал, что в тот день после работы выпил, а по дороге домой встретил полузабытого школьного приятеля, теперь инженера ("раньше-то он тихим был, боязливым, а теперь заважничал, но со мной говорил хорошо, уважительно"). И вспомнил Серёга, что по соседству есть какое-то застолье, зазвал приятеля туда. Ну а там, конечно, "поддали винца", потом Серёга попросил (а может, потребовал по старой дружбе) денег взаймы, тот почему-то заартачился и... "обидно мне стало, ну и врезал я этому мозгляку по роже, отнял всё, что у него было, кажется, рублей 80, ерунду. Тот выбежал на улицу, морда в кровище, а тут как на грех - милиция, ну и подскочили они быстренько в дом, скрутили меня тёпленького".

Господи, какая дикая безалаберщина, какая грустная и безнадежная история! Молодой отец идёт с работы домой к сыну ("Всю дорогу просит: папка, покатай! Я беру его в кабину, пусть привыкает") и вот выпивка, избиение, грабёж, "скрутили тёпленького", а теперь по суду дадут лет 5 лагерей, не меньше. Может, Серёжа что-то и искажил в своём рассказе, но мне в него верится, т.е. верится в спонтанность его преступления - от какой-то тоски и, как говорят газеты, "немотивированной жестокости". И интересно, что он совершенно не жалеет о своей выходке, а к перспективе получить 5 лет относится спокойно, даже оптимистично. Мало того, после возвращения на волю собирается заняться "настоящим делом", т.е. воровством, а не "гробиться" дальше за баранкой. Поэтому он был очень близок к

Фетисову и ночами шушукался с ним, обсуждая разные способы и методы квартирных краж и иных ограблений. А меня мучила непонятная тяга ко злу такого симпатичного и симпатизирующего мне парня. Как-то я улучил время спросить: "Серёжа, зачем тебе всё это нужно? Ведь шофером ты получаешь, наверное, 250 в месяц, неужели не хватает, что воровать нужно? Ну, вот, сколько тебе нужно для хорошей жизни?" Он подумал, прикинул: "Пожалуй, рублей 100 на день хватило бы", и остальные в камере подтвердили: "Да, наверное, сотни хватит".

Сказано было всерьёз и авторитетно, и эта экономическая самооценка воров меня поразила и одновременно помогла многое понять. Видимо, 100 рублей - цена хорошего вечера в ресторане с близкой компанией и "девочками". Именно так они тратят деньги после удачного "фарта", угощая друзей и прихлебателей. Придёт время, и они тоже смогут кормиться за счёт других, которым "пофартит" в ограблениях. 100-рублёвый же ресторанный вечер есть "приличная для человека" жизнь. Значит, три тысячи в месяц – вот запросы нынешнего рядового вора, только такие деньги могут удовлетворить "выросшие потребности" рабочего парня Серёги и дать ему иллюзию достижения достойной, счастливой жизни. Конечно, никаким трудом таких денег не добудешь, только если достичь высшей власти, где по непроверенным слухам деньги текут рекой. Реалистичней воровать, ссылаясь как раз на расхожий фетисовский тезис: коммунистам можно, а нам нельзя? Несправедливо! Одновременно удовлетворяются запросы в романтической, смелой, свободной деятельности. Наверное, постоянное общение с такими "бесстрашными и отчаянно богатыми" воровскими ребятами являлось сильнейшим соблазном для рабочего парня Серёги, раз он так легко и даже с радостью поменял свою постылую свободу на тюрьму и лагерь.

Я до сих пор ощущаю безнадежность, вспоминая симпатичного Серёжу Свиридова, который сел в Бутырку чёрт знает за что, но твёрдо знает, чего он хочет и зачем идёт в лагерь.

Пятый сокамерник - **Сергей Анатольевич Тобин** - стал моим антагонистом. В первый вечер он встретил меня мальчишеской глуповатой улыбкой на толстом татарского типа лице. Хотя ему только 25 лет, он успел пройти два года лагерей где-то в Оренбуржье. Как и Фетисов, он вырос в центре Москвы, тоже младший балованный сын у матери (отца у него не было, да и отчества у его братьев – сестёр разные), тоже с малолетства шастал по дворовым компаниям, закончил только 5 классов для умственно неполноценных детей.

Помню рассказ: "Один раз чуть не обделался от страха, когда у соседских ребят избили до полусмерти кого-то, а на меня слух пустили. Поймали они меня, зажали и повели к избитому. Всё, думаю, убьют... Люди рядом, а кричать не могу от страха... Привели, он аж синий, глаза совсем заплыли. Спрашивают: "Он?" Тот глядел, глядел и говорит: "Нет!" – Отпустили..."

Такая жёсткая школа детства, дополненная ещё худшей школой оренбургского лагеря, где местные урки забивают москвичей, воспитала в Тобине характерное сочетание трусливой осторожности и расчётливой наглости.

После лагеря он пробовал работать, но бросил: не нравится, не по нём, и перешёл на иждивение одиноких работающих женщин - за сексуальное обслуживание, конечно. Мерзкая, на удивление паразитическая профессия, мужское проституирование, но он катался как сыр в масле и с удовольствием вспоминал те хорошие времена: "И чего, дураку, не хватало..."

В первые дни после моего прихода он пытался заинтересовать меня длинным списком своих "тёлок" – около двух десятков имён. Я старался вначале быть вежливым, но, видно, не мог достаточно тщательно скрывать отвращение при виде этого жеребьячьего списка, и думаю, с его обиды началась между нами неприязнь. Да, конечно, меня снова можно упрекнуть в чистоплюйстве, да и мировая литература полна донжуанскими списками, но очень трудно сдерживать негативную оценку, когда к тебе обращают такой, например,

рассказ: "Ну и ту, что этажом выше, я тоже... Не нужна она мне была, да и грязная вдобавок, но уж очень нос задирала, на улице как бы не замечала, ну и засадил я ей, только чтобы своё место, сучка, знала, в ногах у меня повалялась". И лоснится татарская его рожа от удовольствия растаптывания женского достоинства. Я говорю: татарская, имея в виду не современных татар (может, они лучше нас, да и Тобин всё время подчёркивал, что он - русский), а в смысле русских легенд о монгольском иге. Этакий мелкий хан, творящий расправу в своём гареме – подъезде. Мальчишка, сопляк, паразит, а сколько самомнения у этого подонка!

Вообще же сексуальные частые разговоры я переносил с трудом. Не только из-за безудержного хвастовства "половых гигантов", всех этих "засадил так, что через спину толкался", а из-за воинственной животности и извращённости. Большинство ворья просто не знает обычной нормальной любви, а только случки с доступными всем женщинами, если не просто с отпетыми проститутками. Их списки из десятка имён на деле сводятся к десяткам половых актов за многие годы, т.е. к скудному пайку для нормального мужчины. Даже в сравнении с семьянином–однолюбом, вроде меня, они были просто девственниками. А неистраченные силы истекали в грязь или сугубые извращения, самые разные – от всяческих способов, которые обсуждаются с упоением и страстью до муже- и скотоложества. Существование порядочных женщин отрицается, как просто физически невозможное. Все "они" – только твари низшего пошиба, созданные для удовлетворения хозяина. Вариации этого общего отношения, вроде фетисовского: "Люблю я баб, красивые они, хоть и проститутки все" - встречаются реже. Единственное исключение делается только для собственной матери, потому что здесь им не хочется доводить логику до конца.

В общем, сексуальные разговоры в камере тяжелы именно потому, что они постоянно втаптывают в грязь как раз то, чего мы здесь лишены – святое женское начало. Тюремщики нас разлучили, а ворьё постоянно пачкает дорогие воспоминания. И

думаю, что дело вовсе не в неудовлетворённой половой активности (по себе знаю, что через пару месяцев организм как-то перестраивается и легко переносит ограничения, думаю, это относится не только ко мне, а может, и правда, что в еду что-то подмешивают), а в уголовных традициях.

Ещё омерзительней разговоры о "петушках", "гребешках", педерастах, гомосексуалистах. По этой части особенно усердствовал Фетисов, живописуя свои подвиги вроде: "Поймал я гребешка, отвёл в уголок и, конечно, засунул... Не хочет? А куда он, падла, денется? Надо было раньше думать, когда ему штаны спускали. А раз допустил, чтоб на член надели, то теперь уж не взыщи. Пришла мне охота тебя использовать – терпи... Нет, стал петушком, терпи, раньше думать надо было, никто за тебя не заступится". И действительно, слава "петушка" после первого изнасилования катится за человеком из зоны в зону. Его не допускают к общей еде, к общению, его только используют, и клеймо это снять невозможно. Иные из них сами идут дальше, становясь "гребешками" по призванию, почти перевоплощаясь в женские образы. Страшное перевоплощение, хуже Фантомаса!

В Бутырке мне приходилось только слышать многократно двух "гребешков", как они сами себя называли, Светку и Белку, когда их выводили на прогулку в соседний дворик. Кокетливо жеманными голосами они рассказывали всем желающим, как красят губы, ходят в платьях "ментам" назло, да и справили себе бюстгальтеры и очень мечтают о мальчиках, вчера так даже догола раздевались, вот "менты" бесились... А от соседей поднималось: "Хо-хо-хо, Светик. В какой хате живёте? На ночку бы к вам. А ещё лучше, уговори ментов на ночку к нам пустить, что им жалко". – "Да-да, мы хотим мальчиков"... А потом Светка начинал исполнять песни Аллы Пугачёвой: "Всё могут короли" и другие, довольно неплохо передразнивая её интонации и вызывая бурные восторги невидимых слушателей: "Давай, Светка, давай! Пустите меня, пустите!.."

Если не слышал сам, никогда б не поверил. Чего только здесь ни наслушаешься. Правда, чаще на прогулке тихо: только тихий шелест голосов у соседей, и проплывающие в небе над

твоей и соседними ямами фигуры надзирателей. А то вдруг донесётся до тебя громкий спор, мгновенно перешедший в истошную, предельно озлобленную перебранку: "Ах ты, козёл вонючий, п...ый, только попадись, только доедь до лагеря, из-под земли достану, на ... надену, гребешок, козёл, петух кашкарский, под землёй не скроешься, зубами загрызу..." – остервенелый клёкот, хрип в горле, страшно даже слушать, что есть такая звериная злоба на земле. И можно себе представить, что я почувствовал, когда положение моё в камере пошатнулось, и подобные угрозы я стал слышать в свой адрес от Фетисова, что изнасилование может быть даже не доведено до конца, достаточно чисто символического позорного акта. В такие моменты осознаёшь, что будешь защищать себя до конца, своего или его, что можешь даже убить человека, т.е. не человека, а вот эту злобную тварь в человеческом облике.

Но вернусь к Сергею Тобину, самому мерзкому существу, которое я встречал в Бутырке. Он был неприятен не только мне, но и другим, поэтому, когда в начале мая его увели "с вещами", все вздохнули с облегчением. В тюрьму он попал за ограбление с угрозой применения оружия, что лежит на грани с разбоем и бандитизмом. Правда, он утверждал, что у него был лишь ненастоящий пугач и потому обвинение в разбое его не может касаться: "И вообще, что я такого сделал? Ну, снял с того студента дублёнку и шапку, ну, ударил того мозгляка как следует, чтоб не вякал, но ведь живой остался, и я вот тут сижу, а ребята наши по первой травке за Ботаническим гуляют... Мне ещё суд сколько даст, да даже если три года, так сидеть ещё сколько. А за что? – жалобно скулил он. – Вот когда первый раз посадили меня в КПЗ, то мать прибежала сразу, как узнала, к окну подбежала и окликает. Мне так горько стало: вот сижу за решёткой, а дома всё осталось, что заплакал". Так он откровенничал на прогулке, стоя на скамейке в кепочке блином и вытягивая вверх шею, чтобы не пропустить проход молодой надзирательницы, либо чтобы забубнить что-нибудь приставучее, очаровывая золотым зубом, или подбегая соколом к стенке нашей ямы, чтобы заглянуть "ментовке" под юбку. И,

глядя на его ещё мальчишескую, сытенькую шею, неуклюжую фигуру, я спрашивал себя, почему мне не жалко Тобина, почему я испытываю к товарищу по несчастью не сочувствие, а только гадливость?

Конечно, можно разобраться в условиях его воспитания, понять внутренние причины, по которым он стал таким, а не иным, ну и что – общение с ним от этого лучше не станет... Паразитирования и власти над одинокими женщинами ему было мало, хотелось большей власти и денег, наверное, той сотни в день, что не хватает всем уголовникам. Потом пошли приставания к робким жильцам: "Жил в нашем доме один еврейчик – инженер, так я ему никогда спуска не давал, всегда дорогу перегораживал. А он скулит, отступает, знает, собака, что иначе..." Ну, а потом попытка грабежа – разбоя...

Вспоминая его, и к горлу подкатывает тошнота. И хотел бы быть объективнее, отметить положительные черты, но не могу, не нахожу. Был он жалостлив к себе, почти сентиментален в воспоминаниях. Вот, любил чистить свою одежду и прилизывать волосы и физиономию, но всё равно оставлял по себе впечатление чего-то маслянистого и нечистого. А чего стоит его вызывающая привычка оглушительно громко пердеть, даже за столом, при этом глупо над всеми похихикивая. Ведь в отличие от строгого запрета пользоваться унитазом, если кто-то в камере ест, на газы правил нет... Лакейское прихорашивание, трусливая борьба за господство, антисемитизм и полная бессовестность – всё это напоминало мне в Тобине чёткий фашистский тип.

Впервые в жизни я видел человека, которого без колебания определял как фашиста по привычкам и даже по убеждениям (хотя внешне он не отличался от советских уголовников). Вот такими они, наверное, и приходили в 41-м году в Россию и иные страны. Кстати, фашизм, оказывается, не так уж мёртв и на русской почве. Борис пересказал мне, что недавно судили группу молодёжи, объявившую себя фашистской по убеждениям. Они с вызовом пользовались фашистскими приветствиями, символами и лозунгами борьбы с

коммунистами. На суде продолжали держаться групповой дисциплины, а после вопроса судьи спрашивали у своего главаря: "Мой фюрер, надо ли мне отвечать на вопрос этого?"

Рассказ Бориса выглядел вздорным слухом, но в этом мире ему веришь легко, потому что реально видишь перед собой все составляющие фашизма, которому не хватало только фашистской символики. Да и та могла легко пристать к любому из моих "героев". Валентин Егоров с удовольствием рассказывал, как ему на киномассовке довелось играть немецкого охранника в концлагере, но это было лишь симптоматическим совпадением. А вот когда Сергей Тобин на прогулке проиграл с идиотской улыбкой сцену добития раненых "жидов": рука пистолетом и в затылок лежащим - пах, пах... это уже не казалось случайным или смешным.

Кстати, именно со спора, можно ли стрелять в детей и началось наше открытое столкновение. За обедом, кажется, я заикнулся, что есть такие действия, заставить делать которые человека невозможно никакими силами, например, убивать детей я не буду. Разговор был спокойным, и мне непонятно, почему Тобин вдруг взъелся: "Как это не будешь? Прикажут и сделаешь... Ишь ты, выискался, не сделает он – всё сделаешь, когда по-настоящему за тебя возьмутся". Заело и меня: "Ты, может, и будешь убивать, кого прикажут, а я вот лучше сам сдохну, но в детей стрелять не буду!"

Завёлся общий спор. Кто-то упомянул про армейскую дисциплину, я привёл в пример услышанную когда-то историю про остановку советских танков на будапештском мосту в ноябре 1957 года перед венгерскими матерями с детьми. Водитель головного танка отказался выполнять приказ и давить детей. Тогда командир колонны расстрелял его на виду у всех, сам сел за рычаги и, конечно, смял "препятствия". Но Тобин этого не слышал. Наш спор быстро стал злобной односторонней бранью, и улыбчивый придурок Тобин вдруг превратился в орангутанга, у которого чесались руки поставить на место (а может, к стенке) интеллигента (а может, еврейчика, потому что к этому времени он стал подозревать во мне

еврейский дух). Вмешались Борис и остальные, ссора была затухаема, но отношения были испорчены открыто и с каждым днём ухудшались. Может, в детстве ему пришлось, подчиняясь чужой воле, стать палачом и с тех пор он уверен, что иначе как палачествовать и подчиняться жить невозможно. Мои же возражения, видно, колебали эти убеждения, потому-то он и взъелся. Наверное, тобиновская психология не является определяющей для лагерников. Сергей Свиридов – совсем иной, испытывает уважение к "независимым мужикам", да и к остальным людям, хоть и собирается их обворовывать (наверное, не "людей", а начальство). Однако много и Тобиных, и встреча с ними в общей камере и столкновения неизбежны.

Так и в моём случае. Прошло немного времени моего пребывания в камере 322, заявок на превосходство я не делал ни в материальном смысле (передач и денег не было), ни в смысле силы и "духовитости", т.е. наглости, и Тобин (а втихую, может, и Фетисов) решил постепенно прибрать меня к рукам, превратить в подчинённого. Для Тобина это было психологической потребностью, для Фетисова, скорее, развлечение и тренировка своих способностей к игре на нервах и установлению власти. Начали они с навязывания мне роли "шныря", т.е. уборщика по должности, взамен социально близкого им Васька. В свои дежурные дни сначала я убирал, как это делал в 252-й, не обращая внимания на то, что остальные свои обязанности предоставили Ваську, но потом, увидев, что он как бы недоволен, стал игнорировать свои дежурства. Я даже растерялся, когда в одно прекрасное утро Фетисов завёл разговор, почему это я не убираюсь, может, считаю уборку "за падло" (недостойное, подлое занятие), так совсем зря, тем более что у Василька сейчас "ножка болит" (в это время Бучуев как раз делал себе очередную "мастырку" на ноге до распухания и непрерывно просил врачей и лекарств, хотя при желании двигался вполне легко). Когда я справился с удивлением, то пообещал убираться тут же, но почему такое требование обращено только ко мне одному, давайте убираться все по очереди, как это делается в других камерах. В ответ получил:

"Ты за других не отвечай, это их дело, а говори лишь за себя". – "Хорошо, я буду убираться, но только в свою очередь", - уперся я. Неожиданно моё условие поддержал Борис и таким образом, наверное, расстроил первоначальное намерение Фетисова. Отныне Васе было запрещено убирать за всех, и восстановлен принцип очередности. С особым трудом давалось это действо Тобину, может, он в жизни никогда не держал тряпки. Вместо шкоды мне получилось, что Вася выиграл, да и я сам, потому что лучше убирать в черёд, чем стыдиться своего вынужденного паразитизма.

Однако скоро последовало столкновение по гораздо более серьёзному поводу. Принесли квитанции на ларёк. На моём счету осталось 17 руб. – если тратить по два рубля, то до суда могло бы хватить на 1 кг сахара и 4 кг белого хлеба в месяц. Так я и сделал, сунув свою квитанцию в общую кучу. Однако, вернувшись с Борисом после прогулки, натолкнулся на обвинение Тобина: "У тебя, оказывается, деньги есть, так почему ты не выписываешь, как все, полной нормы?" – "Я же говорил всем, что буду есть только хозяйскую пайку, что от денег и передач сам отказался, а эти деньги – последние, до лагеря и потому не могу я тратить их до конца". Объяснения не помогают. Фетисов возбуждённо бегаёт. Даже мудрый Борис, сначала попробовав их утихомирить ("Чего шуметь, ведь человек отказывался, мы же сами его заставили и никакого ларька не требовали") и поняв, что грузинское благородство здесь пронять никого не может, уступил: "Выпиши, Витя, ларёк по норме, а потом напиши письмо жене, чтобы выслала деньги. Так лучше будет, правда!"

Мое решение было однозначно: "Нет, я писать жене не буду, за кормёжку до сих пор спасибо, ларёк я сейчас выпишу полностью для вас, а есть буду только хозяйское, отдельно". Но Тобина снова заело: "Отдельно? Тебе, падла, покажут отдельно. К столу не подпустят, даже нож для хлеба не тронешь, на уши поставят, тебе дадут отдельно..." Все его утихомиривали, а когда я выписал ларёк почти на десятку, прибавив колбасу, сыр, конфеты, Борис при общем молчании заставил переписать

квитанцию в третий раз на 3,5-рублёвую норму (2 кг хлеба, 1 кг сахара, 0,5 кг масла), ибо обычно эти продукты все и выписывали, дополняя до пятёрки табаком, сигаретами и пр.

Спор утих, но меня от него продолжало трясти. Опять мне впихивают еду в глотку, но теперь не тюрьма, а сокамерники. Опять на меня давят, чтобы подчинился и был как все, а мне хотелось крикнуть, как раньше Валету: "Не привык подчиняться – ни партии, ни вору!" Но утерпел.

Обедать отказался – вправду не хотелось, потом мелькнула и тут же окрепла мысль применить голодовку, но теперь с требованием к камере. Мой обед в мисках переключался в телевизор спокойно – мало ли почему человек оставляет его до ужина. Однако свой ужин я сразу разбросал по остальным мискам, и эта акция стала уже информацией к размышлению. Спать я улёгся, заявив, что решил поголодать, а мой обед можно съесть или вылить, как угодно. Думаю, что им хотелось вылить мне его на голову, но кушать-то хочется, и ночью Васёк с Тобиным всё съели. Не знаю, что они там ночью решали, но когда на завтрак я попытался снова разбросать свою порцию, Борис возмутился: "Разве не видно, что человек решил отдавать то, что взял раньше. Как хотите, но я не могу так". Снова полилась ругань в мой адрес от Тобины: "И чего с ним нянчиться? Он, наверное, на ментов работает". Я молчал и только после завтрака объяснил: мне надо, чтобы никто не вмешивался, как и что я буду есть: перейду на хозяйское или буду голодать". Ответное молчание подытожил Фетисов: "Я согласен". Обедал я уже обычным образом, тем самым, покончив со своей второй и тоже успешной голодовкой.

А к вечеру принесли ларёк, на меня тоже. Не слушая моих возражений, Борис отделил полученное на меня: делай с ним, что хочешь, хоть выбрасывай. Тобин тут же: "Ребята, Григорьич, зачем выбрасывать, если хотите, я сам всё сожру, запросто", Его заткнули, но пришлось и мне идти на попятный, пока не кончатся ларьковые продукты. А через неделю, когда в "телевизоре" было уже пусто, Тобин от имени камеры спросил: "Так будешь ты выписывать в следующий раз полную

норму или нет?" и получил моё "нет". Утром Бучуев готовил бутерброды и сахар на одного меньше. Зато я стал материально независимым.

Сейчас эти ссоры кажутся мне такой мелочью, за себя стыдно, а тогда они были главными переживаниями взрослых людей. Можно подумать, что я только "капризничал", нет, я понимал, что меня обязательно заставили бы платить унижением и покорностью за участие в дополнительном питании. Это было видно по разговорам Тоби́на с Фетисовым: хотя "на спецу" всегда камеры жили семьями, общим столом, но и терпеть нахлебника долго тоже нет резона, "на общаке" таких быстро выбрасывают. Просто они выжидали скорого ухода Бориса, которого и уважали (он и вправду имел опыт общения с ворами), и ценили (имея несколько квитанций, он зачастую получал двойную норму продуктов). Так что мне и сейчас думается, что добивался я независимости правильно.

С Тоби́ным теперь я совсем не разговаривал, а он пользовался любыми поводами, чтобы досадить и вывести из себя. Он стал вторым изданием Валета, только ещё примитивнее и злее. Ожидание будущего столкновения угнетало страхом, хотя я старался не бояться. И всё равно, как будто находишься в одной клетке с кошкой, которая не сразу, но всё же опознает в тебе мышь, свою привычную жертву (евреев, интеллигентов, которых бил и грабил). Чем дальше, тем труднее Тоби́ну было сдерживать себя в рамках камерных приличий и опасений реакции остальных, особенно Бориса, тем соблазнительнее ему было перейти к нападению, к драке. Проходя мимо меня за книгой, он теперь непременно поигрывал мускулами и, как бы тренируясь, наносил удары по воздуху. Сквозь сон мне пришлось один раз услышать приглушённый спор, где на слова Свиридова: "А мне он всё же нравится, мент никогда так держаться не будет", Тоби́н отвечал: "Ну, как хотите, а я его всё равно зажму. Я таких видел... Пусть даже мне потом плохо от ментов будет, а прижму как надо".

Однако эти угрозы так и остались словами, потому что Борис и Свиридов сочувствовали мне, да и Фетисов с Бучуевым

держали внешний нейтралитет. Тобин не дождался ухода Бориса и Свиридова, ушёл первым. После его и Свиридова ухода баланс сил для меня не изменился, но воздух в камере очистился как нравственно, так и физически.

Одна из последних ловушек Фетисова–Тобина, в которую я попал, было расследование ими моего скрытого еврейства. Думаю, что шовинизм и антисемитизм этим людям свойственен не больше, чем любому из свободных обывателей. Правда, расхожие фразы: "мы их (негров, азиатов...) кормим " или "нацмены спекулируют, а русские живут хуже всех", или про "еврейское засилье" - звучат в устах уголовников ещё смешнее. Наученный спорами в 252-й камере, я старался держаться подальше от национальных тем. Но когда ко мне обращались напрямую, то удержаться было трудно. Особенно, если спрашивал Борис. Но, ввязываясь в интересный и уважительный разговор с Борисом, я часто оказывался в ожесточённой перебранке с Фетисовым и Тобиным. И хотя я тут же умолкал, но уже выданные мною возражения против русского шовинизма или в защиту евреев оставались в их спорах и как бы поддерживали их раздражение и подозрения: "А может, у тебя всё же есть родственники евреи?" Наконец, когда меня однажды допекли такими идиотскими вопросами, я устало согласился: "Да чёрт с вами, хотите считать меня евреем, считайте. Хоть горшком. Я и в школе, когда дразнили "французом" или "жидом", не отказывался. И сейчас не буду".

Помню, что в школе такое объяснение было принято правильно: как насмешка. Но Тобин аж залоснился в довольстве от такого "неожиданного успеха": сам признался в еврействе! Он даже чуть подобрел и успокоился, как будто я признал своё приниженное положение, сам согласился назвать себя "еврейчиком", т.е. человеком, которого Тобину следует только "прижимать " и грабить. Но, понятно, ему быстро пришлось разочароваться в своём "успехе".

Пришло время очередного ларька, Тобин снова стал ко мне притворно ласковым, выпрашивая купить "хотя бы "Беломору" для ребят". Я легко пошёл на это, решив кардинально

разделаться со своими деньгами, чтобы они больше никого не раздражали (Тобин от чужих денег шалел, как акула от запаха крови). Поэтому десять руб. я перевёл домой Тёме (в мае дни рождения Гали и Лили), оставил рубль на всякий случай, а на остальные купил папиросы для сокамерников - не для Тобина, конечно, а в благодарность за былое.

Последнее и очень резкое столкновение с Тобиным случилось сразу после ларька с "Беломором", когда он неожиданно согнал меня со своей шконки (у меня же своего места не было): "Садись, где хочешь, но только не на моей". Не подчиниться хотя бы из уважения к личной собственности я не мог, но и сдерживать своё негодование не мог тоже и уже без всяких тормозов выказал своё отношение к этому подонку. Он даже заткнулся против обыкновения и только через пару часов (типичный период осмысления) перед отбоем начал грозить дракой. Мне ничего не оставалось, как пойти навстречу: "Ну, давай, сволочь, попробуй, ударь!" Думаю, если бы не Борис, драка была неизбежной. Хватит с меня той детской ошибки. Моё общение с камерой 322 сходило на нет. И тем большее значение стали приобретать книжки. Чем больше молчишь с людьми, тем больше общаешься с настоящими людьми в книгах, в настоящей литературе, и такие книги были в тюремной библиотеке. В этом я сам убедился (см. Приложение 2.3). 71

Общения за пределами камеры

Итак, камера 322 оказалась "блатной" (так её называли сами надзиратели), а мой переход к уголовникам–рецидивистам следовало понимать лишь как следующую ступень тюремного

⁷¹ А. А.: «Какое было освещение в камере? Насколько оно позволяло много читать?». Л.Т.: «Витя сказал, что ему, в основном, хватало света».

воспитания, а может быть, следовательского давления. Сколько их ещё впереди и гораздо более тяжёлых этапов? Позже, на одном из допросов–бесед, на мой упрёк в оказании давления мне резонно ответили: "На Вас давят? Вы ещё не знаете, что такое давление по-настоящему!" Что имелось в виду? Лагерная расправа? Смертная статья? В общем, в тюрьме сам факт давления как-то не подвергался сомнению, и если я спорил об этом, то лишь доказывая, что применять его ко мне не нужно: на компромиссы я и сам готов пойти, а на предательство не пойду ни при каких условиях. А "они" не верили. Получилось в конце концов по-моему, хотя значительное количество лжи "они" из меня всё же выдавили. Значит, не зря старались.

Переводить меня на следующие ступени антимира оказалось не нужно, и, честно говоря, я не жалею, что не увидел этапы, пересылки, лагеря, всех сортов стукачей и уголовников. Мне достаточно было рассказов о порядках в разных зонах, я каждый раз примерял их к себе, многократно решал, как бы вёл себя в том или ином лагере, вступал в переживания борьбы за свою "мужицкую" независимость. Это были очень реальные прикидки, потому что люди рядом были прямо оттуда, и надо было строить с ними отношения прямо здесь, а путешествие в лагерь казалось совершенной неизбежностью (на "химию" надежды были исчезающе малы).

Растущий личный опыт показывал, что построить правильно свою линию жизни можно, хотя и трудно, что и в камере можно находить себе союзников и противостоять беспределу ублюдков.

Симпатию ко мне со стороны Бориса понять не трудно, а приязнь Серёжи Свиридова – сложнее. Наверное, он оставался в душе работягой, хотя и оттолкнулся от нормальной жизни из-за её размеренной скуки, а жил ещё неизвращённым добрым чувством. Похоже, на него действовало не обаяние моей политической статьи, а совместная разминка на яростном апрельском солнце, когда, воспользовавшись предложением

надзирателя, я азартно рубил ещё крепкий лёд лёгким, с плохо обструганной ручкой скребком и сбил руки до крови, а Борис и Серёжа не зло смеялись над моим упоением.

Нет, жить можно, ибо не все здешние жители были антилюдьми вроде Тобина. Как на воле, так и здесь - люди разные, в полосочку (вернее, здесь в клеточку). Просто зла и опасностей здесь больше, а хороших людей меньше, вот и всё. Выжить можно, но о хорошей осмысленной жизни и работе мечтать не приходится.

Весь апрель я был в камере без места, а из моих жалоб ничего не вышло. На первом же шмоне камеры чрезвычайно тщательно обыскали мои вещи и изъяли практически все бумаги. Наверное, по сигналам Егорова. Естественно, я стал писать жалобы на это изъятие и заодно, что лишили шконки переводом в камеру 322. Они оставались без ответа. Однако после того как написал прокурору по надзору, меня вызвал в следовательский корпус уже знакомый капитан-оперативник. После всегда приятной прогулки по общаковскому длинному светлому коридору руки за спину не менее приятно было видеть обыкновенный московский дворик с детьми и бабушками за окном капитанского кабинета. Думаю, этот вид был даже главным завоеванием и ценностью моего вызова к гражданину капитану. Он объяснил, что подследственным ничего писать нельзя, кроме заявлений или выписок по делу, поэтому мои записки (с воспоминаниями о детстве и о последующих поисках собственной веры, с попытками философского самоформулирования, набросками диафильмовских сценариев, итоговой статьи о прогнозировании потребности оборудования - предметом моей службы последних лет, с конспектами прочитанных книг) изъяты обоснованно. Я спорил с гражданином капитаном, ссылаясь на вывешенную в камере инструкцию по режиму. Там сказано, что заключённый имеет право держать при себе записи по своему делу, но не сказано, что не имеет права делать иные записи. Я упирал на то, что расширительное толкование законов и инструкций запрещается, а его ссылки на какие-то тайные инструкции отвергал и т.д.

Чувствовалось, что капитан не может противостоять моим аргументам, но в его руках была сила, и я сам не верил в своё красноречие. Поэтому одновременно я просто просил, объясняя, что без писанины мне трудно существовать и разбираться в себе, а без краткой записи и обдумывания содержания просто бессмысленно читать книги, запрет на такую запись равносителен для меня запрету на чтение. И вдобавок жаловался, что сплю на полу, хотя в других камерах есть свободные места. И снова упирал на нарушение моих очевидных прав, на запрет доставлять заключённым физические страдания и т.п.

Однако итоги беседы оказались для меня скудными: вернули только копии заявлений и записи содержания книг (чтобы при ещё более тщательном личном обыске летом отнять их окончательно). Что же касается спального места, то изолятор сейчас, к сожалению, переполнен, потому придётся терпеть, когда кто-нибудь из ждущих суда уйдёт: "Ведь в вашей камере есть такие?" - "Почему меня перевели из полупустой камеры в переполненную?" - "На это у нас есть причины, о которых мы не можем Вам говорить. Ведь и Вы не всё говорите следствию, вот и мы такие", - осторожно намекнул мой благодетель. "Впрочем, - добавил он, - если желаете, можно перевести Вас в общую камеру". Я не желал, хотя и постарался сохранить равнодушное лицо. Если камеру "спеца" можно сравнить с плацкартным вагоном, то "общак" – скорее с вокзальным залом ожидания. Перспектива долгой жизни в непрерывной вокзальной суете меня не радовала. Лучше я выжду, тем более что вопрос о шконке – не самое главное, не стоит моих нервов и жалоб, он разрешится сам собой. Так оно и вышло.

В середине апреля меня вызвал Бурцев. Первый раз после февраля. Мне так и хочется написать: встреча с милым Бурцевым, с Юрием Антоновичем, а на самом деле со всем прежним, милым миром, в нём сосредоточенным. И если я испытывал обиду, то скорее за долгую разлуку.

- А я уже перестал ожидать Вас, - мои первые слова в кабинете.

- Всё дела не позволяют, - ответил он спокойно и уже потом, как

бы заразившись моей лучезарностью, дружелюбно попрекнул: - Что же Вы пишете, что я угрожал Вашей жене? - А разве не Вы говорили, что с работы ей придётся уйти? - Это если она будет заниматься деятельностью вроде Вашей. Да, мы её беречь от наказания не будем. Но при чём тут...

Содержание дальнейшего разговора помню плохо, но, кажется, речь шла об экономических сборниках - ЗЭСах. Моё тождество с К. Буржуадемовым утверждалось уже как непреложный факт, который остаётся только доказать юридически, документально, что и будет обязательно сделано. Я не возражал, но и участвовать в этой "творческой работе" желания не изъявлял, от показаний и подписи снова отказался. Самое главное Бурцев сказал под конец, что он собирается встретиться с "Вашей женой, если желаете, то можете написать письмо, так и быть, передам".

Писал я про ерунду, что беспокоюсь о них, помню и боюсь за каждого, просил у Лили прощения за отказ от передач, просил помочь отцу в весенних работах на даче, поздравлял заранее Галю с днём рождения. Писал и глупо надеялся, что, может, получу вскорости ответ от самой Лили. Не надеяться на это было выше моих сил. Ведь почти три месяца я существую без всяких известий о доме. И каких месяцев!

Кстати о письмах. В камере ещё был мир, когда Фетисов объявил, что скоро у него будет то ли встреча с адвокатом ("своим в доску"), то ли очная со свидетелем, и потому кто желает передать письмо на волю, пусть пишет - "передать мне ничего не стоит, и не такое можем". Вернувшись раз с прогулки, я застал камеру пишущей: Свиридов, Тобин, сам Фетисов сочиняли послания. Соблазнился, конечно, и я. Полночи писал, подробно и обо всём. Толстый мой конверт был запрятан вместе с остальными до вызова Сашка, но вызова всё не было. Куцее письмо через следователя не отменило моего желания переслать Лиле полное, вольное.

Наконец, 30 апреля Фетисова вызвали "слегка" и наши письма уплыли. "Да не волнуйтесь вы, - улыбался Сашок, - всё о`кей будет, только, если меня менты вот сейчас не обшмонают.

Но ведь вы ничего такого не написали? Я говорил..." (Конечно, потом оказалось, что вольные письма как раз для "такого": Свиридов просил кого-то поколотить, а Тобин просил кого-то "поучить", чтобы давал нужные показания...)

Вернулся Сашок со свидания сытый, убажённый, с чаем, но чуть смущённый и молчаливый. На прямые вопросы отвечал с досадой: "Да ушли Ваши письма, всё в порядке. Чего пристали, в порядке, говорю. Вот только распечатывать их пришлось..." - какие-то двусмысленность и неопределённость были в его уклончивых словах, что стало ясно: ничего не в порядке. Однако камера к нему не приставала, настолько Сашок был вне сомнения. Я же был исключением. Потом-то я убедился, что наши письма были переданы прямо оперативникам, за что они и расплатились с ним чаем. А растерянность Фетисова перед нами объясняется, видимо, тем, что сначала он надеялся, что письма просмотрят и отправят всё же по адресам, а оказалось, что посылать их, конечно, не будут. И в голове его засвербело: "А вдруг всё вскроется?"

Но это позже, а в тот момент я убедил себя, что Лиля получит мои объяснения и станет ей легче. Тем более что наполнен в те дни я был совсем иным. Перед праздником меня снова вызвал Бурцев и отдал на прочтение письмо от Лили. Читал я его много раз, жадно – ведь отдавать надо, впитывая каждую строчку, и не мог насытиться. Так стосковался я по её словам, что казались они мне слаще воды после четырёхдневной сухой голодовки. Читал процеженные через бурцевскую цензуру родные строчки о детках, что помнят, об успехах Гали и Тёмы, что живут даже как будто нормально. Со стыдом читал просьбы не отказываться от передач и адвоката – не мог я это сделать. То был самый счастливый мой день в Бутырке, включая даже хмурое и опустошённое освобождение.

Глупая улыбка на морде и влажные глаза – я, наверное, даже надоел Юрию Антоновичу своим перечитыванием, похоже, он тоже растрогался. Во всяком случае, простился со мной по-доброму. Даже придя в камеру и лёжа на свободной верхней шконке, я никак не мог согнать счастливую улыбку,

твердя про себя отдельные строчки. И каждый, кто вышагивал мимо меня взад-вперёд, упирался в мою радость недоумёнными глазами: "Ну и ну, просто растёкса сегодня"...

Но судьбе захотелось поднести в этот день второй, почти равноценный подарок. Через час после возвращения я услышал за окном Валерин голос, вызывающий: "Сокирко! Витя!". Его перевели в камеру на нашем крыле, а поскольку он уже знал о нашем аресте и догадывался, что меня держат "на спецу", то и попытался дозваться. Для меня его голос за окном был потрясением. Переговоры камер через окна я слышал чуть ли не каждый день после отбоя и, особенно, среди кавказцев (много их было в Бутырке – может, и правда, что после ужесточения приговоров в Грузии тамошние воры перебрались в Москву), но почему-то не предполагал, что такое общение возможно для меня и не делал никаких попыток связи. Тут же я просто заорал, не успев добежать до решётки, "Да-да, я здесь, Валера! Это ты, Абрамкин?" И когда получил подтверждение, то взахлёб стал рассказывать о своём визите к Бурцеву, про письмо от Лили, привет от Бориса Пруидзе, а главное, содержание незадолго до того полученной от Саша Лавута записки, адресованной как раз Валерию. Саша был арестован совсем недавно, сидел напротив меня на другой стороне и, наверное, в общем боксе, куда нас по вечерам заводили во время простукивания решёток и шконок (от поломок и побегов?), он увидел на стене номер камеры, подписанный мною под кем-то нарисованным словом "Поиски".

Едва я только успел всё прокричать, как волчок-глазок камеры завертелся, в кормушку закричали: "Слезь с окна!", а после того как дверь распахнулась: "Вот этот самый!" Время для переговоров было, конечно, неудачное, дневное, и орал я слишком громко, вот меня и засекли. "Что, в карцер захотел? Это мы можем..." Я пытался делать вид, что ничего не случилось и даже не было, но виноватости скрыть не мог. Корпусной был хороший и в конце концов удалился, пообещав, что в следующий раз он меня не пожалеет: понятно? Мне было понятно, и я был благодарен.

На следующее утро Валера сообщил, что его вчера тоже "дёрнули" к Бурцеву (он вполне освоил бутырский диалект), впервые за два с лишним месяца, что Юра Grimm сидел, наверное, рядом, но потом его перевели куда-то (оказалось, "на общак"). Даже о прочитанных книгах поговорили. Я советовал ему Маркса-Энгельса и серию "Философское наследие", а он мне жаловался, что Канта и "Науки логики" в библиотеке нет, зато он добился, чтоб библиотека завела Уголовно-процессуальный кодекс, и его теперь можно выписать.

Такие разговоры у нас стали регулярными, раз в день-два. С оглядкой, конечно, осторожно и очень ненадолго можно было "вылезти на решку" и вызвать на крик близкого человека. Одиночества не стало. Но уже в начале мая Валера сообщил, что начал голодовку, требуя перевода в другую камеру, потому что создалась провокационная обстановка. "Значит, попал под пресс", - качали головами мои сокамерники, а у меня сжималось сердце: не только надо мной висели угрозы от уголовников, а ведь для Валеры отношения с архипелагом ещё важнее, чем для меня.

В тот же день его перевели и наша связь прервалась.

Из Лилиного дневника

2 апреля. Сегодня я опять себя плохо вела – опустила до мелочной мести. Наш Володя не отпустил меня на вторник, ссылаясь, что вторник - общеобязательный день. Сегодня он не отпустил на четверг, ссылаясь, что может быть собрание из-за очередного нарушения дисциплины, и отложил своё разрешение до вечера. Вечером он отказал без причины. Когда я спросила про пятницу, он: "Посмотрим". Но потом я всё же вернулась и спросила, будет ли он меня вообще отпускать, и получила ответ: "В настоящее время не имею возможности отпускать. Ты сама должна понимать". Тут бы мне повернуться да уйти, а я упрекнула его: "Зачем же сочинять про собрание?" Он мне что-

то невразумительное... Потом у меня долго–долго всё дрожало, я оказалась не на высоте. Как мне подняться, чтобы следующий удар судьбы встретить легко, посмеиваясь? Следующим, наверное, будет снятие с гибкого графика. Стоит посмотреть мои карточки, как они найдут сколько угодно огрехов. Правда, уже неделю я высиживаю все положенные часы, но в сегодняшнюю среду хочу записать, что пришла в 12.30. Пока Володя не ужесточит или вообще не снимет с дежурства, 2-3 часа я буду урывать.

Да ещё у меня есть возможность уходить в нашу библиотеку. Завтра я так и сделаю. Съезжу с утра, заберу часть материалов и уйду в библиотеку. Сейчас вроде охранники не смотрят, что мы носим через переход в библиотеку, а главное, это не служебные материалы. В общем, ещё много надо сделать, чтобы мне стало невмоготу. Если сегодняшний урок не пойдёт мне впрок, то значит, я не мудрею, а это очень обидно. Хочу быть мудрой и великодушной. Надо было простить Володе его слабость – не мог человек решиться сказать про навязанные строгости ко мне, стыдился. Хорошо ведь, когда у человека совесть не задавлена.

Всё, засыпаю, времени уже немало.

4 апреля. Только что ушёл Лёня П. [Подгородецкий]. Читал о тебе, высказывал своё и общее уважение. Оставил 50 руб. – от "народа". Я отказывалась, но не очень долго, т.к. знаю закомплексованность нашего "народа" – поняли б они мой отказ только как гордыню. Лёня читал твоё "Прошение", всё время вступая со мной в разговор - спор, но очень мягко. Нового я ничего не услышала. Для него было откровением, что в 2-страничном представлении тебя для "Альтернатив" сказано, что споры – твоя стихия.

Отговорила Тёмку ехать на Пасху в Пушкино, ссылаясь на доводы Лены [Сморгуновой], что там "всё просвечивается". К тому же о..Александр, как и в прошлом году, может пасхальную службу не вести.

6 апреля. Лена заезжала ко мне на работу, привезла дрожжи и подарки детям. Раньше она дала мамин рецепт куличей, и в пасхальную ночь я их пекла. Ничего получились.

В пятничную ночь легла только в пять утра, потому что обнаружила в разных закладках статьи Гр. Сол. о тебе разные ошибки. Пока не выправила, не легла.

На собрании в Тёмкиной школе решались бесчисленные вопросы "последнего звонка", выпускного вечера и пр. У всех поручения. Я взялась семь раз (на 7 экзаменов) доставить с рынка цветы.

Потом поехала к Люде [Ивановой] – у неё от ремонта остались обои. А я твёрдо решила сменить обои летом. У Люды стало красиво и уютно. За время ремонта она разучилась рано ложиться спать, но сейчас не нарадуется и хочется ей поддерживать чистоту. Ребята здоровы. Она молодая и красивая. Готовила угощения на воскресенье и научила меня делать куличи в кружках. Славные такие кулички получились.

У религиозников ещё одного взяли – Виктора Капитанчука. Шантажировали родных, мол, отпустим, пусть покается. Разговор с Людой для меня тяжеловат, т.к. всё время перекидывался на тюремные порядки...

Люда сказала, что совсем некогда отчаиваться: только соберёшься - идут на пятой минуте то один, то другой. Действительно, дети, как якоря в бурю, создают устойчивость.

Женя написал на книгу С.А. [Желудкова] рецензию и дал мне на чтение и решение, можно ли в таком виде отдать или надо исправлять. Доклад Жени ты, наверняка, помнишь. Рецензия мягче, но упреков в "плоскостности" много. И не знаю я, нужна ли эта рецензия С.А., сможет ли он ею как-то воспользоваться, идёт ли в нём усложнительная работа – ведь возраст немалый. С другой стороны, он переписывался с

Любарским, с тобой. Но вы оба "его люди", а теоретики, вроде Жени, тянут его в глубины, куда ему, может, и не хочется. Тебе б такая статья – солярка в огонь, а для него, может, ушат холодной воды. Что же мне делать? Женя писал статью долго, оформлял тщательно. Наверное, я всё же попрошу разрешения дать её на почтение С. [Славе] и Люде, как промежуточным звеньям, хотя Людина реакция будет, возможно, похлеще моей.

Ещё в тот вечер пришла телеграмма от Аси ей звонить. Оказывается, Некипелову уже нужен адвокат, а в списке, данном С.В. [Калистратовой], есть фамилия и нашего. Ася просит посодействовать. Я пообещала, хотя и сказала, что мне это жутко трудно. Договорились, что она пошлёт тебе деньги, потому что мои 15 руб. от тебя вернулись. Жуть, да и только. Особенно сейчас, когда я прочла письмо от Валеры, который использует деньги на полную катушку и просит ещё. Письмо Валеры подействовало успокоительно, мне стало отчётливо ясно, что тебе там неплохо, если уж Валера приспособился так хорошо. Разве что мешают динамик и допросы.

Катя [Абрамкина] была у нас вечером. Я показывала "Литву", "Космач" и "Львов". "Львов", как всегда, нравится больше.

Вечерние гости начались в пять часов. Привели мужчину и женщину. Мужчина интересовался работами, а женщина для меня – бесценная помощница. Юра К. [Коновалов] так ничего не написал. Лёша сочувственно говорил, что ему тоже нужно писать, а ничего не получается. В этот вечер мне показали № 8 и рассказали, что в Тамиздате уже есть № 1 ["Поиски"]. А ещё первый том наших дневников размножился на 5, и все тома влезли в плёнку, а я закончила письменные дела. Правда, следующий этап будет длительным, т.к. заниматься можно только по часу-полтора в день... В большом количестве появилась статья Померанца о тебе. Все хвалят её.

Приходили Л.[Лисовские]. Они Нину замуж выдают.

Пасхальное утро началось с уборки, что очень огорчило Галю: "Почему раньше было весело?" Потом она плакала, а я расспрашивала, что с ней: "Ты сама должна понимать". – "Не

понимаю, скажи..." Она стала говорить, что я мало занимаюсь детками, что они растут непослушными, что я вообще мало дома бываю. Но, наверное, это не основная причина её слёз. Поплакав, она продолжала грустить и не хотела убирать. Грусть её прервал приход Тани [Прониной] с Леночкой и Витей. Галя стала Леночке играть на пианино, читать (видно, ей и вправду деток не хватало).

8 апреля. Двенадцатый час ночи. Недавно ушла Соня, не дождалась Глеба. У него сегодня был допрос. Я просила его узнать у Бурцева о моём письме, а потом зайти рассказать.

9 апреля. Глеб пришёл и прервал моё писание. Соня увидела его в метро и вернулась вместе с ним. Удивляюсь, почему я так мало запомнила из его рассказов. Бурцев заявил, что моего письма не получал, поэтому было решено, что я поеду вручать его лично. Мне было велено никаких протоколов, даже первой страницы, не подписывать. Про Валеру Бурцев говорил, что тот относится плохо к советской власти, к коммунистам. У Глеба создалось впечатление, что круг интересов Бурцева – только "Поиски". Бурцеву удалось напасть на № 6, и перед Глебом вызывали этого парня. Интересным был его ответ на вопрос: "Откуда у Вас взялся 6-й номер? (на вопрос: кто Вам его дал? - последовал отказ отвечать) - "Он у меня взялся по моей личной инициативе, т.к. я этого хотел". Сегодня вызывали жену того парня и Костю с твоей шабашки. Ещё фраза из Глебова рассказа, сказанная Бурцевым про тебя: "Всё равно бы сел, лучше сейчас".

Глеб 5 часов говорил с хозяйкой "Zeit", много про тебя (как только хватило терпения у вашего друга?). Его спрашивали: "Не по лжи" – это значит "не врать" и что?" Где им знать наши проблемы...

Уже 10 апреля. Я так помалу пишу - отключаюсь. И сейчас, наверное, засну. Пришла в 10 ч. Была у М.И. [Казарновской] на дне рождения. У неё этот год тяжёл: три смерти друзей и три ареста. И надо было её повеселить, да нет почему-то сил.

Забавно, но у меня почти сразу после твоего ареста стала болеть пятка, как будто твоя боль не ушла с тобой, а переместилась в меня...

Вчера и сегодня хорошие рабочие дни. После копания в кассетах для научной работы я с таким удовольствием писала решения. Ещё бы сделать международный поиск! Но его пока можно отложить.

В 4 часа побежала в кино в Тёмкин клуб. Шёл фильм Акиры Курасавы "Расемон". Одно и то же событие глазами трёх участников и одного зрителя. Сколько прав... Ольга Г. была с дочкой. Расспрашивать про тебя не решились и в гости, похоже, не придут больше.

14 апреля. Вот и ещё одно воскресенье прошло. Показывала "Калининград", "Огонь Баку" и половину "Алтая". Было очень оживлённо, хотя только двое новых зрителей.

Забегал Глеб. Попил чай, послушал мой рассказ про визит к Бурцеву и убежал.

Я позвонила Бурцеву утром в среду, надеясь, что сразу и поеду, но он предложил четверг, с 10 до 17. Четверг так четверг. Сообщил, что пришло моё письмо ему и тебе, но письмо тебе

надо переписать. Последнее он сказал уже после того, как я порадовалась, что он получил-таки и ехать к нему не надо. "Нет, нужно, - сказал он грубым голосом, - я уже давно передавал через Катю (!), чтобы Вы зашли. Может, она не передавала?" – "Передавала, но у меня тогда не было нужды". Потом он позвонил вечером после 6-ти и перенёс встречу на пятницу. Я, конечно, не догадывалась, что он отозван на обыски. Их было то ли 6, то ли 9. Забрали Терновского из психкомиссии. Забрали № 7 "Поисков" - теперь у них почти полный комплект. Искали деньги, забрали даже сберкнижку с 14 руб. у Тани О. [Осиповой].

Встреча с Бурцевым началась с того, что он мне велел подождать. Ждать в узком тёмном коридоре нового здания Мосгорпрокуратуры было противно, и я пошла прогуляться. Увидев это, он сказал: "Вы, Лидия Николаевна, здесь не гуляйте, ждите там". – "Ну-прям", - возразила я и пошла дальше. Дошла до старого здания с лепными потолками, не торопясь погуляла по этажам. Вернулась – дверь открыта, меня явно ждут и не довольны моим поведением, но молча. Разговор начался с обвинения меня в "бурной деятельности". Из моего письма были вычеркнуты все упоминания о друзьях и их помощи. Но, главное, оставлена моя просьба не отказываться от адвоката. Переписав, я добавила, что "сейчас мне частично прочитали твоё письмо". Бурцев уверял, что твоё письмо к нему пришло после 28-го, и потому он мне не сообщил вовремя. Врёт, наверное. На вопрос, когда будет окончено следствие, ответил: «Ориентировочно через два месяца» (до Олимпиады).

Бурцев говорил о моей бурной деятельности, но я пресекала, сказав, что дел у меня теперь, конечно, стало больше. "Но ему-то семья не мешала!" – "Да, но женщине достается в семье больше". С этим он сочувственно согласился. На мою просьбу о передаче тебе трав: "Он мне никогда не говорил, что плохо чувствует себя". – "Да разве скажет. Я сама следила за его здоровьем". – "Значит, тоже врал, как и в своих писаниях". –

"Врал? Да ни слова вранья у него нет!" – "Конечно, так и должна говорить жена, которая хорошо относится к мужу... У нас с ним хорошие отношения". – "Ещё бы, с таким человеком". – "А вот вы говорите, законы плохие". – "Нет, законы хорошие, плохие исполнители..."

А дальше начался бессмысленный разговор о моём пребывании на суде: "Вас могут вызвать в качестве свидетеля". – "Да не буду я свидетелем! Не надо меня вызывать. Я сама приду, а захочу пройти в зал, меня не пустят. А Вы ещё говорите – законы". – "Я законы соблюдаю". – "Да уж".

Был ещё вопрос о помощи друзей. В чём она? Если это Фонд?... "Нет, - говорю, - Витя запретил мне брать деньги. Но помощь бывает самая разная – кто шапку свяжет, кто детей возьмёт на выходные дни, кто продукты принесёт, а кто просто поговорить придёт, чтобы можно было поплакаться. А вообще-то холодильник у меня теперь всегда полон".

Разговор кончился неожиданно. Он прочитал переписанное письмо, сказал: "Ладно" и свернул его. "Ну, теперь для начала несколько вопросов". – "Валяйте!" – "Как Вы разговариваете?" – "Ну, такая уж я грубая". – "Уходите. Без отметки". Я посмотрела на часы: ещё 11, успею. Сказала "до свидания" и ушла.

В начале встречи мы договорились, что если он сделает отметку о времени пребывания, то я могу сидеть сколько угодно. Думаю, что своим "валяйте!" я предотвратила допрос, а разговор провела спокойно, посмеиваясь. Он говорил, что оказывает мне любезность, читая твоё письмо, а я вот пишу ему такие угрозы. Ответила: "Тем лучше, давайте исчерпаем поскорее этот инцидент". – "Вы думаете, что мы тут специально вредничаем (не то слово, но тот смысл)". – "Да, думаем". Даже спросила, не заиграл ли он совсем П्लеханова? Возмутился... Книжки и травы взять отказался и разрешения на свидание не дал...

Весь день потом я улыбалась своему "валяйте".

Деток Володя [Сулимов] увёз рано, и они даже успели позвонить мне на работу. Как солидно говорит Алёша! Сегодня он меня спросил: "Почему к нам приходит так много гостей?" Я

ответила: "Потому что мы хорошие люди". А надо было бы сказать, что им с нами интересно. Ещё он выдал такую жуткую фразу: "Дядя Володя, Вы в гору нас двоих сразу не повезёте, а вот папа смог бы. Он очень сильный. Когда Брежнев умрёт, он будет взамен него". Откуда он только взял про Брежнева?

После работы побежала на родительское собрание. Опоздала почти на час, потому что, как у нас говорят, "насиживала часы". От собрания мне досталось лишь полчаса. Обычные вопросы: учёба, учителя, поход, мытьё окон. Но был и вопрос о поездке по Волге на 19 летних дней. Галя почему-то не записалась. Оказывается, поездка не увеселительная, а пионерская учёба, и оставшиеся в этой школе 3 года надо будет вести активную пионерскую работу, отрабатывая государственные расходы. А Гале пионерская работа уже обрыдла. Как рано...

Тёмка, услышав об этом от меня, пошёл поздравлять Галю с тем, что она поумнела. Мы вместе решили, что Галя объяснит свой окончательный отказ тем, что она занята в музыкальной школе и потому не может заниматься пионерской работой, а значит, и ехать. Интересно, что в момент моего возвращения с собрания Галя заканчивала писать сочинение о Ленине. До этого она с трудом читала книгу о Ленине, но сочинение писала с вдохновением и была счастлива от хорошей работы.

Суббота началась с уборки, глажения (стирала в пятницу ночью). Около 10 выскочила на почту получить возвращённые тобой деньги. Делаю попытку переслать их через Асю. Потом встретила с Мишей, он дал мне почитать письма отца Наримана, репрессированного в 38-м. В воскресенье читала со слезами, а ведь рядовая судьба тех времён.

В МВТУ отмечалось 50-летие нашей кафедры. Большой зал был переполнен, 33 поздравления в стихах дубовых и в стихах ничего. Конечно, подарки. Потом встречи и разговоры. Кафедральные все про тебя знают, спрашивали с сочувствием. Хорошее отношение ко мне чувствуется до сих пор.

Потом мы поехали к Сашке [Головину - согруппнику]. Никто из ребят про твой арест не знает, радио, видно, не слушают... Пришла домой только в час ночи. 14 часов празднования. Жуткое дело! Ты б такого не допустил.

...Тёма ездил на "День открытых дверей" в Физтех. Там ему понравилось: непринуждённая обстановка, шутки, веселье. В МГУ всё было чинно. Господи, хоть бы ему не помешали поступить! Вера считает, что не должны (она была у меня с Аркашей вчера).

Да, мне сказали, что следующий номер "Хроники" вышел.

16 апреля. Я сегодня дома. На три дня мне дали больничный. Каким-то чудом наскреблась температура 37,1. Такое ощущение, что не без помощи Господней – в конце измерительного периода левому боку стало горячо.

Радостно проспала полдня. Самочувствие хорошее, только слегка подташнивает и из носа течёт. Кашель мягкий. Очень мне хочется, чтобы продлили бюллетень, чтобы избежать субботника. Оля говорит, что можно сослаться на сердце, оно и в самом деле два дня покалывало. А если субботника не избежать, то надо будет делать лишнюю заявку и отдать ее в пятницу. В пятницу всё равно приезжать в нашу медчасть. Я впервые у нашего терапевта. Ей и медсестре работа, похоже, противна. "Что ей выписать?" – спрашивает медсестра. "Да всё равно что: аналгин или (ещё два наименования)", - отвечает врач. В кабинете у них мрачно, от начавшейся смены (второй) они ничего хорошего не ждут.

Я всё же не знаю, когда начать писать тебе письма. Конечно, этот дневник – тоже письмо, большое письмо, и я надеюсь его сохранить и донести тебе на свидание или, если это окажется невозможным, сбережь его до твоего возвращения. Мне сейчас очень грустно. Мне плохо без тебя. Тебе тоже. Твоё "сколько и как я о тебе думаю" повторяю по десять раз на дню. Верующий скажет, успокаивая себя: "Бог послал испытание". Тебе тяжелей, т.к. день твой не заполнен отвлекающими делами.

У меня же столько новых дел, новых знакомств, углубление старых отношений. Ко мне, как к твоей жене, относятся очень серьезно. "Твоё желание – закон", - сказал мне вчера по телефону Володя [Сулимов]. Аркаша [Шапира], с которым у меня раньше практических никаких общих тем не было, рассказывает о своих отношениях с П., как рассказывал бы тебе. Значение твоё растёт в глазах друзей. Саша О.[Оболонский], уходя от нас в воскресенье, сказал Оле: "Всё больше понимаю, какой Витя талантливый человек". С.А. [Желудков] считает тебя светлым человеком.

Люда звала к себе: "У меня отец Сергей". В понедельник я уже плохо себя чувствовала, но решила ехать, т.к. знала, что он к тебе хорошо относится. У них я застала Л. Терновскую. Леонард тоже в Бутырке. В этот день она передавала ему вещевую посылку. Хорошая улыбка. Женщина оптимистического толка.

На другой день я встретила с С. [Славой] (так и не решилась отдать Женину рецензию прямо С.А., только С.) Он передал мне, что С.А. ночь не спал и нашёл моё поведение греховным, т.е. оно слишком рискованное (сейчас надо забиться в конуру). Да не могу я забиться в конуру! Но, щадя этих очень осторожных людей, я должна освободить их от своего общения.

На улице яркое солнце и нет снега. А я поревела бы в полный голос, да Галя в соседней комнате. Вчера на солнышке огоньком зажгло стекло, и я порадовалась ему, как в детстве. Может, просто нахожусь под сильным впечатлением от книги Корчака "Когда я снова стану маленьким". С помощью волшебного фонаря гномика (воспоминания) он стал школьником и видит мир невзрослыми глазами, вернувшись в детство, ведет себя как школьник. Он переживает сильные детские огорчения: тетрадку пришлось дать списывать, на директора на бегу наскочил... А сколько в книге психологизмов детства, игры...

Сейчас беспокойство охватило меня: на полке над диваном не оказалось переработанной статьи о сталинистах, «Экономики», а также «Мой собеседник...». Добрые или

недобрые люди взяли их без разрешения? 4-го исчезли две странички про тебя для "Альтернатив". Трудно кого-то подозревать. Скорей всего взяли почитать. Так хочется думать. И всё же, может, Слава прав и за мной следят?..

Нашла! У Гали на пианино.

17 апреля. Утро. Тихо. Детки, как всегда, встали незнамо когда. Наигрались, даже выскочили "побегать". Потом все ушли. Я подмела и протёрла пол, сварила плов и села за стол. Сегодня мне нужно написать две выдачи и хоть немного пошить. Может, придёт Женя, нужно будет разговаривать. Позавчера Ася сказала, что ей вернули деньги для тебя на основании "отписки 4348/2". Что за чушь! Ты не берёшь деньги от жены. Почему ни от кого не берёшь? Попробую ещё послать от отца. Пора начинать писать тебе письма, только не буду отсылать их до конца следствия.

Тёмка вообще взял на себя твою функцию - одёргивать, точнее, сдерживать, тормозить мои расходы. Другие твои функции он берёт на себя неохотно: совсем не ездит и не звонит деду, на 1-е мая собирается на Селигер, а на 9-е – на КСП. Дела по хозяйству он всё же делает понемногу: заменил выключатель в нашей комнате, поставил себе новую лампу, повозился с "Нотой" и наладил её. Магнитола пришла в полную негодность, только как приёмник работает. Конечно, твои работы – субботняя уборка и глажка белья теперь мои. Галя по-прежнему отлынивает и всякую работу делает как одолжение – ведь её подружки вообще ничего дома не делают. Ей приходится водить малышей в садик по вторникам и пятницам, когда я на гимнастике, и каждый раз вокруг этого разговоры. Хотя вечером она всё же их забирает, убирает и кормит. Ну, куда денешься, если я прихожу поздно. Почти каждую среду с ними Наташа, кормит, укладывает, читает им сказки. Алёша дерётся в детском саду за девочек.

Ну, а я? Мне говорят, что я стала выглядеть лучше. Это первый взлёт от напряжения, и он уже проходит. Я без удержу ем и наливаюсь жиром, гимнастика не помогает. Но удивительно, что ещё нет ощущения собственной тяжести. По-прежнему легко прыгаю - бегаю и хожу быстро. Начала было голодать, но так мне стало грустно, что поняла – не справиться с грустью, не одолеть. И перенесла голодовку на лето, когда никто не будет видеть. А сейчас я бодрa и деятельна. Стараюсь для тебя, для себя, для детей, для друзей. Друзья вообще поразительно много о нас заботятся, выражая тем самым своё отношение к тебе. И хочется быть им благодарной. Для тебя я делаю вырезки из газет, каждый раз не уверенная, что вырезаю нужное и вечное. Пишу дневник (к моменту, когда отошлю это письмо, закончу первую толстую тетрадь и уберу её подальше). Для себя – моя работа, для детей – готовка еды, стирка, штопка, нечастые разговоры, для друзей - всё, что попросят.

Витин отец грустит. А я вчера размечталась о ссылке и о том, как буду приезжать к тебе на полгода с малышами. Работу, конечно, каждый год мне придётся искать новую, но это не страшно. Можно на зимний период стать истопником, мне б только выйти на рабочую должность и забыть, что я к.т.н. [кандидат технических наук - большое препятствие для приёма на рабочую должность, по крайней мере, в те времена].

21 апреля. Я ещё на больничном и голодаю четвёртый день. С аппетитом справилась легко, но сегодня весь день болят глаза, так что не буду продлевать больше намеченного и в среду начну выходить из голодовки. Живот убавился мало, но с боков спало.

В четверг приходила Таня П. [Пронина], грустная, уставшая. Она развелась, и теперь у неё забота – размениваться или добывать ему комнату. Сложности и у сына с учительницей литературы. Умерла тётка. На работе после пожара ещё нет успокоения. И я впала в уныние, и ничем ей не помогла.

В пятницу с утра отправилась по магазинам. Нет даже молока, не говоря уже про творог – пустеют магазины.

Потом заехала N, узнала нужный мне телефон, к вечеру встретила. Следующая, уже "тяжёлая" встреча [с перепечатанными текстами] намечается на субботу, 26.04. Дай-то Бог!

Вечером с малышами успела на собрание к Гале в музыкальную школу. Спросила у учительницы, нельзя ли Аню учить, та предложила привести её на Галино занятие. Анюту надо сводить к невропатологу или логопеду, т.к. в разговоре она торопится и повторяет одно и то же слово много раз.

В субботу до четырёх часов зашивала дырки, а потом с малышами поехала к Л. [Лисовским]. Малыши вели себя несколько развязно, ели за меня – я только пила воду. "Свадьба" была двойная – новая Нинина и их 25-илетней давности. Подарила Нине простыню, теперь ведь долго мне двуспальная не понадобится.

В воскресенье Юра К. [Коновалов] показывал свой д/фильм. Ну, не совсем свой. Его подбор музыки, а слайды Лёши, художника и фотографа. Этому мальчику двадцать лет, и у него устремленный в общемировые проблемы взгляд. Мне музыки было слишком много, а среди слайдов не нашлось ни одного созвучного.

Сегодня долго читала твою статью «В защиту либералов...»⁷², чтобы сверить и вообще почитать тебя. Не так давно нашла в "Партизанском кино"⁷³ один тезис и поняла, что он хорошо выражает твоё жизненное кредо:

"... я агитирую за туризм, за внимание к природе, **за жизнь во всех её проявлениях**. Элементарная мысль, что надо не только жить интересно, но стараться, чтобы и окружающие жили интересно, тогда интерес удваивается... Аморально молчать, таить в себе узанное, морально – раскрыть полученное богатство и в меру яркости своих впечатлений заинтересовывать других... Книгу прочесть или спектакль смотреть, конечно, не для того, чтобы потом написать о них

⁷² См.: <http://sokirko.info/ideology/samosoznanie/index.html>

⁷³ См.: <http://sokirko.info/Tom1>

заметку, а писать, чтобы удовлетворить естественное желание высказаться после прочувствованного".

26 апреля. Прости, что так редко пишу. Закруженная. Сейчас попробую восстановить неделю. Вечером в понедельник с "Нотой" и проектором ездила к Померанцам, возила "Аня, Алёша и мы". Проигрыватель у них оказался новым, и подключиться к нему я бы не смогла, если бы, к счастью, не оказалось, что Тёмкин одноклассник, который живёт рядом, - дома. Он принёс провод с нужным штекером, а потом остался смотреть. Фильм понравился. Гр. Сол., правда, говорил, что надо бы найти хорошего режиссера, чтобы подправить вторую (растянутую) часть. Как всегда, моя часть не удовлетворяет.

Поговорили о моём "греховном поведении". Я тебе не дописала, т.к. не сразу поняла основное обвинение С.А. А оно в том, что я по телефону говорила Люде о Валерином письме. Просто с самого начала я была уверена, что его передал кто-то из вышедших, а мне сказали, что им мог быть и вохровец, и я тем самым его подвела. Я ношу в себе стыд за этот поступок, сначала очень острый, но сейчас, когда я столь многим покаялась, уже легче - как бы сняла часть греха.

Гр. Сол. меня, конечно, пожурил, но и ободрил. Его условие: сколько угодно говорить по телефону о том, что "они" знают и ни грамма того, что "они" могут не знать.

27 апреля. Обещаю себе писать не больше трёх часов, потому что "кровь из носа" надо написать две выдачи. Во вторник 22-го я вышла на работу. Сперва была очередь к врачу – закрывать больничный, потом приехал из Смоленска заявитель, и до трёх с перерывом на обед мы работали над его формулами. В перерыв у меня была встреча с Юрой Д. [Дружниковым] и не совсем приятный разговор. Он по сути дела отказывается от работы над книжкой твоих писем, потому что не экономист и не может позволить себе править то, что не понимает и т.д.

Но скорей всего я сама отбила у него интерес тем, что сказала: "А ну их – тех, что на Западе. Лучше на своих ориентироваться". Решено, что в конце мая он мне всё возвращает со своими, какими сможет, правками. Ещё он передал привет от евреев [деньги от еврейской правозащитной организации].

Среда 23-го была днём переноски тяжестей. С утра было две сумки: одна со слайдами и плёнками (накопилось, понимаю, что нехорошо), а вторая с банкой компота и прочим для Лены [Сморгуновой] (у неё день рождения). Сперва завезла сумку со слайдами, полегче стало, потом на работу. В 11.30 встретилась с Лёшей. Хорошо поговорили о психосоциологических исследованиях Вали [Чесноковой]. Потом поехала в Матвеевское [к машинистке] и к Лене [Сморгуновой]. Лену, правда, не застала дома, но через Юру [мужа Лены] передала поздравления, цветы (какое счастье, что попались), банку и, получив два апельсина взамен. Умчалась счастливая, что все дела переделала.

В начале третьего вернулась на работу. Но не тут-то было. Позвонили и в 6 час., нагрузили 5-ю комплектами сборников [ЗЭС] (кроме второго и восьмого). Они оказались уже порезанными и сложенными! Это снимало столько проблем: куда нести и когда успеть порезать. От счастья я почти не чуяла тяжести. А главное, договорились ещё...

Пришла домой, а здесь Наташа Ш. [Шеремет]. Пошла её проводить, и она рассказала очередную жуткую "олимпийскую" историю. Их институт должен не позже 15 мая переехать в новое помещение, которое ещё не закончено и принято будет только после их переезда. Но поскольку оно не принято, туда нельзя везти химреактивы, большинство которых куплено на валюту. "Оставляйте", - распорядился директор.

Вот так закончился мой день переноски тяжестей – 6-й день голодания.

Четверг был спокойным. С утра, правда, сходила на рынок пешком через ж.д. переезд. Хотела прогуляться, т.к. чувствовала себя неважно. Нужно было купить морковки и сухофруктов. Морковка на нашем рынке по 2 руб. (в магазинах её давно нет), а сухофруктов нет. Зато купила прекрасный компот в магазине, видно азиатский, потому что наполовину из фиников (выбрала их, чтоб отнести Лиде в роддом). В 4 час. выскочила с работы, чтобы бежать в Тёмкин клуб. Но плёнку с "Пасторалью" Иоселиани днём отвезли... в Париж. Воспользовавшись случаем, заехали с Тёмкой в "Детский мир" и купили ему брюки - его пришли в негодность. (Сейчас выстирала пиджак – привожу сына в порядок).

Потом поехала на Центральный рынок и успела до 6 час. купить кураги, дешёвых яблок и немного орехов для Лиды. Морковку не успела, поэтому поехала за ней в пятницу на Дорогомилловский рынок. Он оказался не хуже Центрального, цены те же и выбор большой. Нагрузилась опять яблоками по рублю (в магазинах их вовсе нет), сухими грушами и морковкой (все-го-то за полчаса) и поехала на работу. Здесь и цветов много, так что для Тёмкиных экзаменов я отсюда их буду возить.

Да, получила я премию, заниженную по причине "качества". Не выясняю, противно. Тоня Пл. [сотрудница], взбешённая той же причиной, ходила в контроль качества и сняла почти все замечания, которые ей делал новый замзав отделом – удивительное сочетание приятной улыбки и жестокости. И теперь Тоня громыхает, чтобы с неё сняли клеймо "за качество". Если мне ещё раз занижат, то и я пойду спорить, потому что боюсь, что со временем это может стать поводом для перевода меня в м.н.с.

В пятничный вечер мне принесли ещё часть сборников, но перед этим я сильно переволновалась. Их не было полчаса, и я дрожала, что их остановили.

Сейчас я неожиданно для себя разревелась, увидев на календаре обведённую тобой датой «21 сентября». В этот день нашей семье 18 лет, а мы не будем вместе и в 19, и в 20 лет. Это ужасно. Это ведь самый главный наш праздник! В прошлое

воскресенье я тормозила Галю: "Вставай, побегаем всей семьёй". Через два дня Аня меня спросила: "Почему ты говорила: побегаем всей семьёй, ведь у нас сейчас не вся семья?" Они живут весело и полны своих забот, но о тебе тоскуют.

Ну, вот и кончила реветь. Буду жить дальше. Как-то тебе там? У меня столько забот, а ты один на один со своей тоской по нас.

В пятничный вечер заходил Серёжа [Белановский], но ничего толком не рассказал. Станный был разговор, односторонний, но когда пришли трое наших зрителей, и ему пришлось уходить, вдруг заявил, что жаль, т.к. хотелось поговорить. Я же просто устала искать темы для разговора...

Наутро в субботу отправилась к Глебу. Он рассказал, что был у Бурцева и понял, что не Бурцев ведёт дело. Оно у них не вытанцовывается, нет свидетелей: из 50 опрошенных 15 отказались, некоторым собираются предъявлять ст. 182 за отказ [от дачи показаний]. Глеб сказал, что приостановка журнала вовсе не закрытие, как я думала, а ожидание положительного ответа.⁷⁴ Если его «Продолжайте!» не будет, то журнал всё равно возобновится, т.к. желающих его выпускать больше, чем было два года назад. Глеба вызывали, потому что в письме Гершуни нашли фразу: "два молодых редактора отправили журнал на Запад" (это смысл). К тебе Бурцев, действительно, не ездил ещё, но в пятницу собирается "навестить всех троих" (его фраза по телефону).

От Глеба я помчалась в музей Рублёва. Пригласила сюда меня Ксана, может, помнишь её, из генетиков. Она упросила одного из ведущих сотрудников музея Сергеева начать цикл занятий по "иконе". Он начал, будучи неуверенным, что захочет

⁷⁴ А. А.: «...положительного ответа от кого?». Л. Т.: «От Бурцева, который де разберётся, что журнал вовсе ни вредное издание и прекратит дело, т.е. даст отмашку – «Продолжайте!»». Представляю, какими глазами Бурцев смотрел на него. Он, может, тоже не имел дел с такими виртуозными мозгами».

с нами работать. А в конце сказал, что мы, конечно, дикари, но цепкие дикари и ему с нами интересно.

Тёмка непрерывно сидит за столом или лежит с задачами на диване. По английскому у него идут четвёрки. Вчера Ксана сказала, что поступление Тёмы в военные МИФИ или Физтех – оскорбительно для тебя. Тёмка не согласился, т.к. он знает людей, которые после этих вузов работают не на войну.

28 апреля. Деток вчера привезли в половине восьмого, а я не успела сделать вторую выдачу. Да и первая требует изменения чертежей, сегодня вызвала автора, отдала в переделку. Если б не с родной кафедры – не стала бы возиться. Почему-то много времени ушло на уборку. Тёмка вроде взялся помогать, но пылесос не тянул, с трудом почистил ковры, а всё остальное мне. Конечно, это не твоя уборка.

Утром вынула из ящика уведомление о посылке, порадовалась, но не углядела, что она на Тёмку. А теперь его нет и я разрываюсь между тремя задачами: первая - надо сегодня получить посылку, чтоб не дать яблокам сильно испортиться, а почта по понедельникам закрывается раньше; вторая – надо отбить на работе карточку в 6 час, т.к. на этой неделе только один ГРД-шный день ⁷⁵ третья – в 7 час. встретиться с Лёшей, чтобы пойти к Юре.

⁷⁵ На вопрос А. А., что такое ГРД, ответ Л.Т.: «ГРД – гибкий рабочий день с обязательным временем присутствия на работе с 12 до 16 час каждый день, кроме библиотечного, который могли и не дать, а остальные часы 32-40-часовой недели (часы пробивались на личной карточке) можно было «насиживать» в любые будние дни с 8 (7) до 21 (22) час. – подзабыла. Но у каждой из нас было ежемесячное задание, напряжённое: определённое (в зависимости от зарплаты)

Аня сегодня про тебя говорит, решила писать письмо, прорывается послать полученные яблоки.

30 апреля. Предпраздничный вечер. Ушла с работы в половине четвёртого. Начала писать отчёт и чуть успокоилась. Материал начинает утрясаться потихоньку. Но чем дальше, тем меньше я понимаю, что я хочу получить, какие выводы. И как мне быть с тем, что патентов мало. Их можно собрать больше, если увеличить глубину поиска, но как это объяснить? Ведь я составляю среднесрочный прогноз и потому надо смотреть не глубже, чем на 15 лет...

Писать трудно, т.к. дети ходят туда-сюда. Сейчас Алёше понадобилось "натуральное мыло", чтобы обрызгать им тех больших мальчишек – школьников, которые обрызгали Сербину и Краснову (он защитник девочек в своей группе). Оба кашляют и хрипят, а завтра нам ехать на дачу. Едем со всеми Сулимовыми.

Во вторник с утра Бурцев зачитал мне по телефону кусочки твоего письма:

"Лилечка, спасибо за любовь, твоё письмо заменит мне все передачи. Я понимаю, какую неприятность я доставил тебе, но ничего нельзя изменить - слишком далеко всё зашло в отношениях с тюрьмой и коллегами по камере. Мне очень важно знать, что я делаю для вас всё, что могу. Я здоров как никогда, никаких трав не нужно. Высылаю тебе доверенность на вещи, я оставил себе необходимое. А то пропадёт. Очень скучаю по всем Вам. Ещё раз поздравь Галю с днём рождения, а тебя поздравляю с 25 мая. Пусть будет весело. Тёмой очень горжусь. Если бы он еще поступил, чтобы я не считал, что испортил ему жизнь... Адвокат бесполезен. Ты же помнишь, как было в 1973 г.
"

Дальше такой разговор:

количество заявок на изобретения изучить, сделать поиск и написать свои заключения, а также ответить на все возражения заявителей на отказы в выдаче.

- Видите, он отказывается от адвоката. - Нет, это ещё не отказ, а сомнение. - Тогда я поеду к нему с адвокатом, он напишет отказ, а я его заверю. - Видно, Вы заинтересованы в том, чтоб не было адвоката. Передых, может, воздух набирает. - Знаете что, мне всё равно, будет у него адвокат или нет. - Ну ладно. Когда поедете? – Она [адвокат Сильва Абрамовна] обещала звонить.

Кончив разговор, я снова разревелась, выругала тебя, что отказываешься от адвоката (на передачи я уж не рассчитываю). Я не знаю, найдётся ли среди наших знакомых человек, который одобрит твой отказ от адвоката (от передач - нашлись). Попробую уговорить Сильву А., чтобы она очаровала тебя.

Вечером получила оставшиеся сборники. Самое трудное дело сделано почти до конца.

Утром Алёша спросил меня: "А когда мне будет семь лет, папа приедет утром или вечером?" И сам ответил: "Наверное, вечером, ведь ехать ему далеко". Потом добавил: "Он, наверное, приедет награждённым". А за два дня до этого Аня, лёжа в постели, беспокоило тебя вспоминала, а потом спросила: "А можно я напишу папе?" - "Конечно". Она счастливо улыбнулась и, продолжая улыбаться, закрыла глаза совсем успокоенная... Ждём мы тебя...

2.4. События мая

Празднование 1 мая и камерные новости

Наступили майские праздники. Мне уже пришлось здесь встретить один праздник - 8 марта. Он ничем не отличался от прочих дней кроме выдачи с утра двух 3-х копеечных булочек (при отсутствии белого хлеба они были царским угощением от Подреза). Но 1 Мая запомнилось настоящим праздником. Возбуждение в камере царило с раннего утра, может, от солнца, бьющего в окно ещё до подъёма, и от щедрого весеннего тепла. Почему-то все встали раньше и взялись за основательную

уборку: мыли не только пол, но и стены. К завтраку доски на столе были свежевывмытыми, а медные краны сверкали золотом. На завтрак нам выдали двойную порцию белого хлеба (на 1-2 мая), т.е. по 13-копеечному батону на человека, а Борис принудил меня взять от его доли сыр и масло в честь праздника (иначе для него и праздника не будет).

И с прогулкой повезло: в сдвоенном, большом дворике мы гуляли лишь троём с Борисом и Васьком, который бормотал что-то доброе про племянницу Танюшу и собаку Дуная. По небу шастали лёгкие облачка, надзиратели наверху улыбались эковским шуткам, а у старого и всегда злого прогулочного старшины оказалась вся грудь в медалях и орденах. Даже он глядел торжественно и покойно.

На ужин была картошка с селёдкой - тоже праздник, а перед отбоем все бросили домино и полезли к "решке" глазеть на салютные сполохи в московском небе. И хотя волчки продолжали крутиться, никто нас от окна не отгонял.

С Валерой в этот день мы, кажется, не разговаривали, но окно выдавало разнообразную информацию. В очередной раз прошёл получасовой "лай" - так развлекался какой-то псих с нижнего этажа, то ли на спор, то ли придуривался. Он всегда гавкал долго и неутомимо, не обращая внимания на несущиеся со всех сторон: "Да заткнись ты, падла! Закрой пасть!" Дальше ещё хлеще, а в ответ невозмутимо наглое: "Гав!" Сегодня же реакция на лай была добродушной: "Давай, давай..."

Но самое большое впечатление - это когда вслед лозунгу с Красной площади "Да здравствует Коммунистическая партия!" раздался истошный крик: "Смерть коммунистам!", много громче динамика, и какой-то нервный, разноголосый отклик: "Ур-ра!"

Мои сокамерники не кричали, они только одобрительно переглянулись: "Во дают!", а Фетисов не преминул похвастаться: "А что? Я тоже коммунистам лаял в лицо и ничего мне за это не было!" Я молчал, как всегда колеблясь в своих чувствах. Впервые слышу открытый лозунг борьбы в советской тюрьме, но ведь какой страшный лозунг! Даже если это не экстремизм, а просто хулиганство, даже если от какого-то вора и

бандита – всё равно – он преддверие разгульной анархии, слабый отзвук страшного будущего. А может, то был крик какого-нибудь Валета или Фетисова, и тогда он - свидетельство не только необоримой силы карательного аппарата, позволяющего себе даже "это", но и его страшной природы, позволяющей играть даже "этим".

Тогда провокация показалась мне наиболее вероятной (сейчас я думаю по- другому) и было потом грустно от такого праздничного воспоминания: довелось услышать только один оппозиционный лозунг в тюрьме 1980 г., да и тот бандитский и, наверное, провокационный. И вспомнилась безнадежность оруэлловского "1984 года". Нет, в этом мире невозможно возлагать надежду на оппозицию. Лозунг "Смерть коммунистам!" должен остаться и умереть здесь, в тюрьме. И как бы мне плохо ни было, никогда я не буду радоваться этим словам и тем, кто способен их кричать. Не мой это мир и никогда им не будет!

Сразу после праздников из нашей камеры неожиданно "выдернули с вещами" Тобина и Свиридова. От ухода первого все вздохнули с облегчением, о втором жалели. Я, конечно, был доволен, что получил собственную лежанку и мог валяться на ней, когда хочу. Исчезло и непрерывное напряжение от ожидания столкновения с Тобиным. Отступила настороженность и готовность к неожиданной драке: "Только не бояться боли и обязательно самому бить в его лицо, прямо в нос, не глядя в глаза, не жалея, как они сами учат. Побольше бить самому, раз уж всё равно быть избитым",

Но не успел я как следует расслабиться и отойти душой, как произошла моя первая (и, слава Богу, последняя) драка в тюрьме. Нас было четверо, когда после завтрака пришли забирать мои зимние вещи, отобранные для помещения в камеру хранения, а потом для передачи домой. Моё решение было вызвано не столько наступившим теплом, сколько пристальным вниманием, особенно Тобина и Бучуева, к моему мешку с переданным Лилей барахлом – уж слишком его было много. Когда я всунул в него ещё и зимнее пальто, мешок вообще стал

огромным. Частые разговоры о том, как спокойно грабят новичков на пересылках и в лагерях ("А что тут плохого? - рассуждал Фетисов. - Ведь если я, допустим, каторжанин, особняк, а это быдло кто?"), набитые чужими вещами котомки Фетисова, которые он просто рвал на тряпки для варки чифирия, такие же склонности у других, делали понятной судьбу и моего имущества. Против такой перспективы протестовала вся моя душа. Не столько из-за врожденной скупости от крестьянских дедов, а больше от нежелания поддаваться: "Не будет повашему!" Отсюда и возникло решение: оставить себе только необходимый минимум, а большую часть спасти, передав домой, и только в лагере обзаводиться тем, что нужно. Доверенность Лиле я передал через Бурцева, но, зная, как долго идут там бумаги, решил избавиться от вещей пораньше. Об этом знал только Борис, и потому для Фетисова и Васька появление работников камеры хранения было неприятной неожиданностью. Ещё вчера Василёчек уговаривал меня уступить для мехового пояса мою зимнюю шапку: ведь в зоне всё равно она мне будет не нужна, не разрешат носить, а до освобождения ещё далеко... ну и так далее. Я ответил, что, может, ещё зиму придётся в Бутырке сидеть, а уеду - сыну домой перешлю. Потом краем уха слышал, как Фетисов успокаивал Ваську: "Да брось, не стоит. Никуда он от нас не денется". Они уже считали мой мешок своим, а теперь оказалось, что "их" вещи реально уплывают из рук. Конечно, обидно, но тогда я ещё не понимал.

Захлопнулась дверь за моим узлом, осталась на руках лишь квитанция. Зловещую тишину нарушил Фетисов каким-то изошрённым ругательством по адресу моего "неимоверного жмотства", казалось бы, совсем без повода. В голосе было столько злобы и ненависти, что я сразу ощетинился: мол, какое твоё собачье дело, что я сдаю. В ответ я получил неожиданный удар в лицо. Он бил с разворотом, и я успел уклониться – кулак только оцарапал кожу. "Ах, ты!" - хотел размахнуться и я, но Фетисов тут же вошёл в клинч, задышал грязью в ухо. На помощь к нему подскочил Бучуев, вдвоём они стали валить

меня на шконку у стола. Не остался в стороне и Борис. Мгновенно оценив ситуацию, он уцепился за Бучуева: "Вася, не лезь, отцепись, не трогай их, я тебе говорю... или со мной будешь драться?". Под грудой трёх тел я всё-таки сел на шконку в обнимку с Фетисовым, а когда Борис оторвал от нас Бучуева, то смог четыре раза ударить своего недруга по голове (не сильно, ведь размаха не было) и бил бы дальше, если бы он не отскочил сам. Мою попытку догнать теперь блокировали Борис и Бучуев на правах разнимающих. Оттесняемый, я всё же сделал выпад, попробовав достать кулаком до лица – так было важно для меня, никогда в жизни не дравшегося, ударить этого человека в лицо, заставить себя это сделать, как бы уничтожить свою невинность в драках и подтвердить способность быть и выжить в волчьей стае. И хотя мой удар не достиг цели, он как бы укрепил моё преимущество. Мы разошлись, тяжело дыша.

Фетисов стал над умывальником, меня Бучуев попытался усадить в углу на шконке: "Сиди здесь", но я злобно оттолкнул его: "Снова лезешь!" и стал расхаживать по камере, успокаиваясь и инстинктивно утверждая своё право на территорию. Как волк. В конце концов, в свой угол убрался умытый Фетисов. "Ерунда, он раза четыре меня по голове ударил, не сильно, руки-то слабые, - объяснял он Бучуеву, потирая голову, - но ничего, мы теперь с ним каждое утро тренироваться так будем..." Но это было уже беззубое огрызание, которое я старался парировать презрением: "Давай, давай, хоть по утрам, хоть сейчас!" Да я был не против таких упражнений, Фетисов для меня не был сильным противником, и преодолеть своё интеллигентское чистоплюйство на его морде я смог бы. Но Фетисов этого не хотел и утром ни о чем таком не вспомнил. Более реальным было следующее: "Погоди, до твоей квартиры доберусь, гад буду, сожгу." (Делается так: через замочную скважину вдуть бензин, а потом бросить спичку. Но сколько до этого ещё ждать?) "Вот придёт кто из настоящих лагерников, тогда с тобой другой разговор пойдёт!" Его угрозу я воспринял болезненно, остановился и произнёс внятно: "Побить меня, конечно, вы сможете, но имей в виду, что именно тебе это

достанется недёшево". Пусть понимает, что в любом таком случае буду бить именно его, чтоб заранее ныла у него шкура, когда будет подговаривать новеньких на гнусность. Думаю, что на Фетисова моя угроза подействовала, потому что когда летом к нам и вправду пришли два настоящих лагерника, никаких поползновений к организации избиения не было. Даже наоборот.

А столкновение того майского дня закончились для меня осознанием давнишнего предчувствия. Парируя угрозы Фетисова, я помянул, что вражду между уголовными и политическими выгодно разжигать "ментам" и, мол, смотри "чью грязную игру ты играешь", а в ответ получил: "Не всё только вам стоять за правду" - неожиданные и непривычные для Фетисова слова. Он как бы забылся и не только не отверг моё позорящее предположение, что он делает услуги "ментам", но и объединил себя с ними. Конечно, мои соображения сейчас кажутся слишком тонкими и неопределёнными, но тогда его оговорка вдруг превратила подозрения в уверенность: "Стукач!"

В ту же ночь я уничтожил второе письмо, подготовленное для передачи через Фетисова домой - там была статья о потребности и о поисках детской веры. Всё пошло в унитаз. Так лучше, чем отдавать прямо "ментам".

Через неделю к нам прибавили пятого – **Сашу**

Григорьева, стройного парня 18 лет, ученика ПТУ из хорошей рабочей семьи, перворазрядника по плаванию. Красив как бог. Первый арест. В январе он шёл с дружкой (17 лет) по ул. 26 Бакинских комиссаров, конечно, выпивши. Мимо ехал "частник", сигналил, потом протиснулся, задев крылом дружка. Оскорблённый за друга, Саша ругнулся и хватил кулачищем по буржуйскому багажнику. Водитель остановился, вышел и стал стыдить и ругаться. Но вдвоём они живо сбили его с ног и молотили кулаками и ногами, пока от магазина не подбежали люди и не оттащили избитого с тяжёлым сотрясением мозга в больницу на месяц.

Следствие шло не торопясь, а при закрытии дела по обвинению в злостном хулиганстве с нанесением тяжёлых

физических повреждений в конце апреля следователь посадил обоих друзей. Неделю Саша просидел в общей камере, где и положено сидеть, а почему перед судом его перевели к нам – непонятно. Впрочем, через неделю ему принесли обвинительное заключение (кстати, в Бутырке этот документ называют "объебон" – кратко, метко, но, к сожалению, неприлично), а ещё через пару дней вызвали с вещами на суд. И осталась у меня память о здоровом и красивом мальчике, умном, вежливом и безнадежно погибающем, так было очевидно, что лагерь сделает из него нового уголовника как будто это ему на роду написано – он сразу вписался в тюремный быт и "на общаке", и здесь, на всё смотрел с живейшим интересом, как свой. Фетисов тут же взял его, зелёного, под своё учительство, балаболит с удвоенной силой, вытаскивая из памяти одну лагерную историю за другой, вполголоса вталкивал различные способы ограбления квартир и "настоящей жизни". Передача воровского опыта шла ускоренным образом, пока, правда, в виде рекламы, противопоставления скуке обычного "воловьего существования" и дурости хулиганского "беспредела" ("Не люблю хулиганов – дураков", – часто говорил Фетисов), "роскошной жизни коммунистов" и т.д. И всё это падало на благодатную почву. Не из вежливости, а с неподдельным интересом Саша сразу с ним соглашался. Ни жизнь в нормальной семье, ни учёба в ПТУ, ни спорт, ни будущая работа на заводе его не интересовали и не могли противостоять воровской романтике. Я как будто увидел Серёжу Свиридова, каким он, наверное, был перед первой посадкой. На деле и Сашу воспитала не семья, а уличные товарищи, лагерь же только отшлифует в нём уголовника. Я спросил: "Саша, неужели тебе не жаль, что зря избил того частника?" Он удивился: "А как же иначе? Ведь он задел моего друга "И ни о чём не жалеешь?" – "А что, здесь интересно..."

Случай рядовой, безнадежный. Мы с Борисом иногда пытались расшевелить, пробудить в нём желание иных, человеческих целей и ценностей, но, думаю, безуспешно. Борис говорил, что на первый раз Сашу не будут судить строго, дадут не больше двух лет, в лагере он окончит десятилетку,

приобретёт специальность, вернётся домой, женится и жить будет "на пять". Саша улыбался, но молчал. Я же был откровенен: жаль, конечно, но лагерь добру не научит, и воровской судьбы Саше, видно, не избежать, а это значит, быть всю жизнь без семьи и настоящего дела, всю жизнь между пьяными кутежами и лагерными сроками. Я надеялся, что такой мрачный, но реальный прогноз может заставить Сашу одуматься, если не сейчас, то позже, и вернуться к ценностям нормальной жизни. Жаль ведь – уж очень ладный и пока хороший мальчик, а вот тонет в фетисовском липком обучении прямо на глазах.

Тюрьма, как воровской университет, действует до сих пор успешно. Я это видел сам. Обучение происходит непроизвольно, стихийно и именно потому, наверное, так крепко и слаженно. Обучаемых к этому толкает скука и неосмысленность их жизни на воле, а уголовников – престижное желание учительства и покровительства. Фетисов сразу хватал нового молодого человека и брался за передачу опыта и его преобразование по своему подобию – гораздо активнее любых платных учителей на воле. Грустный парадокс, но именно охранявшие нас солдаты и офицеры МВД создавали условия для этого обучения, делали его круглосуточным и неизбежным.

Через пару дней после ухода Саши его шконку надо мной занял следующий "пассажир" - **Вова Ч.** (уже забыл фамилию). Его перевели к нам из правого крыла "спеца" (в их камере собирались делать ремонт). Тоже молодой, 20 лет, но уже вполне "обученный", сформировавшийся. Тоже красив, но не мальчишеской, а какой-то округлой, порочной, даже чуть ожиревшей красотой (хотя в камере продолжал заниматься зарядкой и неприкрыто накачивал силу). "На спецу" он сидит уже несколько месяцев, сейчас ожидает вызова на "Серпы", т.е. на психозэкспертизу в институт судебной экспертизы им. Сербского. Придя к нам, он вначале даже решил, что попал к "психам", ждущим отправки туда же (хорош у меня, наверное, был вид, раз тоже сошёл за психа). Конечно, Вова "гнал", т.е. придуривался, чтобы уменьшить или даже совсем избежать

причитающееся ему наказание. Иногда он "гнал" даже с нами, наверное, для практики, то подчёркивая своё заикание, то уверяя в своём общении с чёртом или навевая ужасы прорицаниями. На деле же он был вполне нормален и здраво рассуждал. Не так давно ему удалось уйти из армии с помощью психосимуляции, думаю, что и сейчас он добьётся своего (если только Фетисов на него не стукнет, не зачеркнёт всей игры).

Закончив 8 классов школы, он работал парикмахером, прежде чем заняться более денежными и, наверное, преступными делами, о сути которых он ничего не рассказывал. Только глухо поминал, что денег у него дома немало, и потому мать может слать ему переводы в двойном размере (как и Борис, он продукты в ларьке получал по разным квитанциям, что очень ценилось в камере). За что именно он посажен, понять было трудно: какая-то ссора с женщиной, которую он толкнул на газон, она ушиблась, а потом по совету подруги подала заявление об изнасиловании, но в это сам следователь не верит и т.д. – думаю, темнил он. Да и не важно за что, но я уверен, что посадили его правильно.

Один сын у матери, он был явно избалован ею, потом подружками школьными и иными. К 20 годам он прожил уже богатую половую жизнь, начиная с 13 лет, был женат в 17 лет (разрешение на брак было выдано ввиду беременности невесты). Растёт у него сын, впрочем, не у него, т.к. фактически он их бросил, хотя формального развода ещё нет, "потому что Вова не желает платить алименты. - «Пусть только подаст на алименты, крыса, придушу...". И не жаль даже его жены–подруги, романтической, ленивой, тоже избалованной единственной дочки, а жаль её маму – старую коммунистку, "ведьму", дуру и пр., по отзывам Вовы. По избалованности женщинами Вова переплюнул даже Тобина. И по презрению к ним тоже. Всех, и особенно жену, он звал исключительно "крысами", предназначенными быть только постельной и домашней прислугой. "А я свою крысу всё же этому выучил", - обычный Вовин оборот. 20-летний парень говорил это с бравадой, выдавая своё хамство за какое-то ханство, достоинство.

Где и когда он успел его набратся? Опять парадокс: от слепой до безнравственности материнской и женской любви. С детства его запросы всё росли и удовлетворялись не личными усилиями и трудом, а любящими людьми. А когда растущие запросы превышают возможности близких людей, наступает кризис, даже отчаяние, выходом из которого часто становится преступный способ добычи благ. "Я тогда понял, что только не надо дрейфить..." – так Вова как-то нечаянно объяснил мне свой душевный перелом, переход от состояния балованного ребёнка к взрослости наглого вора, паразита, презирающего людей. Не было в детстве привычки добиваться благ трудом, значит, не было трудовой морали, а потом осталось только преодолеть инстинктивный страх перед наказанием, стать "смелым" – и преступник готов!

Вова с гордостью объявлял себя шизофреником, подчёркивая, что все гении были шизофрениками. От этого шёл его интерес к книгам, не ко всем, а к избранным, которые, как ему казалось, могли бы увеличить его культурный уровень, а правильнее, начитанность, как оружие в жизни. Впрочем, в этом он был похож на Фетисова, а если подумать, то и на отечественных "деятелей", которые занимаются тем, что приспособливают "буржуазные культурные достижения" к идеологическому оружию для "борьбы за коммунизм". И Вова, и Фетисов очень интересовались моими серьёзными книгами и вперёд меня хватались за тома Гегеля, Ламетри, Ф. Бэкона. Но Фетисов при этом хоть сознавал, что брался за трудное дело, вгрызался, главным образом, в более доступные для понимания примечания к тексту, и пусть извращая и перетолковывая до неузнаваемости примитивизма, но усваивал эту часть книги, а Вова брался за того же Бэкона с пренебрежением, читал молча, даже не прося у меня разъяснения непонятных слов, и, наверное, ничего не усваивал, но вид делал чрезвычайно умный и критический. Может, он запоминал обороты и названия, но, думаю, главным было сознание, что он философов читал и убедился - чепуха всё.

Правда, в остроте соображения и словесной хваткости ему отказать было нельзя. Конечно, на услышанных где-то словечках и поверхностных суждениях далеко не уедешь. Думаю, что это от молодости, потом он поймёт большую правоту Фетисова, даже с их сугубо утилитарных, воровских позиций. Отнестись же к серьёзной книге просто с интересом познания чудесного мира, а не как только к "интеллектуальному оружию", они просто не смогут. Для этого надо перестать быть ворами.

После Бутырки мне особенно противно стало такое варварское отношение к культуре – братья за её изучение лишь как за способ получения превосходства над другими. Умножение положительной культуры на дурную нравственность только увеличивает общую отрицательную величину. Так прививалась многие века западная культура к России, превращая её в величайшую империю. Так русский лакей перерабатывал вольтерьянство, так русский революционер перерабатывал марксизм и т.д. и т.п.

В отличие от Саши Григорьева Вова был мне неприятен - он уже был уголовником худшего сорта, античеловеком по убеждениям. Кстати, судьба может повернуть так, что, помыкавшись по тюрьмам и психушкам, как умный парень, Вова решит, что бандитские деньги не стоят такого риска, и выберет для себя более рациональный, почти легальный путь паразитизма, например, уход в мошенничество, которому почти не грозит уголовное наказание. Но уголовником и античеловеком он быть уже не перестанет.

С каким интересом расспрашивал Вова меня, как можно добиться права на выезд за рубеж! По его представлениям только там он сможет развернуться (наверное, иметь больше власти и денег), а на крайний случай, завербоваться в иностранный легион и "убивать негров". Говорил на полном серьёзе, убеждённо. Я же думал: какая странная, казалось бы, идея, а на деле, сколько логики в этом образчике молодого русского фашиста. Не по названию, а по натуре.

Вова был слишком самостоятелен, чтобы полностью попасть под руководство Фетисова. Меня он воспринимал как политического, с некоторым интересом, но и только. Задачи установления своей власти в камере он не ставил, в фетисовские интриги не ввязывался, и потому мы могли оставаться нейтральными и равнодушными друг к другу.

26 мая с утра от нас вызвали с вещами Бориса Григорьевича, а на его место прислали сорокалетнего мужика из Латвии. Запомнил только имя – **Валентин**. Среднего роста, худой, но мускулистый (любимое развлечение - ходить по камере на руках), прибалтийский тип лица (похож на нашего знакомого Витаутаса), держался молчаливо, холодно, сдержанно, говорил по-русски чисто с едва уловимым чужим выговором. Объяснял, что он русский, но родители его жили в буржуазной Латвии, потом были в войну в Сибири, теперь снова под Ригой. Латышей и песни их не любит, но кажется мне, что лукавил он и по характеру своему и привязанностям - близок к латышам, а может и просто латыш, но не хотел об этом сообщать. Его основная беда – запой. Один раз он уже провёл два года в ЛТП (зона для алкоголиков). Дома снова запил. Поехал на заработки на Урал, но не доехал, застрял в Москве. Снова пил на вокзалах, потом с какими-то случайными друзьями ограбили квартиру (тоже под градусом) и были сразу пойманы. Но почему-то я так и не поверил в такое простое объяснение.

Своей сдержанностью, лишь пару раз прорвавшейся ненавистью ("с коммунистами можно бороться лишь автоматами") и откровенностью ("был бы шанс, обязательно ушёл за рубеж") Валентин казался мне значительнее заурядного пьяницы. Тем более что воля у него была. Когда он пришёл, то курил, а на другой день заявил, что бросает, и два месяца до своего ухода переносил муки терпения среди дымящей камеры совершенно невозмутимо. В общем, Валентин остался загадкой. Для меня в то время молчание тоже становилось основной формой существования, и потому мы невольно

симпатизировали друг другу, но почти не выражали этого внешне.

С уходом Бориса Григорьевича я остался в камере один, но Фетисов потерял желание меня как-то трогать. Даже наоборот, приходящим новичкам, наверное, объяснял моё особое положение, удерживая их как от навязывания своего общения, так и от неприязни за мою отдельность. Такое положение сложилось уже летом, и конечно, оно меня очень устраивало - лучшего нельзя было и пожелать. Но в мае я был ещё настороже.

После отнятия моих личных бумаг, после уничтожения письма с экономической статьёй я уже не мог с интересом писать о своём, зная, что оно будет неизбежно уничтожено, и потому мои интересы ещё в большей степени сосредоточились на книгах. Отношения с библиотекой тогда уже наладились. Кроме обычных книг мне носили тома "Философского наследия" и переписки Маркса-Энгельса. Требования на книги для сокамерников, по устоявшейся привычке, я составлял сам, конечно, учитывая их желания, но, советуя выбирать больше русскую классику и, вообще, хорошую литературу, как сам понимал. Поэтому чтения мне хватало. Вот только что от него осталось? ⁷⁶

Лилины записи

7 мая. Сперва про 1 мая. Уехали мы из дома примерно в половине четвёртого. Детки извели меня своими "скоро поедем?" и больше ждать не могли. А около 4-х приезжал

⁷⁶ А. А.: «Как заказывались книги без каталога? Наугад? Методом проб и ошибок?». Ответ Л. Т.: «Библиотекарь приносила с собой список книг Бутырки, если попросить. У Вити тогда была цепкая память. А будучи в камере голодающих, Витя написал большой список «серьёзных авторов» и художественных книг, которые он просит приносить, и библиотекарьша принесла ему сразу 8 книг (см. ниже).

Саша К. [Кузнецов] с поздравлениями и цветами. Очень жалею. Цветов за это время мне никто не подарил. Хоть сама себе покупай.

Сулимовы пришли все и даже с Блэки (её Володя таскает в рюкзаке на груди). Электричка была свободной, автобус тоже, и в 7 часов мы были на даче. Натопили, накормились, попилили дрова. Спала я наверху и замёрзла. Утром начался дождь и холод. Сулимовы были легко одеты, но, слава Богу, нашлась им одежда. С утра мы начали корчевать и выкорчевали 6 замёрзших яблонь. Конечно, работка ещё та! Но Володя работал очень старательно. Поговаривал, правда, при усиливающемся дожде о приостановке, но мой энтузиазм не иссякал. Я работала, как ты, радостно, с шутками: копала, рубила корни, пилила ветки и стволы, толкала и пихала. И так вошла в мужскую роль, что за столом в шутку заявила: "Я сегодня на мужской работе и потому за вилкой не пойду, дождусь, пока мне её принесут". Ты бы так не сказал, конечно, ведь ты же не в роли, а действительно, мужчина. Все детки закапывали ямы, ломали ветки и жгли. Выкорчевали твою любимую антоновку, сожалея о ней и тебя вспоминая. На её месте я посадила два куста смородины. Непривычно голо стало в саду. Нет теперь деревьев перед домом, нет грушовки, нет яблони около пчёл. И пчёл не видно, но это, может, от холода.

Детки собирались давать концерт, но устали и за ужином почти заснули. Алёша спал плохо, у него болели уши, и мне пришлось лечь с ним на его кровати, чтобы укрывать и жалеть. Так и проспала до утра. Ноги плохо умещались, зато было тепло.

3-го было ещё холоднее, но без дождя. Володя с отцом сняли трубу от бака - она полопалась. Все-таки не надо её выбрасывать, а попробовать заварить. Я, может, и сама смогла бы (учили ж нас на сварочных мастерских), если б были электроды и аппарат. Может, поговорить со Стреляевым? Везти из Москвы новые трубы – дело нелёгкое. И насос почему-то перегорел. И ещё - натянули плёнку на парник. Я то пилила, то

таскала, то копала. Детки работали гораздо меньше, чем накануне. Было холодно, и им не хотелось выходить из натопленного дома, а потом пришла к ним Катя, и, конечно, о работе они забыли.

Ушли мы с дачи в четвертом часу. В 16.40 была электричка, почти пустая. Сели у окошек и кое-кто заснул (я в том числе рядом с Алёшей).

4-го Алёша проснулся в 10 час.(такого с ним не бывало). Тёма в школу не пошёл - писал билеты, Галя ходила на три урока (потом ей надо было ехать на концерт в институт Гнесиных). Анюта целый день просидела из-за своего кашля дома, Алёша гулял. С утра я стирала, хотя очень болела и даже опухла правая рука, видно, от перегрузок. Крутить бельё ею было несладко. Выстирала, прослушала "Латвию" и "Среднюю Азию", разобралась в вырезках РЖ [реферативный журнал].

Около 7 час. Марина привела своих двух одноклассников, и я начала показывать, не рассчитывая на гостей. Но они всё-таки пришли, и пришлось вытаскивать второй стол. "Средняя Азия" мало кому понравилась, но разговоров по её темам было много, и это самое главное. На прощание показала им коротенькую "Латвию". Сожалели, что маленькая, но чёткая и приятная. Лёша оставил мне и Регине американский тест на 566 вопросов и обещал после обработки дать полную картину моей личности. Смущает, что не на все вопросы я могла чётко ответить "да" или "нет". Но что будет, то будет...

Утром 5-го начались невесёлые будни. Занялась классификацией отобранных патентов, сидела до 9-ти вечера, т.к. в 11 надо было встречать Галю и Дашу из оперы (я подарила Гале к рождению билеты на "Ивана Сусанина"). Девчонки выбежали счастливые, с массой впечатлений. Хорошо от них, а Галя ещё и помогла мне донести одну из тяжёлых сумок.

Дома узнала, что Галя ушла в театр, когда детки гуляли. Алёша сам открывал дверь... Взрослеют детки. Люся К. [Колодяжная] как-то спросила Алёшу: "Как ты считаешь, ты бедный или богатый?" Тот посмотрел на себя (они были в это

время раздеты до трусов) и сказал: "Бедный". Люся принялась убеждать его в обратном.

Звонила отцу. Он очень доволен нашей работой, прямо не знает, как и похвалить. Я слышала, как он Клаве, когда мы забирали удобрения, хвастался про выкорчёвку.

Вечером были Витя [Сорокин] и Серёжа [Белановский]. Серёжа почти весь долг [напечатанные статьи] отдал. Они очень хорошо поговорили, Серёжа удивительно цепко мыслит. Я стала к нему лучше относиться. Он, похоже, единственный работающий человек. Меня удивило, что в разговоре с ними я могла участвовать, если не на равных, то с полным пониманием.

Планов и дел у меня теперь много. Хандрить некогда. Сегодня с утра звонила адвокату, она назначила встречу на вторник. Надо встретиться с Е.М. [Евгением Майбурдом], чтобы спросить о его возможностях участия в экономическом сборнике. Сейчас, слава Богу, звонила Соня, заедет, и я смогу её попросить вернуть экономические статьи, которыми они до сих пор не воспользовались - могут пригодиться нам.

10 мая. Соня пожалела статьи, сказав, что они ещё не потеряли намерение ими воспользоваться, но, конечно, после летнего сезона. Тогда я сказала, что заберу заведомо своё. Тут уж она ничего не могла сказать, хоть ей и досадно было. Но может это подстегнёт? Нет, скорее расхолодит. Ну, что поделаешь.

8-го И.Н. [один из псевдонимом Сергея Белановского] познакомился с Е.М. [Майбурдом]. Плодотворно поговорили. Но я стала понимать, что И.Н. недостаточно ответственен: ни сроки, ни объёмы, ни комплектация не выдерживают критики. А главное, забывается основное назначение, дух сборника. Оно, наверно, ему и не по силам. А кому? А может просто такого желания и понимания, как у тебя, нет.⁷⁷

⁷⁷ А. А.: «Сборники ЗЭС выходили и после ареста Сокирко? Если да, то кто этим занимался?». Ответ Л. Т.: «8-й номер собирал В.

8-го же приходили дедушка и Т.П. с подарками и не только Гале. Отец бодрый. Говорит, что в прошлое воскресенье меня не узнавал – другой человек. Забавно. Я отвечала, что я теперь за двоих. Долго обсуждали, как делать ремонт в нашей квартире.

Утром 9-го я приготовила еду к праздничному столу Гали и какие-то ещё домашние дела поделала, а в половине второго отправилась на КСП. Доехали к 6-ти, пришли только в 9 час. Такой грязной и изматывающей оказалась эта "короткая" дорога (12 км по шоссе на другой день оказались мне в удовольствие, и прошла я их за 2,5 часа). Ну, правда, по грязи с нами шёл Саша и под конец он очень устал. Как хорошо, что я пошла без малышкой!

Пришли. Палатки стоят на большой поляне, наклонной к речке. Очень быстро верхний слой дёрна был растерзан, и пошли КСП-шники месить глину глубиной с четверть метра. Дождь. Юрина группа под тентом, но он не так уж велик. Настроение – ближе к костру. Не поют, тоскуют... Из Люсиной группы поёт, похоже, только Люся. Так и не удалось мне их утащить на "Антигону" (помнишь Сергея – истого революционера, ты с ним разговаривал на Валериним "Воскресении"; он постановщик спектакля).

На начало их спектакля я опоздала, а с конца мне пришлось уйти, т.к. наметила себе выход в 4 часа к первому автобусу. Пьеса, которую они ставили, была о народовольце Александре Зимине. Я такого не знаю. Может, имя вымышленное? Возможно, они сами написали пьесу по дневнику. Парень 17-18 лет разрывается между любовью к электричеству, где в силу талантности делает едва ли не открытия, жалостью к родителями и стремлением к справедливости. Все молодые, красивые, артистичные...

А до "Антигоны" я посидела у костра Костромина. Саша не пел, а только аккомпанировал.

Сорокин, 9-й – С. Белановский, 10-й и 11-й – они оба. Претензий к содержанию от Вити (освободившегося) я не слышала».

У земляночников подавленное настроение. Их пригласили в качестве квартирьеров. Они приехали заранее, и вдруг от их услуг отказались, а лагерь перегнали на другое, более низкое место. Далеко, плохая поляна, тонкий слой дёрна под ногами 4-хтысячной толпы быстро превратился в глубокий слой грязи, и люди были вынуждены ломать ветки под палатки.

Общий концерт с длинной "левитановской" памятью войны был скучным. Поздравление космонавта Иваненко - почётного президента КСП, конечно, создавало определённое настроение. А Костромин не пел, потому что "самодеятельная песня умерла в 74-м году". К. убеждал, что она возродится авторами вроде Луферова и Бережкова – самодеятельной песней на новой гражданской основе. Нет, наверное. Расцвет её был связан с подъёмом общественным. А в нынешнем застое что может родиться?

На другой день (Тёма рассказывал) был парад, на котором самое интересное – по-нищенски одетые демонстранты с лозунгом "навстречу 25 слёту!"

Я же походила по кострам – где застала песни Кима, где красивый дуэт. Уходя, отметила, что хоть и грязная, но звенящая поляна была мне в радость, тепло и празднично было на душе.

Кстати, М. [Майбурд] обещал закончить обещанную ещё тебе экономическую статью, только надо его тормошить, что я и начала делать.

15 мая. Продолжу. 10-го я была дома в десятом часу. Помылась, 10 мин. полежала и отправилась в музей Рублёва. Мы продолжили осмотр выставки и опять рассмотрели две иконы. Вернувшись из музея, я чуть подремала и уехала на дачу. Была там уже в 7 часов. Отец дом натопил, поэтому я занялась сразу огородом. В темноте, когда мы ужинали, приехал со слёта Тёма с другом. Утром он помог деду перетащить ульи, установить насос. Потом ребята пилили, ушли в половине четвёртого. Нас с отцом подвозил В. Стреляев. В Москве были в начале первого ночи. Как ни странно, но на автобус к нам я успела. Помогло, что бегала по переходам с пылесосом в

рюкзаке и магнитофоном на шее (Тёмка просил довести, видно, он ему осточертел, а и вправду, тяжёлый).

Во вторник днём ходила к адвокату, Показывала твои фото, просила поискать слова, чтобы убедить тебя от неё не отказываться. Она уверена, что это коллективное поветрие, что тебя не убедить, но пробовать будет. Я просила не говорить, сколько её услуги будут стоить, но сказать, что я не буду нести никаких расходов и что вообще мы без тебя живём лучше (мы, действительно, богатеем, несмотря на довольно крупные расходы).

Вернувшись на работу, решила показать твоё фото за машинкой сотрудницам. Они теперь всё чаще наедине заговаривают о тебе, в основном, нет ли каких новостей от тебя. Да и я по телефону свободно говорю.

Вчера звонил С.А. [Желудков] прямо из дома и поздравил тебя с тем, что ты стал знаменитым - в воскресенье "Немецкая волна" прочитала "Мой собеседник Виктор Сокирко", предварительно рассказав о Померанце. С.А. продолжал утверждать, что он рад знакомству с тобой и со мной, но я не могла отделаться от мысли: с тобой - да, со мной - нет. Вот и Люда не звонит.

В среду приехала на работу к 9-ти. Думала съездить к машинистке отвезти бумагу и за сборниками и ещё ждала звонка, но заработалась, не хотелось по дождю. (Хотя всё-таки сбегала в магазин и была поражена: яйца по 1,05 давали по одному десятку. Эту мелочь-то!). Галя всю неделю сдаёт разные экзамены в музшколе, и ей не до магазинов. Звонка же так и не было.

Вечером мне опять не удалось лечь спать пораньше – с Наташей проговорили до 12-ти. Детки ей всегда радуются, потому что она им книжки читает. Им, конечно, нужно общение. Во вторник они мне подробно рассказывали о взаимоотношениях в детском саду. Хулигану Маслову с его командой противостоит наш Алёша со своей. Команда Маслова затаскивает девочек в какую-то пещеру и снимает с них трусы (пока только так). И ещё Маслов принёс нож и поднёс его к

Алёшиному лицу. Тот завопил, испугавшись. Испугался и Маслов. Суровую школу проходит Алёша, но, может, от этого ярче будет жить. А Маслов, наверное, прирождённый хулиган, и вид у него несимпатичный, преступный. Анютик откровенно не хочет ходить в детсад и просится на дачу.

В четверг мы с Тёмкой посмотрели венгерский фильм Фабри "Пятая печать". Оказывается, венгерское кино - лучшее, что есть сейчас на мировом кинематографическом рынке. Но нам их не показывают. Они слишком откровенны, трогают глубоко вопросы нашей жизни. Я склонна связывать подъём киноискусства с развитием у них частной инициативы. Фильм меня захватил с первых звуков, не отпустил ни на секунду моё внимание и прямо-таки вдавил в кресло своим концом. Было трудно решиться встать.

Вчера приходили Саша Э. и Аня. Саша рассказал про свою стычку с партчиновниками, которые, прослышав фамилию Нейман, пришли выяснять, не из отказников ли он. Выяснилось, что другой, что член общества "Знание" и выступает у них на самых законных основаниях. Саша порадовался, что они ещё не усмотрели Померанца. Но, возможно, Саше больше не удастся проводить вечера и лекции – закрывающая на всё глаза директриса уволилась.

Мои три заявки, взятые домой, ждут решений, а я читаю в № 8 ["Поиски"] "Дневник оккупанта" о событиях 68 года в Чехословакии. Мне всё кажется, что это действительно дневник, а Тёмка настаивает, что худ. произведение. Конечно, можно написать и от лица идиота (в данном случае – дубоватого нашего парня из семьи низко квалифицированных рабочих).

Сейчас придёт Тёма (куда он девался, уже 5 часов?), устроим уборку новым пылесосом. Детки у Жени и Люси. Я им очень благодарна, что берут детей и занимаются с ними, может читать научат...

Да, получила с Запада, неизвестно от кого, четыре книжки художников – Тулуз-Лотрека, Сезанна, Брейгеля и Босха. Очень приятно! Обратный адрес есть, пошлю хотя бы открытку.

19 мая. В субботний вечер так и не занялась ни отчётом, ни заявками, всё читала № 8. Очень симпатичный журнал. Дочитала "Дневник оккупанта" – живая, яркая картина событий в Чехословакии, как ясенел взгляд у солдата. Но самое лучшее чтение всё же – Померанц. В этом номере 7-ая часть "Снов земли" – "Иосиф в Египте", о Сталине. Ну и, конечно, с интересными отступлениями. Ясный тон, широкие обобщения. Теперь я поняла, за что он тебя полюбил - за отсутствие фальши. "Я вижу на многих лицах интеллигентов фальшь, невольную, мучительную фальшь (это наш крест), иногда злостную фальшь, т.е. тщеславие, умение повторять умные слова и связывать их так, как следует, по всем правилам, кроме одного: не говорить того, что сам не пережил. Я напрягаю все силы, чтобы не сказать ни одного не пережитого слова..."

20 мая. В воскресенье на дачу ехали на машине Я.И. [Лисовского] Отец обрадовался. На даче он вообще бодр и деятелен. Я.И и Володя С. принялась за пилку, Регина с Т.П. что-то сажать, а я копать сорняки в малине - уж очень заросла. В начале четвёртого двинулись, чтобы заехать к маме на кладбище. Посадила нарциссы и маргаритки. Посидели, вспомнили.

Приехали в половине шестого, так что я всё успела: и вымыться, и пироги поставить. "Армению" заказывала Марина П., но она не пришла, т.к. была в лесу, где справляли Валерин день рождения.

Показ диафильмов прошёл, как обычно. Я ошибалась только, показывая Санаинский монастырь - не успевала ставить слайды к звучащему тексту. И как раз в это время пришла Галя П. [Потрахова]. Тихо села и стала прилежно смотреть. Оказалось, что приехала поздравить меня с днём рождения, т.к. уезжает на пять дней на соревнования. Гале я очень

обрадовалась. Всё же жаль, что мы не общаемся с нашей туристской компанией.

На естественный вопрос, почему началась армянская резня, я не смогла толком ответить. Сейчас прочла в энциклопедии и вспомнила твои объяснения. В пятницу будет "Ленинград". Опять на что-нибудь не отвечу...

Вчера я рано вернулась домой, т.к. была обеспокоена жалобами Жени на Алёшино поведение. Да это и так видно. Какими они появились дома вечером в воскресенье! "Приветик, мама", - сказал Алёша. И дальше всё громко, суматошно. Женя рассказал, что ведёт он себя задиристо, агрессивен, навязчив и шумен. Выставил на Сашу нож, которым резал пластилин, чтобы "попугать" того. Похоже, Алёша привык среди сверстников командовать, а Саше это непереносимо: шмакодявка, а лезет командовать. Наверное, они столь разные, что подружиться не смогут. А жаль. Не придётся больше посылать к ним. До лета больше не пошлю, пусть посидят дома.

Подошла я к дому в 7-м часу. Дождик, но дети на улице и уходить не хотят – у них много сверстников в подъезде. На крылечке стоят два папы, и я постояла рядом, поджидая, что кто-нибудь из моих пробежит. Так удивительно стоять на крылечке! Так удивительно идти домой с мыслью заниматься детьми!

Они явились домой минут через сорок мокрые, конечно, с ног до головы. Поужинав, мы начали с Алёшей разговор. Я шила, а он сидел наверху дивана. Аню выгнали, чтобы не мешала. Он обстоятельно вспоминал все свои "криминальные" поступки. Поскольку я вчера так и не поняла, почему его не взяли в игру и закрывали дверь, то многими путями пыталась это выяснить. А он не отвечал. Я стала подозревать, что скрывает. Позвали Аню, она объяснила, что он пришёл последним, и для него не нашлось места на диване. Теперь понятна его обида и желание помешать игре. После разговора стало легче. Инцидент с ножом исчерпан. Я боялась, что он опробует приёмы Маслова, но Алёша не хотел зла Саше и не трогал его.

Очень обстоятельно мы с ним побеседовали. Ему тоже понравилось. Сегодня, когда я вернулась к этой теме, он сказал: "Мы же вчера поговорили, и я больше не буду".

О твоей доверенности. Тихая ярость охватила меня, когда я прочла в списке про платки, трусы и майки. Ну, какого дьявола, надо строить из себя такого экономного? Мы будем, что ли, твои трусы и майки носить? О такой экономии даже людям сказать стыдно. Зачем ты заставляешь тебя стыдиться? Вот на этой верхней ноте кончаю и ложусь спать. Ты-то, наверное, уже давно спишь. Не позволяю себе думать, что тебе плохо, чтобы, в самом деле, не было плохо. Ты должен находить интерес в людях, поддерживать равновесие в себе. И дай Бог тебе в этом успеха!

27 мая. Утро моего дня рождения началось с того, что я увидела большую аппликацию, которую Галя с соседской Аней сделали мне. Детали покупные, немецкие, но и девочки постарались. Приятный подарок. Тёма с четверга ночевал у деда и Т.П., как я шутила – ушёл на хорошие харчи. Харчи и вправду хорошие, но больше он туда не хочет – всё же одна комната. Но он очень правильно сделал, потому что в пятницу у нас был "Ленинград", а в воскресенье – шум. У него же в субботу последний звонок, а в понедельник уже экзамен. Так что у меня ни грамма обиды на непоздравление. У нас с ним сейчас очень непосредственный контакт – полями, дружественными, однозрядными. Не нужно много слов, т.е. они нужны для выявления, а не для убеждения. Так чаще всего было с тобой. С Галей такого нет ещё. Хотя я очень хорошо понимаю, что она хорошая девочка, славная девочка. Вот выругала я её в четверг, что за целый день не разложила поглаженное бельё (обещала). А ей уборка в школе, так называемая практика, за неделю обрыдла. На другой день, в пятницу, перед отъездом в Тарусу, она хорошо убрала квартиру – приятно было войти...

А в тот четвергвый вечер она пришла из телевизионного кино у соседей, была довольная, умиротворённая, а я не удержалась, не шумно, но всё же попрекнула её. Конечно, она

могла бы больше убирать, больше мне помогать, но ведь и я не надрываюсь. И в тот вечер я ведь тоже была в кино. Это был последний день Тёмкиного киноклуба. Показывали грузинский фильм "Мачеха". И вот после своего кино я посмела упрекнуть Галю...

И ещё ведь в четверг я ходила к Саше Н [Наседкину] на обсуждение их трагически кончившегося крымского похода (умер сын Саши Костромина). Он пригласил участников и их родителей и почему-то меня. Начал он с того, что люди не зря придумали суды. Наказание суда снимает ответственность — отбудь и забудь. А он, несудимый, мучается от не снятой ответственности. А кончил призывом не верить парням-авантюристам, каким он был. Одна из гостей, бывшая пионервожатая, бурно не согласилась: "Я всем рассказываю про ваш опыт. Хвалю. А вы сами от него отказываетесь. В пионерлагерях очень плохо". Но родители, хоть и благодарны обоим Сашам, что они показали их детям Крым, всё же были очень сдержаны.⁷⁸

Для своей реабилитации, наверное, Саша Н. [Наседкин] устроил "Harpening". Он состоялся 25-го, и не поехать на него я не могла, т.к. мне отводилась роль корреспондента, а игровых точек было мало. Саша считает, что праздник не удался, а по моему, было очень хорошо. Мы явились большой компанией – Лида с ребятами, Люся с Сашей, её приятель с четырьмя мальчиками, мы без Тёмы. У нас было три гитары. День был солнечным. Полчаса ехать и полчаса идти. Дети сами находили

⁷⁸ Отвечая на вопрос А. А., Л. Т.: «Организаторы поездки в Крым А. Наседкин и А. Костромин ввели режим сыроедения, а дети, не привычные есть одну капусту, просто голодали. Умер сын А. Костромина от какой-то болезни, с которой не справился ослабленный организм мальчика. Все хорошие намерения и крымские красоты этой трагедией перечёркнуты. Любая мать, чей ребёнок был с Сашами в крымском походе, не могла не думать, что такое могло случиться с её ребёнком, что зря она доверила своего ребёнка этому фанату сыроедения (А. Наседкину)».

себе развлечения, я наигралась с мальчишками в футбол, хотя и здорово болела пятка. Алёшик нечаянно принял на себя сильнейший мяч и устоял. Мы его очень хвалили. Дети пускали летающие тарелки, учились стрелять из лука. Люся устроила детский концерт, который перерос во взрослый... Галя сказала, что когда она входила в метро, ей казалось, что люди не говорят, а поют.

Потом был праздничный воскресный вечер. Первые цветы я получила на подходе к дому от Толи Ж. [Жилина]. Чуть увядшие пионы потом пышно развернулись. У двери нас встретила празднично (так я тогда подумала) возбуждённая Наташа. Через 10 минут пришли Лена [Сморгунова] и Сима Лавут. С Симой мы, две "соломенные вдовушки", обнялись. Она рассказала, как брали Сашу. Она успела на проводы и даже ездила в прокуратуру, Саша ей махнул и дал последние указания. Счастливица. Дело у Саши собственное и сидит он в Бутырке. А Таню Осипову загнали в Лефортово. Из группы "Хельсинки" остались С.В., В.К. и Ф.С.[Софья Васильевна Каллистратова, Ваня Ковалёв, Феликс Серебров]...

Опять о вечере. Хотя накануне я убеждала звонивших, чтобы не приходили, т.к. мне не хочется готовить, да и день мы проведём в лесу, но каждому пришедшему я была рада. Пришла, конечно, М.И.[Казарновская] и подарила замечательную хозяйственную сумку. Пришли Таня, Инна, Регина с Я.И., Марина с Риной. Потом пришли Ася, Валя и даже Женя, Лёня. Вот как много! Показала я им "Мангышлак". Его я уже выучила наизусть и не ошибалась. Плохо только, что во время показа много народу приходило. Женя привёз такие великолепные розы. И вообще цветов было так много, что на утро мне не надо было ехать на рынок за ними. В общем, праздник получился славный. Пили за тебя и всех сидящих. Немного грустили, но больше шумели. Разговоров разумных было как-то мало.

Утром отвезла цветы в школу и сразу на работу. Ели-пили и впервые вслух и вместе говорили о тебе, сочувствовали и желали твоего возвращения.

2.5. События июня

Поворот

Май был самым спокойным месяцем в моих отношениях со следствием. Перед праздниками Бурцев объяснил, что следствие надеется окончить до Олимпиады, что ему, видимо, на днях предстоит командировка в Харьков для получения почерковедческой экспертизы на мои материалы, а к разговорам мы вернёмся лишь в июне-июле. Насколько же легче тюремное ожидание, когда примерно знаешь, что тебя ждёт и когда...

И потому вызов к следователю в конце мая был для меня неожиданным и тревожным. Но тревога заглушается блаженством прогулки по общаковскому коридору "руки назад" мимо окон, в которые льётся майский свет и запах от распустившихся лип внутреннего тюремного двора. Целое море зелени, целая вечность невиданной молодой листвы! Это – главный праздник. Но и "гуляние" со смеющимися, перемигивающимися при встрече надзирателями, комсомольцами и комсомолками, тоже приятно. И даже болтовня с хмурым следователем жадно запикивается в копилку впечатлений без разбора. Ведь сейчас некогда – потом, "дома" разберусь и проанализирую. "Прокручивание впечатлений" начиналось даже раньше, ещё в тесном боксике, куда сажают подследственных перед тем, как отвести от следователя в камеру. Через 10-30 минут сидения в этом туалете без унитаза возвращаешься "домой" ходко, но не спеша, чтобы не расплескать полученное богатство и ещё раз ухватить глазом зелёную листву за вымытыми или даже раскрытыми (что ещё слаще) окнами.

Не помню, какие новые вопросы поставил мне Бурцев на этот раз. Значение имела лишь его неожиданно горячая реакция на мой привычный отказ давать показания: "Очень-очень зря отказываетесь. Времени прошло ведь немало. Не учитываете, что от Вашего поведения сейчас зависит, по какой статье дело пойдёт дальше!"

Я повторял прежде: "По какой статье меня будут судить, уже решено, хотя Вы это скрываете, но от меня тут ничего не зависит. Показания могу давать лишь о себе и когда речь пойдёт о серьёзном доказательстве наличия клеветы в наших работах". Однако я почувствовал, что и вправду готовится какой-то поворот, да и время поджидает Бурцева, потому и мне следует продемонстрировать свою готовность к торгу. Я примирительно откликнулся, что вопрос о показаниях на себя не считаю принципиальным, что на суде буду давать их обязательно (надо же отвечать за свои действия), что же касается показаний на следствии, то это зависит от следователя: давайте доказательства наличия клеветы. Неплохо бы дать свидание с женой или изменить меру пресечения, как Вы говорили ещё в январе, в КПЗ.

Ничего не ответил Бурцев, записав в очередной раз мою формулу отказа: "пока не будут предъявлены доказательства клеветы в изъятых у меня материалах". Но я был радостно возбуждён: впервые почувствовал, что не только я от Бурцева, но и Бурцев зависит от меня.

Наступило 4 июня, среда. Снова вызов. Проведя через холл со следовательскими кабинетами, меня завели в просторный солнечный кабинет, где за столом буквой "Т" с мягкими креслами сидел улыбающийся Бурцев: "Нет, нет, ничего особенного, просто у них этот кабинет оказался свободным". Снова отмечаю про себя бурцевское "у них" про тюремную администрацию, сопоставляю с поразившим меня ещё раньше: "Мы от них во всём зависим" – (в поведении подследственных, что ли?). Но тут Бурцев подсовывает мне бумаги: "Сначала почитайте". И выглядит очень довольным. Оказалось – отзыв специалистов Института экономики АН СССР на восемь сборников "В защиту экономических свобод». 32 машинописные страницы прочёл я быстро, с напряжением и интересом. Первый официальный отзыв на мои сборники. Но вместе с тем и первые аргументированные "доказательства" моей "клеветы" и преступности. С одной стороны льстило, что мои сборники изучались подробно и серьёзно, а с другой

удивляла бессодержательность аргументов, неубедительность критики. Ей-богу, в нашей дискуссии меня критиковали гораздо глубже. Зато выводы этого отзыва были и неприятней, и опасней: они прямо обвиняли составителей сборников К. Буржуадемова и В.Грина в "антисоветской пропаганде и клевете на строй" с "целью дискредитации на международной арене", т.е. в преступлении по ст.70 УК, прямо требовали 12 лет моей жизни.

Пока я читал, Бурцев несколько раз выходил из кабинета, а теперь смотрит выжидающе "как, мол?"

-Прямо ужас какой-то, - улыбаюсь я в ответ, - а подробнее изучить этот документ я смогу? - Да, конечно, конечно! Но потом. А сейчас прочтите письмо от жены. Я тут с ней встречался...

"Господи, сколько мне сегодня подвалило", – и я "поплыл". Снова лежат передо мной строчки с родным почерком о том, что детки меня помнят, что с учёбой старших всё хорошо, у Тёмы выпускные экзамены и цветы, что на даче отцу помогли, и он здоров, но грустит (наверное, по мне), а свой день рождения Лиля провела в лесу – просто уехала с детками (наверное, чтобы никого не видеть). И только последнему я огорчился: ведь я праздновал и пил вечером сладкую воду на сахаре, собранном за несколько дней, как вино, с тостами про себя, а вот оказалось, что ей так плохо, что даже от праздника отказалась (потом выяснилось, что я неправильно понял Лилины строчки и вечер 25 мая всё же был!)

Сейчас я думаю, предъявление мне одновременно и мощного доказательства моей вины по ст.70, и такого родного ласкового письма было не случайным, а преднамеренным, для создания сумятицы в моих чувствах между напряжением страха и зовом домой. Наверное, создание таких душевных контрастов, раскачивающих психику, входило в технологию запланированного важнейшего разговора.

Неожиданно в кабинет вошёл молодой человек, лет 30-ти, худощавый, как и Бурцев, но одетый с большим изяществом.

Сразу, без слов понятно - из органов, и разговор, наконец, пойдёт по существу.

Увидев передо мной "отзыв", поинтересовался: "Изучили? Нет? Конечно, надо дать Вам достаточно времени, но, к сожалению, в камеру брать нельзя". На мою просьбу назвать себя ответил: "Это не важно, я только коллега следователя и, как он, представитель инстанций, заинтересованных в правильном разрешении Вашего дела. Имейте в виду, я внимательно изучил, прочитал практически всё, что вы писали и должен сказать, что вреда Вы принесли всем нам, стране нашей очень много... Начиная с Вашей книги "Очерки растущей идеологии", изданной в ФРГ НТС-овским издательством. Да-да, не возражайте. Кстати, Вам должно быть интересно, что на одном из судебных процессов эта книга признана клеветнической и её распространение является уголовным преступлением". – "Кого именно за это судили?" – «Это неважно... Да, а теперь Ваши экономические сборники. Чего только Вы там не написали, ни в какие ворота не лезет. Одна из молодёжных групп решила заняться их изучением, но вовремя спохватились, всё нам принесли, рассказали, успели вред исправить... Теперь вот за границей о Вас шумят, как о "герое и мученике" – разворачивает парижскую газету "Русская мысль" на странице, где я вижу свою фотоафишу, - "вот видите!"

Меня охватывают радость и гордость – не забыт, и благодарность всем (это инстинктивно, как бы ни был я скромным), но вслух я высказываю иную часть своих ощущений: "Вы сами в этом виноваты! Не было бы моего ареста, не было бы и шума. Неправильно держать меня в тюрьме!" Подробности ответа "коллеги следователя" не помню, что-то о несомненности 70-ой статьи в моём случае и что до сих пор только добрая воля следователя и "иных инстанций" удерживает от такого поворота. "Да, мы знаем, что Вы были против получения денег из-за границы. Это говорит о Вашей порядочности. Известно и Ваше заявление, что готовы давать показания и больше не

заниматься прежней деятельностью.⁷⁹ Потому-то и боремся за Вас - против Вас же. Мне добиться права на встречу с Вами было совсем не просто, и Вы должны ценить это. Вы должны понимать, что сейчас приходит время, когда надо решать свою судьбу, с кем Вы – с советскими людьми или с нашими идеологическими противниками".⁸⁰

Помню, что тут же возражал: считаю себя советским человеком, но вот по взглядам мы совершенно различны с ним. У меня, например, буржуазная идеология, и с этим ничего не поделаешь.

- Ну что там Ваши взгляды? Я вот, если разрешат, познакомлю Вас с одним экономистом, и за два часа от Ваших убеждений ничего не останется! Вы должны понять, что суд над Вами неизбежен, его не может отменить ни одна власть на земле, но мы можем освободить от наказания, например, по помилованию. Я связан с такими инстанциями, которые могут решать эти вопросы. Но такое станет возможным лишь при исполнении трех неперемных условий: полных показаний по делу, твёрдого обещания впредь не заниматься самиздатом и, наконец, признания себя виновным в преступлении и клевете".

Я отвечал, что на освобождение от наказания я не надеюсь. Но, учитывая мою всегдашнюю лояльность и нынешние уступки, я рассчитываю реально лишь на смягчение наказания – до ссылки или "химии" вместо лишения свободы. Я могу принять второе условие и частично первое (давать показания, но только о себе), а вот третье условие для меня совершенно неприемлемо. От начала следствия я всё время добивался

⁷⁹ . Вопрос А. А.: «Заявление устное? Напомните, пожалуйста, когда это было?». Л. Т.: « Два устных заявлений здесь объединены: 1) 23 января арестованный Витя говорит Бурцеву о готовности подписаться под заявлением об отказе от самиздатской деятельности, как того раньше добивался Бурцев; 2) на предыдущем допросе (пять дней назад) Витя сказал, что будет давать показания О СЕБЕ (правда, только при предъявлении ему доказательства клеветы).

⁸⁰ А. А.: «Как обволакивает! ПРОФЕССИОНАЛ!». Л. Т.:

«Да».

доказательства клеветы, буду добиваться этого и на суде, а признавать себя виновным без доказательств, заранее категорически отказываюсь.

Мне показалось, что "коллега" даже не огорчился моему отказу давать показания на других, отреагировав только: "Ну, это дело следователя, какие ему нужны показания. А вот полное признание своей вины – совершенно необходимое условие!" - «Тогда ничего не получится из этого разговора. Поступайте со мной, как хотите". "Коллега" закончил разговор конкретным предложением: "Напишите заявление о главном: и о своих убеждениях, и о том, как видите сейчас своё положение и пути выхода из него, а через пару дней мы продолжим". Я согласился.

Записку ⁸¹ писал и переписывал набело все два дня. Она не была короткой, потому что включил туда и описание своей истории, и основных своих убеждений, и доказательства моей и всех остальных невинности и описание трёх вариантов моего поведения: 1) предложенный путь раскаяния и самооплёвывания – неприемлемый для меня, 2) путь отказа от показаний и противостояния неправому суду, 3) предлагаемый мною путь компромисса – не освобождение от наказания и не лагерь, а "химия". Исписал полтетради в клеточку, как будто сочинение в школе на вольную тему.

Я был сильно взбужоражен. Предложения "коллеги", конечно, неприемлемы. Примеры Якира и Гамсахурдии слишком памятливы мне по неприязненному отношению всех знакомых, чтобы им следовать. Но и невероятным казалось, что при моей уступчивости по остальным пунктам, "они" вкаты мне максимальное наказание. Нет, не может быть, на ссылку или "химию" я могу рассчитывать. Лагерь по 190-ой статье – это максимум! И ещё радовала меня информация "коллеги" про студентов, изучавших мои сборники, и про статью в "Русской мысли". Свою фотографию я видел в газете сам, и дело не в

⁸¹ См. выше: раздел 1.3.1 или <http://sokirko.info/ideology/vokrugpoiskov/2.11.htm>

моём тщеславии, а в понимании, что только известность за рубежом является для меня сейчас основной защитой. Чем больше известность, тем сильнее желание у "коллеги" и его начальства перетянуть меня на свою сторону, тем больше шансов покончить моё дело полубовным компромиссом. Интересно, что когда в сентябре я прочёл тот номер "Русской мысли", он стал практически единственным доказательством, что в моей защите "Запад" допускает сильные передержки в тоне и антисоветизме, и потому отказаться от такой защиты мне необходимо. И получилось, что апрельская статья "Русской мысли" принесла мне пользу дважды – в июне, когда принудила "коллег" признать мою значимость и "бороться за меня", и в сентябре, когда стала для меня основным доказательством, что от антисоветизма в западной защите надо отказаться, что я должен настаивать на правильности своего решения.

А в четверг за окном снова объявился Валерин голос – его вернули в нашу часть спецкорпуса. Сидел он теперь совсем недалеко от меня, и потому слышно было неплохо, если говорить, правда, в полный голос. Конечно, я рассказал ему о вчерашней беседе, всё без утайки, хотя и неприятно было объявлять во всеуслышание, что готов давать показания и торговаться, - извещать своих сокамерников о том, о чём я им никогда не говорил, ведь ворьё могло это понять только как слабость, как "раскололся". И без того неустойчивый психологический мир в камере мог бы вовсе порушиться. Однако плевать - сообщить Валере о своём решении и узнать его реакцию, мне было значительно важнее.

Всё прошло хорошо. Валера мой "поворот" принял очень спокойно. Видно, он его ожидал, а может, даже чувствовал на себе вину (конечно, незаслуженно), что "втянул меня в эту историю". Думаю, что его успокоила моя формула: "Считаю для себя невозможными две вещи: давать показания на других и признавать себя клеветником, а в остальном считаю себя свободным.". "Что ж, - ответил Валера, помедлив, - я помню твой суд в 73-м году. Думаю, что на таких условиях ты можешь искать соглашения. И записку для начальства надо писать, пусть

читают. Нет, ты не думай, что я буду против такой тактики. Для меня она, наверное, не подойдёт, но ведь у каждого свой путь".⁸²

С этим было трудно не соглашаться, но я всё же просил Валеру внимательно обдумать и поискать возможности улучшения своего положения, своих перспектив. Я давал советы и не верил, что он им последует, потому что и сам был не уверен в успехе моих начинающих переговоров. Ведь всё могло кончиться и очень плохо. Переломают внутренний хребет самоуважения, а потом вовек не исправишь духовной своей искалеченности.

Я как будто по собственной воле вплывал на байдарке в опасную шиверу, где течение будет швырять и бить о камни. Но я отдавался потоку сознательно, не так, как 7 лет назад, когда боялся и показаний, и любого лавирования почти смертельно, и потому нёсся по следовательскому каньону, бросив руль и зажмурив глаза от страха, только безвольно и инстинктивно упираясь. Теперь я знаю, что бояться не надо, теперь никто не отговорил бы меня от лавирования, и всё же опасностей сейчас много больше, чем в 1973 году, камни неизвестны и лавирование может оказаться даже хуже простого сваливания в лагерь. И всё же буду бороться, как ни страшно, торговаться и делать уступки на допросах. Стыдно говорить, но писание жалоб и заявлений в тюрьме стало настоящей борьбой, когда "каждый день идёшь на бой".

Валера совсем по-другому "шёл на бой": он за всех боролся в своей камере постоянными протестами и жалобами на нарушения режима, постоянным противостоянием администрации тюрьмы и прокуратуре. Наверное, он понимал, что зримых успехов в этой борьбе не добьётся, потому что его противники давно уже насмотрелись на самый решительный тюремный протест и научились его игнорировать и преодолевать. Ведь они – профессионалы с громадным опытом,

⁸² Для Вити этот разговор был крайне важен.

а мы все – новички-дилетанты даже в сравнении с обыкновенными урками, которых здесь большинство. Мне же бороться за улучшение режима для уголовников просто не хотелось. Гораздо важнее казалась задача собственного выхода из тюремного антимира. Правда, с моей тактикой следователи тоже, наверняка, были знакомы. И всё же моя борьба шла за нечто реальное, за выход с территории "противника". Прежде всего - это, остальное неинтересно.

Вызвали меня, как обещали, в пятницу, в тот же кабинет. Взамен прежнего "коллеги" был иной, которого Бурцев с тихой почтительностью откомендовал как начальника следственного отдела и зампрокурора Москвы Смирнова В.Ю. – моего возраста, чуть округлый, флегматичный и ироничный. Мою записку начал просматривать вначале Смирнов, потом передал её Бурцеву, отметив лишь конец о возможных вариантах поведения как существенное.

Вместе они потом напирали, что надо бы давать показания по делу полностью, ведь нельзя отделить одни вопросы в следствии от других, а насчёт вреда другим людям, то о каком вреде может быть речь? – никакого вреда никому не будет, совсем даже наоборот, в расширении дела никто не заинтересован. Естественно, я энергично возражал: "Хотя и понимаю, что сейчас наступил момент, когда надо выбирать линию поведения, ибо завтра ко мне никто не придет, и пересматривать будет поздно (Смирнов одобрительно кивал: "Да, это так, решать надо сегодня, иначе будет поздно"), но никаких показаний о других давать не буду ни при каких условиях. Даже, казалось бы, безобидные показания могут оказаться губительными – это я знаю по собственному опыту 1973 года".

Тут решается Бурцев: "Чёрт с Вами, Сокирко, давайте показания только на себя". И взяв ручку, придвигает лист протокола. (О, это уже новое...) "А как остальные условия? – тревожусь я. – Уж слишком быстро Вы решаете. Помните, что в прошлый раз говорил здесь другой товарищ, т.е. гражданин, не знаю как его?"

- Товарищ из органов? – любезно уточняет Смирнов. - Да, наверное. Так он ставил три условия: показания, отказ от самиздатской деятельности и раскаяние в клевете, а взамен обещал освобождение, например, по помилованию. - Мы можем вообще освободить Вас, - снова вальяжно встрял Смирнов, - прекратив дело по ст.6 УПК, если Вы проявите понимание. Ведь так, Юрий Антонович?

Бурцев неопределённо дёрнулся плечом и промолчал. Я тоже как бы не заметил эту очевидную фантастику, как неловкую лажу, и продолжал:

- Но принять все эти условия я не могу, поэтому не могу рассчитывать на освобождение от суда. Вы об этом уже читали, могу повторить: соглашаясь на часть условий, я рассчитываю лишь на "химию" (Бурцев одобрительно кивнул головой). Однако если Вы согласитесь с этим, то незачем меня держать в тюрьме, показания давать я и так буду, а значит, отпадает официальная причина ареста до суда. Давить на меня тюрьмой дальше бесполезно. Измените меру пресечения, как обещали, отпустите домой до суда, и я поверю, что Вы серьёзно намерены повернуть моё дело к "химии", а не к полному сроку по 190-й или даже по 70-й статье на базе моих же показаний. Измените меру пресечения, и это станет гарантией, что Вы не обманываете. Ведь для меня дело очень серьёзно.

- Понятно, понятно, но дело серьёзно не только для Вас, - возражал увлечённо Бурцев. - У нас тоже нет никаких гарантий, что если отпустить Вас, то Вы не измените своё отношение, не обманете нас. Вас там настроят, и Вы будете настаивать... Это сейчас Вы убеждены, что будете вести себя как надо, а начнут Вас друзья на свободе уговаривать... совсем другое получится. Нет, мы должны иметь гарантии. Я Вам заявляю вполне определённо: вопрос об изменении меры пресечения может быть решён, но решаться будет только тогда, когда Вы дадите показания, не раньше.

В его голосе звучала убеждённость и, кажется, вера в свою правоту. Ведь и правда, какие у него гарантии, что на свободе я не вернусь к прежнему отказу? А снова сажать – смешно и не

солидно. Да и как обосновать перед органами необходимость освободить меня? "Да он прав в своем желании гарантий, как прав и я, и кому-то надо уступать первым", - признал я про себя, а вслух возразил:

- Для Вас это лишь одно из дел, а мне давать показания на себя, по которым будут осуждать по ст.190-ой или 70-ой, значит вить верёвку на собственную шею!

- Да не пойдёте Вы по 70-й, если дадите показания, это я Вам обещаю совершенно твёрдо, у любого начальства отстаивать сам буду!

Смирнов согласно кивал головой. И я замолчал - уж очень уверенным был голос Бурцева. А может и правда, у "них" принято решение: тех, кто даёт показания, судить, как намечено, по ст.190-1, а тех, кто на "непризнании" переводить на 70-ю? Да и зачем прокуратуре отдавать КГБ (на 70-ю статью) "благополучное" дело (оно станет таким, если я буду давать показания). Но тогда и Валеру с Юрой будут судить обязательно по 190¹-ой... И таким большим было желание избавиться от страшной и реальной угрозы (ведь ещё недавно я говорил себе, что подписание дела именно по 190-1 статье для меня будет главным праздником в Бутырке), и таким сильным было желание пойти на уступку, благородно проявить добрую волю, что я согласился: "Ладно, я начну давать показания, а Вы согласуйте вопрос об изменении меры пресечения".- "Хорошо".

Бурцев сразу уселся за свои бумаги, а Смирнов тихо поднялся и вышел в коридор, чтобы минут через 10 снова зайти и распрощаться: "Не буду мешать". Наверное, он мог считать перелом в следствии своей заслугой. Бурцев же торопился записывать основные "признания обвиняемого": общеизвестное членство в редколлегии журнала "Поиски взаимопонимания", впервые объявленный официально смысл псевдонима "К. Буржуадемов" и о том, как возникли и создавались сборники "В защиту экономических свобод". Наконец-то я разрешил себе говорить об этом свободно. И спокойно стало на душе.

И хотя потом я жалел, что поторопился уступить и не добился от Смирнова более определённых обещаний и гарантий

изменения меры пресечения, и ругал себя вплоть до сентября, но теперь вижу, что результат был бы тот же: Бурцев и Смирнов тогда дали бы мне ещё "более твёрдые обещания и гарантия", чтобы добиться "перелома", но не смогли бы их выполнить, потому что решали этот вопрос не они только, а и те, кому нужно было добиться именно "раскаяния", те, кто уже давно решил: арестованных следует держать в тюрьме до суда, чтобы использовать срок предварительного заключения максимально для выдавливания раскаяния.

Закончив протокол и передав его мне на чтение, Бурцев удовлетворённо откинулся на стуле, а после мой подписи даже не сразу отпустил меня, хотя и темнеть начало за окном. Шёл 9-й час, а ему не хотелось кончать удачный вечер, когда он мог позволить себе поддаться добрым чувствам. Ему, видно, хотелось, чтобы я стал совсем "своим", "перековался" и никогда больше не встречал в опасные истории, чтобы у меня дальше было всё хорошо. Он, конечно, понимал, что перелом только начался, что сейчас "давить дальше" не следует, но всё же "лёд тронулся", "начался процесс выздоровления". И, наверное, сладко было Юрию Антоновичу от "спасения заблудшего" и от благородства своей нелёгкой и не всегда благодарной работы.

Придя "домой", я сразу вызвал Валеру и рассказал ему, что видел Смирнова, что начал давать показания в обмен на твёрдое обещание, что 70-ая от меня отпадёт, а мера пресечения будет изменена, хотя на последнее я мало рассчитываю, и что теперь меня будут вызывать к Бурцеву часто.

Реакцию Валеры не помню, была она, наверное, сдержанной и меня не задела, а вот реакция сокамерников запомнилась. Василёк Бучуев изобразил сдержанное презрение: "Значит, начал на подельников своих капать!", как будто он давно ожидал именно такого. Я даже встал в тупик: ведь я только что кричал Валере, что даю показания только на себя! Ответил как можно грубее: "Не суйся в дело, которое не понимаешь!"

Фетисов же как-то молча улыбался, понуждая лицом и Бучуева к молчанию. Тогда я был подозрительным и решил, что

он выжидает момент, чтобы отплатить мне за драку. Но ничего не случилось. Возможно, он считал начало моих показаний своей победой и предвкушал благодарность начальства. Не в его интересах было мешать мне "колоться" дальше и он стал предупредительным и миролюбивым. Остальные же сокамерники остались равнодушными, им и вправду всё происходящее со мной было "до лампочки". Теперь жизнь сосредоточилась на ожидании решения "инстанций".

Следующий вызов пришёлся на вторник 10 июня. "Сердечная" атмосфера предыдущего вечера испарилась. Бурцев сразу принялся за дело, вытаскивая из своего "дипломата" пачки изъятых у меня материалов и предъявляя их один за другим: моя ли это работа, когда написана, кому отдавалась (и монотонное: "Показаний на других не даю". - "Ладно, следующий"). Правда, вначале Антоныч попробовал словчить, предъявив как мои, бумаги, изъятые у Белановского, и скромно улыбался, когда я уличил его в нарушении договорённостей: "мол, работа такая".

Так работал я с ним довольно долго, ожидая конца нудистики и сообщений по существу: какая же была реакция "инстанций" из органов на мою записку к ним. Принимаются они или отвергаются? А если приняты, то когда будет решён вопрос об изменении меры пресечения, ведь основные показания я дал, у них теперь есть гарантии, что задний ход я не дам...

За эти дни я успел увериться, что меня и в самом деле могут скоро выпустить, что шансов много, просто нет причин держать меня здесь, да и Бурцев со Смирновым твёрдо обещали. Так хотелось верить, что я распустился, и все три летние месяца провёл плохо, ожидая освобождения со дня на день...

Но вот протокол прочитан. Я тороплюсь его подписать, чтобы перейти к главному, но... Антоныч поворачивается и тянется к звонку на вызов. Я едва успеваю запротестовать. Мои вопросы он встречает спокойно. Записка моя читается, "ходит по начальству". Отношение к ней – положительное, в общем. А что касается меры пресечения, то я зря думаю, что этот вопрос простой. Хотя по УПК следователь имеет право его решать

самостоятельно, но практически меру пресечения в сторону смягчения меняют очень редко, и он лично никогда не пойдёт на это, не заручившись поддержкой начальства. А чтобы идти к начальству, надо иметь убедительные доводы. Вот дам все основные показания, появится хороший довод. Конечно, и обязательство на будущее тоже дать необходимо (я выражаю согласие), и признать хотя бы свою вину...

Последнее – неприятная неожиданность. Снова здорово. И я сильно расстраиваюсь:

-О последнем не может быть и речи, ведь уже говорил. - Да я знаю, но вину перед государством признать необходимо. Вы ведь сами писали в своей записке, что допускали ошибки. (Да, писал, имея в виду запальчивость, которая привела меня в тюрьму, но ещё большую вину за это я отмечал за следователем). - Нет – отвечаю, - признание вины в моём деле, это то же самое, что признание себя клеветником. (Я тогда не подозревал, что потом всё же соглашусь на формулу "политической вины", не признавая вины юридической.) - Ну, подумайте...

На этом допрос закончился.

Совсем иначе я уходил "домой" на этот раз – с чувством обманутого! Вот и горькая расплата за первый шаг по "новому пути", за показания, а ведь они уже даны и это необратимо. Что достигнуто – ничего, а впереди ещё длинный путь. Мелькнула и стала уверенностью догадка: когда я выложу все нужные Бурцеву показания, то стану им не нужен, как выжатый лимон. Образ "выжатого лимона" меня потом долго преследовал. Если чего-то и можно вытребовать от них, то только сейчас, когда от меня ещё нужны показания. Нет, хватит, надо исправлять ошибку как можно скорее и отказаться от показаний до изменения меры пресечения.

Составил соответствующее заявление и на следующем допросе (не помню уже числа) отдал Бурцеву. Тот отложил принесённый самиздат, долго читал, потом спокойно сказал: "Ваше дело, давать или не давать показаний. Хотя все жалуются, что "Бурцев давит", но я давить не собираюсь. Зачем?"

Для доказательства Вашей вины материалов у меня и так достаточно: изъятое у Вас на обысках и их протоколы, Ваши первые и последние показания, показания Померанца, акты экспертиз. Дело даже проще закрыть без описания всех изъятых у Вас бумаг. А вот Вам от такого отказа будет хуже. И с надеждами на изменение меры пресечения придётся совсем расстаться... Я буду откровенен: даже в случае продолжения показаний я не гарантирую совсем твёрдо, что начальство не будет против Вашего освобождения, но в этом случае я бы старался его добиться. Вот и всё".

Его откровенный и спокойный тон меня обезоружил. Я не понял, а скорее почувствовал, что он говорит правду: изменение меры пресечения зависит не только от него и не от дальнейших моих показаний, а от кого-то или чего-то более важного, что сейчас в вопросе о показаниях моя торговля мелка и неуместна. Я и вправду, только потерю союзника, Антоныча в Бурцево – и без всякой для себя пользы. Мои опасения и ожидания были мельче действительных опасностей.

И я сыграл отбой: "Хорошо, считайте, что моего отказа не было, я буду давать показания в обмен на Ваше простое, без обманов обещание, что сделаете всё, что в Ваших силах, чтобы я вернулся домой". В тот вечер было уже поздно, и Антоныч отпустил меня в камеру, так и не начав допроса.

История с окнами

Но прежде чем я снова появился в следовательском корпусе, я поменял "спец" на камеру голодающих, а потом на карцер. Произошла почти "революция" в моей серой бутырской жизни и вызвана она была Валериной "революционной деятельностью".

Началось с его сообщения, что их камера требует от начальства выставить средние оконные рамы, чтобы уменьшить духоту, но пока их заявления Подрезу остаются без ответа. "Соседи тоже об этом пишут, хорошо, если бы, Витя, твоя хата и соседи поддержали нас". Да верно, в начале июня "на спецу" было душно, и потому мои сокамерники, услышав это

предложение, легко загорелись: "Давай, пиши". Я был доволен, что не надо агитировать их Валере в помощь.

Написал я легко. Ситуация и в самом деле могла быть понята, как возмутительная. В конце апреля на Москву упала жара, мы обливались потом. В других камерах, где были сердечники, начались серьёзные жалобы и протесты: ведь в камерах нет вентиляции, хотя она и предусмотрена, судя по неработающим решёткам, а двух окошек-форточек недостаточно для воздухообмена с миром. Тогда начальство "спеца", видимо, решило не "озлоблять" и удовлетворило просьбы кардинально просто: были выставлены и унесены из камер все средние окна, хотя многие и просили одну (летнюю) раму оставить на случай возврата холодов, но - "не велено!"

После майских праздников стукнули холода, снова закружился в воздухе снег, а в камерах с открытыми окнами всех стала бить холодная дрожь. Ещё, слава Богу, что через пару дней снова включили отопление, но справиться с распахнутым оконным проёмом батарея у дверей не могла и потому каждая из камер выдумывала свои средства защиты. Мы по примеру японцев заклеивали окно газетами (при вечернем простукивании решётки их регулярно отдирали), другие занавешивали проём одеялами, а это уж совсем "не положено" и надзиратели ругались. Посыпались жалобы на холод. Но у начальства запас "доброты" оказался не велик. Да и понять его можно: что ж так и таскать окна взад-вперёд? (Разрешить держать оконные рамы в камерах администрация, видимо, не хотела из принципа.) Жили мы так довольно долго, почти до тепла.

Но когда пришлось вмешаться врачам и прокурору по надзору, наконец, последовала реакция администрации: летние оконные рамы снова вернулись в камеры и были заколочены гвоздями. Случилось это в конце мая, т.е. когда холода уже кончились. Снова наступила жара, и конечно, мы теперь уже сами выставили окно. Но не тут-то было. Администрация стала наводить "порядок". После пары предупреждений его с руганью поставили обратно... Однако духота доведёт кого хочешь, и мы снова выставили, но администрация уже действовала круто: за

неподчинение лишали на месяц ларька дежурного по камере и остальным грозили тем же, а раму прибивали уже несколькими длинными гвоздями. Естественно, что "пассажиры спеца" возмущались. Конечно, про себя или в одиночку. А вот энергичный и нацеленный на борьбу Валера в такой обстановке взялся за организацию протеста систематично, т.е., как пишется в учебниках, "вносил элемент организации и сознательности в стихийное брожение масс".

Хотя коллективные жалобы и заявления запрещены, но под написанной мною бумагой подписались все. Через пару дней Валера снова вызвал меня и сообщил, что теперь они пишут прокурору по надзору, потому что от администрации ждать ответа бесполезно, а у них в камере есть люди с больным сердцем, им совсем плохо. Надо стоять на своём вплоть до крайних мер, такого нельзя терпеть. Чувствовалось, что дело идёт к коллективной голодовке.

Пробовал я успокоить Валеру, внушить ему осторожность. Потом прямо сказал, что у нас хоть и недовольны, но собачиться с администрацией ни у кого охоты нет. Но не помогло моё увещание: раз коснулось здоровья человека, для Валеры протест приобрёл нравственный, максималистский характер, когда отказ от протеста равнозначен подлости. Однако не трудно объявить голодовку, трудно понять, как из неё надо выходить, если требования не будут приняты. А выходить надо обязательно, ибо в современных условиях дело кончается не смертью, а насильственным кормлением в течение долгого времени.

Кажется, в субботу, 14-го, Валера сообщил, что 16-го, в понедельник его и соседние камеры начнут голодовку протеста, предложил присоединиться к ним и передать это предложение соседям. Мало энтузиазма было у моих сокамерников. Они все слышали и были смущены: одно дело лаять про себя ментов или даже подмахнуть непонятной закорючкой письмо Подрезу, а потом прокурору, а другое дело - идти на голодовку. Мой вопрос: "что же мне отвечать?" – повис в воздухе. И я был готов подытожить их молчание как отказ. Но помешал Фетисов. Не знаю почему, может после своих частых рассказов о "лагерных

победах над ментами" ему было не по себе пасовать на деле, но повернул он так: "Тут надо подумать и обсудить. Если заваривать такую кашу, то всем... Вот у нас когда-то было на малолетке, пять дней голодали..."

И правда, на прогулке он начал расспрашивать дружков в соседней камере ("корешей" он находил в любой камере, в любой группе людей) примерно так: "Ген, ты слышал, как мутили об окнах, чтоб голодовку всем объявить. А? Да нет, что менты кого-то избили, это в другой раз орали. А ты сам к закрытым окнам как относишься? Вот-вот, побазарить надо всем, чтоб, если объявлять, то всем разом..." Ну и так далее. Почему-то Фетисовская активность мне не нравилась, была в ней какая-то двусмысленность, вроде и хочется, и колется. И я внутренне ёжился. Особенно, когда Фетисов стал меня убеждать, что именно Валера должен вызвать общетюремное обсуждение, "базар", по этому поводу. Сам он взяться не может, раз не он начинал, но поддержать и расположить соседей, если "базар" начнётся, сможет.

Ох, не по душе мне была голодовка, а предложение и участие Фетисова - тем более. Но я невольно стал посредником между Валерой и нашими камерами – срочно вызвал и сообщил Валере, что у него есть союзники, но что предварительно нужно поставить вопрос на обсуждение: нужно ли это для всех, поддержат ли? Когда я выкладывал это Валере, то не скрывал, что лично я не заинтересован, старался дать ему повод отказать от голодовки, когда он убедится, что тюрьма его не поддержит (по своим я видел, что никто голодать не будет), а борьба окажется ненужной. Но чувствовал, что выйти из моих слов может совсем иное.

Действительно, Валера выслушал меня и только уточнил, будет ли от нашей комнаты поддержка при начале обсуждения. Фетисов стоял рядом и согласно кивал головой: "Конечно, будет, гарантирую". Я подтвердил. А в воскресенье перед вечерней поверкой в 4 часа, когда выключают радио, Валера вызвал меня и попросил "приготовиться". А через пять минут выступил с громовой (во весь голос) речью. Примерно так:

"Слушайте все! Слушайте все! Мы объявляем голодовку, пока не удовлетворят наших законных требований. В камерах духота, у людей сердечные приступы, а администрация специально не даёт раскрыть окна, не обращая ни на что внимания. Мы требуем права самим ставить окна!.. И ещё стало известно, что работники изолятора избивали заключённого... Мы также протестуем против избиений и требуем наказания виновных. Присоединяйтесь к нам, потому что нельзя терпеть и ждать, нельзя только поддаваться гнёту, надо сопротивляться и требовать выполнения закона! Завтра мы начинаем голодовку! Присоединяйтесь все!"

Я с Фетисовым стоял у решётки и напряжённо ждал откликов. Вначале было несколько дурашливых, наподобие первомайских выкриков: "Ура!!", потом восхищённое: "Вот даёт парень!", потом... растерянное молчание... Я страшно волновался и торопил Фетисова: "Ну, давай же, начинай говорить по-своему... Ты же обещал, давай!" А тот отмахнулся: "Подожди, сейчас не время, дай послушать"... и напряжённо "слушал тишину" Наверное, прошла целая минута, как вечность, а он так ничего и не сказал. У меня мелькнуло подозрение: "А вдруг это его провокация? Насоветовал, спровоцировал Валеру на митинг, а сам теперь в кусты и ещё слушает... И меня обманул, гадина!"

Ведь как надо, чтобы сейчас кто-то сказал по-лагерному: "Соседи, высказитесь, поддержим ли, или пусть лучше и они не начинают?" А Фетисов молчит. Попробовал я сам обратиться: "Соседи, мужики, мы-то что скажем?" Но нет уверенных слов в горле и никто меня не слышит... И от стыда и отчаяния за своё невольное предательство я заорал: "Валера, Валера, я тоже буду с тобой! Завтра объявляю голодовку протеста на неделю сроком, буду с тобой!"

Рациональное решение было принято от отчаяния. Именно сроком - на неделю. Ибо в возможность перелома администрации я не верил, а ставить невыполнимые задачи и загонять себя на бесконечную голодовку я не хотел. За неделю же коллективной голодовки вопрос должен быть так или иначе

решён. А для здоровья это не вредно, на воле друзья гораздо дольше голодают. Главное, я хоть немного исправил свою вину перед Валерой за провокационный совет Фетисова.

Валера подтвердил, что меня понял, надеюсь, что на душе у него стало легче от моей поддержки. Камера моя молчала, только Фетисов чуть суетился, изображая сочувствие и даже виноватость. Но веры ему никакой, вообще, видеть его не могу. Чтобы снять напряжение, другим отшутился: "Неделю поголодать - только здоровье укрепить".

Утром 16 июля на поверке я отдал своё заявление о начале голодовки протеста. "Вот ещё", - фыркнул корпусной, но листок взял. При раздаче завтрака вернул баландёру свой хлеб, сахар, половник каши и улёгся надолго, может на всю неделю, читать книжки, заткнув уши.

Однако на этот раз администрация отреагировала удивительно быстро. Видимо, отказ от пищи сразу в нескольких камерах всполошил даже наше флегматичное начальство. Раскрылась кормушка и без всякого "кто на С.": "Сокирко, зачем Вам нужно голодать? Разве Вы не знаете, что принято решение сделать средние оконные рамы подвесными, что так решат скоро этот вопрос?" Мысль, конечно, хорошая, я удивлён и успеваю только ответить, что ничего такого не знаю и не верю, что такое решение скоро осуществят. Почему администрация не отвечает на заявления как положено? Почему не сказали этого раньше? А теперь я буду голодать, как объявил.

- Ну, смотри, Сокирко, тебе же хуже, - кормушка захлопнулась.

А в десятом часу утра дверь открылась тихо, как перед шмоном, и в неё вошли сразу несколько во главе с подполковником: "Встать! Встать! Выстроиться!" Впервые к нам пожаловало столь высокое начальство и самолично выстраивает нас согласно инструкции, впервые требует рапорта от дежурного: "В камере пять человек"... Как-никак, подполковник МВД Бирюков был не только заместителем Подреза, но и начальником тюрьмы по режиму. С ворчанием и далеко не сразу, но выстроил он нас вдоль шконок.

- Ну что вам нужно? Чего жалуетесь? А? Разве не знаете, что не положено выставлять из камер летние рамы? Кто вам разрешал нарушать режим, а?

Попытки объяснения и возражения забивались сразу: "Душно, да, а мы что - боги? Вся Москва сейчас от жары мучается, и на работе, и в больницах, не только вы. Да и кто вас сюда тянул? Посадили, так сиди... А то жарко... Мне тоже жарко, но я терплю. И что за мода голодать? "Ему услужливо подсказывают: "В этой камере только один голодает, вон Сокирко".

- Ага, ну тогда послушаем Вас, - обращается ко мне, напирая на враждебное "Вас" вместо отеческого "ты". Не дослушав моих сдержанных объяснений и обоснований (раз нет положенной вентиляции, то дайте право открывать и закрывать средние окна по надобности, и что на заявления полагается отвечать...), прерывает меня:

- Значит так, для Вас мы подберём более прохладное место, а остальных предупреждаю: нарушать режим никому не позволим! - и удаляется со всей своей свитой, наверное, усмирять Валерины камеры.

Мне же оставалось гадать: что такое "более прохладное место". "Обшак"? Но там совсем не прохладно (впрочем, Фетисов убеждал, что там можно, открывая кормушки, устраивать сильный сквозняк). Карцер? Он, конечно, прохладнее, но ведь за голодовку нельзя наказывать, тем более карцером. Непонятно... А может, то была лишь пустая угроза?

Нет, в 11 часов меня "выдернули с вещами", спустили на первый этаж и посадили в бокс на "сборке", где я просидел довольно долго. Только на обед два раза открывали клетку, предлагая борщ и кашу, но я ведь голодал. Наконец, вывели... на шмон. Обыскали тщательно два раза и со злобой. Когда тюремщик в чёрном халате рылся в моём мешке, выбирая все бумажки и букочки, а потом орал на меня, прощупывая одежду и обувь, то даже у меня появилось нестерпимое желание поцапаться. Но "чёрный халат" удивился лишь на мгновение, сразу перейдя с "ты, мать твою..." на "Вы": "Бить Вас? Руки

марать. Очень нужно". Наконец, длинным коридором, но по первому этажу, привели в какой-то тупик и впустили в маленькую камеру под номером 13.

В камере голодающих

В ней было всего три шконки и лишь одна из них занята. Человек лежал под одеялом и был сильно измождён. Он не вставал даже на поверку и на это уже никто не обращал внимания. Только один злой корпусной постоянно орал на него, требуя лежать поверх одеяла, как положено по режиму. Но обычно и он ничего не добивался, хотя вставать Саша всё же мог.

Оказывается, он держал голодовку уже 42 дня. Не сразу, но Саша Кныш, студент второго курса нефтяного института им. Губкина, рассказал мне свою историю, которой, в общем, я вполне поверил.

Он из Белоруссии, дома осталась лишь мать-учительница. Денег мало, поэтому прошлой осенью он решил подработать на почте. Месяца два принимал письма, бандероли, посылки. С началом плотной учёбы подработка кончилась и всё забылось. Однако зимой вызвали его в милицию и обвинили в пропаже ряда посылок и подделке документов. Говорили с ним два дознавателя очень жёстко, потому что у них "очень мало времени" на всё это "паршивое дело" – не больше двух суток. Дело, конечно, возбуждено по жалобе хозяев посылок (помню, что пропали какая-то куртка и иная одежда), почта же свалила вину на работника-чужака. Кто знает, может, дознаватели и вправду думали, что Саша виноват и только отпирается. Главное же, у них "мало времени, поэтому давай, признавайся, не тяни резину"... "Тебе же ничего не будет, заставят только выплатить стоимость утерянного, да и то, может, скостят по бедности, - уговаривали его. - Ну а если признаваться не будешь, то обрабатываем так, что потом всю жизнь больным будешь!" И чтоб не быть голословными, тут же били, страшно били и методично. Оба дня.

В армии он уже прошёл суровую школу и знал, как легко сделать человека калекой. И на каком-то часе он решил, что здоровье важнее стоимости каких-то там вещей, какой-то подписи, что главное - вырваться от этих зверей, а там на свободе, он уже сумеет доказать свою невиновность, ведь она так очевидна. Да и "этих" накажут... Комсомолец он, Кныш.

И он подписал признание в подделке почтовой документации и был выпущен с удовлетворением: "Давно бы так!" Однако, выйдя, он стал жаловаться на милицию - всем по порядку. Сначала его жалобы игнорировали, потом вызвали в ту же милицию и пригрозили привлечь за клевету, потом посадили на 10 суток за хулиганство (совершенно надуманное) и снова пригрозили, что сделают больным, если он не кончит "клеветать".

Дело его, между тем, уже перешло к следователю районной прокуратуры, и потому милиция стала вроде не причём. Борьба Саши переместилась в стены прокуратуры и, хотя физически стала более безопасной, но на деле - безнадёжной. Следователь, занозистый парень, моложе самого Саши ("сопляк", по его выражению), тоже имел всего два месяца на это "простое дело", где преступник с письменным "раскаанием" – налицо. То, что Саша отказывался от данных в милиции показаний, следователя не смущало – такое с "преступниками" случается очень часто, просто одумался и хочет избежать наказания. Не выйдет! Загвоздка у следователя случилась с другой стороны, от почерковедческой экспертизы как объективного доказательства преступления: экспертиза не подтвердила подозрения на Сашу. Шансы Саши повысились, да и сам он на допросах продолжал отрицать своё признание и писать жалобы. За него заступились деканат, комсомольская организация факультета, многие в институте выражали сочувствие и обещали поддержку. Однако и следователь не падал духом и продолжал гнуть принятую линию: протесты и жалобы игнорировал, а главное внимание обратил на организацию повторной и "более тщательной" почерковедческой экспертизы, которая нужное заключение, с

некоторым сомнением, правда, но выдала. И тем решила Сашину судьбу.

В конце апреля следователь вызвал Сашу на закрытие дела, и Первомайские праздники комсомолец Кныш встречал уже в Бутырской тюрьме среди преступников. Сам он стал несомненным преступником для сокамерников по статье о мошенничестве, прямой кандидат в лагерь или, если не будет "залупляться", на "химию". Но Саша как раз вёл себя не так, как следует вести человеку, за которым захлопнулась дверь "Архипелага" - он писал жалобы теперь всем верховным инстанциям, включая Организацию Объединённых Наций. Ошеломлённый непоправимостью своего превращения из студента-комсомольца в преступника-лагерника, лишённый нормальных занятий, он не мог себе представить, как перенесёт это известие его мать - старая партийная учительница, да и все его родные и знакомые.

Я понимаю его: оторвав от повседневной работы, поместив в тюремное безделье и недоброжелательство к "быкам-комсомольцам", ему нанесли огромную психическую травму, погрузили в страшные переживания от учинённой несправедливости. И если бы он не придумал с 5 мая эту отчаянную голодовку, то мог бы просто сойти с ума. Такие случаи бывают.

Он написал, что в тюрьме есть не будет, только на свободе и поклялся жизнью матери. Написал, что лучше умереть, чем допустить, чтоб его считали преступником. На его голодовку администрация, по обыкновению, сначала старалась не обращать внимания. На 6-ой день он уже не вставал со шконки. На 16-й день врач распорядился перевести его в больницу. Там начали следить за его состоянием. На 25-й первый раз проделали процедуру искусственного кормления. Двое держали руки-ноги, третий - голову и в глотку запикивал зонд, четвёртый лил бульон с молоком, яйцами и сахаром. Зонд был жёсткий, царапал пищевод, бульон лился в лёгкие, он чуть не умер от этой кормёжки. Потому, когда на следующий день врач предложил: "Если не хочешь мучений - пей бульон сам, всё

равно мы помереть тебе не дадим, не имеем права, а голодовка твоя будет считаться, даю слово офицера!", Саша согласился, и с тех пор находится на искусственном кормлении.

В больнице не хватает мест, и потому три дня назад его перевели сюда, а врач ежедневно приходит, смотрит, не умер ли Кныш, и командует, чтобы выдали следующую порцию питательного бульона. Я пробыл с Сашей неделю, в течение которой его кормили лишь дважды – по миске бульона, а не ежедневно, как я думал раньше. В общем, лишь бы не умер, за этим врачи и смотрят. Теперь я понял, что искусственное кормление - это настоящая голодовка, жизнь на грани смерти.

Когда я рассказал потом о своём сокамернике Бурцеву, прося навести справку о деле Кныша в Черёмушкинской райпрокуратуре (кажется, там) – ведь должен Юрий Антонович переживать за честь своего учреждения – он только хмыкнул недоверчиво: "Разве можно верить этому Кнышу? Конечно, "гонит", чтобы избавиться от наказания. А что ему остаётся делать? И кто его там избивал? Тоже, наверняка, выдумки. Да, случаи избиения бывают и с ними очень строго разбираются. Но этот случай – очень сомнителен. И какие у него доказательства?"

- Ну, конечно, - парировал я, - Вам же просто не хочется слышать о следственных ошибках, о неприятных для прокуратуры вещах. Да, я не могу гарантировать, что Кныш говорит чистую правду, сам всегда бываю недоверчив. Но раз есть подозрение, что такой факт имел место, то его надо обязательно проверить, не жалеть сил.

- Вот у диссидентов всегда так: говорят, пишут о всяких ужасах, избиениях, голодовках, переполненных камерах, а доказательств никаких и выходит – клевета!

- Вот-вот, - подхватываю я, - у вас, при полном отсутствии гласности, никаких доказательств не добудешь. А что мне делать, когда человек показывает синяки от избиений, а в камере я сам 40 суток лежал на полу без места. Это что – не переполнение? Ведь со мной самим было, а как мне доказать?

Выходит, если я расскажу об этом кому-нибудь, то буду виновен в клевете на изолятор?

- Ну, можно поднять списки содержания подследственных в камерах по числам и убедиться...

- А кто разрешит мне, как самиздатскому автору, делать такие выписки из бутырских журналов, может, Вы? Вот и выходит, что отсутствие гласности лишает работу следователей, дознавателей, надзирателей общественного контроля, развращает их безнаказанностью. Нет, "Хроника текущих событий", которая предаёт гласности работу следственных органов хотя бы по политическим статьям, делает великую пользу самим органам и всей стране. Убеждён, что "Хронику" надо не преследовать, а помогать ей.

- Конечно, если б она не клеветала...

Внешне это был бесполезный разговор. Бурцев не мог и не имел права ответить по-иному, а я только лишний раз убедился, что система и критика снизу по начальству на следовательско-судебную систему не действует. Убедился в правоте правозащитников. Даже если Саша Кныш рассказал мне свою историю неверно, её надо проверить, но независимо от милиции и прокуратуры, т.е. независимо от государства, что возможно только через независимую печать, через гласность. Уже сейчас к нам, живущим в Бутырке по ст. 190¹, относятся с гораздо большей опаской и уважением, придерживаются правил, что видно всем бутырским обитателям. А делает всё это "Хроника", её всемирная гласность. Если гласности будет ещё больше, то и самой милиции и прокуратуре, вернее, честным людям там жить станет намного лучше.

И казалось мне, что Бурцев в глубине души понимает, но упрямится и играет свою роль. В такие моменты, ощущая свою причастность к великому в национальном смысле делу "Хроники", я испытывал даже великодушие к Антонычу: пусть делает непонимающий вид, ведь ему надо следствие вести.

В камере 13 я провёл шесть голодных суток. Саша почти всё время спал. Тихо там было, как в одиночке. "Менты" беспокоили очень редко, только на поверках заглядывали и тут

же закрывали двери. На стенке регулируемый (!) динамик тихо мурлыкал свои мелодии. Солнце заглядывало по утрам до 11 часов, с трудом пробираясь через окно в толстой старинной стене первого этажа. Я даже пытался загорать кусочками.

Хорошо там было, спокойно, чувство голода допекало меня не сильно. Только запахи во время завтрака, обеда и ужина, несущиеся из коридора, раздражали. Видимо, рядом была кухня, и камеру голодающих не без умысла поместили в соседстве с кухней. Но может, я и не прав. В нашем тупике другие камеры были заняты "психами", "больными", как в преддверии больницы, поэтому и голодающих здесь держали для удобства врачебного осмотра.

По утрам я заставлял себя делать зарядку. Самому было интересно, до какого дня смогу делать свои обычные отжимы, приседания на одной ноге, наклоны и т.п. Оказалось, что если не торопиться, то можно выполнять весь цикл упражнений. Только дыхание было затруднено, и иногда кружилась голова, особенно при вставании со шконки. Я старался побольше ходить, особенно когда Саша просыпался и приходил час слушать его историю. В общем, самочувствие было вполне терпимым, и я, наверняка, даже не походил на голодающего все эти дни. Да и не мудрено: ведь Лиля голодала не один раз и притом бегала на работу и управлялась с кухней и домом, как обычно. А тут всего семь дней и ничего не делать! Я только боялся самоотравления организма (ни о каких клизмах не могло быть и речи), но ведь на природе люди голодают и не умирают, значит, и я не умру...

Гораздо хуже было отсутствие в камере книг и отобранных у меня записей. Только газеты, да и то не всегда. И ещё – отсюда не водили на прогулку, а когда я спрашивал, объясняли: одного нельзя, да и голодающим не положено.

Естественно, я повёл жалобную войну за свои записи, книги, прогулки. Каждый день подавал заявления, но, конечно же, никакого отзвука. К отработанной бутырской системе игнорирования я никак не мог привыкнуть, не мог не злиться. Но всё же помог случай.

Через три дня после переселения в кормушку заглянул смеющийся офицер: "Ну, как, Сокирко, прохладнее тебе тут?" Оказалось, сам полковник Бирюков заглянул в мою конуру, наверное, повеселить свою начальственную душу: "И охота тебе, Сокирко, мудистикой всякой заниматься?.."

Но мне была безразлична его ирония, я спешил воспользоваться близостью начальства и потому подскочил к кормушке и просунул в неё руку, чтобы не закрыли раньше времени (обычный способ), торопливо объяснил, что чувствую себя хорошо, спасибо, голодовка моя всего недельная, скоро кончится, а если вопрос с окнами решится, то и раньше ("Да?" - тупо удивился Бирюков), я здоров, делаю зарядку, но вот на прогулку меня не пускают, лишают моего права по закону, нарушают режим, а мои жалобы до Вас, начальника по режиму, наверное, не доходят... И записи мои по делу отобрали, и книг никаких не дают, везде прижим и нарушения. Нельзя ли посодействовать, гражданин начальник, пожалуйста? Видно было, что Бирюков ошеломлён каскадом моих желаний и прав, и, вяло кивнув головой в знак согласия, он с корпусным отошёл. Кормушка захлопнулась.

На следующий день меня повели гулять на крышу, и я, как барин, прогуливался один, с удовольствием плавился на жарком солнышке и жмурился. Не только от тепла, но и от радости маленькой победы. Господи, как нужны победы для заключённого, хотя бы маленькие!

А с книгами мне повезло ещё больше. Не сразу, но я усмотрел, что газеты нам приносит заведующая библиотекой. И потому очередное своё заявление – просьбу о книгах я отдал прямо ей, задержав кормушку рукой и жалобным голосом изобразив нижайшую просьбу: как и прежде, выдавать мне сюда книги по философии, марксизму-ленинизму, русской и иной классике. Всё это было перечислено и в моём заявлении с обычным обоснованием: прошу выдавать мне основоположников и их предшественников (всех философов) в целях продолжения политического самообразования и воспитания.

Результат этого ходатайства перекрыл все мои заявки и ожидания. В тот же вечер пришла заведующая со своей сотрудницей и выдала мне огромное богатство - целых восемь книг, в том числе УПК, Ламетри, Секст Эмпирик, Леонов, Федин и, конечно, Маркс-Энгельс. Вот когда был праздник для души! Даже Саша оживился и сразу углубился в УПК, а потом в Ламетри... Сколько радости! И принесла её маленькая женщина с обычно хмурыми под очкам глазами в синем служебном халате. В этот раз она улыбалась, даря мир и счастье. Я до сих пор вспоминаю её и благодарен не только за книги, а за свою тогдашнюю благодарность, за то, что везде, даже в бытырском антимире есть люди, есть женщины, которые счастливы, когда делают другим добро и радость.

В карцере

Моя голодовка была на последнем дне, как вдруг вывели с вещами. Попрощался с Сашей, тяжело было уходить от человека на грани жизни-смерти и даже не суметь хотя бы посоветовать ему что-то дельное. Советовать бросить голодовку – на это язык не поворачивался, ему это каждый день надзиратели советовали. Держаться – я тоже не мог так советовать, не верил я в возможность его победы. Только пожелал счастья и головы не терять и ушёл.

Подержав немного в боксе, меня соединили на "сборке" с четвёркой каких-то молодых ребят, тоже с вещами. Когда сдавали постели, я узнал, что нас ведут в карцер, и долго не мог понять, так ли это и почему именно на последнем дне голодовки... И всё время попадал впросак, спрашивая рыжеусого конвоира, можно ли мне взять с собой книги и бумагу ("Хо-хо-хо, читатель..."), будут ли там газеты и радио ("Ух ты, радио..."), но потом все образовалось. В ожидании врачебного осмотра, когда мы переодевались в карцерную одежду, т.е. обычную эковскую форму: грубые ботинки, заляпанная краской штаны и куртку (на себе можно было оставить только трусы, майку и носки), пошли более серьёзные

разговоры: как пронести табак (насыпать в носки), спички, лишнюю одежду и т.д.

Среди ребят выделялся парень постарше, лет 28-30–и, по имени "Колька". Худой, резкий, насмешливый и даже симпатичный какой-то воровской ладностью, как Челкаш у Горького или Метелица в "Разгроме" Фадеева. С малолетки не раз бывал в лагерях, да и сейчас в третий раз идёт в карцер (опять за карточную игру) и всё знает вдоль и поперёк. Он был здесь в своей стихии, рыбой в воде, шутил, балагурил, знакомился, расспрашивал. Не обошёл вниманием и меня. Видимо, с моей статьёй он встречался, потому что сразуотреагировал: "Нет, этих политических я не понимаю. Вот мы – понятное дело, мы так живём и иначе не будем. А эти, особенно которые с семьёй... У тебя, наверное, и дети есть? Четверо? Ну, куда же ты лезешь? Всё равно ведь власть не сменишь, а менты всегда будут..." Я отмалчивался, не желая затевать очередного спора (только его ещё не хватало...), и Колька перескочил с меня на какие-то другие темы.

Врача ждали долго, зато осмотр прошёл быстро. В боковую дверь выглянула пожилая медсестра, взглянула на нас и оценила: "Хорошо, тут все здоровы и гадать нечего!". Все бросились к ней, прося таблеток и записи к специалистам, но дверь тут же захлопнулась, а нас через пять минут поодиночке стали выводить в "трюм", по выражению рыжеусого сержанта. В предбаннике уложил свой мешок в шкаф, получил лист, уведомляющий, что наказан на 10 суток карцера за "переговоры с подельником 15 июня". Я был удивлён: ведь никто меня не ловил за разговоры с Валерой, и на всякий случай не расписался. Из коридора нас повели через приёмную начальника тюрьмы с телефонами и пластиком на стенах, одна из панелей которых вдруг открылась как потайная дверь на тёмную узкую лестницу в ещё более тёмный подвал. Настоящий трюм, над которым расположен кабинет Подреза, как капитанская рубка над телами грешников. Не успел я осмотреться в небольшом коридорчике, как меня повернули

лицом к раскрытой маленькой дверке в какой-то замусоренный закуток и подтолкнули: "Входи".

Ничего не понимая, пригнув голову, вошёл и, только оглянувшись на тут же захлопнувшуюся дверку, сообразил, что пришёл в карцер. Вот он какой! Немыслимо грязный унитаз, шконка, убранный в стену, стол и сиденье. Да, правильно, это и есть карцер на 10 суток. Площадь примерно 2,5 на 1,5 метра. Высота – не более 2 м, причём потолок начинал спускаться сводом от середины камеры к окну, врезанному в свод особой нишей так, что от дверки к окну можно было сделать 5 шажков, но при ходьбе обязательно наклонять голову на перегибе, чтобы не стесать макушку о цементные бугры. Окошко в размер форточки на уровне груди уходит в глубокую полутёмную, полутораметровую яму, так что, только сильно пригнувшись, можно было увидеть кирпичную стенку и ботинки редко проходящих ментов. Напротив, в нише над дверью светит тускляя лампочка – главный источник света. Всюду, на стенах и потолке – грубая, неровная, цементная шуба и только пол – под мраморную крошку в цементе, но покрытый таким слоем жидкой грязи, что надо не ходить, а хлюпать. Именно чёрная грязь и рыжий от дерьма унитаз вызывали главное отвращение. А я и не подозревал, что возможно такое средневековье, настоящая каменная яма в наше время! И это - в центре Москвы! Как будто театральная декорация из старинной пьесы вдруг материализовалась. И на всё смотришь как на чудо – до чего интересно! До чего же мне повезло с такой экзотикой! Честное слово, я испытывал чуть ли не благодарность судьбе за десятидневную экскурсию в московский тюремный подвал – не сейчас, в воспоминаниях, а именно тогда. Никакого комплекса "узника", ужаса или страха перед "мучениями" я совсем не испытывал. Конечно, камера была похуже, чем "на спецу", но ведь не сравнишь, допустим, с переполненным общим вагоном или холодной ночёвкой без огня. Да и что значат дополнительные неудобства в сравнении с главным несчастьем - фактом заключения в тюрьму и переживаниями родных на воле?

Что такое карцер в сравнении с моей виной перед отцом и Лилей?

На доске-столике лежал кусок хлеба со щепоткой грубой соли. Видно, мой предшественник решил оставить часть своей пайки следующему пассажиру, предвкушая, что в камере ему посочувствуют друзья и накормят, может, даже из передачи. Спасибо ему, но мне-то сегодня хлеб не нужен, голодовка моя не кончилась ещё, и потому хлеб-соль я убираю на подоконничек. Потом оказалось, что первый день в карцере – "пролётный", т.е. только 450 г чёрного и три кружки кипятка. Мне это как раз на руку. А вот завтра будут давать горячую пищу, как и везде, только с утра не дают сахар, а в обед нет второго. Если "на спецу" зэка кормят на 10 руб. в месяц, то в карцере – на 5. Конечно, этого мало, зато, как говорил Колька, баландёр наливает миску до краёв.

А пока я начал выхаживать по своей камере, нет, конуре, от двери к окну и обратно, каждый раз сгибая голову перед потолочным перегибом и выжимая ботинками грязь к стене. От долгой ходьбы грязь сбилась "в сметану", потом "в масло" по обочинам своеобразной тропинки. За дверью я начал различать громкие голоса и сначала не понимал их происхождения. Оказалось, что переговариваются все мои соседи. Дверки камер расположены рядом друг с другом, выходят в тесный подвальный коридор, поэтому слышимость через двери очень хорошая. Кроме разговоров из двери, из открытого окошка доносились другие, более слабые звуки жизни спецкорпуса – стук домино, мелодии первой радиопрограммы, даже переговоры "на решке". Но внутрикарцерные разговоры были слышнее и намного интереснее. Однако об их содержании позже.

Сейчас дорасскажу о самом карцерном бытѐе. В тот же воскресный день в "трюм" к нам спустились уборщицы из заключѐнных, в обязанности которых входила уборка не только сборки и подрезовских апартаментов, но и карцера. Один раз меня вели мимо кучки уборщиц. Запомнились их быстрые, жадные взгляды по сравнению с напускной строгостью и

неприступностью "комсомолок" в военной форме МВД. Так вот дошла очередь и до моей конуры. Однако когда дверь открылась и на пороге возникла женщина с ведром и тряпкой, тот же насмешливый сержант покачал отрицательно головой: "Не треба... Здесь такое гиблое дело, всё равно не уберёшь", и захлопнул дверью всю мою мгновенную радость. А на стук мой и крик, что хотя бы тряпку дали, не обратил никакого внимания. Вот сволочь! А ещё в интеллект играет, мерзавец!

Это ухмылистое "гиблое дело" я вспоминал и ночью, когда с 10 вечера до 6 утра вертелся на грязных досках откинутой шконки, подложив под голову карцерные ботинки, только немного обтёртые от грязи и накрытые носовым платком - сначала блаженно вытянувшись, а потом всё больше скрючиваясь и сжимаясь от карцерного холода (раз на улице больше 13⁰, значит, телогрейка в "трюме" не полагается).

"Гиблое дело" вспомнилось мне и на следующий день, когда зарядили дожди и наружная стена у окна стала сочиться водой, а к дверям потекли грязные ручьи. "И впрямь гиблое дело", - бормотал я, когда коридор карцера полностью залила вода канализации и проникла даже в камеры. Под хлюпанье и мат надзирателя я узнал насколько точно дано бутырскому карцеру прозвище "трюм". Наверное, мы сидели ниже уровня московской канализации, поэтому все сточные воды в карцере не могли идти в канализацию прямотоком, а собирались в особой яме, откуда насосом перекачивались в общегородскую канализацию. Как водится, насосы часто ломались, система выходила из строя, а вода с дерьмом, переполняя яму, выливалась сначала под ноги разъярённого вертухая: "Мать вашу перемать, совсем воду открывать не буду!", потом и к нам. После многих звонков к ремонтникам и ругани, появлялись зэки-слесаря, что-то чинили под наши заинтересованные советы, и вода уходила на день-два до новой поломки или сильного дождя.

Давно уже перекрыты краны унитазов для слива и очистки. Теперь над унитазом приделана глухая, без крана, трубка, и два раза в сутки, утром и перед отбоем, надзиратель на минуту

включает воду. Обитатели всех камер в эту минуту лихорадочно прочищают толчок от скопившегося за день дерьма, мылят руки и лицо, жадно пьют и запасаются кружкой воды... Где уж тут подумать о чистоте одежды, камеры и самого унитаза?

Однако все эти неурядицы я не воспринимал трагически - ведь в туристских походах бывали лишения более тяжёлые, когда падаешь от усталости, не находишь места от холода, голода, гнуса, жары и т.д. и т.п. Здесь было много легче, да и приспособиться можно было.

Когда Бурцев впервые увидел меня на допросе в карцерной робе, он был непритворно поражён открывшимся ему зэковским видом и даже изъявил готовность ходатайствовать перед администрацией, чтобы освободила от наказания, конечно, при обещании, что "больше таких переговоров не будет". Но врать я не хотел, а обещать своё молчание, когда меня будут вызывать "на решку", я не мог, так что и ходатайствовать Бурцеву ни о чём не пришлось. И всё же, когда я перед уходом попросил у Антоныча несколько листов чистой бумаги, чтоб было чем оборачивать ботинки на ночь, кладя их под голову, а с них как раз стекла грязная лужа ему под стол, сердце его, наверное, дрогнуло, изменило привычному принципу: "все заключённые в жалобах врут" и заставило его в частном порядке просить прокурора по надзору за местами заключения и одновременно его личного знакомого срочно проверить состояние бутырского карцера. И визит прокурора состоялся. За день до этого в камерах состоялась повальная уборка. И мне дали ведро и тряпку и были благодарны, что я немного отёр пол и унитаз. Самого прокурора я не видел (был на вызове), но Бурцев, когда я поделился своей радостью, что из-за визита прокурора мне дали тряпку и пол теперь чистый, а во время дождя струится лишь приятный чистый поток, воскликнул удовлетворённо: "Звоночек-то подействовал!" Кажется, он даже с превосходством посмотрел на меня: мол, вот как надо дело делать, устранять недостатки. А вы всё жалобами, протестами - ерунда всё это!

В те дни стали давать полотенце на день, а с непривычки, или, не зная толком правил, надзиратели часто вечером его не отбирали, и им можно было прекрасно накрыть тело или голову. Через несколько дней (после вывоза меня в город) я перед возвращением в карцер натянул на себя дополнительно шерстяную чёрную рубашку, замаскировав майкой, и потому спать ночью стало много спокойней. Чувство голода после выхода из голодовки меня также не терзало, и карцерной нормы вполне хватало, тем более что выданную в один день кашу я растягивал и на второй. Цементные стены моей конуры постепенно перестали казаться мрачными. Довольно скоро я научился при тусклом свете различать в цементных буграх множество интересных лиц и чертячьих харь (правда, потом меня уверяли, что с этих харь начинается помешательство от одиночества). Огромных, многосантиметровых жуков-тараканов я вывел постепенно ботинком. А от скуки я был вполне избавлен частыми допросами у Бурцева (причём меня к нему водили теперь через внутренний тюремный липовый парк, и на ходу удавалось сорвать несколько зелёных листочков, чтобы потом в подвале долго наслаждаться их свежим запахом), а также разговорами соседей. 10 карцерных суток не показались мне тяжёлыми, хотя, вернувшись в обычную камеру спецкорпуса, я несколько дней наслаждался её "огромностью", светом и "удобствами".

А теперь о содержании карцерных разговоров. Уже через несколько минут после моего водворения в камеру № 15 выяснилось, что моими ближайшими соседями являются **Леонард Терновский** (№ 14) и **Александр Лавут**_(№ 16). Сначала пришедший чуть раньше меня "Колька" выяснял, кто и за что посажен в карцер, а услышав о 190¹ статье, включился в галдёж и я. Леонард был более сдержан, а мы с Сашей Лавутом радостно бросились в громкие расспросы, пока не прикрикнул дежурный сержант: "Молчать! Раскудахтались, мать так... А то повторный срок устрою!" Установилась тишина, но через некоторое время Колька снова завёл какой-то свой

разговор, а мы с Сашей – свой. За 7 совместных дней наговорились вдоволь.

Саша и Леонард сидели в "трюме" четвёртый день. Кажется, у Саши при шмоне (наверное, не без помощи наседки) изъяли письмо, заготовленное для Леонарда. Интересно, что наказали их за "попытку переписки", но, уже сдавая бельё и получая карцерную одежду, они наговорились не на одно письмо. Сначала Леонарда поместили в камеру № 12, но там у шконки сломался запис и защемил ему ногу, так что она стала пухнуть. Естественно, что бытырская медицина оказалась "бессильной". Леонарда только перевели в камеру № 14 с исправной шконкой и разрешили лежать днём. Опухлость перестала расти, но все 10 дней ареста за неполученное письмо Леонард отбыл полностью. Держался Леонард удивительно спокойно и рассудительно, вызывая необычное уважение даже от уголовных соседей к "политическому доктору". Колька звал его не иначе как "старина" и донимал важными вопросами не только медицинского характера: "Леонард, старина, ты мужик умный, вот и объясни, почему, если бабу или гребешка в жопу используешь, им самим начинает это нравиться, сами потом хотят?" И Леонард авторитетно отвечает: "Дело в том, что рядом с анальным отверстием поблизости расположены нервные окончания половых желёз. Видимо, они тоже раздражаются, и человек испытывает ощущения, аналогичные половым..." А с небольшим перерывом: "Скажи, Леонард, ты и вправду с Сахаровым разговаривал? Что он за мужик?" Ну и так далее.

О себе Леонард мне говорил мало. Обвиняют его в распространении документов Комиссии по психиатрии Хельсинской группы, конечно, по 190-1, но по его оценке могут и переквалифицировать на 70-ю. "Нет, я не жалею ни о чём, ведь заранее знал, на что иду", - говорил он спокойно. Примерно такое же безразличие выражал и Саша, хотя он был много больше убеждён, что его дело кончится переквалификацией – уж слишком много ему вменялось, длинный список из десятков подписанных им заявлений "Инициативной группы" и иных протестов... Я же был убеждён в ином: вчерне уже решено, что

нас будут судить по 190-1 и только из-за случайности или неверно взятого тона это решение может быть переиграно - прокуратура будет вынуждена передать дело КГБ. "Всё же, ребята, если почувствуете, что и вправду будут решать заново, по какой статье квалифицировать, то, ей-богу, не надо собачиться, лезть на рожон, постарайтесь закрыть дело по 190-й, легче в нашем случае всё равно ничего не будет", - примерно так я говорил обоим. После 1973 года, когда под давлением диссидентского "общественного мнения" я сам загнал себя в бессмысленный суд по ст.182, я старался других уберечь от такой ошибки, говорил, что они вольны в своём выборе поведения, что поиски выхода из-под следствия по наиболее мягкой статье не только допустимы, но, по моим понятиям, просто правильны, нравственны. Конечно, с максималистской точки зрения даже разговоры такие предосудительны, как "размягчение диссидентской твёрдости и решимости", как "пособничество следователям". Ну, а если человек, подобно мне в 1973 году, внутренне готов к таким поискам, но не может сам преодолеть гипноз возможного "общественного осуждения"?

Уже зимой я узнал, что суды над Сашей и Леонардом прошли спокойно, с максимальным наказанием по ст.190-1 (три года). Они оба были рассудительны и не допустили переквалификации на сволочную 70-ю. Нет, я не забыл, что полагается возмущаться несправедливым приговором этим честным и замечательным людям и сочувствовать им в предстоящих испытаниях. Но, прочувствовав тяжесть выбора между 3 и 12 годами лагеря и ссылки, я рад, что у Саши и Леонарда хватило выдержки и рассудительности, что, не поступаясь ни в морали, ни в убеждениях, они не загнали себя в 70-ю. А что же я? У меня получилось иное. Но ведь и задачу я ставил себе гораздо более сложную – выход на "химию".

Саша, удивительно добрый и заботливый человек, сначала буквально опекал меня. Через надзирателя передал половинку своего куса мыла (я не догадался взять с собой), полиэтиленовый пакет, чтобы можно было складывать на время часть еды, предлагал носки, советовал, как лучше выходить из

голодовки и т.д. Мне было стыдно, что я ничем не могу быть ему полезным, даже от его предложения играть в шахматы по памяти отказался (просто не умею). В Бутырке Саша сидел уже два с лишним месяца, но был бодр и активен, в своей конуре ежедневно выхаживал несколько километров, вступал в разговоры и опросы с соседями, выясняя, не встречали ли они в своих лагерных скитаниях того или иного из диссидентов. Под конец же выяснилось, что Саша занимался и опасным делом. При шмоне у него обнаружили запрещённые в карцере карандаш и записи. Саша мне что-то тихо объяснял про характер изъятого, но слышал и понимал я плохо. На следующий день карцерный срок у Саши и Леонарда кончился и мы распростились. В тот же день меня во всеуслышание вызвал Колька: "15-й, а 15-й, а твой-то кореш из 16-го, Сашка твой, сухой оказался, всё выпрашивал и писал на нас всех... Меня только что к куму вызывали и его записи показывали: смотри, мол, дурак, вы болтаете, а там сидят и записывают и фамилии, и сроки, и статьи, и за что про что... Хорошо ещё, что самим ментам сейчас не до этого, порвали те бумажки... Но вот кореша твоего проучить надо!" И тут же стал сговариваться с кем-то из левого крыла "спеца" крикнуть в Сашину 318-ю камеру, чтобы как следует проучили этого "писателя", "чтоб неповадно было".

Конечно, я возражал, как мог, объяснял, что это лишь досадная неосторожность Саши, его привычка записывать для себя информацию о нарушении прав человека, что от этого на свободе много пользы людям, что "куму" верить нельзя, никаких записей, способных кому-либо навредить, Саша делать не мог, а теперь, после этого случая, он, наверняка, любых записей делать не будет... Колька утих вроде, но я так и не знаю, приступили к исполнению его угроз в Сашиной камере или нет... Надеюсь, обошлось.

Вообще, этот случай навевал подозрения относительно самого Кольки: с какой стати "куму" нужно было его вызывать и "пенять"? Уж очень выгодно проучить диссидента руками "оскорблённых" уголовников. Но слишком блатным и ярким был Колька, чтобы поверить в его согласие на роль карцерной

наседки. Да и условия для такой "работы" неважные. А о том, что Кольке здесь не сладко, я могу судить по его мягким упрасиваниям баландёра: "Налей щей побольше!", а спустя чуток: "Ох, разлил я, добавь ещё немножко!", да и по выпрашиванию хлеба в пролётные дни (свою пайку он не мог сохранить хотя бы до обеда, а к ужину у него уже "сосало страшно"). Если б он "работал", то, конечно, "менты" подкармливали бы его. Нет, не был Колька насадкой.

А с другой стороны, сначала трудно было объяснить "популярность" Кольки среди надзирателей. Почти с любым он мог завести общий разговор. Начинал с простых просьб: "Командир, а командир, подойди к 9-му... Подойди, ну чего тебе стоит... командир, а... Ну, чего ты боишься, командир, подойди..." Когда тот, не выдержав, (это "на спецу" можно уйти за угол и не слышать нудный эковский голос, а в подвале – куда денешься?) наконец подходил, то слышал: "Да открой кормушку, чего скажу". Дальше следовала не только просьба принести водички, но и грубая, неприкрытая лесть и издевательски подобострастный трёп и расспросы о жизни, о семье. А потом "командир" втягивался в этот искуcительный трёп и даже сам иной раз подходил к Колькиной кормушке пошептаться о жизни. Господи, как ему скучно! Устанавливались двусмысленно-дружеские отношения и, пользуясь ими, Колька заводил свободно разговоры и со своими соседями. Именно с примера Кольки в карцере начались разговоры вслух и едва ли не общецарцерные дискуссии. Причём надзиратель зачастую затихал, вслушиваясь в наш разговор (а может, он на это имел разрешение?), чтобы через некоторое время всё же всколыхнуться руганью: "Молчать!.. Разгалделись, забыли, что Подрез над нами сидит, ещё услышит... Молчать, говорю!"

Думаю, что Колька не был насадкой, но он был близок к сотрудничеству с "ментами". Егоров и Фетисов – лишь следующие этапы такого развития умного уголовника. Тюремная жизнь заставляет его "заигрывать с ментами", искать у них через лесть выгоды, своеобразного симбиозного

сожительства. Но поскольку моральных запретов у уголовников мало и они не совпадают с общепринятыми, то выгоды "сотрудничества" в какой-то момент перевешивают инстинктивное отрицание – тогда и получается стукач. И чем способней и безнравственней уголовник, тем скорее он найдёт "смычку". Что ж, уголовника и его выгоды понять можно, ну, а каковы резоны власти? Разве в погоне за информацией и сведениями, идя на сотрудничество с уголовниками, они не играют им на руку? Разве не множат зло?

Но как бы там ни было, а без Колькиных разговоров скучно было бы в карцере, и думаю, мне повезло на сидение с ним. Мне было интересно и как он "обхаживает" и "приручает" новых надзирателей. И его роман с Иррой, зэчкой, появлявшейся здесь по вечерам, чтобы убраться в "карцере вонючем" (точнее она говорила "е...м", мата не стесняясь), иногда с громко смеющимися товарками. Они, конечно, вызывали множество вожделений и пожеланий, а поскольку сами были голодными на мужиков в ещё большей степени, то в ответах не стеснялись: "Командир, будь человеком, пусти к мужикам лечь... чтоб мягче им... хоть на минутку... У, харя откормленная, открывай лучше..." Колькина любовь на воле была продавщицей, лет 25-и (дома муж и ребёнок 6-ти лет), себя рекомендовавшая, не скрываясь: "За хищение меня судили... Я и вправду хищница... на мужиков и деньги жадная". Апофеозом этой тюремной любви бывало, когда Ирине удавалось открыть Колькину кормушку и пошущукаться с ним, а после её ухода, успокоившись, он самодовольно объявлял всем: "Сейчас руку запустил ей за пазуху – груди горячие, а сама стоит и вся трясётся, дрожь унять не может... Ох, бабы..."

Иногда в карцере устанавливались тихие периоды, молчание, пока Колька не начинал, например, подзуживать кого-либо из молодых, что жена ему сейчас, конечно, изменяет. Если тот клевал и начинал возражать, что не может такого быть, что у них любовь, жестокая игра при всеобщем внимании продолжалась дальше. "Да какая это любовь, - небрежно отмахивался Колька. – Любовь, это когда всю любишь, когда

любимым ничего не стыдно, а не то, что с обычной проституткой, сунул, потом утёрся и всё... Нет, так она с любимым может. А вот ты ей, например, в рот давал или нет?.. А пососать?.. Ну вот, я и говорил, значит, не любит она тебя, раз стыдно. Так и проверяется настоящая любовь. А без этого... гуляет она сейчас, правда, братва?.."

Ошарашенный "молодой" стыдится своей "невинности" и постепенно начинает выдумывать, что да, было и это, только не любит он говорить, а вообще, конечно, было и ничего им не стыдно, и по-всякому... "Да? – удивляется Колька. – Чего ж молчал, тогда другое дело. Ну а ты сам её любишь? Вот знаешь, бабы любят, когда их в... низу целуют. Ты целовал, да?" Задёрганный "молодой" неуверенно соглашается и с этим – и вот тут капкан захлопывается: "А теперь подумай, падло безрогое, о чём же с тобой можно разговаривать, когда ты совсем без понятия. Твоя баба член сосала - да как ты мог есть, что она сготовила, свинья, ведь у неё рот опоганенный. А саму бабу там лизал, а сейчас, сука, в камере, наверное, никому об этом не говоришь, со всеми вместе ешь, а люди через тебя поганятся. Ах ты, тварь... Эй, Валёк (или ещё кто), ты там будешь рядом с его камерой, крикни мужикам, чтоб они его, козла вонючего, в отдельности, у параша держали".

Всё - "молодой" уничтожен, и лепет его никто не слушает. Да искусством ошельмовывания Колька владел в совершенстве, наверное, с малолетки. Впрочем, через день-два Колька может вернуть своё расположение к уничтоженному "молодому", и конечно, тот будет только поддакивать. Типичная ситуация и не только в уголовном, но, наверное, и в следовательском, да и в ином мире. Человека стараются сбить с ног и замарать только для того, чтобы превратить в покорного, безвольного слугу, шестёрку, удел которого только молчать и поддакивать человеку много грязнее его. Чего только стоит упоение Кольки, когда он рассказывал о своём скотоложстве – и с лошадьёю, и с баранами, но лучше всего со свиньёй... У неё такая горячая... и в самый раз..."

Пожалуй, только нас Колька не мог или не хотел "заводить". Никто из нас троих не вступал в спор, даже когда речь заходила о дорогих нам вещах – зачем встревать в воровской трёп? Только раз, когда разговор зашёл о "жидах и евреях", и Колька спросил мнение, Саша ответил спокойно, что вот он сам еврей, и нет у него преимуществ по части карцера и прочего. Больше о евреях разговоров не было.

Зато дискуссия о кавказских нациях прошла очень бурно. К нам "спустили" двух дагестанцев, и в тот же день Колька начал: "Вот кого я не люблю по-настоящему, так это "зверей". Пока в зоне их мало – люди как люди. Но как собирается куча, так житья никому не дают. Вот слушай ты, новый... ты ведь с Кавказа... Объясни, в чём тут дело". Парень начинает объяснять, что бывают, конечно, и нехорошие люди, но плохих и среди русских много, поэтому нельзя говорить, что на Кавказе все плохие, а в России все хорошие... Но Колька прёт своё: в какой зоне он ни был, везде слышал одно - дрянной народец. Конечно, терпеливых до поры аварцев эти оскорбления вывели из себя, заставили от громкого спора перейти к ругани, а старший даже пообещал, что если приведёт судьба встретиться, то он Кольке объяснит правду понаглядней. Всё моё сочувствие было на стороне аварцев и, если бы они, и вправду, встретились на моих глазах на воле, я не мешал бы их объяснению – уж очень Колька наглый, учить таких надо. Но не думаю, что среди свободных аварцев он стал бы повторять свои выпады...

Кроме аварцев я больше никого не заметил из обитателей карцера. Но на выходе, в послекарцерском душе (мы освобождались вчетвером), какой-то парнишка обратился ко мне как к политическому и даже хотел показать мне свои исписанные тетради с программами и обращениями в высшие органы страны. Те заявления он стал писать в тюрьме, но говорил, что "идейным" он был и на воле, но по какой-то

случайности его взяли по уголовной статье, а сейчас он стремится перейти в "политические"... Однако разговор наш был мимолётным, заглянуть в его записи я не мог и ограничился лишь рекомендацией подождать с писанием хотя бы до выхода из тюрьмы, а уж на свободе легко найти диссидентов и разобраться в своих отношениях и вопросах. Мы расстались быстро, но этот парень остался в памяти как пример живого интереса сидящих к диссидентам. Это важно.

Вывоз 27 июня

Накануне о вывозе предупредил Бурцев, так что утренний вызов меня из карцера не был неожиданностью. Не пришлось мне осенью, как Валере и Юре, ездить на суд из Бутырки, но ощущения вывоза я испытал в этот день.

Сначала заставили переодеться в собственное. Обнаружилось, что без ремня брюки на мне теперь не держатся, и передвигаться приходилось, прижимая их рукой к бедру. Потом привели на сборку и сунули в "бокс", потом – в парикмахерскую. Уже три недели я не был в бане, небывало оброс и с трудом узнавал себя в зеркале: из закучерявившегося на физиономии чёрного подшерстка торчала прямыми, расходящимися иглами, седая щетина. Ну и зверюга! Вот когда я оценил бурцевское сочувственно–удовлетворенное: "Прибавилось седины, прибавилось... У меня один так совсем белым стал..."

Зэк обстриг мои космы и бороду и немного огорчил своим сочувствием: "Зря ты на карцер напоролся. Если тебе его в карточку запишут, то ни на амнистию, ни на химию с полсрока не рассчитывай. А я вот скоро уйду отсюда!" Хотя я и не рассчитывал на эти возможности, но всё-таки жаль терять даже ничтожные дополнительные шансы на свободу. После стрижки мне показали на стойку с электробритвами – главная привилегия выезжающих на суд. Впервые за пять месяцев я ощутил гладко выбритую кожу - какое это удовольствие!

Но "праздник вывоза" продолжался: в бокс мне дали не карцерную, а нормальную порцию хлеба, каши, сахара и чая.

Вычистив миску и облизав ложку, жду дальше, коротая время за медленным проглатыванием оставшегося кусочка хлеба. Пришли двое шмонщиков со списком моего имущества и, убедившись, что всё на мне – моё, захлопнули дверь. Наконец, вывели через бутырскую дверь на воздух сразу в милицейский воронок, притом первым, так что я мог устроиться ближе к выходу, чтобы в боковое окошко видеть летнюю Москву. Скоро я её увижу. Снова вспоминаю, как Лиля хотела застраховать меня дагестанским воронком от таких поездок, а я вот сейчас так нетерпеливо радуюсь!

(Водитель пустого воронка, петлявшего по пустынной дороге одной из дагестанских долин, остановился на мою поднятую руку. Мы не сразу осознали, куда влезли. А осознав, я стала твердить, что это – прививка, чтоб не случилась «болезнь»- вынужденная поездка под конвоем. Но «болезнь» наступила через несколько месяцев).

Поднимаются в воронок ещё пятеро, двое из них подельники и потому одного из них запикивают в отдельный боксик (но это не мешает им переговариваться даже о суде: "Если можешь – закоси..."). Наконец, тронулись. За решёткой перед нами два молодых и симпатичных офицера, один из них удивительно похож на моего сотрудника – лицом, мягкой иронией, даже выговором. Бывают же такие совпадения: умница–математик и "комсомолец-мент", как один человек. За поворотом машина притормаживает и взамен наших сопровождающих в "предбанник" втискивается громадный рыжий парень в форме МВД. Он бурно здоровается с обоими подельниками, обещает им какие-то известия на волю, какую-то помощь. Я ничего не понимаю, да и не моё это дело, только не могу избавиться от удивления – бывает же такое! Но когда бутырские ворота нас выпускают, один из подельников высказывает удивление: "А я и не знал, что... в менты пошёл". Вот как друзей разбрасывает: одних - в воры, других - в менты.

Воронки катят по Москве. Мелькают дома, деревья в зелёных листьях и нарядные летние люди на чистом асфальте. Настоящая Москва! Из-за решётки она кажется чудом! Это

только сейчас я могу оценить, что творящей чудо была тюремная решётка, т.к. обострила мои чувства почти до плаксивой сентиментальности. Узнаю площадь Белорусского вокзала, Грузинскую улицу... Машина заезжает к зданию какого-то суда, кажется, Тимирязевского, подельников и ещё кого-то выводят. Один из оставшихся, пожилой мужик, пристал ко мне с жалобами, что вот ни за что судить его везут. Лезли на него оравой и, вот крест, убили бы, если б не защищался. А тот, кого он ножом пырнул, живой остался, оклемался, и всё равно следователь-гад шил ему покушение на убийство. Слушал я его с видимым сочувствием, даже чего-то советовал (кажется, заявить, что нуждается в услугах адвоката), а глазами вбирал Москву и краем уха прислушивался к трёпу "ментов". Потом, когда я остался единственным пассажиром, слушать стало легче. Они говорили, как обычные советские люди, о привычных безобразиях, о том, как замучили их субботниками и уборками предрелигиозной Москвы. ("А тому активисту из ЖЭКа я уже сказал, чтобы духа Вашего в моей квартире не было".)

Один из них спросил у меня статью, и чуть набылчился, но не злобно, а потом сказал, что везут меня в III отделение милиции, зачем, не знает. Встретил меня толстый "старлей", обыскал, отнял носовой платок, огрызок карандаша и записки (карандаш я получил от самого Бурцева). Потом окликнул: "Чего руки за спиной держишь? – и сам удовлетворённо догадался. - Приучили!" Меня отвели в огромную и совершенно пустую камеру. Думаю, что весь КПЗ был пуст – так успели почистить Москву к Олимпиаде. В этой гулкой одиночке я провёл примерно 4 часа. Сначала шагал по скрипящим половицам, потом утомлённый постоянным поддёргиванием спадающих штанов, улёгся на деревянном помосте-сцене, свернувшись клубочком. Прямо в своём "выходном костюме". "Зачем меня вывезли? Для разговора с каким-то большим начальством, наверное, после чтения моей записки? И разговор будет важным, решающим, если тут возможно что-либо решать, если они будут способны согласиться на мои хотя бы минимальные условия".

Наконец, меня подняли и вывели на свет. Рядом с толстым старлеем, теперь почтительным, стояли трое: Бурцев в чёрном костюме, другой знакомый в голубой рубашке, толстый (год назад он проводил моё задержание на встрече с машинисткой в Беляево), третий был, видимо, для сопровождения.

"Вот Ваши вещи, Виктор Владимирович, пожалуйста, пройдётте",- и подводят к сверкающей чёрной "Волге". Рванула "Волга" и понеслась Москва - теперь уже не мельтешащими урывками в зарешеченной воронке, а круговой панорамой, свободным обзором московского мира. Да, свобода почти полная. Только вот двое по бокам. "Голубой" балагурит о чём-то с "Антонычем" (так он величает Бурцева). А молодой сидит молча, напряжённо, диковат, видно, от ответственности, что сторожит "важного преступника".

Сколько хлопот им из-за меня, а ведь в принципе просто им можно решить мой вопрос вот сейчас, когда мы мчимся по длинному путепроводу: открыть дверцу и силовым приёмом в четыре руки имитировать несчастный случай... от помешательства, или ещё чего... Нет, невозможно это, совершенно невозможно! Только если они все трое сами сойдут с ума.

Завернули в район останкинских гостиниц. У одной из них ("Восток" или Восход") притормозили у обочины. Однако вывели меня не сразу, и 15 минут ожидания (может, меньше) оказались одними из самых полных, запоминающихся в моей жизни. Посреди улицы – зелёный бульвар, гуляют женщины и дети. Перед нами у светофора - обнимающаяся парочка. Идут вольготно и вразвалочку свободные летние люди – совершенно рядом, рукой легко достать. А в машине приглушённо звучит чудесная лёгкая музыка радио "нон-стоп" из советской контрпропаганды... И я здесь тоже внешне совершенно обычный. "Голубой" вылез из машины и разговаривает с Антонычем, придерживая рукой мою дверцу. Люди проходят мимо и даже не оборачиваются в удивлении. Ведь на самом деле я - не я, не свободный человек, а оборотень, заключённый из бутырского карцера, и всем своим сознанием нахожусь ещё там,

в сыром подвале, куда не доносится ни звука с воли, а на окружающую меня Москву смотрю как на чудесный телевизор, иллюзию. Смотрю и не могу поверить. Каким-то чудом я перенёсся сюда и жадно вбираю в себя весь светлый мир, такой небывало родной и дорогой – всем истосковавшимся по впечатлениям существом... Но чудо это сделали "Антонич" с "Голубым", которые ещё раньше засадили меня в бутырский антимир. Да и чудо вроде того, когда следователь возил Юлиуса Фучика по Праге и говорил: "Смотри, Фучик, как прекрасна наша Прага, а ты исчезнешь..."

Серая "Волга" вывернула перед нами, из неё вышли знакомый мне "коллега следователя" и какой-то пожилой ясноглазый человек, с добрым и мягким лицом. Именно он сделал приглашающий жест и направился к гостиничным дверям. В гостинице наше шествие не осталось незамеченным: "Вы куда?" Любопытного администратора быстро успокоили. На втором этаже открылся пустынный роскошный коридор весь в пластике и длинноворсовых, необычайно мягких коврах. Ничего подобного я раньше не видел. Но особенно разглядывать мне не давали, пока я не очутился в большой комнате со спущенными портьерами и умопомрачительной для карцерника мебелью. Сопровождающие остались в прихожей номера, а со мной вошли трое: Бурцев, его "коллега" и ясноглазый "начальник", которого "коллега" сразу отрекомендовал: "Вот, я обещал познакомить Вас с видным экономистом, чтобы поговорить о Ваших воззрениях. Владимир Александрович очень уважаемый человек и читал Ваши сборники".

Тут вступил в разговор Владимир Александрович, и не выпускал инициативу почти до конца встречи: "Да, я прочитал с интересом Ваши сборники, в них видна своя оригинальная концепция, хотя мне она совершенно чужда, а с чисто профессиональной точки зрения я видел, конечно, очень много очевидных "ляпов". Думаю, что Вы можете мне поверить и не только потому, что я занимаюсь экономической наукой профессионально, как профессор, но и как участник многолетних дискуссий по ценообразованию, как член

комиссии по проведению экономической реформы и, значит, неплохо знаком с тем кругом проблем, которые и Вас волнуют. Только не следует думать, что за нашу экономику лишь Вы болеете. Ведь никто не отрицает, что у нас много трудностей, неясных вопросов, нерешённого... И все мы думаем, как их следует разрешать. Когда я бываю за границей, знакомлюсь, то часто примеряю, что может быть у нас применено с пользой... Нет, речь идёт не о технике, а о принципах хозяйствования. Рынок? Свободная конкуренция капиталов? Безработица? - Согласен, в этих принципах очевидны и некоторые плюсы, но ведь есть и огромные минусы – и не только с идеологической точки зрения, а с точки зрения самого главного, самого существования нашего государства, страны..."

Наш разговор длился часа два. Вначале он был скорее монологом профессора, лишь поддерживаемым моими вежливыми вопросами и возражениями. Он касался и опыта социалистических стран: "Когда я был в Югославии (ведь, кажется, именно югославскую модель "рыночного социализма Вы предпочитаете?), то сталкивался с жалобами на малый экономический рост из-за проедания рабочими советами основных средств на развитие... И в Венгрии положение совсем не розовое, который раз приезжают к нам, просят кредитов... Про Польшу и говорить нечего, там настолько развилась чернорыночная экономика, настолько спекулянты переплелись с диссидентами, что положение стало очень неустойчивым. Только агентура ЦРУ удерживает их от поспешных выступлений, от анархии. Нет, не существует совершенно пригодных для нас рецептов.

А что имеем мы сами? - Необходимость громадных военных расходов. Нас вынуждают иметь равный военный потенциал с США, что возможно только за счёт большого удельного веса этих расходов в национальном доходе. Также необходимо осваивать Сибирь и Дальний Восток - сколько сил требует одна программа БАМ! Наконец, на ускоренное техническое развитие, на капиталовложения мы также вынуждены тратить гораздо больше других, это тоже

объективная необходимость. Вот и выходит, что на часть национального дохода, предназначенного к потреблению, приходится меньше, чем в иных странах, отсюда и рождается вполне понятное недовольство, но направлять его надо на конструктивное преодоление этих трудностей, на лучшую работу ...

...Незавершёнка? – Да, это большая проблема. - Щёкинский метод, бригадный подряд? – Кто же против? Только нельзя допускать безработицы. Шабашные бригады? - Ну, Вы преувеличиваете их значение... Гибкие цены – учёт качества и потребительского эффекта в этих оценках, как экономические ориентиры для производства? – Но мы сейчас и переходим на ценообразование с помощью "лимитных цен".

Владимир Александрович был несомненный эрудит, слушать его было приятно, обо всём он мог что-то рассказать и пояснить. И хотя разговор много раз наткнулся на взаимное непонимание, мы быстро переключались на новые вопросы, как бы опрашивая бегло друг друга о взглядах и стремясь не к их опровержению, а лишь к ознакомлению. В.А. сказал сразу: "Я согласился на просьбы товарищей помочь Вам. По их уверению, сейчас решается Ваша судьба. Понятно, что у Вас своя система взглядов, переубеждать бесполезно, но я только хотел, чтобы Вы сами убедились, что Ваши рецепты далеко не так бесспорны, как кажется... Мы все тоже ищем, но отличаемся от Вас в двух пунктах: наши поиски носят не негативно-критический, а конструктивный характер, и, во-вторых, в нынешней борьбе миров мы твёрдо знаем, на чьей стороне..."

В.А мне нравился, хотя я и подозревал, что он не только профессор, раз ведёт такие вольные разговоры и так свободно разъезжает по "заграницам". Несомненная эрудиция, чёткость суждений, равноправие в разговоре и естественная уважительность вызывали расположение, а брошенным невзначай замечанием: "Вы, конечно, человек незаурядный", – я был почти подкуплен. Я не хотел бессмысленных споров, и они мне не навязывались. Моё право на независимость убеждений не отвергалось, но даже как бы ценилось, подчёркивалось. Что

же касается моего негативизма, то я возразил: всегда стремился к конструктивной работе и по экономическим проблемам тоже. Потом добавил, что после отбытия срока и выхода на свободу был бы рад встретиться с Владимиром Александровичем или кем-нибудь из его сотрудников, чтобы принять участие в конструктивной работе (так я уверился, что он входит в какой-то мозговой центр по решению экономических проблем страны).

Что же касается выбора своего места в "борьбе миров", то в идеологическом плане я такой выбор не приемлю, потому что свои убеждения я определяю, как буржуазно-коммунистические (более точного названия не могу придумать). Что же касается отношений межгосударственных, национальных, то я русский и этим всё сказано. Соображение, что меня "используют враги", я отмёл по незнанию подобных фактов. Вот если за рубежом действительно начнут использовать мои вещи и имя для нагнетания ненависти к стране, для подстрекательства войны, т.е. во враждебных стране целях, то, конечно, я буду против этого, буду осуждать, но сейчас этого нет, и разговаривать не о чем.

Не помню соображений В.А в этой части. Помню только, как вступил в разговор "коллега", подчёркнуто посмотрев на часы: "Времени осталось мало, поэтому я хочу, Виктор Владимирович, заметить, что я внимательно слушал Ваш разговор и понял, что никаких возражений против объяснений Владимира Александровича Вы не имеете. Видимо, он Вас полностью переубедил".

Против такого вывода запротестовал даже В.А., но "коллеге" так хотелось именно "победного" результата, что он не сразу перестал на нём настаивать. Завёл снова речь о реальном вреде, который я принёс Родине, о моём реальном вовлечении, пусть даже не совсем осознанном, в антисоветскую и антинациональную деятельность. С юридической точки зрения эти факты совершенно очевидны и мои преступления, конечно, подпадают под 70-ую статью. И совершенно необходимо, чтобы я признал свои преступления.

В ответ я удивился: ну зачем им нужна ложь? "Если я виноват, то судите и наказывайте, но зачем Вам нужна неправда, что я сейчас и ещё раньше думал о своих вещах как о клевете? Вы же прекрасно знаете, что это не так. Даже если бы я сейчас изменил свои убеждения, взгляды, то ведь прошлое моё состояние уже не вернёшь, ведь тогда-то я точно верил в то, что писал. Нет клеветы и никак не может получиться признание в ней.

Тут вступился и Бурцев: "Ну, если так, то и в самом деле придётся думать о 70-ой статье" ("А ведь божился, что 70-ая отошла от меня насовсем, раз дал показания", - мелькнуло в голове укоризной).

- И не только по 70-й можно Вас оформить. Есть ведь и 64-ая,- подхватил вновь "коллега".

- Вот-вот, теперь уже и расстрелять,- недоверчиво уточнил я. – Вот и доехали. Опять пугаете.

- Ничего не пугаем. 64-ая статья и к пропаганде имеет отношение. Думать вам надо, думать. Надеюсь, что эта беседа, спасибо Владимиру Александровичу, не пройдёт для Вас бесследно.

Встреча закончилась, началось моё возвращение в карцер. С сожалением я покидал портьеры, ковры, несколько нетронутых пирожных и бутылки "Байкала" на лакированном столе (приносил нам пирожные "голубой", меня усиленно потчевали, особенно узнав, что обед у меня пропущен - о карцерном состоянии я не упоминал - но атавизмы гордости мешали мне слопать всё подряд, за что вечером я был единодушно осуждён в карцере).

И снова мчится "Волга", но уже по вечерней Москве. Нас догоняет другая машина, в ней разговаривают Владимир Александрович и "коллега" за рулём. Они обгоняют нас и исчезают за поворотом всё так же в разговоре... Наша же "Волга" вылетела на Новослободскую, потом пара поворотов, и вот она сигналил перед неприметными бытырскими воротами. Отодвигается железный занавес, к шофёру подходит знакомый мне по "спецу" мент, забирает у Бурцева бумаги, спрашивает:

"Оружие есть? Смотрите, а то ввоз его строго запрещён", – пропускает. С жадным любопытством рассматриваю тюрьму снаружи, как уже свой дом. Как будто вернулся из гостей.

Остановились в сторонке от тюремных дверей. Было, наверное, 6 часов - из тюрьмы изливались потоком служащие, как из обычного учреждения. Бурцев с моими бумажками начал проталкиваться. Мне разрешили выйти, ведь мы уже были на территории тюрьмы, внутри громадных букв "Запретная зона. Подходить строго запрещается!" Я всё смотрел на мать-Бутырку, такую однообразную внутри и столь интересную снаружи, на старинный спецкорпус, угадывая за стёклами наши камерные галереи, а по бокам здания – старинные башни с зубцами – "екатерининскую экзотику".

"Голубой" продолжал мою "обработку", начатую ещё в машине на правах "старого знакомого":

- Ну и как беседа? Было что-то нового?

- Как не быть... Вот уже и о 64-ой статье говорили.

- Правда? – удивлённо обращается к Бурцеву.

- Было, - неохотно откликается тот, - пугали его.

- М-да, но ведь и 70-я тоже нелегка. Вы, Виктор (он почему-то старался держаться с добродушной фамильярностью), сейчас уже 5 месяцев отсидели. Это тоже немало, но ведь не сравнить с 12 годами... Да и после них... Придёте, а дети Вас и не узнают, станут взрослыми, считайте, вырастут без отца, а Вы - без детей. ("Вот искусьитель-то, Господи!") Ну, и так далее.

Что ему сказать? Да снова то же: за освобождение от меня требуют оболгать себя и друзей. Ничего не может он возразить, только отходит в сторону, чтобы потом вернуться к прежнему. Наверное, сам понимает, на какое плохое, скользкое дело меня подбивает.

Вернулся Бурцев. Вместе с ним подхожу к двери и вдруг сталкиваюсь нос к носу с самим полковником Бирюковым и вежливо с ним здороваюсь. Ну и богатым на встречи выдался у меня этот летний денёк! Начальник тюремного режима смотрит растерянно и чуть ли не испуганно. Окончив свой рабочий день, он возвращается домой отдохнуть, к внукам. А тут перед ним

возникает в неподобающем месте, почти на свободе вверенный ему зэк, тот самый Сокирко, которому он неделю назад по-отечески советовал не заниматься голодовкой - мудистикой, а потом посадил в подземелье... Теперь же он стоит свободным среди свободных, смеющихся людей и даже вызывающе здоровается! Как такое может быть? Мысль Бирюкова мучительно билась и не находила ответа, а взгляд всемогущего режимника никак не мог приобрести привычной мудрости. Наконец, он нащупал глазами Бурцева с его папкой и особым ко мне отношением, потом увидел чёрную "Волгу" и начал что-то понимать, отвернулся и пошёл, оставив меня торжествующим мальчишкой: "Что, выкусил, Бирюков? Не всё тебе подвластно..."

Я торжествовал, а Бурцев меня подталкивал: "Давайте, Виктор Владимирович, идите, мне туда с Вами уже нельзя. До свидания!" А на вопрос, когда он теперь меня вызовет, ответил: "Как когда? В понедельник". И, конечно же, соврал...

Но об этом после, а в тот пятничный вечер я был лёгок и счастлив до того, что, опоздав к ужину, нахально добился, чтобы меня покормили на сборке. Сытым и переполненным я очутился вновь в своей подземной конуре, термитной ячейке, и конечно, начал изливать свои впечатления на собратьев, ждущих рассказа о вывозе. Меня слушал весь карцер и мент-сержант, а когда он пытался наводить тишину, то Колька его утихомиривал: "Да брось ты, командир, дай дослушать, как комитетчики Витька на свою хату колоть возили". Кольку особенно возмущало, что я не съел все пирожные - уж он-то подмёл бы всё подчистую, и какое тут может быть "неудобно".

Сашу и Леонарда интересовали содержание "бесед", уговоры. Вот тогда-то Леонард и произнёс коротко и внушительно: "Смотри, Витя, верить им нельзя, они могут и обмануть". Но тогда я чувствовал себя вправе не придавать большого значения советам – ведь на этой встрече меня не "раскололи", не уговорили. В принципиальной же верности своей линии на достижение "химии" я был уверен (и обманулся в своих расчётах). Кажется, в том же разговоре я сказал, что

если "они" меня выпустят до суда, то, понятно, я буду им благодарен и готов это сказать публично – сказал, особенно не думая о последствиях своих слов, а в обыкновенных, естественных человеческих чувствах. Саша и Леонард ничего мне не возразили – настолько, видно, нереальной казалась им такая возможность и настолько естественной - благодарностью за такое чудо - выход на свободу, не теряя совести.

Кстати, уже было известно о телевизионном выступлении Дудко (мне рассказывал об этом Бурцев, как о "правильном примере"). Но никаким боком к себе такую линию я тогда и не думал примерять. Напротив, мне снова грозили и предлагали признание в клевете, я снова, и думалось, окончательно, "на высшем уровне" отказался. И ребята так же оценили мою встречу. Мои же поиски "химии" в рамках морально дозволенного казались им, видимо, для меня правильным, хотя и опасным (судя по предупреждению Леонарда). И не думал я, не гадал, что именно во время "беседы" я сказал, а здесь, в карцере, напишу то, что потом, после многих искажений и, напротив, исправлений будет расценено многими моими знакомыми именно как измена из-за страха, как капитуляция, в одном ряду с выступлением Дудко. Да, так получилось, но, даже зная такие последствия, я до сих пор уверен, что поступил тогда правильно. И вспоминая заново "беседу в гостинице", продолжаю недоумевать, в чём была моя кардинальная ошибка, и уверяться - не было больших ошибок.

Через день Саша и Леонард ушли. Кончились мои встречи в тюрьме с близкими мне людьми. Теперь я остался один... Трёп Кольки стал меня интересовать меньше. Допросы кончились: в понедельник-вторник и дальше вызовов не было. Я стал втягиваться в карцерное одиночное существование, когда ничего нет - только шершавые цементные стены и потолок, и ещё собственные мысли. Единственным внешним раздражителем бывали дожди-ливни. Много часов я провёл грудью в окошко, слушая шум дождя и ловя разлетающиеся на подвальной решётке брызги. Буквально упивался этим, как главным своим наслаждением, хотя ночью от дождей было у нас

сыро и холодно. Ни чтения, ни ясных звуков, только мысли, самые разные. Возвращались они чаще всего к впечатлениям от выезда в летнюю Москву и осмыслению беседы с профессором.

83

И ещё я постоянно повторял своё заявление, написанное Бурцевским карандашным огрызком на обрывке туалетной бумаги на следующий день после вывоза и отобранное сразу же, при шмоне. Это был черновик моего заявления для печати о том, что попытки использования моего имени и работ во враждебных странах я встречу с осуждением. Повторяю, что тогда и в мыслях у меня не было, что я этим сделал главный шаг к своему "отступничеству" от себя самого и друзей.

Мысль составить такое заявление была простым следствием моего согласия с Владимиром Александровичем, что в иные моменты, например, военные, надо подтвердить свою верность стране вне зависимости от близости или неприятия официальной идеологии – и без всяких условий. Точнее, это была только моя мысль, потому что для моих собеседников защита страны и официальной идеологии слиты воедино, но была выражена она в виде согласия. Разбираясь в себе тогда и потом, я вытащил два несомненных убеждения: 1) о возможности войны между нами и Западом, раз реально существует блоковое военное противопоставление, идёт гонка вооружения (в том числе и борьба разведок, и пропагандистская война); 2) в случае войны исключено всякое сотрудничество с противником, возможно или участие на стороне "своих", или смерть за отказ от участия. Умом я понимаю ход мыслей убеждённых антисталинистов, ставших власовцами, но не принимаю его. Возможна ещё позиция "революционного

⁸³ А. А.: «А что, так и осталась неизвестной фамилия профессора?». Л. Т.: «Увы, да».

пораженчества", ради свержения власти любой ценой, но такая позиция неприемлема для либералов, отрицающих революцию.

И ещё. Правильно ли я сделал, высказав подобные убеждения в беседе со своими тюремщиками? Ведь могло создаться впечатление, что я не выражаю свои убеждения, а лишь выдумываю их, подлаживаясь к чужому ради своего освобождения.

Убеждён и сейчас, что имел на это право. Уж слишком о важных вещах шла речь, чтобы обращать внимание только на соображения внешних приличий, опасений, как бы кто-то не так обо мне подумал. Важна только внутренняя честность, только, что я думал на самом деле. А то, что я искал одновременно выхода из тюрьмы, подчёркивая следователям моменты единства и доказывая, что посадили меня зря – этого мне не нужно ни скрывать, ни стыдиться. Борьба против тюрьмы, как средства борьбы с инакомыслием, подчёркивание своей юридической невинности и политической лояльности – тоже неперемённые составные части либерализма. Единственное, в чём я мог себя упрекнуть, что не нашёл сил сделать такое заявление раньше, до тюрьмы, чтобы избежать кривотолков о тюремном давлении. Не хватило для этого ума и мужества противостояния общему диссидентскому настрою. А впрочем, наверное, тогда меня стали б упрекать в двоемыслии, в боязни ареста.

На беседе в гостинице я видел, что собеседники мне тоже не верят, для них мои слова, скорее всего – тактическое враньё. Реальным доказательством моей искренности было бы открытое публичное заявление с изложением своей позиции. А если мне предложат сделать такое заявление, да ещё как условие? – Отказываться? – Почему? – Только оттого, что неудобно? Выглядит сделкой или результатом нажима, особенно если заявление будет написано не мною, не моими словами?.. Так что же – из-за боязни быть неверно понятым отказаться от своего действительного выбора, необходимость которого я ощущал уже давно (не раз в самиздатских своих выступлениях подходил к этой теме, хотя нигде так и не смог

преодолеть своего косноязычия и недодуманности)? Судьба привела меня к пониманию своего выбора именно сейчас, в тюрьме, и даёт возможность сказать это во всеуслышание, и я не хочу отказываться.

Но вслух нужно также сказать, что инакомыслящие вовсе не пятая колонна, не имеют ничего общего с враждебной стране деятельностью. И сказать именно самому, сейчас, не дожидаясь, когда мне предложат. Сказать не из-за собственного спасения, а самому и своими словами - вот что главное!

Вот примерно тот ход рассуждений, который привёл меня к сочинению своего заявления для печати с двумя главными идеями. 1) Я – инакомыслящий, но не считаю себя, "жертвой сталинского режима", хотя и не виновен в клевете. Зная об отрицательном отношении к моим взглядам большинства народа, которое не делает различия между моей буржуазно-коммунистической идеологией и преступлением, я приму обвинительный приговор советского суда как приговор народа, с пониманием, ибо предпочитаю жизнь на родине – эмиграции. 2) Хотя я сторонник свободного распространения идей и информации, но попытки использования моих работ и имени во враждебных моей стране целях вызовут с моей стороны только осуждение.

Открытое заявление о своих буржуазно-коммунистических взглядах, о своём идейном "отщепенстве" от большинства, о своей невинности в клевете и готовности принять и подчиниться даже несправедливому с юридической точки зрения судебному приговору, если с ним согласно большинство моих соотечественников, как мне казалось, достаточно полно и правильно выразили мою позицию лояльного к существующей стране диссидента. Я и сейчас так думаю. И раньше, все 70-ые годы, когда убеждал всех, что неправильно садиться в тюрьму, что инакомыслие должно быть на свободе, а не в лагерях, что они не должны превращаться в уголовно преследуемую, потенциально разрушительную оппозицию. Всегда так думал и

не желаю изменять себе и сейчас. Ну а то, что появление этого заявления одновременно увеличит мои шансы на личное освобождение (поскольку покажет властям, что "Сокирко - свой, советский"), то это тоже хорошо и правильно, ибо шансы повысятся не отказом от собственных убеждений (попытка переубедить меня с помощью Владимира Александровича провалилась - это стало ясно даже "коллеге"), от своей оппозиционности. Но опять же, – чтобы подчеркнуть независимость своего заявления от личных интересов, я сделал временное отступление от своего требования освобождения из тюрьмы до суда, приписав, что "было бы лучше и естественнее сделать такое заявление, находясь на свободе в связи с изменением меры пресечения, но если такое решение принято не будет, то заявление может быть принято и без освобождения. Непременным условием была неизменность этого заявления – только так, как я его написал (гарантией этого могла быть передача копии Лиле на свидании).

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ ОТ 30.06.1980⁸⁴

Как мне сообщили компетентные органы, в некоторых зарубежных (эмигрантских) средствах массовой информации появились сообщения обо мне как о «жертве советского режима». В связи с этим я должен заявить следующее. Действительно, в январе я был арестован по обвинению в распространении клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, при редактировании журнала «Поиски» и составлении мною под псевдонимом К. (Коммунист) Буржуадемов сборников «В защиту экономических свобод».

⁸⁴ См.: <http://victor.sokirko.com/Part1/butyрка-1/butyрка4.html>

Я сознаю, что мои буржуазно-коммунистические взгляды отвергаются громадным большинством советских людей и чужды им, что, как ни горько это осознавать, я являюсь идейным отщепенцем от своего народа, а мои усилия по обсуждению и распространению своих взглядов могут быть осуждены советским судом как преступление. Однако взгляды невозможно менять как одежду. Поэтому, видимо, мне придётся долгие годы жить среди осуждённых своих соотечественников. Тем не менее, если суд вынесет мне обвинительный приговор, я встречу его с пониманием как приговор народа. Во всяком случае, лучше отбывать наказание на родине, чем жить на чужбине (тем более что в настоящее время, учитывая моё семейное положение и данное мной обязательство, я выпущен до суда на свободу). [Фраза в скобках была «на вырост», Витя понимал, что, возможно, её придётся исключить] Высказанное же обо мне мнение как о жертве и мученике я отвергаю как неверное. Вместе с тем я должен заявить, что хотя всегда стоял за свободный и беспрепятственный обмен информацией и идеями, однако, если кто-либо за рубежом вознамерится использовать мои работы и имя во враждебных моей стране целях или для ведения психологической войны, то такие действия с моей стороны могут вызвать только осуждение. Подпись 85

⁸⁵ А. А.: «Какова судьба этого текста? Был ли он кому-либо передан? Как удалось сохранить копию?». Л. Т.: «Скорее всего, это заявление было включено в материалы следственного дела, откуда мы имели возможность делать выписки. Ниже сказано, что мне его показывали на допросе с «коллегой» 17.07.1980».

Из Лилиного дневника

5 июня. Готовимся к Олимпиаде. Расскажу, как Андриюшу [Григорьева] принимали на работу в гостиницу: "Что вы будете отвечать, если Вас спросят, есть ли у нас свобода слова? У нас её, конечно, нет, но Вы должны ответить: есть". И дальше аналогично про все свободы. В конце он сотрудник сказал: "Видите, как я откровенен с Вами. Надеюсь, Вы тоже будете откровенны со мной".

На воскресенье написала себе список работ, разбила его по времени и практически весь выполнила, кроме глажки белья. Главное, к 12 часам закончила отчёт.

Воскресный вечер начался с "Мангышлака", а потом все три части "Сибири". Большая программа. Глеб привёл М.Я. Гефтера и других раньше, чтобы посмотреть "Мангышлак" - очень он Глебу нравится, т.к. в нём "цельная жизненная позиция". М.Я., начав смотреть, вспомнил, что видел, и ушёл в другую комнату дочитывать "Мой собеседник". [Г.С. Померанца] Сдержанно похвалил статью, сказав только, что зря там о твоём "совершенном несовершенстве", т.к. всякий интеллигент несовершенен. М.Я. выразил уверенность, что мы будем чаще встречаться. Не знаю... "Буддизм" в "Сибири" он похвалил так: "Целое исследование".

Наши появились из Тарусы только в половине одиннадцатого. Спрашиваю Алёшу: "Очень утомил тётю Ксану?" Он машет головой: "Наоборот". Ощущает, выходит, себя подарком.

Пришли от тебя 10 рублей. Я уже перестала ужасаться твоим действиям.

Ответила адресатам в США и ФРГ с благодарностью за посылки. В ФРГ даже на смешанном немецко-русском

языке. Было нелегко. Написала Оле [Красовитовой – Витиной украинской тётушке] в деревню. Оказывается, они не получили моего первого письма, а второе пришло вскрытым - "канал прослеживается". Нашли за чем следить! А дело, видно, в том, что Оля, посылая посылку, не вынула со дна моего ящика бумагу, а она - отходы от ротапринта.

Моя пятка стала меньше болеть после воскресенья - после трёх часов стояния у проектора. А твоя?

В среду с утра ездила к Померанцам на дачу, повезла в подарок крупу и сухие яблоки, а также две из присланных книжек - посмотреть... Поехала, потому что очень соскучилась. Я сейчас не могу вспомнить, о ком бы я могла так сказать, кроме детей и тебя, мамы раньше. Мне с ними хорошо, славно. Я в их обществе не говорю глупостей, т.е. естественна. С радостью их слушаю - всё важно и интересно. Зин. Ал. рассказала, что её смотрел врач, который был поражён: он не знает другого такого случая, чтобы после такой болезни люди оставались психически здоровыми. 5 лет она лежала в параличе. Ей нужно писать книгу о своей жизни, о преодолении болезни, о силах, позволивших это сделать. "Я как канатоходец живу. Сколько приходится стараться, чтобы удержаться в жизни". И в самом деле, страшно за неё. Она обещала мне почитать стихи. И я оставила две иконные книжки, чтобы иметь повод вернуться за ними...

Гр. Сол. меня проводил, несмотря на дождь. Он дал почитать пятую часть "Снов"... На вопрос, понравилось ли прочитанное, я ответила, что это не то слово, правильной будет сказать "соответствует", хотя в глубины его разрезов не всегда могу заглянуть. Наверное, и слово "соответствует" не точно. Но то, что в № 8 после чтения Померанца ничего другого читать не хотела, не могла

вчитаться – это правда. Я определю когда-нибудь поточней своё отношение к его работам. В "Русской мысли" помещена ругательная рецензия на него Сергеева (Рошальского), где говорится, что Померанц готовит почву под нечто вроде "фашизма" (уничтожение людей). Гр. Сол. день порасстраивался, а потом написал юмористическое лёгкое прелестное письмо. Он мне его рассказал наизусть. Умница! Только так и нужно отвечать чёрным злопыхателям. Но грустно всё это. Сложности у Гр. Сол. и с издателями: все претендуют на свои издания и очень сложно всех их успокоить.

В 3 часа собралась к Бурцеву. Назвалась по телефону. "Так", - пророкотал он. - У меня наложились два мероприятия: НТС [научно-технический совет?] и встреча с Вами. Но НТС не собрал кворума, и я, если хотите, могу приехать к Вам. - Что это за постановка - "если хотите"? - Ну, ведь это Вам нужно, а не мне. - Вам тоже. - Ну, тогда заказывайте пропуск.

В 4 часа с минутами я была у него, в 5 ушла.

Начал он так: "Вопросы есть?" Я спросила о твоём здоровье, самочувствии, о передачах и о сроке. - Вот о сроке и пойдёт наш разговор. Он в какой-то степени зависит от Вас.

- За чем дело стало? Хочу, чтоб он завтра был дома.
- Нет, это не так просто. От суда его нельзя освободить. Но после суда можно добиться амнистии.

Потом был вопрос о моём к тебе отношении.

- С каждым годом нашего 18-летнего супружества люблю всё больше. Он замечательный человек.

Следующий вопрос: "Кто у вас принимает основные решения?"

- Витя, а я по мелочам хозяйственным.

Дальше порядка вопросов не помню. По его словам ты и хотел бы всё рассказать, да боишься осуждения моего и друзей. Я отвечала, что бы он ни сказал, я, конечно, признаю всё правильным и не буду осуждать. "Но, видно, Вы от него требуете что-то такое, чего он сказать не может". – "Да нет, только про свою деятельность в "Поисках". Ещё вопрос: "Как Вы относитесь к его деятельности в "Поисках" и степень Вашего участия?"

-Участия, понятно, никакого. И с самого начала была против его работы в "Поисках". А уж когда опасность нависла над Валерой, тут и вовсе. - Когда он начал добиваться закрытия "Поисков"? - Летом ещё, когда стало ясно, что работать вы им не дадите. Ведь ему не противостояние нужно, а диалог.

- Да, он говорил, что вошёл в "Поиски", чтобы печатать свои экономические статьи.

- Может и так. Он не очень-то со мной обсуждал, т.к. знал, что я против.

- Судить его будут не за письма, а за сборники. В них много негативщины.

- Понятно, за письма судить стыдно. Но ведь Витя пишет о том, что больно. Вот здоровая рука, разве Вы о ней вспоминаете? А даже небольшой гнойник Вам отравляет жизнь, и надо вскрыть его, чтобы рука снова стала здоровой (понятно, что пример я привела чисто полемический). Ну, а дальше я говорила, что ты настоящий мужчина, гражданин, не разрушитель, не для себя стараешься. Об экономике - о невозможности сверху управлять изготовлением всего до мелочей...

Вроде соглашается: "Но ведь он с 61-го начал". И тут я по-новому загорелась: "Вот именно, начал, но с чего? С того, что через 20 лет коммунизм обещан, а у нас ещё так много не сделано. Кто тогда верил в коммунизм? А сейчас

и вовсе таких нет, а он остается единственным человеком в моём окружении, кто верит в коммунизм, ищет пути к нему. Я недавно перечитала его выступление на студенческой комсомольской конференции (вместе учились). Я запомнила тогда только его первую фразу, потом отключилась, потому что мне было всё равно. А ему нет. И никогда ему не всё равно, если речь идёт о коммунизме".

Дальше каким-то образом дошли до буржуазного демократа. Я ему напомнила, что для тебя буржуазный - это городской, не то, что для нас, а буржуазная демократия - это изначальная, народная демократия. И вообще, ты человек из народа, именно его беды чувствуешь и хочешь, чтобы ему было лучше. Другие только ворчат, а у тебя есть предложения. Надо бы к ним прислушаться.

- Да... Вот мы с Вами говорим и понимаем друг друга (что-то в этом роде). Но вот когда это написано – по-другому выходит.

- Но что же мешает нам с Вами сесть и прочитать вместе и разобрать все неясности? Он же и просит, чтобы услышали, чтобы обсудили...

- Да-да... Он не злобный. Вот Абрамкин очень злобный. А Виктору надо помочь. Тем более такой уникальный случай - четверо детей.

Что я поняла: от тебя требуют подробных показаний, чтобы скомпрометировать Валеру (по крайней мере). Тебя будут судить отдельно. Если ты выступишь нужным свидетелем, то тебя амнистируют. Ты почти дал согласие "не писать". Мне предлагается роль "тебя убеждающего", умоляющего согласиться на всё. Я поддержала его надежду на эту роль, т.к. у меня появилась надежда получить очную с тобой встречу. В заключение сказала, что ты мне дома нужен любой, что очень без тебя плохо. И

дети скучают. Спросил где-то в середине разговора про мою зарплату, про денежную помощь. 300 рублей вполне убедительное число, чтобы поверить, что деньги из Фонда я не беру. А когда объяснял, что ты отказываешься от показаний по моральным соображениям, спросил:

- Ну, вот Вы не осудите. А друзья? Кто-то из друзей - единомышленников остался?

- Глеб Павловский.

- Ну что там Глеб, - отмахнулся он, - а вот Сорокин?

- Виктор Сорокин приезжал один раз, когда его выпустили из карантина, чтобы помочь мне отнести передачу, больше его не видела.

Про Валеру [Абрамкина] я сказала, что слышала, как он читал стихи и пел, но ни разу серьёзно с ним не разговаривала. Бурцев пожалел меня, сказав, что знает, как мне тяжело, у него своих двое парней растут. Я тут впихнула про ответственность перед ними и про то, что придётся держать ответ. Он согласился. Когда я стала рассказывать про Алёшику, он махнул рукой: "Ладно, пишите письмо", Как будто экспромт, но листки он взял в эту комнату заранее. Наверное, в комнате есть и микрофон. Мягко, но всё же выяснял, читала ли я Буковского. "Не успела, только посмотрела картинки"⁸⁶ "Злобная книга. А экономические знания приобрели из чтения чего-нибудь?" – "Да нет, из разговоров с мужем".

Меня он привлекать не собирается, хотя и знает, что я переводила "Разноцветные рынки" – ты якобы так сказал.

⁸⁶ А. А.: «А что, Буковского изъяли при обыске?». Л. Т. Книга рассыпалась, и довольно толстая пачка листов осталась у нас. А. А.: «Но Буковский фигурировал среди изъятого?». Л. Т.: «Протокол не сохранился, не могу сказать, скорее всего да, а «дома» Бурцев обнаружил, что книга сильно «похудела», и проверял меня на своём «детекторе лжи».

Я поправила, что поскольку языка не знаю, переводить не могла, только переписывала. А в конце доверительно: "Вы знаете, что сейчас репрессии усилились?"

Какому искушению ты подвергаешься! Бог мой! Я целый день сегодня мечтала о свидании, проговаривала, что скажу. Надо б записать, а то на ходу и не успею обо всем сказать, не про то буду говорить. В воскресенье запишу. Он посетовал, что я отказалась стать свидетелем.
⁸⁷ Мой вопрос о Гримме замял

10 июня. Надо написать о моей позорной защите научной работы в пятницу. Я начала заикаться с первых же слов. Не подготовилась – какой-то заскок. Не понимала, что мне придётся докладывать, думала, что всё будет формально. И чем больше я лепетала, тем больше их раздражал мой лепет. И мне поставили 3. При этом много спрашивали. Не все ответы были достаточны. А дело, видно, в том, что работа не продумана, кое-как сляпана. Это моё ощущение и вылезло. До сих пор противно и тоскливо, хотя все меня утешают.

В пятницу вечером ездила к Тамаре Васильевне [жене Егидеса], простилась с ней. Она уезжает в Европу в ночь с 15 на 16. Очень сердечно простилась, хотя видела её я до этого всего два раза. Уезжать она не хочет, но что поделаешь – бросить мужа она не может, любит...

Вернулась поздно. Детки с утра уехали с Т.П. на дачу.

В субботу и воскресенье я немного побегала и поплавала, а потом засела за письменный стол. Написала 5

⁸⁷ А. А. «Если можно – подробнее о предложении стать свидетелем?» Л. Т.: «Не помню, как прошёл разговор о возможности быть свидетельницей. Скорее всего в форме: сам спросил – сам ответил».

отказных решений и одну формулу. При жгучем солнце работать тяжело. Ещё один отказ напишу, а решение по последней заявке ещё не созрело.

Вечером детки ворвались вихрем в 8 вечера, счастливые, что их до Москвы довели на машине. Отец пришёл минут через 5-7. Вид у него был обиженный. С трудом разговорилась, рассказала, как много наработала, потом про разговор со следователем (я о нём рассказала только Оле и просила молчать). Отмяк, а то просто не смотрел на меня. Вроде легко согласился привезти детей, но видно, от дороги устал. Жалуется на сердце и плохое настроение, на детей, которые не умеют класть вещь на место и доводить дело до конца. Обижается, что не звоним. Тёмке сказал: "Ты бы хоть когда позвонил, узнал: ты еще не сдох, дедушка?" На что Тёмка ответил: "Сдам экзамены, позвоню". Отец чуть не плюнул. Мне: "О чем с ним говорить?" Да, слишком деловой...

Ещё от поездки детей в Тарусу с Ксаной Галино впечатление: они (детки) не ели, а выполняли, что им велели бабушки. Именно бабушкиного воспитания им не хватает и потому ужасные манеры. И решили мы воспитывать у них манеры. Приступили. Правда, Алеша надеялся, что наутро мы своё решение забудем. Сегодня утром Анята выскочила из-за стола с протестующим воплем, что Тёма ей не разрешил есть яичницу руками.

Сегодня утром звонила, как договаривались, Бурцеву. Говорил он со мной сурово: что-то ты там говоришь, но, видно, мало, он будет решать о тебе вопрос с начальством. Со мной он, похоже, решил не возиться, очной ставки не устраивать. А я так настроилась. Сегодня даже во сне тебя видела. Интересный сон, из двух половин. Впервые я тебя увидела на каком-то книжном аукционе. Ты сидел в позе игрока, боящегося, что удачу перехватят, и тихо говорил мне, что сейчас поедешь домой, чтобы взять 100 руб. на подписку, которую облюбовал. Я не

могла разобрать фамилию писателя, но не стала тебе перечить. А вторая часть - личная встреча.

15 июня. Эти сутки только начались. Я приехала от Померанцев, где так и не смогла показать диафильм, и не хочу спать. Нескладно получилось. Я так и не смогла подключить нашу "Ноту" к их приёмнику... Были ещё Ася, жена Терновского Люда, Маринин Костя. Пришли, а «кина» нет. Уйти не ушли, пили чай, ни о чём не говорили. Единственное интересное – пересказ Зин. Ал. повестей Б. Хазанова (псевдоним).

Утро. Сбегала в магазин и покормилась. Я ведь теперь приеду домой только в среду вечером, Тёмку надо обеспечить едой на три дня. Возбуждение моё не прошло ещё и оттого, что вчера я доставила Померанцам огорчение, не полюбив Кузьму из пятого "Сна земли". Кузьма был хорош и красив, но бездельник, спился и убил себя. Померанцы любили и любят его за душевность, за широту и удаль, за чутьё на правду. Он слишком был совершенен, чтобы трудиться. После 6-ти лет лагерей друзья вернулись в университет, как ни трудно им было жевать науки и вообще всё начинать сначала, а он походил несколько дней в вечернюю школу в 8-й класс и бросил. Эти "несколько дней" сидят гвоздём во мне, мешают полюбить красивого душой человека. И я поражаюсь, мучаюсь, хочу сформулировать для себя более чёткий ответ. Ведь я же ценю душевность. Просто мне её одной мало. Это - полчеловека. Идеал: душевность + деловитость. Для дружбы и душевности хватит, но ведь мне с ним не дружить. А для восхищения одной душевности мало. В этот мир мы пришли не для развлечения, мы должны поработать, чтобы как-то его улучшить. Надо найти своё место и цель и работать самому. Кузьма своим существованием улучшал климат... Может, в этом и было его дело?

Всё. Не буду больше о Кузьме. Сейчас не могла отвязаться и много времени потратила на размышления о возможном выезде. Вчера Ася сказала, что из Таниной [Т. Великановой] записки следует, что её ждёт высылка. Бурцевское "будем решать" связалось с Таниной перспективой. Плохо это. Вот у Тёмы девочка появилась... Обоим горе будет. А как жалко уезжать от Померанцев, от Лиды С., от Наташи, М.И....

Вечером в понедельник Гоша [Курдюмов] привёл своего знакомого француза, чтобы я показала ему диафильм. Француз - приятный молодой человек, лет 30, математик. Находясь в России, он с большим интересом изучает нас, чем математику (ею он займется дома). Говорил, что французские школьники стали меньше читать (много времени проводят у телевизора - он забавно это представил). Много говорил об отчуждённом труде. Уверял, что французы на нелюбимой или тяжёлой работе работают только под страхом увольнения. А у нас работают плохо, потому что такого страха нет. Наверное, он прав. Показала я ему "Мангышлак" и первую часть "Буддизма". Про Мангышлак ему было интересно, про буддизм - заметно меньше. Мы ему рассказали много весёлого из нашей жизни.

В понедельник же у меня была встреча с Юрой [Дружниковым] по твоим делам. Что он наработал, я ещё не посмотрела. Надо это сделать на следующей неделе, чтобы не сбивать цикл. Про вторник ничего не помню. В среду утром поехали в Бутырку за твоими вещами. Паспорт взяли, но приехать было велено вечером или на другой день. Поехала на другой день. Ждать у окошка пришлось целый час, пока дозвонились на склад и оттуда приплыли две толстухи, одна из них в форме. Выяснилось, что ты отдал одну пару белья. Мне хоть немного стало легче. Дотащила до Гали (она ждала меня на Баррикадной).

А ещё утром в среду я от Бутырки поехала в Печатники, в поликлинику - упросить Тёминого терапевта смягчить её формулировки. Тёмка уверял, что такая медкарта помешает ему при поступлении (там о плоскостопии, цветоаномалии, а

физкультурная группа рекомендована подготовительная). Но она наотрез отказалась.

Два дня я плотно работала над замечаниями замзава по отчёту, но меня опять отчитывали за плохое качество. Появились новые вопросы и "обиды", что не всё согласилась исправить. Лаврентьев (Володя) сказал, что если и дальше буду так плохо и мало работать, то он может поставить вопрос о моей дисквалификации, понимай, переводе в м.н.с. И опять у меня дрожали руки, и опять я не всегда хорошо парировала замечания. Тон – вежливо-пренебрежительный, и я теряюсь и реву (потом). Вечером в туалете выревелась, стало чуть легче.

Вот такая была прошедшая среда. Домой я вернулась поздно, но Наташа ждала. Я сразу пошла её провожать, рассказала про себя. Стало легче.

21 июня. В прошлое воскресенье последний раз показывала "Москву" по Лёшиному заказу. Среди зрителей была Валя-социолог [Чеснокова]. Она смотрела радостно (по репликам сужу).

На этой неделе, когда мне плохо, я вспоминаю Валино "займу!" (так отвечал Валин знакомый, когда у него просили займы из последних 10 рублей – "...всё равно на 10 руб. семью не прокормишь и надо будет самому где-то занимать"). И ещё думаю про Ирину судьбу (первая жена Гр. Сол.) – сколько потерь ей пришлось перенести! А сколько потерь (смертей) - самому Гр. Сол., и то не были смерти от старости. У мамы твоей была ранняя смерть, но всё же от старой болезни.

Отчего так тяжело четвёртый час подряд? Отчего мне так сегодня плачется? Пришла с лекции и услышала по радио песню "У деревни Крюково". Меня и раньше она очень трогала своей искренней и немногословной печалью. А сегодня я так разревелась. Такое ощущение, что печаль моя общечеловеческая, т.е. я скорблю обо всех без времени

погибших. Но вдруг это не так? Вдруг бьют тебя или не выбрался из своей очередной рискованной авантюры Алёшик?

После лекции (опять об одеждах на иконах) зашёл разговор с В.Н. о жизни. Он обрушился на Ксану за её "интеллигентность". Он считает, что такого сословия вообще нет, а если есть, то оно искусственное: "Я пишу книгу о Рублёве, а не про интеллигентность". Очень он живой!

Сейчас примчался Тёмка. Получил пятёрку по физике.

Ничего почти тебе и не написала. И так, был понедельник. Получила отчёт из печати, заплатила свои 27 руб. Мало огорчилась - деньги есть. В этот же день получила куда более значительную сумму. Хочется хоть сколько-то потратить, но на что? Немного я тратанула - купила Оле чайный сервиз, да ещё крышек с машинками 4 комплекта. Подсчитала, что если машинки выбрасывать, то каждая из 30 крышек будет стоить 14 коп. Люди, наверное, еще не поняли, не посчитали. Надо закупить побольше, чтобы отослать на Украину и маме. Жалко, что машинки приходится выбрасывать. Лучше бы одни крышки продавали по 15 коп. Опять появилась вдруг тонкая бумага...

Повстречалась с Соней. Они в лесу, а она им готовит...

22 июня. Вчера мне Померанцы рассказали, что 20.06 по телевизору показывали кающегося о. Дмитрия Дудко. Все расстроены. З.А. думает, что на него надавили официальные церковники. А по мне, ежели человек имеет экстремистские взгляды, то от него можно ожидать любых колебаний. От тебя мы не ждём. И не дай Бог тебя увидеть на ТВ! Но ты им не нужен на ТВ. Хотя с "Поисками", может, и нужен.

А в четверг, едва дождавшись четырёх часов, я вышла из института уже нагруженная. Ещё зашла в хозяйственный,

докупила крышек с машинками, в булочную за сдобой для детей, потом помчалась на Фили, купила сезонку, успела к опоздавшему поезду, влезла в полный вагон и всё же достала заявки. Стоя можно было только править описания, что я и делала. А после Одинцова нашлось местечко, и я так увлеклась, что чуть не проехала своё Дорохово. Из дорожного разговора пьяненьких петелинских хлопцев и москвички: "Была бы у нас в магазине колбаса, хоть ливерная, да вот вы, дачники, всё выбираете".

Детки мне встретились на лесной дороге – радостно звенели, собирали цветы. Алёша весь в зелёнке: "Мама, я совсем нечаянно, совсем нечаянно, немножко разбил стекло, и мы заложили досками". Это "нечаянно" он повторил раз пять. Дома меня ждала чистота и готовящийся ужин – Наташа Ш. [Шеремет] жила-таки у нас. Её поле - за нашим прудом. Её женщин возят из Колодкино. Она же приходит утром, пропальвает три длинные грядки и уходит, а женщины с трудом делают по одной. Детки ходят к ней купаться в пруду. Вода там теперь, говорят, чистая и тёплая. А потом Наташа лежит с Достоевским наверху, у неё загорелая спина и хорошее настроение, Жаль, что только одна неделя у неё. Но на следующей придет Юля [соседка по дому].

Наташа накормила меня обжаренной в сухарях капустой. Как у неё вкусно получается! А дети ели макароны с сыром. Потом я начала прополку, перекинулась на полив, в небе грохотало, но дождь лишь слегка смочил землю. А в Москве был такой ливень! Ю.Д. [Юдифь Давидовна - сотрудница] видела, как машины шли по фары в воде. Бушевал полтора часа. – Не туда вылилось. Хорошо цветёт клубника, но участок рядом с вышкой в неухоженном состоянии. Травы вообще много. Может в этот раз отец покосит?

Утром просыпаться пришлось рано, в 5 час. вышла, уехала на 6-часовой электричке. Не доехав до Театральной, заснула, и планы мои сделать вторую заявку заснули вместе со мной.

В этот день я отдала-таки отчёт Володе. Накануне всё же высказала ему, что зря он со мной так разговаривает, а он – что

я "не оправдала доверия". И вообще он от меня ждёт "творческой работы, а не переписывания из разных работ, к тому же с ошибками". Договорить не пришлось, помешал телефон. А надо было бы сказать ему, о каком творчестве можно говорить в этом году? Я, правда, обещала в прошлом, но этот год полон сюрпризов.

По двум книжным бандеролям пришло объясняющее письмо из Мюнхена:

"Дорогой друг, я послала Вам две бандероли с книгами. В первой бандероли были следующие книги: А. Ахматова, "Воспоминания" И.Л. Толстого и книга древнерусской живописи. Во второй – "Лирика" Александра Блока и альбом иллюстраций музейных экспозиций. Очень прошу Вас, сообщите о получении этих книг. Это очень важно мне знать, т.к. от этого зависит дальнейшая посылка бандеролей.

Целуйте Ваших деток. Кланяйтесь мужу. Напишите размер обуви детей и Ваш, к осени "организуем" Вам посылочку с обувью. Целую и обнимаю Вас. Ильина (Эмилия Павловна)"

Помня твои пожелания, я ответила сразу:

"Дорогая Эмилия Павловна! Мы получили Ваше письмо, а позавчера бандероль со стихами Блока и альбомом. Ещё не насмотрелись, не начитались, не нарадовались. Одно только огорчительно, что доставили Вам и хлопоты, и заботы, и расходы. Поскольку дети обуты, одеты, то я не ощущаю жизненной необходимости в помощи, а ответить подарком на подарок никак не могу. Наверное, во мне говорит гордыня бедняка, но, тем не менее, говорит. Постарайтесь меня понять, дорогая Эмилия Павловна, не обижайтесь и... не надо больше посылок. Счастья Вам и удач! До свидания. Целую Ткаченко Лидия Николаевна. Привет Вам от моих детей Тёмы, Гали, Алёши и Ани".

24 июня. Утро началось с Алексеевской гимнастики, продолжилось беседой с Бурцевым. Длинный и не

получившийся рабочим день. Когда позвонил Бурцев, меня бросило в дрожь, и успокаивалась я долго. Беседу трудно записать – была она какой-то сумбурной. Но самое главное, Бурцев сказал, что тебе не грозит больше 70-я, а наговорил ты уже достаточно, чтобы было тебе послабление и по 190-1. Степень послабления зависит от твоего и моего дальнейшего поведения. После разговор шёл вокруг да около. Правда, наконец, он ясно сказал, что нужны от тебя показания на людей: кто давал, кому, кто печатал. Для дела такие показания ему не нужны, для дела достаточно технических показаний: эта работа напечатана на этой (твоей) машинке, а нужно тебя сломать, чтобы ты таким образом доказал своё "лояльное отношение к строю". Ты нужен поломанным. На это я ему сказала, что приму тебя всякого и любить буду всякого, но боюсь, что ты не простишь мне, что подтолкнула тебя к падению. Интересно, как он тебе передаст мои слова, т.к. именно с них он собирался начать сегодняшний разговор с тобой. Он сказал, что на этой неделе должен закончить свои беседы с тобой. На свидание после этой беседы, я, наверное, не могу рассчитывать, т.к. отказалась написать, что никакие твои действия я не осужу. Мы долго препирались, и всё же я написала, что никакие твои слова не буду осуждать: "Всё, что ты ни скажешь, я не осужу". Эту фразу я намеренно чётко написала, чтобы ты увидел, что она написана под диктовку. Но может он тебе и не даст письма. Он сказал, что после предыдущего моего письма ты стал говорить с ним суше, ибо в письме была двусмысленность.

Боже, как они тебя замучили, наверное! В такую жару! Мне разговор с Бурцевым никаких страданий не доставляет. Больше того, я сегодня узнала, что тебе не грозит 70-я и рада-радешенька. А тебе-то какво? Господи, дай ему силы!

Если он тебе не передал письмо, то надо записать, что помню. Сперва наши новости: Тёма, дети, Галин лагерь, мои планы на отпуск, отказ отца ехать на Украину, моя тройка за отчёт. Потом про то, что очень скучаем и, чтобы немного легче было, слушаем твой голос каждый воскресный вечер (очень надеюсь, ты догадаешься, что смотрим диафильмы, а для тебя

важно знать, что я бодра и деятельна). Дальше я писала, что очень доверяю, очень верю и очень люблю. Очень не хватает твоих глаз, смеха, совета, решения приходится принимать самой. Что ты для меня самый чистый человек. Юрий Антонович говорит, что от тебя требуется рассказать о своей работе в журнале. Что тебе скрывать из того, что ты делал? Ты так мало общался с издателями. То небольшое, что ты о них знаешь, наверное, можно и рассказать. Может, я не знаю... Вспомни опыт прошлого суда. Ведь ты тогда отмалчивался зря. Может, и сейчас ты не дошёл до своего предела? Вот Глеб нашёл какие-то слова и остался с Мариной. Мы так надеемся на твой разум. И последнее - та фраза. Сперва подписалась "Лиля", а потом уже "целую". А совсем внизу странички просьба о доверенности. Сейчас размечталась о том, что тебе дадут ссылку, и я к тебе буду ездить. Брать больничные на детей и ездить...

26 июня. В половине 6-го побежала на Тёмкин выпускной вечер...

Итак, вручили аттестаты. Наш класс круглых отличников не родил – Марина срезалась на физике. Дальше слова от учителей, от детей, от шефов, от родителей, вручение грамот учителям. И, наконец, кормёжка на ходу и танцы. Осмелев, поблагодарила учителей: классную, физика, биологиню, а главное - историчку. Она к Тёмке очень хорошо относится и полна сочувствия. Она умеет так рассказывать материал, что ребятам не приходится учить. Улыбчивая рыжая еврейка, она радостно улыбалась мне навстречу. Такое приятное, хотя и короткое знакомство. Роман Яковлевич, физик, находит, что у Тёмы есть один недостаток – не очень уверенные ответы могут помешать на вступительных экзаменах.

Ушли мы с мамой Серёжи К. в одиннадцатом часу, спать легла в половине двенадцатого, а в час Тёмка просунул голову ко мне в комнату и сказал, что привёл 26 ребят петь. Среди них

были два студента (они преподавали нашим факультативный курс математики) и В.Е. – биологиня (её приводили как-то к нам на "Крым"). В первую минуту я пришла в ужас: в доме полбулки хлеба, а в холодильнике ни сыра, ни колбасы. И всё же колбаса нашлась – батончик копчёной из твоей несостоявшейся передачи. Из блинной муки напекла оладий, достала по банке варенья и компота, мёд. А главное, было и даже осталось кофе, а у В.Е. "нашлась" большая коробка конфет. Сахар и масло были. Вот только ни одной консервной банки не было - всё отвезла на дачу. И всё же они наелись и запели. Коллективного пения получилось, правда, мало. Зато у них было три гитариста. Один пел туристские (КСП-шные) песни, второй (студент, полукитаец - полуеврей) - классику от Баха до русских романсов, третий - исключительно еврейские песни не по-русски. У всех троих приятные голоса, у последнего – сильный. Удивительно, как близки еврейские песни цыганским.

Было ещё два мероприятия: я показывала "Коктебель" и один мальчик читал составленную в прошлом году книгу высказываний и деяний их Лёни Бурлачкова. На "Коктебеле" некоторые спали, но остальным было явно интересно. Ушли они в полвосьмого утра. Да и то, начинался дождик и некоторые стали раздумывать, не переждать ли. Я все клеёнки вытащила.

Начало ночи с 1 на 2 июля. Итак, что же было интересного за эту неделю? В среду 25.06, чтобы работать, пила и пила кофе. Вечером ездили с Тёмкой к Ксане с Юрой, они настойчиво приглашали... Домой добрались мы в половине второго, да и не сразу уснули, а в половине седьмого надо было вставать, чтобы наработать нужное количество часов. Не выпалась я и на следующий день (в 5 вышла с дачи), не хватило сна и на субботу (лекцию по иконе я фактически проспала) и ночью на концерте КСП (слёт куста "Феня") тоже дремала. Отоспалась только в воскресенье днём.

В среду вечером был разговор с Володей–начальником про тебя. Поскольку я уведомила во вторник, что иду к следователю, то он стал расспрашивать, зачем меня вызывали. По-видимому,

хотел узнать, не потенциальная ли я преступница. Но это я поняла потом, сопоставив вопросы. Не очень скрывая, я ему рассказала о тебе. Предлог ареста – "Прошение об Афганистане", причина – "Поиски". Не знаю, как у него всё это трансформировалось.

2.6. События июля

Новые сокамерники и «пытка ожиданием»

2 июля мы вышли из карцера почти тем же составом, что и пришли (только одному скостили до 5 суток). Мылись в бане вместе с Колькой, а потом, получив вновь хозяйское имущество, были разведены по камерам. Меня сначала привели в пустую камеру голодающих (Саши Кныша там уже не было), чтобы через полчаса, разобравшись, отвести "на спец", в прежнюю камеру 322, где я и провёл оставшиеся бутырские месяцы, без общения с людьми мне близкими, откровенно отбросив общение с уголовниками-сокамерниками, стараясь не думать даже о своём деле. Всё основное уже сказано и решено, и мне осталось только ждать. Мучительно ждать, находя спасение в чтении, нет, в работе осмысления самых трудных книг - философских, своего главного интеллектуального тюремного завоевания. Мне не забыть радости от того, что смог с удовольствием и пониманием читать Гегеля и Аристотеля. Жаль, Канта не попробовал, говорят, он ещё труднее, но нет в Бутырке Канта. Как будто уверился, что, в самом деле, обладаю высшим человеческим образованием, раз способен разбираться в философской "зауми". Но сейчас я начинаю сомневаться – не обманывался ли я, может, так ничего не усвоил и не переработал в собственную систему взглядов.

В камере меня встретили сдержанно. Слава Богу, что была свободной верхняя шконка, она осталась моей до конца. Потекли тихие дни.

Фетисов в общении со мной был как бы пристыженным. Васька Бучуева уже не было, на его шконке разместился теперь **Валерий Шатохин**. В конце июля ушёл Вовка – шизофреник, взамен пришёл **Женя** (забыл фамилию), а в начале августа взамен ушедшего после окончания следствия Валентина пришёл **Виктор Тужилин** из Латвии. Места не пустовали, но из старожиллов остались только двое. Новые мужики в возрасте 35-40 лет – спокойные, в себе уверенные, умеющие держаться и сдерживаться, не раз сидевшие, в основном, за кражи.

Шатохин на этот раз сел, кажется, за укрывательство краденного (а может, и за участие в краже). До этого семь лет он был на свободе и вёл нормальную семейную и трудовую (строитель-ремонтник) жизнь. Дома осталось трое детей. Он выглядел очень уютным и положительным, вызывал невольное сочувствие. Только было странно, что он не переживает, флегматично воспринимает свой арест, сидение в камере и будущую "командировку", особого беспокойства о семье не выражает. Впрочем, он казался чуть недалёким, хотя уверял, что очень любит книги, а дома оставил две книжные стенки из томов, подаренных ему сотрудниками крупной московской библиотеки за стройматериалы и иные услуги шабашного свойства. Жену и детей он всё же искренне любил и был для меня неприятной загадкой: как можно совмещать семейную хорошесть с воровством. Потом я понял, что можно и очень просто.

Отбыв свой первый срок "на химии", Валера "завязал" и оженился. Но дружбы с "воровскими корешами" не потерял, и хотя сам "на дело" не выходил, но помогал им при случае, наверное, укрывал краденное, за что пользовался "благами" друзей и жил безбедно (при зарплате в 150руб., неработающей жене и трёх детях). Было видно, что такую жизнь он считал хорошей и правильной, а свой арест воспринимал, как досадную случайность, как "ни за что". Выйдет - займётся тем же. А дети? - Чёрт знает что...

Женя Р. и месяца не пробыл на воле после трёх лет в мордовских лагерях. Не доехал до дома, "застрял" в Москве -

решил прибараклиться, не обращая внимания на то, что из-за близящейся Олимпиады (радио нам все уши прожужжало) в Москве "ментов" - море. Очень недоумевал и расстраивался: ведь всё было правильно, квартиру они "сделали чисто", а на улице, всего через квартал их взяли с вещами. "Как они узнали?" - "Так ведь тебя, лагерника, любому менту за версту видно по походке, по оглядке, - смеялся Фетисов.- Как ни переодевайся, нельзя после отсидки сразу начинать".

И правда, по виду и психике Женья был типичным экзом, "каторжанином". В отличие от Шатохина он не имел ни денежных переводов, ни передач, но обладал зверским, лучше сказать, лагерным аппетитом. Постепенно он прибрал к рукам резку хлеба и распределение иных продуктов и чуть-чуть (в пределах точности реза и, следовательно, в пределах приличия) делил в пользу своего изголодавшегося тела. Я это заметил, потому что именно меня Женья вытеснил с резки хлеба, где я тоже пользовался слегка правом выбора куска и миски. Голодовка, карцер, а главное, существование лишь на скудный тюремный паёк и меня постепенно превращали в крохобора (плюс хохлацкая прижимистость). Но своё место у стола я уступил Жене при первом его желании, потому что вёл себя отдельным от всех.

Он был ещё весь мордовский и мечтал не о том, чтобы уменьшить новый срок (меньше 5-ти он не ждал), а о том, чтобы попасть в "сытую" зону (вроде астраханской – сказка, как там кормят!). На помощь семьи он не рассчитывал: жена с ним давно развелась и алиментов не требовала, сын его отчима за отца почитает. Но отказа от отцовства он не даёт, потому что, как ему пожалилась тёща ("хорошая баба" – отзывался о ней Женья), его стерва с новым мужем хотят эмигрировать за кордон и сына его забрать – так чёрта с два! Хотя сына он не видел, не знает и особых чувств не питает, но всё равно "с выездом у них ничего не выйдет!" И это при общем сочувствии камеры. Я молчал...

Единственной светлой его мечтой было "житье на Украине". Когда-то он целый год прожил под Белой Церковью,

катался, как сыр в масле, а сейчас ругает себя дураком, что бросил этот рай – потянуло почему-то в Москву. Зачем сейчас заезжал в эту треклятую Москву, ехал бы прямо на Украину?! Но думаю, не осуществима его мечта. Обязательно его снова потянет воровать. И так до смерти.

О Викторе Тужилине, молчаливом и диковатом чёрном мужике, я почти ничего не знаю, даже за что сел. Вёл он жизнь бродячую, кажется, на две семьи, поменял множество работ, что-то сложное, по ухваткам тоже был уголовником, в камере не был чужим.

Отношение всех троих новых ко мне было сдержанно-уважительным. Даже Женя, в натуре которого кипела эковская злость, подавлял свою неприязнь к моим "выкрутасам", следуя правилу не трогать людей, которые тебя не касаются. Думаю, что лагерь хорошо вырабатывает такое умение. А все прежние мои неприятности и столкновения, наверное, были больше из-за провокационного, извне заданного, поведения "Валета" и "Сашка".

После "вывоза в гостиницу" я жил ожиданием вызова к Бурцеву. Правда, показания мои ему уже, наверное, были не нужны, но ведь должен он выполнять свои обещания. А может, начальство затягивает решение этого вопроса? Да и "Заявление для печати" я должен был вручить и удивлялся: неужели отобранный у меня в карцере черновик "Заявления" не дошёл до сведения "коллеги", почему он его не уточняет? А может, шмонщики просто уничтожили ту бумажку, чтобы скрыть свой недогляд: ведь в карцере запрещено писать что-либо.

Однако дни шли, Бурцев не появлялся, и я терялся в догадках. Не знаю точных причин и сейчас, но думаю, что по рекомендации "коллеги" он просто тянул до крайнего срока закрытия дела. Наверное, обещания Бурцева об изменении меры пресечения и освобождении до суда с точки зрения "коллеги" было чистой самодеятельностью или "липой". Раз посадили в тюрьму, то весь положенный срок надо использовать для перевоспитания, чтобы добиться максимума уступок.

Для меня же изменение меры пресечения было первым и насущным делом, как бы первым этапом договорённости, доказательством её реальности – прекратить на меня давить содержанием в тюрьме. Признать во мне человека, а не тварь выдавливаемую. "Перестаньте давить" – это я формулировал свои претензии словами, а сам всем разнеженным в ожиданиях существом каждый день надеялся на вызов к следователю и возвращения домой, ...чтобы съездить к отцу на дачу, чтобы помочь Лиле с ремонтом квартиры (она писала, что будет делать).

Пожалуй, это было крупнейшей моей ошибкой, что я позволил себе так распусться в мечтаниях. Те два внешне благополучных месяца были для меня самыми мучительными, настоящей "психологической пыткой", если можно так сказать в моём случае, если можно применить слово "пытка" к непреднамеренным действиям. Потому что Бурцев, думаю, не специально кормил меня обещаниями – ему просто не дозволяли "коллеги".

Но пусть не пытка, а такая ситуация – хуже всего на свете. За эти два месяца Бурцев вызвал меня три раза: в середине и конце июля, а потом 11 августа – уже с "коллегой". И каждый раз он оправдывался нехваткой времени, подготовкой материалов к закрытию, тем, что начальство занято, но через день-два он обязательно "выйдет" и получит окончательный ответ и т.д. Каждый раз он знакомил меня с очередными рецензиями "учёных – гуманитариев" из идеологических институтов – на "Поиски" или мои вещи, сводками содержания западных радиопередач, касающихся "Поисков", для проформы записывал протокол допроса с какими-либо незначительными вопросами (не забывая подёргать меня, что всё же необходимо выяснить состав участников моих дискуссий в ЗЭСах, чтобы не тревожить всех моих знакомых, хотя бы знать, кого не надо вызывать), как будто от нечего делать при всей его занятости. Сейчас мне даже кажется, что Бурцев и вправду по собственной приязни вызывал меня хоть раз в две недели. Но получалось ещё

хуже, потому что произвольно он вновь укреплял мои надежды – и снова обманывал.

В первый вызов он получил моё "Заявление для печати", прочёл с удовлетворением: мол, с его точки зрения теперь достаточно гарантий, чтобы освободить меня до суда. Во второй раз уверил, что заявление моё изучается начальством, что отношения к нему в целом положительное, но есть обстоятельства... Однако через день-два всё решится.

А в третий раз, уже "коллега" начал разговор о необходимости "некоторых изменений в моём, в общем-то, вполне приемлемом Заявлении". Но об этом чуть позже.

Высвечивание Фетисова

Однако была ли "пытка ожиданием" совершенно разрушительной и не переносимой? - Нет, конечно. Она действовала сильно в первые дни после вызова и ослабевала, как только я уверялся, что в очередной раз надули. Я втягивался в камерный быт и чтение, где я уже знал заранее, какие примерно книги получу, во что буду вгрызаться, приспособился и к месту, и к обязанностям, и к сокамерникам. Чаще всего я читал или молча ходил, но мог при случае и желании перекинуться парой слов, в том числе и с Фетисовым, хотя в последнее время он стал для меня особенно противным, несмотря на всю свою покладистость. В иные моменты он становился снова навязчивым. Так, вдруг стал говорить, что недавно в следственном корпусе видел комитетчика, наверно, моего. Мурло у него – во! У такого не вырвешься. Да и вообще, это не те ребята, чтобы своего не добиться и упустить, и хотя ему меня жаль, но думается, что Лефортова мне всё же не избежать.

Слушал я его тихий голосок, смотрел и думал: ну совсем охамел, даже не скрывается особо. Кто ж ему такую команду дал снова пугать меня 70-й - тюремные ли "кумовья" творят самостоятельность или "коллега" следователя дожимает?

На второй вызов я пошёл с жалобой: " До каких пор Вы будете держать в тюрьме и грозить 70-й теперь уже через камерного стукача и очевидного провокатора? Да по чаю я их

узнаю, хотя бы, запрещённым чифирём с ними расплачиваются за сведения. Этому Фетисову, наверное, Вы и давали такое задание. Так вот прошу меня от него избавить. И от угроз тоже". Бурцев возмутился и даже чуть ли не испугался: "Уверяю Вас, Виктор Владимирович, не знаю я никакого Фетисова, но если это так, то, что же он, скотина, делает? Нет, Вы должны знать, что следователь имеет дело только с открытыми, проверенными доказательствами, к оперативной же работе мы не имеем права касаться, она секретна".

Хотя Бурцев и отрицал свою причастность (думаю, что фамилии стукачей и вправду составляют тайну оперативников Бутырского изолятора), я был уверен, что он доведёт мои и свои претензии и опасения до фетисовских хозяев. И действительно, дня через три Фетисова "дёрнули слегка", а вернулся он мрачным и неразговорчивым. Расхаживал мимо моей шконки и бормотал сквозь зубы что-то вроде ко мне не относящееся: "Ну, погоди,... свернут тебе шею... и не на таких управу находили..." Все его "штучки" и поблескивания глаз меня трогали мало. Да и что он мог? Только окончательно перед всеми себя выдать. А я был доволен своим "ударом" и тем, что теперь-то между нами всё стало ясно.

Думаю, что Фетисов вернулся от кума после втыка с таким советом: раз сам себя раскрыл, то лучше со мной договориться, во всяком случае, не раздражать и делать вид, что ничего не случилось. Напуганный "Сашок", конечно, не мог терпеть и пунктуально исполнять такой совет. Как любого выдавшего себя преступника его тянуло выяснить со мной отношения и этим избавиться от неопределённости. И вот вечером, когда я читал, стоя между шконкой, батареей и стенкой у двери, Фетисов заискивающе встал передо мною: "Знаешь, Витя, я давно понял, что ты умный и хитрый очень... Молчишь, а всё-ё понимаешь... Только ты зря на меня тянешь... Пойми, как паршиво мне, а будет ещё хуже... Убьют, понимаешь, убьют в зоне..."

Из его намеренно путанных и непонятных для непосвящённых жалоб было ясно, что просит он никому не

говорить, иначе в зоне его убьют. Конечно, не обязательно, но шансов налететь на кулак или нож от своих "коллег" у него действительно прибавится, если я стану разоблачать. Пусть бы мне никто не поверил (доказательств ведь прямых нет, одни подозрения), но хвостом потянется слух, что он, возможно, насадка (сколько я видел на прогулке надписей: такой-то насадка) и только потому ему обещают срок в 12 лет скостить до 4-5...

Я успокоил - ему нечего меня бояться и никто не думает его убивать. Живи и другим давай жить... Правильно ли я поступил? Возможно, надо было как-то разоблачить реально, на бутырской почве вступить в борьбу с системой доносительства... но разве бутырскими средствами её исправишь?

С той поры Фетисов стал ещё более шёлковым (укрошенный стукач). И было мне неприятно от наличия такой власти над человеком, пусть даже в главном и античеловеком.

Знаю, что стыдно, но, прожив с этими людьми много месяцев, я не только не сблизился, но отдалился от них. Не от всех, конечно, а от лидирующих. Никогда раньше я не допускал неуважения к людям, кем бы они ни были по уму и манерам (рабочий равен профессору), и ненавидел интеллигентское высокомерие. Но тут, в тюрьме, изменил своей терпимости, признав: да, есть не люди, а существа, и правильно держать их в тюрьмах. И потому в иные моменты к "ментам" и оперативникам я ощущал большую близость и понимание, чем к коллегам по камере. Но почему вот самые из них нелюди и оказываются связанными с оперативниками, служат им и чуть ли не оборачиваются сотрудниками МВД? Почему стукач и МВД – одно и то же? А человек в форме кажется заодно с уголовником? Правда, они борются с уголовниками, а "цель оправдывает средства". Но, как уверяет Горфункель, ещё Маркс указал: цель, для которой требуются неправые средства, не есть правая цель! (Чего только не найти у Маркса-Ленина!) А вот почему-то следовательские и "кумовские" кадры в Бутырке ничем не лучше уголовников, с которыми они борются-

сосуществуют. Всё это единый безобразный антимир. И хочется только одного: выйти отсюда скорее и сделать всё, чтобы и уголовников, и тюрем было меньше. Чтобы не было той мерзкой зыбкости, когда непонятно, то ли Фетисов помогает охране своими доносами, то ли охранники помогают ему выжить, выйти скорее на волю и снова заняться кражами.

Нет, разоблачать Фетисова я не хотел, а вот пришибить его изошрённый и наглый паразитизм иногда очень хотелось. И трёпом своим об одном и том же, обгаживающем всё на свете, надоел он до смерти. Особенно на прогулке. У него появился друг Гена в соседней камере 323, который делал чудесные фигурки из хлеба. После долгого разжёвывания и подкраски пастой из ручек, хлебный мякиш превращался в отличный материал для лепки, который после высыхания становился прочным и твёрдым. Работа трудная и долгая, но благодарная: Гена то одаривал фигурками своих корешей, то выменивал их на курево, или таблетки, или ещё что.

На прогулках Фетисов выпрашивал у кореша всё новые и новые поделки. Это были и связанные с брелком сапожки, инкрустированные соломкой из камерного веника и чем-то разрисованные, и маски дьявола и индейца, фигурки мышонка и ещё каких-то забавных зверушек, Мюнхгаузена с флагом Олимпиады. С огромным удовольствием передал бы такую фигурку домой, были бы нормальные отношения со следователем-адвокатом, и было бы, чем одаривать Гену. Фетисов же выпрашивал, не переставая клясться, что, конечно, отблагодарит при первом же случае ("Ты же меня знаешь, я старый каторжанин, за мной не пропадёт..."). Но только один раз передал Гене пару пачек сигарет "Дымок" (ерунда даже по бутырским понятиям), а полученные задарма фигурки раз за разом сплавлял надзирателям, выпрашивал какие-нибудь таблетки или просто так, на будущее. Столько труда и выдумки за пару лечебных таблеток для кайфа! Такая мерзость! Но что удивляться, ведь Фетисов просто не понимает, каким трудом создаются вещи, хоть он и треплется, что "нашими руками и костями всё сделано!"

Неужели и Гена не ценит свой труд? Однажды он увидел у надзирателя свою фигурку и на прогулке спросил у кореша: сам ли Сашок отдал менту Мики-Мауса или на "шмоне замели?" Уж и не помню точно, что брехал на этот раз Фетисов, но стыдно мне было отчаянно.

У соседей с другой стороны, в камере 321, ещё один кореш Володька стал делать для Сашка-друга шариковые ручки, оплетенные разноцветными нитками из нейлоновых носков красивыми, прихотливыми узорами с разноцветными шариками на конце и даже вышитыми надписями "На память..." – ещё один вид замечательного тюремного творчества. Такие ручки просили все, и каждый из нашей камерной банды заполучил желаемое, обещая "в долгу не остаться". Но как ни просил потом Володька-мастер поделиться хотя бы продуктами из ларька (он был совсем без денег), эти паразиты только посмеивались (тон задавал Сашок с Женей) и отговаривались черт-те чем. Мало того, когда Гена за ручку расплачивался с Володькой сделанной для него специально фигуркой Мышонка на горшке через наш дворик на прогулке, Сашок её задержал. Сначала оправдывался тем, что передать дальше невозможно (сетка мешает), а потом тем, что неожиданно "менты отняли". А на самом деле, отдал всё за те же таблетки.

Долго потом Володька не мог поверить в такое коварство, а "Сашок-кореш" всё заговаривал ему зубы, перемигиваясь со своими, я же ходил вместе с ними, буквально закрывая уши руками. Просто физически не мог этого слышать и видеть, сгорал со стыда. Что же говорить об этих людях, когда они даже со своими так поступают? Где же их воровская этика и солидарность? Видел я их и убедился: мерзавцы в большом и малом. Хоть и жил с ними последние месяцы спокойно.

Главным событием июля была, конечно, Московская Олимпиада. Радио и газеты трезвонили о ней целый год. О ней и о бойкоте. К бойкоту я относился индифферентно, скорее даже отрицательно. Были понятны его причины, ведь я сам протестовал против войск в Афганистане, но как метод давления бойкот казался мне неудачным. Кроме оправданного с западной

точки зрения негодования в бойкоте было и забвение интересов спорта. Я понимал спортсменов, которые не желали, чтобы в спорт вмешивали политику, потому что иначе олимпиады вообще перестанут быть мировыми, а только блоковыми. Предложением бойкота спортсменов поставили перед ложной дилеммой – за СССР или против него. И получилось, что Картер провозгласил бойкот, заранее зная, что большинство спортсменов его не поддержит, а это привело к тому, что факт успешного проведения Московской Олимпиады СССР изобразил, как свою великую внешнеполитическую победу и полное одобрение. А на деле это была только удача спорта в морально трудных условиях.

Про спорт я слышал в этом году много. Были книжки про спорт и охоту. Но, конечно, над всем господствовало радио. Слушая торжественные песнопения к Олимпиаде, пропаганду, назойливую до невозможности, подготовку Москвы, в которую, казалось, вся огромная страна вкладывает все силы, репортажи о необыкновенной организации, рассказы вновь пришедших, что в Москве милиции и дружинников больше, чем самих жителей и т.п., я невольно сравнивал эти фанфары с краткими сведениями о Берлинской Олимпиаде 1936 года из книги, прочитанной в этом месяце. Запись сохранилась:

В. Штейнбах "Герои олимпийских баталлий", М. 1974 г. – Рассказы о выдающихся звёздах летних Олимпиад, начиная с 1896 г. В книге описано 20 Олимпиад. Больше всего мне интересны сведения об играх в фашистском Берлине 1936 г. Пытались организовать её бойкот из-за агрессивности и антисемитизма Гитлера, перенести в другое место, но ничего не вышло. По организации, большому количеству участников и рекордов эта Олимпиада превзошла предыдущие. Берлин был весь принаряжен и вычищен, антисемитские лозунги временно сняты и скрыты. Случались анекдотические ситуации, когда, например, в присутствии самого Гитлера какой-то негр выиграл забег у белокурого арийца и на пьедестале почёта стал над белым, вызывая гнев верховного расиста. Ну, связок тут до чёрта...

И действительно: наша Олимпиада по организации и рекордам превзошла предыдущие, а праздник закрытия, по отзывам комментаторов, был 9-м чудом света, выше всяких восточных чудес.

Я ожидал начала и конца Олимпиады с нетерпением. Мне казалось, что из-за Олимпиады "начальство" не торопится решать мой вопрос. Однако с Олимпиадой моё освобождение не связывалось.

Другим важным событием была частичная амнистия по закрытому Указу от 25 июня. В первый раз я услышал о ней ещё в карцере, мол, в изоляторе уже появилась комиссия горсовета, которая и будет проверять годность подследственных и заключённых к освобождению на "химию". И на прогулках поговаривали. Да мало ли какие слухи, и не имеют они ко мне никакого отношения. А всё же интересно...

Наконец, по динамику взамен первой программы передали речь начальника тюрьмы об амнистии. Передачи местного радиоузла бывают по вечерам раз в месяц – о пользе явки с повинной, о санитарном обслуживании, о пользе чистки зубов, о недозволённости переговоров между камерами (мол, жители соседних домов жалуются) и строгих карах за такое нарушение режима и т.п. Говорила обычно какая-то женщина в треске и шипе. Теперь же говорил сам Подрез, уверенно, звучно, потечески. Я видел его. Проходя в баню, мы натолкнулись на группу спортивно одетой и такой свободной молодёжи, имеющей перед собой седого грузного полковника (полковник в Бутырке один). Нас тогда быстро повернули вниз на лестницу, а потом объяснили, что иностранная делегация ходит. Вот это да! Неужто можно сочетать наш Архипелаг и людей с Запада? Кажется немыслимо, но почему? Ведь ходила же здесь, если верить Исаичу, госпожа Рузвельт ещё при Сталине. А Бутырка была и есть тюрьма весёлая, образцовая и, видимо, даже показательная. Недаром здесь, начиная с мая, стали давать не только белую наволочку, но даже две простыни, как в настоящей гостинице!

А теперь я слышал голос Подреза. Он мне понравился – чувствовался старый служака, уверенный в пользе своей службы народу и даже жалеющий часть своих заблудших подопечных. Подрез объяснил, что вчистую по амнистии освобождено пока только 8 человек, с остальными разбираются, что всем впервые приговорённым к лишению свободы до 5 лет и отсидевшим больше года полагается уйти на "химию". Правда, он перечислил статьи, не попадающие под амнистию вообще. Своей я не услышал и подумал: это как раз то, что мне нужно, даже если осудят на три года, уже с января я смогу выйти на "химию". Только эпизод с карцером мог оказаться помехой, как предупреждал меня зэк-парикмахер. Чёрт побери! Неужели из-за такой ерунды можно запятнать карточку, что даст основание в будущем лишить права на два года свободы, пусть даже химической? Даже если шансы на применение ко мне, политическому, амнистии очень малы, я обязан надеяться и изыскивать их.

Так я рассуждал, когда писал заявление на имя Подреза с жалобой на несправедливое наказание карцером (ведь в переговорах меня никто не уличал) и с просьбой исключить влияние этого случая на применение ко мне амнистии. Далеко не сразу, но вызвал меня в следственный корпус молодой лейтенант-оперативник. Объяснил: наказание карцером в моей карточке не отмечено, потому что надо было сначала лишить передачи и ларька на месяц. Так что карцером я вроде сам себя наказал и никаких плохих сведений в суд, если не будет в дальнейшем нарушения режима, администрация подавать не будет. Что же касается права на амнистию, то лейтенант настойчиво советовал особым запросом Подрезу узнать, подпадает ли моя статья. Однако такого запроса я не посылал – придёт время и нужда, узнаю. Сейчас для меня было достаточно убедиться, что если судьба выдаст мне этот шанс, то я сделал всё, чтобы его не упустить.

Вот и все запомнившиеся мне внешние события бедной на впечатления тюремной жданки в эти дождливые, почти осенние месяцы. Прошёл летний зенит, день снова стал укорачиваться,

небо хмуреть, а на липах во внутритюремном дворике желтеть отдельные листья. Я замечал их во время редких выходов в следственный корпус. И с благодарностью вспоминал, как во время проходов из карцера к Бурцеву я мог мельком коснуться настоящих деревьев и сорвать пару зелёных листьев, а потом долго гладить и вдыхать свежий, нужный человеку запах.

По утрам до подъема солнце уже не било сквозь узкие железные щели, оно вставало теперь позже и не доставало до нас. И вечера наступали раньше. Да, не увидел я лета 80-го года. Я стал больше лежать. В таком положении было легче держать уши закрытыми и полностью отключаться от радио и разговоров. Только книги, только усвоение их.

Лилины записи

6 июля. Галя уехала в ярославский пионерлагерь. Я проводила её и просила не скучать. Она взяла с собой 30 конвертов на 42 дня.

Сейчас я пишу отзыв на работу Я.И. [Лисовский] "Л.Н. Толстой и его жена С.А. Толстая", 73 рукописных страниц. Делаю это с трудом, т.к. многое самой не ясно. Хочу выписать пару фраз из дневника С.А.:

"Совсем мои дети не такие, какими бы мы хотели их видеть. Я хотела бы от них образования, сознания долга и утончённости эстетических вкусов. Лев Николаевич желал от них труда простого, сурового, простой жизни. Оба мы хотели высоких нравственных правил – и ничего не удалось"

7 июля. Еду на дачу. Тёмка сдавал экзамены в МИФИ и получил за сочинение и физику по 4. Итого только одна пятёрка и общий балл с аттестатом – 21,5. Все прошлые годы проходным был балл 19. Если он даже поднимется в этом году,

то не больше, чем на две единицы. Можно потихоньку начинать радоваться.

Тёма не решился взять близкую ему свободную тему "За что я люблю кино?", т.к. побоялся своих идеологических неточностей, а взял "Становление советского человека в огне гражданской войны". Писать было тяжело, каждую фразу из себя вытягивая, зато штампованную, известную... Вот так наш сын входит в жизнь. И я радуюсь, что приспособился.

Завтра он поедет с Ксаной, Юрой и их Олей на машине по старым городам.

Как все наши болели за Тёмку! Про каждый экзамен меня подробно спрашивали.

Валя с Леной уехали вчера ночью. Экзамены у Лены только после Олимпиады. Как водится, я их провожала, т.к. руки у них были полны. К тому же я передавала для Володиной жены обувь и лимоны для мамы. Командировка у Вали была лёгкой, так что они в основном по магазинам. Мероприятий у нас общих, считай, не было, только сходили на концерт в Спасский собор Андроникова монастыря.

Пробовала я обсуждать с Валею и совместно читать "Мой собеседник", потому что, прочитав самостоятельно, она сказала, что ей понравилось, но что-то она не поняла. Тогда я писала ответ Я.И. на его работу, и был у меня диалогический зуд. Я начала было с ней обсуждать тезис Я.И. – духовные силы должны уходить не в литературу, а в материальную сферу – и ощутила, как она меня не слышит. С трудом пробилась к ней. Потом предложила ей почитать вместе Померанца, т.к. представила себе, что она ничего не усвоила. Действительно, она хватывала только близкие ей мысли, переводила их на себя, своё окружение. А в непонятное не вчитывалась. Она и сама призналась, что так всегда читает. Она привыкла к монологу.

8 июля. Первый день я на даче. Сегодня ветрено и солнечно. Перестирала груды белья: ведь здесь было

столько народа, да и детки за три недели выкрасили простыни в серый цвет. Вымыла углы, разложила вещи.

Сейчас я наверху, а они буйствуют внизу. Вернее буйствует и не даёт Алёше спать Анюта. Попробую её завтра положить на кухне. А мы с ней так хорошо провели утро: вместе стирали и убирали, после обеда я прочла им одну из сказок Зин.Ал. А потом вот Анюта, не задержавшись, начала истерику. Выпустила, пусть рисует.

Какие ещё события? Серёжа Б. [Белановский] был у Бурцева по вызову. По-видимому, Бурцев звал его затем, чтобы показать пачку его открыток, посланных тебе, в которых он выражает с тобой солидарность, показать и сказать, что так нельзя, надо через него. Поскольку открытки у Бурцева, а не ждут твоего суда в канцелярии тюрьмы, как нас уверяли, то он может и не отдать их после суда. Как видишь, не имеет смысла писать. Зато мы много будем писать тебе после.

В пятницу встретила с Леной и Юрой, чтобы отдать им сказки З.А. Я знаю, что Лене и Наденьке они будут в радость. Опоздали на 20 мин. и даже не стали оправдываться... Зато рассказали, что Танина Юлька родила девочку и защитила диплом. Вернее, сперва защитила, на другой день родила, а через 4 дня пришла из роддома и пошла за дипломом. Сильна! Лена с Юрой ехали к ней поздравлять.

Вот день и кончился. Было у нас событие – заезжали наши путешественники. Забавно видеть Тёмку путешественником на машине. Они с Олей друг друга стесняются. Оля вообще очень застенчива. Мы их наскоро покормили: наша вермишель и их курица.

Вечером Аня "показывала диафильм": прикладывала к стенке старую плёнку и говорила полную бессмысленность. А днём мы с Алёшей учили её кататься на велосипеде – метров 10 уже проезжает. Перед этим она сделала мне подарок: картину из цветов и зелени. Один из зелёных кустиков был принцессой, а другие садом – фантазирует.

Алёша за ужином спросил меня, какие стихи я люблю. Я не смогла толком ответить. Он же про себя знал: "А я про Варшаву" (из Оли-Сашиного диафильма). А за едой вёл себя неслухом, пришлось выводить. Тёма помог, а то Алёшка здорово брыкается.

9 июля. Опять мне не хочется садиться за патенты, опять я ищу, что написать. За утро поучила Аню кататься на велосипеде, развесила проветриваться вещи из гардероба, сготовила завтрак и обед, простирнула твои штаны, но краски на них оказалось больше, чем грязи. Убралась, что-то переложила - переставила. С Алёшей поссорилась - не хотел давать Ане велосипед. Сейчас он принёс зелёного кузнечика с сообщением, что тот ест всё: и помидоры, и огурцы, а колбасу они ещё не пробовали давать. У них за утро гораздо больше событий – прибежала овчарка, и они за ней гонялись, потом кормили. Алёша наездил не один километр на велосипеде, Аня Григорьева принесла им по спелому банану, девчонки переиграли разные игры и в разном составе.

Читая дневник, ты, наверное, будешь удивлён, что так мало грущу о тебе. Я грущу больше, чем пишу, но грусть моя пополам с гордостью за тебя, за то, что я твоя жена. Сnižься ты мне редко. Вот сегодня приснился Олег Г. Он пришёл с прощальным визитом. Накануне пришло сообщение, что тебя вывезли, и я, погоревав, начинаю сборы к отъезду. Г. пришёл торжественно проститься, а я к нему с деловыми вопросами о продаже имущества, реализации денег за кооперативную квартиру... Но ведь ты и не хотел бы, чтобы я плакала о тебе. Я плачу совсем редко. Нет дня, когда бы я ни помнила тебя, не вспоминала по тому или иному случаю. Я предлагаю тебе разделить все мои радости, плачусь, когда мне плохо. Самое главное, чтобы ты был жив. Господи, не дай его убить! Как бы мне хотелось сообщить тебе о Тёмкином экзаменационном успехе. Наверное, это освободило бы тебя, и ты б мог послать их если не к чёрту, то всё же в том направлении!

10 июля. Здесь, на даче, каждая мелочь напоминает о тебе, и я практически не выхожу из поля воспоминаний и грёз, мечтаю о встречах, о письмах, возвращении. Вспоминаю твои слова, смех, действия. Слушаю детей и жалею, что тебе их таких уже не достанется. Аня может уже проезжать целую улицу, но ещё не может садиться, и я бегаю за ней. Это полезно, но как мешает пятка, она болит при каждом шаге. Надо видеть, как Аня отчаянно начала учиться. Упав, она очень сдержанно хнычет и тут же готова ехать снова. Как горят её глазёнки от побед! Как она пыхтит на горках!

Читаю опус З.А "Ангел". Дети обсуждают понятие "невидимый". Аня: "Но ведь к маме Иисуса Христа ангел прилетал видимый". Что-то остаётся.

Алёша вчера вошёл во двор какой-то очень добрый. Оказывается, поймал лягушонка и собирается устроить ему дом. Разговаривает с ним, воркуя. Когда тот от него сбежал, Алёша, не меняя тона: "Упрыгал", т.е. он вступил с ним в какие-то непонятные мне близкие отношения (я же с неприязнью гоняю жаб, прячущихся под клубничными кустами, их там три было, Алёша добавил).

Работать за столом совсем не хочется. Я ввела утреннюю, до завтрака уборку двора от травы. Сколько крику было от Алёши, сколько слёз, сколько вредности! Аня работает легко.

Ну, что ещё. Вчера села на велосипед и сгоняла на 9-й км, а потом в Грибцово за сахаром, привезла 15 кг. Устала. Потом собрала клубнику, сварила две трёхлитровых банки варенья. Устала. Села за стол и после третьего патента отвалилась на диван. И тут же проснулась – дети... Аня стала просить поддерживать её велосипед. Чтобы я подкрепилась, нарвала мне кружку полуспелой красной смородины. Мы её втроем съели, и пришлось идти.

Вчера утро было особенное, пасмурное, с лёгкой грустинкой. Его б посмаковать, им бы упиться... Но я принялась

за сорняки. Просто рву самые длинные, чтоб участок не выглядел заросшим, и поляю грядки. Увижу сегодня отца, спрошу, что нужно ещё делать. Должна приехать Инна, чтобы отпустить меня на два дня в Москву.

12 июля. Сейчас пасмурно, но без дождя, и они звенят под окном уже второй час. Их стайка из пяти человек: две звонкие Ани, басовитый Алёша и два тонких мальчишеских голоса Миши и Саньки. Из всех ребят Санька мне активно не нравится за пошлость. Потребность у него, что ли, говорить дурные слова? Девчонки, правда, при этом смеются. Вчера, загадывая мне загадку, Аня произнесла грубое слово, но, увидев мою реакцию, Алёша досказал вторую часть фразы, смягчив её.

15 июля. Сыграла с Алёшей в шахматы. Минут через 10 после начала он мне сказал: "А Миша мне сразу мат ставит". Я же с трудом поставила где-то на 20-ой минуте. Забываю, что и знала. Ещё привезла им проигрыватель. Втроём с Аней Григорьевой они вчера под музыку из "Кошкина дома" концерт мне показывали. Алёша был активнее всех: и пел, и плясал, и рассказывал.

Я им продолжаю читать (уже по второму разу) сказки Зин. Ал. Алёшу завораживает стих про три огня – "один рубиновый и два зелёных".

Сегодняшнее утро началось с тихого Алёшиного бунта – не буду работать. Ане тоже не хотелось, но она себя преодолела и таскала корзины с травой, что я рвала. Алёша остался без завтрака. Долго крепился, но потом всё-таки утащил кусок хлеба, но я у него его вырвала. Хлеб изо рта ребёнка – жуть какая-то! Он ходил тихий, молчаливый. В 12.50 согласился подёргать траву, но на беду пришёл Миша и увлёк своим

зелёным лягушонком за собой (наверное, на болото). Так что Алёшина неполная корзина так и стоит у меня перед глазами. Уже много времени, и Анята куда-то ушла. Тишина. Я написала Наташе ответное письмо (Наташа в самолёте на Владивосток размышляла о женском предназначении на примере жён декабристов) и пишу тебе. Детей не ищу. Анята проголодается, придёт, а Алёша в охоте забыл про свой голод, но тоже – куда денется. Надо работать, чертить графики, но так не хочется.

Алёша так и лёг спать голодный. Пришёл он от Миши в 3-м часу дня, я уже читала сказку Ане. Предложила ему на выбор лечь спать голодным или доделать свой участок и поесть. Он выбрал – доделать. Но работать одному так тягостно, поковырялся несколько минут и пошёл спать. В седьмом часу я не выдержала, разбудила его и опять напомнила про участок. Он захныкал. Я предложила поработать вместе, но чтоб он не ленился. Набрали мы всего три корзины, в основном за мой счёт, и пошли есть. Всё было так вкусно!

Сейчас уже гоняет на велосипеде. Аня тоже гоняет. Стоило мне уехать, как она тут же научилась садиться. Слава Богу, кончился инцидент с Алёшей. Его вопрос: "А когда третью корзину наберём, ты меня уже будешь кормить?" – признание справедливости наказания. Ты тоже так думаешь?

А вот Алёшин вопрос за столом: "Человек произошёл от обезьяны, а обезьяна от кого?" Второй: "Как человек мог узнать, кто был до обезьяны?" Серьёзный товарищ. Как он сказал, прослушав "Сказание о Петре и Февронии": "Серьёзная сказка" А как балагурит, играя в шахматы, готовый к мату ему. Славный мальчуган, с такими хорошими задатками. Господи, дай им реализоваться, а нам (мне) умения помочь этому.

Вечер, 8 часов. Тёма, наверное, к нам уже не приедет. А вдруг ему чинят препятствие с обратным билетом, хотя он и взял паспорт? Ну, ладно, утречком двинем.

Нам второй раз привезли молоко. Я взяла 10 литров, поставила на створог и опять мысль: нет тебя, любителя творога. Собираю незрелую клубнику и всё время помню, как ругала тебя за то, что ты собирал незрелую, а ты защищался:

"Попробуй, Ли, она только не красная, но вполне спелая". Как принёс однажды вечером две корзины, а я расплакалась – устала, и не оставить до утра, надо перебрать. Хожу на больной пятке. Неужели и у тебя всё время болела?

Ан. Ст. [Анастасия Степановна- дачная соседка] приходила за рублём. Спросила, что я делаю, и узнав про письмо: "Виктору?" На мое: "Нет, ему ещё нельзя", расплакалась, и я стала её утешать дрожащим голосом. Она твёрдо уверена, что ты не мог ничего плохого сделать, а экономика у нас, действительно, никуда не годится, и 80% людей это понимают, но молчат. А ты вон какой, не смолчал. И Гена [сын Ан. Ст.] полон к тебе сочувствия, а твой одноклассник Толя молчит, он ведь в "почтовом ящике" работает. По-видимому, все, кто знал тебя, не могут к тебе плохо относиться...

18 июля. Утром 16-го встали в шестом часу, чтобы поехать на автобусе 5.58 и поезде 6.33. Дети встали легко, доехали спокойно. Но Тёмы дома не оказалось. Я разнервничалась, начала звонить, но никто ничего не знал. Зато узнала, что Лида родила нормальную девочку. Витя В. [Волконский] обещал у кого-то справиться. Длился наш перезвон до 12 час. В 12 ровно Витя поздравил меня с зачислением Тёмы в студенты. На 10 минут раньше об этом узнал Тёмка. Его поезд опоздал на 4 часа, и, конечно, он прямо с рюкзаком отправился в институт, отстоял там длинную очередь за временным пропуском и явился домой в третьем часу. (Дня? АА)

К этому времени я отключилась от всех волнений и полусонная писала Гале письмо. И всё же воспрянула духом. Начала его кормить и обхаживать. И побежала звонить по всей телефонной книжке. Потом на почту, чтобы отослать Гале тёплые вещи и зубную пасту, телеграммы, открытки, письма.

В 9-м часу отправилась к Вале Ч. [Чесноковой]. У неё интересная концепция [разговор шёл о сборнике Витиных писем и статей]. От Вали уже поздно вечером поехала к Володе Б. [Бурмистрову] за новым колесом для Алёшиного велосипеда. Володя готовится к ремонту и тщательно моет окна-двери. А я собираюсь только сверху помазать. Может всё же помыть? Но когда?

Утро 17-го началось с того, что мы с Аней отправились в магазин за тортом. Завтрак у нас был праздничным. Дети наелись до отвала.

В 10 часов я позвонила Бурцеву и в начале двенадцатого уже с ним здоровалась. Приветлив. Посадил в соседней комнате начальника и дал почитать письмо Лёни П. [Подгородецкого], взятое у тебя при аресте, которое я раньше "не читала", и где тот ссылается на мою «нетерпимость». Я звонко удивлялась тому, как Лёня пишет про меня, но Бурцеву совсем не нужно было узнавать, кто такой Лёня, чего я боялась. Просто он в этом письме усмотрел мою значимость и влияние на тебя. Чудно!

А через 5 минут пришёл некто [как сообразила потом, тот, кого Витя называет «коллегой следователя»]. Еле слышно себя назвал. Имя я запомнила только потому, что несколько раз прочитала его на твоём письме ему, которое он мне показал.⁸⁸

Так и не поняла его эмоций по поводу твоего заявления. Почему-то он радовался некоторым словам, например, "я отщепенец", "дилетант", причём, последнее он сперва произносил как "дилетат".⁸⁹

Так вот, разговор вёл не Бурцев, а этот человек. Он сидел напротив меня за узким столом и, глядя в меня "честными глазами", говорил, что хочет помочь тебе стать полноправным

⁸⁸ Здесь речь идёт об Объяснительной записке, написанной Витей по заказу «коллеги следователя» 6 июня (см. об этом выше, а текст записки см. в разделе 1.3.1.)

⁸⁹ А. А.: «Вы уверены, что он так сказал? От «коллеги» можно было бы ожидать бОльшей образованности...». Л. Т.: «Да, именно так сказал».

гражданином. Но начал с того, что сейчас тебя переведут в Лефортово, т.к. твои деяния вполне тянут на 70-ю статью, т.е. на 7+5, а продолжил тем, что ещё не поздно. Мне было сообщено, что у тебя была пятичасовая беседа с неким доктором экономических наук, и от него ты почерпнул такое большое количество новых сведений, что он все твои предложения в пух и прах разбил. И что экономисты думают и бьются, и инфаркты хватают, а ты хочешь коммунизма через буржуазные свободы. Мы же должны все, как один, отстаивать свой завоёванный строй, а то начнётся резня. Американцы нам вот хлеба не дают. Я: "А зачем совались в Афганистан?" – "Что Вы знаете? Они и до Афганистана организовывали против нас холодную войну". Я не верю и говорю, что сами виноваты. Потом про экономику, про очереди. В ответ: "Не надо обывательских разговоров". – "Я как все советские граждане".

У них целая подборка бумаг: радиоголоса (это видела) и, наверное, газетные публикации, - в общем, "враги" во-всю используют твою информацию, и потому остаётся опасность 70-й. А они хотят, чтобы ты вернулся к 4-м детям и занимался их воспитанием. Он с Ю.А. тратит на тебя массу своего времени и очень хочет нам помочь.

Я не знаю, какие у него действительные мотивы. Допускаю, что ты ему нравишься и он искренен. Но если даже другие мотивы... всё же только он может нам помочь. Не говорят, чего им от тебя нужно. Ну, вот уже есть заявление для печати. На "буржуа" он споткнулся. В конце концов, я думаю, ты его доработаешь. А так – заявление нормальное, ничего для меня нового и позорного. Мне стало легче – не поломан. Лефортовым, почти уверена, он пугает – уж очень мутно и насчёт переквалификации, и насчёт замены следователя. «Коллега» пообещал приехать на дачу. Говорит, что нужно со мной беседовать, чтобы подготовить к очной ставке. А не нужно ли ему человечины? Что тогда? Вопрос...

В письме тебе я написала, что Тёма поступил, такой фразой: "Тёма со вчерашнего дня свободен до сентября и обещает мне помогать и с ремонтом, и с детками". Моя часть обращения к

тебе была зарезана. «Коллега» продиктовал свой вариант, я его малость подправила, но фразы не мои, и ты сразу поймёшь, что писала под диктовку. Только б не расстраивался, что мне приходится с ними общаться. Я немного дрожу, но общаюсь с ними с интересом, с надеждой что-нибудь узнать про тебя. Надеюсь, не наговорю лишнего.

Не велено мне рассказывать об этой беседе – бояться гласности. Мой собеседник сразу заявил, что не хочет, чтоб об этой беседе написали иностранные журналисты. Пообещала к иностранным журналистам не ходить. А вот, я думаю, рассказывать ли Глебу? Он написал, что скоро будет в Москве.

В следующей беседе буду настойчиво спрашивать, перед чем ты остановился. У меня, в самом деле, ощущение, что если «коллега» на тебя "плюнет", то дадут 70-ю. Очень интересно, как ты к нему относишься.

Трёп с Бурцевым. "Вы в отпуске?" – "Да, а Вы когда?" - "Да вот, Олимпиада". – "Не пускают? Господи, поскорей бы она кончилась, сколько от неё неприятностей". – "Да уж"...

После чтения письма Лёни Бурцев меня зауважал (явно, он в него недавно вчитался). Он считает, что я тоже "о-го-го" и даже, наверное, способствовала тебе в твоих действиях и что-то писала. Я отмахивалась: где уж мне. Но говорил он это почему-то застенчиво и тихо. Забавно.

Напротив стола начальника – большой портрет Дзержинского. "И у вас, и у КГБ общий вдохновитель?" – спрашиваю. – " А кем же нам ещё вдохновляться?" Действительно, кем?

26 июля. Мы с Тёмой едем в Москву. Ждём электричку.

Вот и кончается неделя. Вся она в полоску: дача – ремонт.

Тёма меня спросил: "Самый неинтересный отпуск?" У меня нет такого ощущения. В конце концов, я просчитала по таблице свои патенты. Немного пошила, хотя ни платья, ни аноракки себе

так и не сшила. Но если удастся сделать ремонт, то можно считать, что отпуск был очень продуктивным. Отпуск ведь ещё выпал на время заготовки варенья.

За прошлую субботу я успела ободрать нашу комнату. Для этого пришлось все полки перенести на кухню, а письменный стол в большую комнату. Надо было видеть, как я пыталась отодвинуть шкаф, а перед этим снять полку над столом, ту самую, злополучную. Но не отчаивалась и к Тёмкиному приходу уже вымыла пол.

К вечеру, конечно, прилично устала. Выходила только в хозяйственный, чтобы купить ещё "Примы", но в олимпийской Москве всё тот же дефицит.

В воскресенье занимались оставшимися комнатами, а перед этим до двух ночи переносила книги и заканчивала переборку вещей. Набрала два полных рюкзака. Еле дотащила до дачи: один впереди, другой сзади, а в руке сумка. Груз не угнетал, т.к. сознавала полезность физических нагрузок. А похода в этом году не будет - мы ж так и планировали.

А потом прошли дни сбора ягод и дни пульверизатора: сперва опрыскивали "Примой" до, надеюсь, "смертельной атмосферы", потом потолки пытались обновить – это получалось плохо.

27 июля. Вот и прошло 26 июля, намеченное Тёмкой для некоего, связанного с тобой, важного события. Как ирония судьбы, это мог быть день перевода тебя в Лефортово. Но не должно такого быть, ты ж написал "Письмо для печати". Значит, всю стараешься. Что же тогда? Я сама поверила в это число.

Пошёл седьмой месяц. Мы уже как-то привыкли жить без тебя, но всё равно есть ощущение, что жизнь без тебя – временная. Я всё чаще подумываю, что пора переписывать оставленный тобой новый сценарий диафильма про Баку. Ты

скоро вернёшься и обидишься, что я не переписала его. А то мечтаю, как поеду к тебе в ссылку. Но эти идиотские условия прописки... И все же, может удастся выхлопотать разрешение на то, чтобы жить у тебя без прописки. Огород заведём, кур и кроликов. Я уверена, что смогу хозяйствовать. Малышей заберём, а старшие останутся на Т.П.

31 июля. Еду домой со вчерашнего детского дня рождения. Ты, наверное, в эти дни много думал о них. Мне сейчас особенно тоскливо, до слёз. Солнечное утро, тепло, а мне хочется реветь оттого, что ты ничего этого не чувствуешь, что перед тобой решётка, а с тобой только раздражающие душу мысли. Господи, когда всё это кончится! Как я хочу идти рядом с тобой и радоваться тебе и всему на свете!

Бурцев после нашей беседы к тебе не ездил, и ты ещё не знаешь, что Тёмка поступил в институт. Поступил, но терзается, что продешевил: с его данными можно было идти в университет. На физфаке в этом году очень маленький конкурс: 0,8 для москвичей и 1,2 для иногородних. Думает в сентябре сделать попытку перевестись в университет, если у них будет недобор. В МИФИ поступило мало интересных ему ребят, и это его огорчает. Конечно, МИФИ с его засекреченностью, не лучший вариант, а когда дойдёт до засекречивания, его могут вообще погнать за то, что скрыл твоё "под следствием". Но испытывать второй раз судьбу, учитывая, что университетские товарищи преподаватели с большой вероятностью знают твою фамилию, конечно, рискованно.

Детский праздник прошёл, по-моему, хорошо. Они встретили меня на выходе из леса, а через час пришли их гости – три девочки (Алёшины мальчики не пришли). Принесли цветы и подарки (один из букетиков я сейчас домой везу, хотя в запахе

красок и хлорофоса они, наверное, долго не простоят). Ели они мало. Анюта накинулась на апельсины. Почитала им сказку про Белого Зайца. Только Аня Григорьева дослушала до конца. Именинники были заняты в основном подарками, а для Кати и Вероники эта сказка сложна, хотя и самая простая из всех. Интересно, что вечером, когда всех разобрали, детки наши стали играть в эту сказку, Алёша был волком. Аня Григорьева эмоционально очень развитая и смышлённая девочка. (Мы с ней в этот день играли в шахматы и ходили на пруд). Это особенно заметно рядом с Вероникой, которой тоже 7 лет. И я теперь понимаю, почему девочки, как правило, вместе не играют: Ане Григорьевой с ними не интересно. Она выбрала нашу Аню и сделала всё, чтобы отделить её от других. А на дне рождения меня поражало её наибольшее миролюбие, готовность уступить. Умница, понимает, что на празднике надо без ссор. Но с обеда они опять играли вдвоём, а на пляж мы ходили вчетвером. Алёша на Анином круге уже довольно далеко заплывает, всю колотит руками и ногами. Аня почти не отстаёт. Я пошла, чтобы день им запомнился ещё и этим, да и самой хоть раз в пруду искупаться. Правда, далеко поплыть мне помешали Алёшины рассказы о некоем "конском волосе", который водится в нашем пруду. Почувствовав какие-то прикосновения, я повернула обратно. Что понимается под "конским волосом", не знаю, но почему-то тревожно.

За день до этого мы с Тёмкой плавали в Москва-реке, удивительно чистой (закончили клеить третью комнату и, совершенно одуревшие, захотели как-то отвлечься). А потом продолжили - развешивали полки, я мыла очередной раз пол. Развесили, расставили, и три комнаты приобрели жилой вид. Очень симпатичные обои в маленьких комнатах – толстые и нарядные. Их легко было клеить. В большой - жёлтенькие, как всегда. Работы, конечно, ещё много. Сегодня нужно оклеить прихожую и нашу комнату и покрасить "ободверья", чтоб к субботе просохли. А в субботу надо провожать детей на Украину. Тёма уже купил билеты.

2 августа. В понедельник, 28 июля умер Высоцкий. Я узнала об этом только 31-го от Тёмки. Проводы были многолюдными. Наша пресса в рот воды набрала.

31-го опять звонила Бурцеву. Голос мягкий, но без единой информационной нотки. "Так, - это его обычное начало, - был я у него. И у начальства был. Подождём до конца Олимпиады". – "А то, что он написал, - неудовлетворительно?" - "Нет, почему же. Мы только подправим немного без вреда для него". Ну их к дьяволу, пусть поправляют!

Тоскливо мне было целый день. Тоскливо от смерти Высоцкого и неопределённости с тобой. Поревела, повыла я только на следующий день в лесу, когда шла от Грибцово (ехала на Петрищевском автобусе). Как нарыв вскрыла, стало легко и только чуть грустно. Господи, как же люди живут и не видят любимых годами, или их вообще не любят? А я через полгода начала выть от тоски. Похоже, началась тяжёлая, тоскливая пора, спускаюсь ниже нуля...

Пришло письмо от Наташи – ей там хорошо, её любят. От Гали из пионерлагеря после большого, 12-дневного перерыва тоже пришло письмо – лежали они в больнице 11 дней с отравлением. Не было с собой конвертов и писем им даже не приносили, а кормили протёртой невкусной пищей. Почти вся московская группа попала в больницу. Убеждаю себя, что это случайность – не травили же их специально. Письмо хорошее, повествовательное, никаких жалоб.

Напротив меня села женщина, удивительно похожая на мою маму лет 10 назад. От мамы пришло письмо, в котором я надеялась получить извинения за её ругань. Но она обвинила меня в том, что я старею и дурею. И снова ругань в адрес друзей и Вали.

"Здравствуйте все! Получила вторую открытку от тебя и очень рада за Тёму, что у него всё так хорошо. Я

в душе посылала ему пожелания и молила Бога, чтоб исполнилось его желание.

А вот, что ответить на первую открытку, ума не приложу. Лиля, то ли ты переживаешь горе такое, то ли теряешь разум, как твой отец. Сколько раз я сажусь писать тебе и бросаю. Слава Богу, что я тебе не нужна, мне стало легче на душе. А то всё голову ломала, как быть поближе и хоть чем-нибудь помочь с детками. Посидеть и то была бы помощь. Спасибо за откровенные слова.

Ты пишешь, что я не люблю твоих друзей, а ты любишь Тёмных. Боже мой, какое же неумное сравнение. Я же ни разу не сказала об их уме и внешности. На вид они казались мне культурными, благородными. Но ты, Лиля, понимаешь, за что я их не люблю, а стараешься винить меня. Разве тебе этого мало, что они довели Витю до тюрьмы? И что же ты думаешь, Вите там рай душевный?

Как же те хорошие друзья не поймут, что в нашей могучей стране никогда не будет того, чего им хочется. А только мутят по-за углами, и всё это пустая затея. Нигде в мире нет такой зоркой охраны, как наши органы. Уже начинают понемногу выводить, кто мешает строить мирную жизнь. Вот священник Дудко покаялся в своём поступке, или танцор Юрий Степанов попытался изменить Родине, счастье его, что быстро хватился, и простили его. Да сколько их таких. У меня есть газеты на этих дельцов.

А что касается друзей твоих школьных, то ты явно врёшь, что я их не любила. Вспомни, сколько ходили к тебе за помощью, а я радовалась...

2.7. События августа-сентября

Вызов к следователю 11 августа

Пришёл долгожданный август - месяц неперемного закрытия дела "Поисков", иначе, по УПК, 4 сентября Валеру и меня с Юрой придётся выпустить на волю. Оказалось, что в августе меня "выдернули" из камеры только один раз, а дело я закрывал после 4 сентября.

11 августа вечером я разговаривал с Бурцевым и его "коллегой". Беседа была будничной и спокойной. Папка "коллеги" среди прочих "документов по Сокирко" содержала аккуратно перепечатанные моё "Заявление для печати" и, как ни удивительно, последнее письмо ко мне Лили. Про это письмо надо сказать особо. Оно было написано Лилей 17 июля у Бурцева, частично под диктовку "коллеги", а показано мне на втором июльском допросе (29 июля). На меня этот новый листок с родными строчками произвёл совершенно необыкновенное действие. Это были не только жалость, виноватость, нежность. Это было скорее почти физическое ощущение Лилиной сильной любви и тревоги, желания, чтобы я вернулся домой "во что бы то ни стало".

Дело в том, что впервые Лиля писала не своими словами. После строчек о детках, отце, себе, Тёмке шёл текст Лиле совершенно не свойственный: *"Витя, я поняла, что твои статьи и твоя информация были недостаточно объективны и могут быть расценены судом как клеветнические. Кроме того, враги нашей страны их используют в своих целях. Витенька, помни, что у нас большая семья и постарайся избежать наказания. Ещё я поняла, что товарищи хотят тебе добра и заинтересованы в нашей судьбе."*

Вслух я сказал только: "Бедняжка, говорит не своими словами". Бурцев и не отрицал, что Лиле "помогали", он только осведомился: "Вы что, не верите, что это письмо писала Лидия Николаевна?"

-Нет, почему же, верю. Но только как же Вы её замучили, задавили, что она такое пишет... - Это не мы, это Вы... - Всё равно, клеветником признавать себя не буду, не надейтесь. И не трогайте её больше.

Конечно, ни на секунду я не допускал, что Лиля и думала так, как писала, подтекст казался мне очевидным: "Витенька, возвращайся, можешь даже говорить такие слова, только возвращайся". Она как бы брала грех этих паршивых слов ради моего освобождения. Её любовь была больше этих лживых слов и потому их допустила. Ещё раньше Лилия писала мне: "Витенька, найди нужные слова. Вот Глеб нашёл их и остался с Мариной".⁹⁰ Я отвечал "Ли, ты должна знать, что я очень старался выйти из тюрьмы, но, к сожалению, из моих усилий ничего не получается". Теперь она увидела моё "Заявление для печати" (это очевидно) и не ужаснулась, а даже готова идти "дальше". Дальше с точки зрения "коллеги", который уверен, что моё заявление – только результат его обработки. В этом он ошибается, "дальше" я не пойду, но Лилина **безусловная** любовь и готовность принять моё возвращение даже на "таких условиях" сильно укрепили мою решимость идти на компромисс ради освобождения, как бы развязали руки и влили силы. Чтобы я ни сделал из возможного для самого себя, теперь я знал, что главный для меня человек на свете не упрекнёт, не отвернётся. Это правда, благодаря Лиле и её решимости я вышел из тюрьмы.

Нет, я не могу сказать, что наша любовь много больше, чем у тех диссидентов, где жена говорит дорогому мужу: "Мы любим, ждём тебя, возвращайся, но только не ценой лжи и отречения". В таком случае, конечно, ни о каких компромиссах не может быть и речи, ибо как можно знать, что именно дорогие тебе люди посчитают ложью и отречением? Их любовь может

⁹⁰ А А.: «Это было написано в письме в тюрьму?». Л. Т.: «Да, я писала это 24 июня на допросе, и Бурцев дал Вите это письмо прочесть, как обещал, а Витин ответ частично зачитал мне».

быть и больше нашей, но стремление к исполнению кодекса чести диссидента ещё сильнее. Для нас же, видно, главное – быть вместе. Потом оказалось, что я не совсем правильно понял Лилины мотивы. Соглашаясь писать чужие слова, она надеялась получить свидание и ещё, что я разгляжу в её письме чужое. Чужое-то я увидел, а вот мотива "ради свидания" – нет. Значит, ошибся? Значит, нас тонко провели?

Думаю, что нет. Уверен, что подспудно, главным Лилиным желанием было не свидание, и конечно, не уговаривание меня признать себя клеветником, а чтобы я нашёл выход и вернулся домой здоровым и не сломленным, самим собой.

Потом Лиля уверяла меня о каких-то проявлениях мистической связи, неожиданных и ярких чувствованиях. Не знаю, не отрицаю. Со мной факт такой яркой, до физической реальности связи был только один раз, в первый месяц Бутырки. Ночью, когда все спали, при ровном 60-ватном свете [ночью лампочку не выключали]. Тихо, стараясь не будить, подошла к шконке, протянула руку, тронула и сказала: "Витя, что ты тут делаешь? Пойдём скорей отсюда". Я пробудился и долго не мог поверить, что то был только сон - так реально она только что была здесь и протягивала руку и говорила так строго...

Меня поражала в том случае именно непохожесть на сон, и я понял на собственном опыте, что люди могут верить в сон больше, чем в реальность. Что же, может быть, такая подсознательная связь и вправду существовала в нашем случае и как-то руководила моими решениями, но как материалисту, мне гораздо ближе более простое объяснение – через подтексты наших писем. Сознанием ошибались, чувством угадывали. Конечно, "коллега" и Бурцев позволяли Лиле писать письма только в целях морального раскачивания и воздействия на меня. Потому и лежало теперь в папке "коллеги" Лилино письмо аккуратно перепечатанным, видно, для показа начальству, как доказательство их работы, а может, как доказательство Лилиной "благонадёжности". Но в наши чувства и подтексты влезть они не могли. Хотя внешние обманы им удавались (Лилю убедить, что письмо под диктовку им необходимо как гарантия, что на

свидании она не будет на меня "плохо воздействовать", а мне это письмо подсунуть, как уговаривание соглашаться на клевету ради освобождения от наказания), но "мистика" от них ускользала.

Меня на этой встрече интересовало только одно, когда будет решён вопрос об изменении меры пресечения. Суд будет обязательно, осуждение тоже. Бурцев обещал и я тоже надеюсь, что суд определит "химию" или ссылку, но тогда меня нельзя держать в тюрьме. Выпускайте, если все ваши разговоры серьёзны. "Коллега" отговаривался нехваткой времени и сложностями прохождения любого материала для печати через множество инстанций: "Вы тут сидите спокойно, а я за Вас везде бегаю. Вот остались теперь решающие инстанции, дня через два всё будет решено. Кстати, я знаю о Вашей условии – ничего не менять в тексте. Но две фразы убрать придётся – "убеждения нельзя менять, как одежду" и "я являюсь сторонником свободного обмена информацией и идеями". К делу они никакого отношения не имеют, а напечатаны быть не могут. Не для того существует советская печать, чтобы распространять взгляды Сокирко. Мы не трогаем Ваш текст, но у печати есть свои законы и право, их нельзя не учитывать".

Конечно, я не был согласен, что эти фразы не имеют значения в моём заявлении, и в самом начале знал, что против них будут спорить. Но ведь мне не предлагают менять всё остальное, только сократить. В обмен я получаю публичное открытие своего псевдонима и взглядов, заключаю, наконец, компромисс. Это небольшая, непринципиальная уступка. Просто некоторое умолчание... Я согласился.

Потом оказалось, что именно в тот момент я действительно и реально согласился на грехопадение, на ложь (сначала небольшую, лишь на ложь умолчания) и показал, что способен поддаваться давлению. Очень вероятно, что прояви я в тот вечер твёрдость, было принято всё же моё заявление для печати, заявление безо лжи. И тогда моё дело пошло бы по-иному.

Конечно, диссиденты – максималисты всё равно бы осудили заявление, данное в тюрьме, но себя бы я чувствовал

много увереннее и чище. Только потом я оценил брошенное "коллегой" вскользь замечание: "Никто не поймёт, если Вас после такого заявления держать в тюрьме". В их игре не было предусмотрено исхода "химии" – только настоящее или условное осуждение. Значит, опубликовать моё заявление и не выпустить они не могли. Вопрос, до сих пор для меня неясный: пошли бы "они" на мой первый, нелживый вариант? По Бурцеву и "коллеге" я видел, что "да", приняли бы. Но ведь не за ними последнее слово. Много шансов и за то, что для "высших инстанций" более привычным был бы "антисоветчик" Сокирко в тюрьме, чем необычно лояльный, нелживый диссидент. Лоб в лоб в тот вечер сшиблись в душе противоречивые требования "не по лжи" и "осуществить компромисс реально" с властями, какие есть, а не только в пожеланиях, реальный выход из голого противостояния к жизни. Второй принцип мне и сейчас дороже. Но сегодня, вернувшись в тот вечер, я поступил бы по-иному. Я оценил бы заинтересованность коллег в "положительном" разрешении моего дела и не согласился бы на вычёркивание фраз из своего текста. Попробовал бы рисковать, упираться до предела. А вдруг меня всё же приняли бы таким, без "договорённой лжи". И цена моему компромиссу была бы совсем-совсем иная. Конечно, я рисковал бы много больше и вполне возможно, что вообще зачеркнул возможность соглашения, ушёл бы в лагерь "бескомпромиссным борцом", т.е. со своей точки зрения, потерпел бы страшное поражение. Возможно, я дал бы согласие на частичные, непринципиальные изменения своего текста только в самом конце срока предварительного следствия, действительно на острие решения вопроса: "С Сокирко надо что-то делать, надеяться на тюремное давление больше не приходится, надо решать". На соглашения можно идти только в самые последние, критические моменты, рискуя до конца, как в лобовой атаке двух самолётов: кто первым отвернёт и подставит брюхо, тот и проиграет. В августе я первым подставил своё брюхо и проиграл в итоге своё первоначальное заявление. Но в сентябре я шёл до конца в

вопросе о "клевете" и выиграл: был освобождён без этого кардинального условия "коллег".

В конце беседы, перечитывая какой-то пустой бурцевский протокол, я услышал, как "коллега", о чём-то пошептавшись с Бурцевым, осведомился у меня: "Разве от свидания с женой Вы отказываетесь?" - "Да, отказываюсь. Принуждать меня через неё признать себя клеветником бесполезно, а за два дня Вы пообещали решить положительно вопрос об изменении меры пресечения".

Оба промолчали вроде как согласительно и вызвали надзирателя. Да, да, до скорой встречи. Обязательно...

Голодовка

И снова я обманулся, теперь на очень долгий срок - до первого сентября. Даже из соображений закрытия дела Бурцев должен был вызывать меня ежедневно. Но со мной решили вести "воспитательную работу" до конца возможного тюремного срока, т.е. до 4 сентября – и довели. Этого я долго не мог понять, терзаясь в очередных ожиданиях. Видно разговоры об изменении меры пресечения – лишь уловка. Дотянут до сентября и скажут, что времени нет для изменения меры пресечения, надо скорей дело закрывать.⁹¹ Да и не стоит до суда

⁹¹ А. А.: «Что значит – закрытие дела?». Ответ В. С. (в передаче Л. Т.): «Процедура ознакомления с собранными следователем для суда материалами – очень важная для последственного, его адвоката и самого следователя операция. Она не могла остаться без служебного термина. Поскольку после подписи подследственного следователь считает свою работу по данному делу законченной, он с облегчением **закрывает** крышку последнего тома дела и отпускает его (дело) от себя к прокурору, предварительно написав Обвинительное заключение. Дальнейшее продвижение томов дела не его забота. Это моя (В. С.) конструкция, но вроде правдоподобная, а термин «закрыть дело» для меня, ну, как родной.

беспокоиться, суд освободит, и т.д., и т.п. Со мной просто играют в кошки-мышки и будут держать в тюрьме, чтобы вытаскивать очередные уступки, теперь уже действительные. Что я мог теперь сделать?

Небольшой тюремный опыт говорил, что здесь чего-то можно добиться только голодовкой. Она одна придаёт вес твоим жалобам и требованиям. И я объявил голодовку. Сначала думал объявить её до суда, если не изменят меру пресечения – пусть через пару месяцев судят скелет, а не человека (состояние Саши Кныша на 49-ом дне искусственного кормления я очень хорошо помнил). Но потом решил, что этот план самоубийственен: шансов повлиять на "них" голодовкой, если "они" твёрдо решили обмануть меня и не выпускать, никаких, здоровье такой голодовкой и вправду можно подорвать, а оно нужно. Не стоит увлекаться и делать очередную глупость. И я объявил голодовку лишь до вызова следователя, которого я требовал от тюремной администрации. Начал голодовку 18 августа, рассчитывая, что через несколько дней Бурцев меня вызовет, и тогда я буду с ним разговаривать более резко, с позиции голодающего. Голодовка длилась 15 дней.

День шёл за днём, но только раз заглянул фельдшер и спросил, не вызвана ли моя голодовка претензиями к медчасти и как я себя чувствую. После моего ответа, что претензий нет, и чувствую я себя пока хорошо, он исчез.

С самого начала я решил по возможности побольше оставаться в камере, без искусственного кормления, потому регулярно утром делал зарядку, не пропускал прогулки, вставал со шконки при проверках, дежурил – в общем, вёл себя как все, если не считать отказа от еды, к которому относился тоже

Случалось, что при закрытии дела следователь отпускал человека домой, но тогда это было **прекращение** дела в связи с отсутствием состава преступления или истечением срока давности, или недоказанностью (больше не помню). Основная часть дел после закрытия движется через прокурорскую службу в суд».

спокойно, как к обычному, рутинному делу. Ведь Лиля не раз голодала по 10 дней, а Саша Н. [Наседкин] даже 23 дня голодал и ходил на работу. Вот и мне предстояло голодать, возможно, дней 20, по крайней мере, до 5 сентября, когда станет ясно, что, пропустив без вызова и 4 сентября, они просто нарушили свои законы и могут держать меня здесь без суда и следствия хоть годы – но в это я пока верил плохо.

Сокамерники о причине голодовки меня не спрашивали – такой уж установился у нас стиль отношений. Только Фетисов раза два сочувственно советовал пить сахарный сироп, а потом всё удивлялся моей выдержке. Остальные были прагматичнее. На завтрак они сами кричали в кормушку, что в камере голодающий, не брали хлеб сахар, кашу. Зато в обед и ужин моя порция поступала в их распоряжение (ведь о голодовке объявлено). Я не возражал.

В эти последние недели острота ожидания у меня не пропадала. И ведь впрямь: Валеру и Юру уже знакомили с делом, а я всё ещё валялся на шконке и читал-читал до одурения. Уже ничего не лезло в голову, и всё возрастало внутреннее напряжение.

Но нервничали, наверное, и Бурцев с "коллегой". Первый – потому что ему надо было спешить с закрытием дела, уложиться в срок, "коллега" – в колебании между решением своей главной задачи: привести меня к признанию своей виновности (для суда и АПН) и непонятной целью моей голодовки. Впрочем, чего же тут непонятного:: выполняйте свои обещания и выпускайте до суда. Не знаю наверняка, но думаю, что моя голодовка как-то расстроила их планы дальнейшего разговора со мной и помогла мне выстоять в главном.

Последние бутырские дни

1 сентября вечером, вдруг и наконец-то: "На С... Сокирко, слегка!" Опять длинный коридор уже мимо желтеющих лип за окнами – вот и осень настала.

Вхожу в кабинет: Бурцев, "коллега" и третий в полуспортивном костюме. Всю беседу последний молчал, потом я больше его не видел. Все трое воззрились на меня якобы в удивлении. Дышал от быстрой ходьбы тяжело, да и при напряжённом разговоре тоже – ведь кончался 15-й день голодовки. Естественно, объясняют, что у них не было до сих пор времени для вызова, а про голодовку они ничего не знают (и почему же администрация не ставит в известность - может информация так долго поступает?). Говорили и понимали, что верить в это невозможно.

Я же говорил в непривычно резком, даже нетерпимом тоне: "Нет уж, подождите, дайте досказать... Вы обещали, я требую..."

Бурцев в разговоре участвовал мало, постоянно отвлекался в другие кабинеты, где Валера и Юра со своими адвокатами смотрели материалы дела. Выглядел он чуть зачумленным, и уже не скрываясь, говорил: "Давайте, решайте скорее это дело – времени совсем уж нет!" - и снова убегал. "Коллега" же явился с новым текстом моего "заявления": "Ведь у печати свои законы и с ними приходится считаться". И вот он, наконец, держит текст, немного изменённый, но практически уже апробированный всеми инстанциями и потому просит ничего существенного в нём не менять, а то когда же теперь согласовывать.

Читаю - на 2/3 мой текст, но разбавлен такой газетной жвачкой, чуть не руганью в адрес диссидентов. "Издеваются они, что ли?" Отказываюсь даже обсуждать эту пачкотню. "В чём дело?" - "Ваши изменения совершенно неприемлемы... Ведите меня в камеру".

Но почему-то начинается суматошный разговор, который я контролирую с трудом. Была и угроза продлить следствие – "это не трудно" и "иные условия" создать: "Вы говорите, что на Вас давят, Вы ещё не знаете, как по-настоящему давят..." Я сразу представил, как легко организовать расправу с помощью уголовников, когда смерть лучше, и с отвращением замотал головой: "Знаю, догадываюсь, можете не стращать".

Но угрозы были какими-то жалкими, не всамделишными, вроде перебранки. Да и состояние моё, наверное, на "коллегу" давило: отвисшая кожа, седая щетина, хриплая громкая одышка, перебивы в разговоре. Мне тогда, действительно, было всё равно, потому ненависть клокотала, а надежды "договориться" давно уже перегорели. В какой-то момент "коллега" потерял свою агрессивность и свёл разговор к тому, что "уже утверждённый и не подлежащий изменению текст" можно всё же ещё один раз изменить. Перемена тона столь разительна, что даже я ощущаю уступку с его стороны и потому с отвращением, но всё же пытаюсь исправить протянутые страницы, вернуть им первоначальный вид. Разобраться в текстовке с ходу я был не в состоянии и, исправляя одно, пропускал массу чужого, а это в свою очередь стимулировало "коллегу" на всё новые и новые попытки изменить в свою пользу. Да, надо было стоять на возврате к прежнему тексту, а не вступать в неравноправный спор о смысле чужих, навязанных фраз.

Наконец, мои изменения приняты. В чём-то первый вариант был даже улучшен, но гораздо больше и незаметно для меня ухудшен. Так что, потерпев некоторую неудачу во фронтальном нажиме, "коллега" много приобрёл в своих якобы "уступках". Он выиграл, а я снова проиграл. Но понять это мне было дано лишь позже.

Очень просили меня прекратить голодовку, а то смотрите, на кого стал похож, половина лишь осталась. "Коллега" твёрдо формулировал, что придёт не позже 4-го, хотя очень много снова проверить надо и снова всё утвердить. Через пару дней и теперь уж совсем обязательно! И этому можно было верить, хотя бы по состоянию Бурцева, но, уходя, я не верил ничему и только ощущал во рту вкус очередной неудачи.

Правда, голодовку я окончил в тот же вечер – как-то потеряла она смысл, когда всё заново разрешилось каким-то непонятным образом. Ибо я уже не понимал, хорошо или плохо я сделал, пойдя на очередную уступку в заявлении при твёрдых, совершенно твёрдых гарантиях изменения меры пресечения, выхода из тюремного давления, когда весь – в их руках.

Из голодовки я выходил совершенно неправильно. Для облегчения выпил сначала кружку сладкой воды, что, оказывается, противопоказано голодным, потом освоил порцию своего супа, стремясь быстрее очистить брюхо от застывшей и загнившей пищи. Это тоже было неправильно. И вообще, только через пару месяцев на воле я почувствовал себя прежним, восстановившимся. Что люди находят в голодовке привлекательного, я так и не усвоил, не понял.

Теперь я снова принимал баланду, избегая только хлеба, и двигаться стал много быстрее в ожидании 4 сентября.

Однако "коллега" пришёл раньше, 3-го числа, в солнечный осенний день. Они были вдвоём с Бурцевым, и разговор шёл уже без всяких околичностей: "Должен Вас огорчить(?), Виктор Владимирович, но самое верхнее начальство отвергло последний вариант совершенно неожиданно и полностью. Должен быть совершенно другой текст – короткий, энергичный, никаких "Поисков" и «В защиту экономических свобод» упоминать не надо – кому о них интересно знать? – только осуждение своей преступной деятельности! Коротко и энергично!

До сих пор не знаю, то ли то был последний хитрый ход "коллеги" в части давления на меня, то ли, в самом деле, самое высшее начальство засопровтивлялось. Верно, скорее второе – так мне представилось и по характеру возбуждения "коллеги" и последующим репликам, когда он жалел об отвергнутом варианте, как более полном и понятном (забавно, что он свыкся с последним вариантом и стал его ощущать своим). А тогда я думал лишь: "Ну вот, к чему они меня снова привели, без "клеветы" обойтись не могут, сволочи!" и потому отвечал спокойным глухим голосом: "Значит, ничего не выйдет. Ну и хорошо. Юрий Антонович, вызывайте адвоката, которого нашла мне жена. Я должен буду с ним поговорить об условиях, и давайте смотреть материалы дела". На что Бурцев тихо отвечает: "И всё же... Вы попробуйте ещё раз..."

Я молчу – чего ещё пробовать? А "коллега" уже пишет какие-то фразы, потом подсовывает мне – это, действительно,

лишь несколько фраз, но заглавная среди них всё та же: осознав заведомо ложный характер своей деятельности, порочащей советский строй..., и ещё что-то. Горько смеюсь: "Три месяца я Вам говорю, что не могу этого сделать и потому не прошу освобождения, только "химии", а в меня снова впихивают клевету, как будто трёх месяцев разговоров и не было". И всё же почему-то правлю "коллежьи" фразы, уже бессмысленно, по инерции. Вернее переписываю по-своему. Относительно по-своему, конечно, потому что давно уже потеряны критерии своего или едва допустимого. Но в голове сидит только одно: невозможно признать себя клеветником и преступником. Остальное уже кажется неважным. Возможно это "табу" могло бы размыться под давлением усталости: подумаешь, какие-то слова, мало ли в жизни приходилось говорить вынужденной неправды? Но данное Валере обещание сдерживает и помогает устоять, не сломаться до конца, не отречься от главного, сохранить в душе плацдарм, с которого я на суде нейтрализовал и уничтожил остальную ложь в заявлении 3 сентября.

Теперь уже "коллега" правит "мой текст", а я снова упрямо переписываю "его". Наконец, он соглашается: "Ладно, попробуем". Бурцев подаёт голос: "Но ведь здесь нет формулировки "клеветы". На что "коллега» говорит, наверное, внутренне решённое: "Ничего, сойдёт" - и показывает: "Вот это - "осознав, что по глубокому заблуждению я многие годы занимался деятельностью, порочащей советский общественный и государственный строй... " И я понял, что "коллега" старается мне сейчас подыграть, стоит за меня. Он даже готов пойти на халтуру, обман начальства, заменив "заведомо ложное" похоже звучащим, но противоположным по смыслу "по глубокому заблуждению", лишь бы сдать, наконец, долгое "дело Сокирко".

Думаю, что это не было компромиссом с верховным начальством, оно, видно, не заметило разницы формулировок. "Коллега" и Бурцев, т.е. низы власти, уверен, если б решение зависело от них, заключили бы со мной компромисс безо лжи. Но в целом, вся система власти реально допустила именно этот

вариант: компромисс без главной формулы клеветы, но с ложью в остальном.

"Коллега" торопится. Он быстро собирает свои бумаги и говорит, что времени осталось совсем в обрез. Но теперь и я не стесняюсь и задерживаю его требованием, когда же будет изменена ко мне мера пресечения. Без этого все заявления и договорённости я считаю недействительными. И тут "коллега" изменил своей тактике наглого в лицо обмана. Наверное, он тоже перенервничал. И потому наряду с неуверенными словами, что он сделает всё возможное для изменения меры пресечения, начал заранее оправдываться: "Но вы должны понимать, Виктор Владимирович, что мы не всесильны, что вопрос о вашем освобождении до суда, возможно, и не удастся решить положительно..."

Но уж очень долго меня кормили обещаниями, чтобы я не услышал даже в такой "неуверенности" вежливого отказа. Передо мной окончательно обнаружился обман: только что я написал **чужое заявление**, в смысле которого сам не в силах сейчас разобраться, а мне тут же объявляют, что в главной уступке и гарантии - немедленном освобождении от давления - будет отказано! Значит, собираются давить и дальше. Редко мне так нагло отказывали, и ещё никогда так крупно. И потому я заговорил в полный голос, стараясь быть предельно понятным: "Я теперь не знаю, как Вас убедить, но клянусь всем, что мне дорого: если не буду выпущен до закрытия дела, если меня обманут в этом обещании, то откажусь от всех заявлений категорически. Вы слышите? Категорически!" – Кажется, я даже стучал кулаком по столу. – "Пусть это будет неразумно, против моих интересов, но клянусь: лучше лагерь, чем знать, что тебя постоянно и непрерывно обманывают".

Наверное, я говорил бессвязно и повторял одно и то же. Думаю, вид у меня, ещё не вышедшего из голодовки, был неприятен. "Коллега", бормоча что-то извинительное, дособрал свои бумаги и буквально выскочил из кабинета, оставив меня с Бурцевым.

Антоныч молчал. "Нет, каковы мерзавцы, - обратился я к нему, инстинктивно ища сочувствия, - обещали, обещали и снова обман! Как же я буду выходить на суд, если меня беспрерывно обманывают? Разве это люди? Только и могут, что давить и давить. Держать в тюрьме и давить. Какие же мерзавцы, ненавижу..."

Бурцев молчал. Бормоча всё то же о мерзавцах, я вскочил со стула и подбежал к окну. За решёткой сияло ещё летнее солнце, прозрачно желтела листва, но в глазах было темно. Потом, не в силах сдержать возбуждение, я бегал по кабинету, а Бурцев всё молчал. Почему-то долго не появлялся вертухай. Наконец, он пришёл, и я заложил руки за спину, но на прощание утвердил Бурцеву: "Считаю, что я ничего не подписывал, линия моего поведения на суде будет жёстким отказом, в следующий раз вызывайте для встречи с адвокатом".

Вернулся в камеру, съел подчистую [вопреки всем правилам выхода из голодовки] остывший обед и улёгся на шконку осваивать своё новое положение провалившегося соглашения. Постепенно я начинал этому даже радоваться: "Слава Богу, что пронесло мимо соблазна, слава Богу..."

За что славлю Бога? Что меня обманули, и я отказался от своего, нет, чужого заявления, в котором хоть и не было признания клеветы и преступления, но было что-то похожее? Или славлю за то, что отказался от мягкой позиции на суде, т.е. обязался получить полный срок по своей статье?

Да именно так. Я твердил: "Слава Богу!", что все мои попытки достичь соглашения, компромисса, возвращения домой, отступления от правды окончились, остались позади. Безрезультатно, но зато мне не придётся стыдиться лжи. И перед Лилей я не виноват, нет, я не ленился в борьбе за свою свободу ради работы и семьи, здорово рисковал своей совестью, вплотную подходил к пропасти "клеветы", но вовремя увидел их обман и отказался, отпрянул от позора отречения, пусть там его, кажется, нет... С "ними", действительно, нельзя иметь дело, они, действительно, умеют только давить и обманывать.

Я сделал всё, что мог, но судьба уберегла, не дала мне свалиться в сомнительный компромисс, который чем дальше, тем больше самому казался отречением.

Прошло около трёх часов после моего возвращения, как случилось небывалое: меня снова "дёрнули" к следователю. В камере объяснили: наверное, адвокат пришёл, и после возвращения я невнятно оправдывался тем же.

Ввели в дальний большой кабинет. Никогда я не видел здесь большей торжественности. Снова их было трое, но "коллега", не скрываясь, сидел главным. Бурцев скромно разместился рядом.

"Ну вот, - сказал "коллега" – мы должны сообщить Вам известие, радостное не только для Вас, но и для всех нас. Текст Вашего заявления для печати одобрен и подготовлены все документы к Вашему освобождению. Вот они, - он положил руку на пачку бумаг. - Ваше заявление перепечатано в точности, но в него необходимо только вставить одно слово. Посмотрите, вот здесь, в предложение "осознав антиобщественный характер своей деятельности, я постараюсь исправить свою вину" надо вставить "осуждаю её".

Сейчас очевидно, что даже в последний момент уже законченной игры "коллега" ловил выгоды, а я мог бы вполне отказаться, ведь документы были подписаны. Но для этого надо быть в другом состоянии. Мне же тогда было всё равно: раз уж я согласился называть свои тактические ошибки, из-за которых оказался в тюрьме, "антиобщественной деятельностью", то естественно соглашаться и на "осуждение". И я вписал эти два слова, ведь они ничего не меняли в первоначально принятой лжи. Конечно, ни "заблуждённости" своей, ни "антиобщественности", ни "вреда стране" от своих работ я не принимал, а вот согласился подписать эту ложь, настоящую клевету на себя самого. И сейчас я подписал уже отпечатанные листки, как бы забыв, как полчаса назад твердил: "Слава Богу, что не допустил этого". И вот я всё-таки подписываю "своё-чужое" заявление окончательно. Документы на моё освобождение теперь уже не были обещанием, они

действительно были подписаны, я их сам смотрел и читал, этому нельзя было не поверить: свобода от давления лежала совсем рядом и невозможно было от неё отказаться, когда обещание Валере выполнено...

"Как видите, мы работали очень оперативно, - похвалил себя "коллега". (Да, я мог это оценить – перепечатать, утвердить заявление, оформить документы об изменении меры пресечения, письмо Смирнова [зам. нач. следственного управления прокуратуры Москвы] к Подрезу об освобождении – всё-то за три часа, хотя три месяца твердили о необыкновенной "сложности и трудности" подобных согласований...) К сожалению, из-за позднего времени тюрьма не может сейчас Вас оформить и выпустить, зато завтра с утра, прямо с 9-ти часов оформление закрутится и к часам 11-ти Вы будете на свободе. Займётся этим мой заместитель (он назвал имя-отчество и показал на молчащего третьего, тот наклонил голову), а я с завтрашнего дня в отпуске. До суда Вы будете при необходимости поддерживать связь с ним. Завтра он Вас встретит у ворот и отвезёт домой или куда? – обратился он к Бурцеву... (Решили, что лучше отвезти в прокуратуру – ведь надо закрывать дело). А сейчас сразу договоримся о Вашем поведении на суде, которое, конечно, не должно противоречить Вашему заявлению: Вы его зачитаете именно там, и тогда Вы можете твёрдо рассчитывать, что вернётесь к семье. А мы свои обещания выполняли, как Вы сейчас убедились".

"Хорошо, - согласился я, - но признавать себя клеветником, преступником, я не могу. Вы это знаете".

"Да, я знаю такую Вашу особенность, и потому нашли такой выход: на вопрос судьи, признаёте ли Вы свою вину, Вы ответите только ссылкой на это заявление, мол, мой ответ на этот вопрос содержится в подготовленном заявлении для печати, и читаете его. С этого момента, оно станет публиковаться за рубежом. Учитывая Ваше нежелание, от советской печати и телевидения мы, видимо, откажемся. До суда Ваше заявление не должно существовать, мы даже не дадим Вам его копию сейчас, чтобы не попало в чужие руки.

Вам его вручат перед самым судом. Согласитесь, это лишь необходимые меры предосторожности и притом в Ваших же интересах. Ну и, конечно, последнее слово должно быть коротким, а лучше ограничиться простой ссылкой на то, что в Вашем заявлении всё уже изложено".⁹²

Я не возражал: всё равно линию поведения на суде обдумывать особо и решать по-своему. Только добавил, что если судья всё же заставит меня отвечать на вопрос о виновности, я буду говорить, что обвинение в клевете не понимаю и не принимаю, пусть суд мне доказывает. "Ладно, ладно, - благодушно согласился "коллега", - всё будет в порядке. И ещё одно. До суда мы очень советуем Вам ограничить своё общение со знакомыми. В Ваших же интересах. Чтобы не создавалось помех для правильного проведения суда и не увеличивать нежелательные утечки информации. Вы

⁹² Вот текст этого документа (см.:

<http://victor.sokirko.com/Part1/butyрка-1/butyрка4.html>):

«Заявление для печати

от гражданина СССР Сокирко Виктора Владимировича.

Как мне стало известно, в некоторых зарубежных западных средствах массовой информации появились сообщения обо мне как о «жертве советского режима». В связи с этим я должен сообщить следующее:

Многие годы по глубокой заблуждённости я занимался деятельностью, порочающей советский общественный и государственный строй. К сожалению, мои отдельные статьи использовались западными противниками в ущерб нашей стране.

Осознав антиобщественный характер моей деятельности, я осуждаю её и готов искупить свою вину перед народом честным трудом на благо нашей Родины.

В связи с этим я категорически запрещаю использовать мои работы и имя во враждебных моей стране целях или для ведения против нее психологической войны.

Данное заявление с моего согласия может быть опубликовано в советской печати, АПН и на телевидении. 3.09.1980 Подпись».

В день суда дата была исправлена «коллегой» на 29.09.1980, а в «шапку» он дописал «и суда» .

понимаете? Само собой, все наши разговоры, как и вся работа, проводимая здесь с Вами, должны быть строго конфиденциальны". На это я ответил, что советы его, в общем, понимаю, но абсолютной конфиденциальности гарантировать не могу. "Жене ведь могу рассказать о тюрьме?" – "Конечно, но..."

Закончил "коллега" инструктаж торжественно, даже встал. "А теперь поздравляю Вас с освобождением! – и протянул руку Это радость не только для Вас. Признаюсь, что и я, и Юрий Антонович в таком ходе дела сильно заинтересованы, и я рад, что мы нашли общий язык". Я криво улыбнулся в ответ, хотя до этого вёл себя пассивно и даже хмуро. Наверное, действовала горечь от «воскресшего» заявления, а может подсознательно уже начала действовать тревога: что со мной теперь будет на воле.⁹³

В этот момент мы все четверо улыбались: я - неестественно, они – светло и благодушно, как после трудной и успешной работы, после достижения всамделишного компромисса и единства. Текст "моего-ихнего" заявления и был "общим языком". Бурцев даже произнёс своё сокровенное для семьи Сокирок пожелание: "А на будущее лучше еще двоих родите, чем заниматься всем этим". "Коллега" крутил головой: пришлось ему, мол, попотеть, запомнит он этого Сокирко. Зам "коллеги", который с завтрашнего дня становился для меня новым "коллегой", просто улыбался.

А ведь если взглянуть беспристрастно, то разве это не так? За месяцы разговоров и обманов мы действительно сблизились и лучше поняли друг друга – не только с Бурцевым, но и с "коллегой». И я, и они с самого начала были настроены на договорённость, но торговались отчаянно, хотя условия сторон

⁹³ «Что значит «воскресшего»?». Л. Т.: «Но ведь три часа назад, в камере Витя начал радоваться тому, что соглашение провалилось и Заявление от него существовать не будет, и вдруг – заход на новый круг: заявление состоится («воскресло»), да ещё и с новыми правками».

были разные: у них средствами были тюремные стены, лагерные срока и обманы, а у меня только одно, но очень действенное средство – право отказа. Причём чувствовали, что если не "сторгуемся", то много потеряем: я – свободу и собственное лицо либерала-примиренца, а они давно запланированного "кающегося грешника". Обе стороны имели, чем поступиться, не теряя принципов: они обошлись без показаний на знакомых, без раскапывания обстоятельств, оцениваемых 70-й статьёй (по их нынешним критериям), а я заявлением о своих, возможно, неприятных для некоторых взглядах (кстати, они ещё и до тюрьмы ставились мне в вину).

Но для реального соглашения этого оказалось мало, пришлось поступиться принципами с обеих сторон. Итоговое заявление оказалось взаимно-лживым документом, в котором я допустил ложь во второстепенных вещах, а они обманули своё начальство по главному вопросу "признания клеветы", а мою второстепенную ложь изобразили, наверное, как "полное и энергичное" раскаяние. Их уступка в главном позволила мне потом говорить, что никакого отречения не было, а только второстепенная ложь и "неправильные фразы". И конечно, освобождение из тюрьмы до суда было очень большой уступкой со стороны этих людей: ведь ради "моей прихоти" (подумаешь, три – четыре недели просидеть в тюрьме, как в гостинице!) должны были идти на риск неуправляемости перед судом, обнаружения будущего заявления и т.п.

Так долго контактирующие люди, даже противники по обстоятельствам, оказываются готовыми ради достижения человеческого соглашения, реального компромисса – на нравственные уступки. Я думаю - это правильно, потому что иные компромиссы сейчас невозможны, а только компромиссы позволяют развиваться свободе, разномыслию, жизни...

На прощание я передал Бурцеву записи прочитанных книг и черновики заявлений, ещё не отобранных на шмоне, с тем, чтобы он мне их вернул. Может, что и не отдаст, но на шмоне пропадёт всё.

Уходя, я пошатывался: сперва наткнулся на сейф, потом на косяк двери.

Последняя ночь и последние книги

Эту ночь я практически не спал, не мог. Пытался вспомнить текст "своего-чужого" заявления и не вспомнил точно. Не мог понять, как же мне его расценивать и как расценят мои знакомые, как примет меня моя душа, блуждающая ныне на свободе в людской памяти и восприятии. Нет, поголовного осуждения я не боялся, знал, что основная часть знакомых будет рада моему приходу. А вот как именно этот поворот скажется на них и чем-то большим, мировой душе что ли, безличной, но главной для человечества, я не понимал, не мог понять, а от больных вопросов не мог уснуть.

Конечно, многие осудят и не поймут, что в главном я не изменил ни себе, ни данному Валере обещанию – что ж, с ними придётся раззнакомиться. Как-то придётся исправлять ложь ещё неопубликованного заявления, исправлять со связанными руками – обещанием не обращаться больше к самиздату... А может, ещё и не освободят. Ведь сколько раз за лето я ждал со дня на день. Лучше повременить до крика: "С вещами!" Но сейчас совсем иное дело – ведь подписанные документы сам видел... И всё равно не верится. Не голова, а каша из обрывков хаотичных мыслей (мне ещё долго предстоит находиться в таком растрёпе от мыслей и чувств). В одном я уверен – Лиля будет рада, и это держит на поверхности, не пропаду, итоговая правда моей изнурительной борьбы – торговли, в конце концов, прояснится. Вот если бы Лиля отказалась, тогда б я не выплыл, тогда б пришлось искать сук, чтобы вешаться, как Иуда... Господи, да какой же я Иуда? А разве Иуда уж такой плохой был?.. Ничего не понимаю...

Перед глазами прислонённая к стенке моя последняя книжка в Бутырке – путевые записки советского журналиста **Скворцова "Конец дороги мандаринов"** (М.,

1978; (№104 по моим записям) - о послевоенном Вьетнаме, но мало чего я в ней вижу, как ни заставляю себя. Дорога мандаринов – главная путевая артерия прибрежной страны, по которой века и тысячелетия рвались на юг войска китайских мандаринов. Гигантской деспотической сосулькой из древнейшего китайского центра человеческой кристаллизации – в ростепель индокитайских племён горцев и рыбаков. Проходит в Китае очередной всплеск анархического бурления, распада и свободы, растрачивая накопленную в веках народную энергию. Китай превращается вновь в огромный тоталитарный морозильник, идеал упорядоченности и этикета, выплёскиваясь холодом на соседние народы. Однако, ничто не вечно. Снова копится энергия сопротивления у китайского народа, и, чтобы удержаться структуре – династии, империя отказывается от самых уязвимых для охраны вытянутых сосулек. Вьетнам снова получает независимость, но ненадолго, только успеваает перейти от первобытной "бамбуковой цивилизации" к самостоятельному усвоению китайской цивилизации как новые полчища сосулек катят с севера на юг.

Впрочем, сама книжка (довольно средняя) говорит об этом мало. Про Китай-холодильник – мои собственные "термо-философские" домыслы, которые посещали меня в тюрьме часто, при любой книге и по любому поводу. Книжку же про мандаринов я даже не дочитал до конца, занятый попутными переживаниями. Да в ней больше не о китайцах, а об американцах, которые тоже пришли извне и пытались не подморозить, нет, лишь упорядочить и навязать жидкостную демократическую структуру народу, росшему тысячелетия под суровым континентальным китайским влиянием: то жар войны, то холод императорского деспотизма. Американцы, может, добились бы во Вьетнаме успеха, если бы вели себя как китайские мандарины, а они - американцы и другими быть не могут. Сонгми – исключение, которое подтверждает правило. Да и вообще, демократия – особое состояние общества, где свобода его людей сочетается с упорядоченной структурой, вроде переохлаждённой жидкости, вернее жидкого кристалла. Она

может создаваться и расти только самостоятельно, эволюционно, как живой организм – самый характерный пример упорядоченной жидкости, термодинамической модели свободного правового общества. У Китая веками не хватало сил превратить Вьетнам в свою сосульку, Америке тем более не могло удасться превратить первобытно-феодальную страну в представительную демократию, извне вдохнуть органичность и умеренность. Американские усилия только укрепили воинский, деспотический дух этой страны на долгие годы. Нет, укрепить право и свободу в стране извне силой, энергией, давлением невозможно – только информация извне может быть полезна, как то сырьё, из которого можно самостоятельно, своими силами строить упорядоченность и порядочность. Нет, не американские солдаты, а американские писатели и художники, путешественники и журналисты могут быть полезны демократиям других стран.

На другом от Вьетнама краю Тихого океана, на оконечности Южной Америки лежит "Огненная земля", про путешествие по которой я прочёл ещё раньше книжку **Р. Кента "Плавание на юг от Магелланова пролива"**(М., 1977). Два американца на парусной лодке или пешком путешествуют по суровой, холодной земле вымирающих индейцев и прибывающих европейских колонистов и рассказывают, ничего не скрывая: ни нищеты и слабразвитости аборигенов, ни бед, которые несёт им даже искреннее покровительство белых миссионеров, ни бессовестности или высокого благородства и гостеприимства колонистов, живущих на огромных пространствах отдельными хуторами либо коммунально-колониями, как в Австралии, на Аляске, на Дальнем Востоке (когда там ещё имелось право на отдельную жизнь). Отъединение от внешних завоеваний способствует удержанию демократических порядков, жидкостных, органических структур. А внешние информационные веяния только способствуют их сохранению. Вот если внешние воздействия осуществляются внешней силой, энергией высокой температуры

– никакой органичности при этом не удержаться. Так было в Азии, так на моей многострадаальной Украине.

Перед Кентом я прочитал с большим удовольствием "**Дерсу Узала**" **Арсеньева** о нашем дальнем Востоке, Приуссурье. Вспомнились собственные впечатления от уссурийской тайги, наше с Лилей недавнее путешествие в Сибирь, где нам открылось в Сибири сочетание трёх цивилизаций – языческой лесной, степной буддистской и городской атеистической. И Арсеньев на Дальнем Востоке общался с цивилизацией первобытных гольдов, китайских сельских колоний и русских переселенцев. Самым интересным оказался контакт с охотником гольдом Дерсу Узала, с его естественнейшим природным, просто абсолютным коммунизмом, совершенным одухотворением и даже обожествлением всего мира вокруг, с его "вселенской душой", ставшей необычайно высоким и привлекательным образцом для подражания современным людям. Вот только как вернуть себе "вселенскую душу" гольда и древнего грека? Простой и ясной веры в живой и одухотворённый мир и своё бессмертие в нём? Как вернуться к истокам? И когда мы с Лилей поедem на Дальний Восток, по арсеньевским местам, сможем ли не быть слепыми?

Все три книжки рассказывают о путешествиях вдоль берегов Тихого океана – величайшего Средиземноморья планеты, складывающейся великой цивилизации третьего тысячелетия, где Европа лишь праматерь на задворках. Но мысль в поисках идеалов и опыта будет всегда обращаться к праматери, к первоначальному Средиземноморью, на берегах которого складывалась античная цивилизация торговых финикийян, искусных греков, трудовых и воинственных римлян... "**Энеидой**" **Вергилия** в переводе В. Брюсова (М., 1935). я заканчиваю перечень прочитанных в тюрьме книг. Старая и мудрая книга древних путешественников и язычников повествует об испытаниях, которые претерпел праотец римского народа и, можно считать, европейских народов - Эней. Недаром потом у разных народов появились свои переложения "Энеиды".

В молодости я читал украинскую "Энеиду" Правда, её автор Котляревский написал скорее пародию, но зато первоначальный источник – Вергилий был глубоко серьёзен. Его стихи хорошо звучали в камере (я читал вслух), и ворьё понимали латинские интонации. А для меня величие античной философии, науки, истории открытия демократических государственных форм связывалось с живой тогдашней речью и мыслью. В эти минуты в Бутырке воскресали живой Вергилий и даже грек и троянец Эней, хотя его, быть может, не было тогда, зато сейчас он есть.

Как у гольда Дерсу Узала, у греков-римлян тоже была великая и детская душа, удивительно гармоничная миру. Может, потому грекам и удалось сделать так много открытий, как только они получили финикийскую письменность и начатки ближневосточной культуры. Кажется, в античности всё было открыто и начато, так что нам остаётся только вспоминать это общечеловеческое, своё детство и обогащать сегодняшним содержанием. Чтобы быть "как дети", как гольды и греки.

Завтра я выхожу из тюрьмы и сам не знаю, что со мной будет, как отнесутся люди и какой станет новая жизнь. Удастся ли избежать сходящихся крайностей участия в структуре подавления или диссидентского максимализма? Удастся ли найти правильный путь, чтобы хотя бы в конце жизни сказать: да, я правильно тогда сделал? Удастся ли жить свободно и нравственно? Удастся ли увеличить в нашем мире количество знания? Хотя бы у своих знакомых? Хотя бы о том, что происходит в Бутырке и что ждёт человека, который будет бороться за выход из-под давления на органичных, нравственных основах? О прочитанном и понятом в камере - ведь любые знания, идеи, информации требуют материального воплощения, направленных потоков энергии для освоения реального воплощения в мире, в моём неорганическом продолжении...

Нет, я ещё не умер, на земле существует не только моя память в бумагах-слайдах, но я сам ещё выйду из преисподней в своем обычном физическом обликии и сам довершу свой идейный портрет-память, не позволю его исказить ни

диссидентским максимализмом, ни причастностью к структуре давления. Жизнь даётся человеку только раз (как там говорил Николай Островский? - правильно, в общем, говорил), и надо держаться за неё упорно и трудолюбиво, увеличивая в мире количество Добра и Гармонии. Завтра я ухожу отсюда, уплываю с тюремной шконки в такой родной и знакомый, но, наверное, изменившийся для меня свободный мир. Море неизвестного, целый Тихий океан ожидает нас с Лилей в новом плавании. И нельзя не решаться на него, уже сейчас я оттолкнулся от пристани в поисках новой жизни. И ничего, что это была тюремная пристань. Это тоже не новость для Тихого океана, именно каторжники создавали на его берегах новую жизнь: свободную Австралию создали английские заключённые, самым заметным зданием на Огненной земле (по Р.Кенту) была тюрьма, а русские беглые каторжники были предками крепких сибиряков и свободных казаков. Важно только найти щель в замороженной структуре и расшириться из неё на свободу не бесплодным свистящим на мир от ужаса гремучим газом, а крепким и зелёным побегом. Но как, как это сделать?

Страшно и молодо отправляться в неизвестное, ничего толком не понимая, без руля и ветрил...

Так ли я думал в ту ночь или ещё бессвязней, сказать невозможно. Скорее, чувствовал в странной смеси мыслей о выходе, термодинамической философии (она не забывалась все эти месяцы, особенно с момента изъятия на шмоне её листочков) и книжки о Вьетнаме – Тихом океане. И многие дни после выхода я пребывал в таком растрёпанном состоянии. Пожалуй, только сейчас, в этом дневнике, я начинаю заменять чувство мыслью, да и то ещё очень далёк от ясности.

Ещё надо много сделать, долго плыть, чтобы ответить безусловно: да, я хорошо сделал, отправившись в опасное плавание из бутырской весёлой тюрьмы...

В окне засерел рассвет и настало утро.

Окончание Лилиного дневника

4 августа. Сижу за рабочим столом, но работать не хочу. Вчера окончилась Олимпиада. "Мы побеждаем во всех боях, а спортсмены из слаборазвитых стран увозят с собой много медалей, т.к. на Московской олимпиаде был создан для этого благоприятный климат". Тёмка туда не ходил, не фотографировал, а я не хожу по магазинам...

Вчера, в воскресенье, я вытащила всё с кухни, перебив предварительно. Потом ударной работой выкрасила всю кухню и поняла, что могу это делать за сутки, когда становится неспособна от грязи. Грязи было – целый культурный слой. Но цвет стен стал хуже прежнего, потому что краска оказалась грязно-голубой, почти салатной. И окно теперь голубое, потому что белой не хватило, вернее олифы. Потом у меня кончился скипидар. Я протирала всё каким-то разбавителем, рук моих он отмыть не смог. Какова ж была моя радость, когда, идя на работу, в нашем магазине я увидела скипидар (шла ведь с перемазанными до локтей руками). Этим скипидаром я тут же (за кустиком) "помылась".

Результатом моего ударного труда явилась аллергия – надышалась краской, особенно серой эмалью: в горле першит, из носа льёт, лицо припухло и в красных пятнах. Но это пройдёт. Надо попить молока, у меня его вчера не было.

Детки уехали с Тёмой в Шевченково в субботу ночью. Были счастливы. Но как они будут ехать на киевском автобусе в воскресенье?.

6 августа. В понедельник вечером дома ничего не сделала. Начала мыть окно, стукнулась локтем. Когда очнулась, чувствовала себя слабой и тошнило. Я и легла в 9 часов. Поработала только утром с 5.30 до 9.30.

Ездил к тебе на работу получать зарплату. Дали за январь 93 руб. Приказа об увольнении пока нет, но и зарплату, как видишь, тебе после января не начисляют. Рядом с главбухом, которая пожелала на меня посмотреть, сидела женщина, которая тебя знает (возможно, она - ваша расчётчица). Она забеспокоилась, когда не могли найти твой депозит: "Мы подавали на него табель [в таблице зарплата за январь было записано, сколько денег Вите причиталось]", Спросила: "Куда подал мальчик?", и, узнав всё про Тёму, сказала: "Головастый, в отца". Бухгалтер сказала: "Вы б держали его..." Я ответила, что очень держала. Сообщила, что меня обнадёживают, что, может, ты ещё к ним придешь... Чувствовалось явное к тебе расположение.

А в очереди в кассу я стояла среди твоих сотрудников. Римма меня узнала, а я её с трудом. Она похудела, да и давно я её не видела. Всё же сразу заговорила на "ты", вспомнив, что раньше, кажется, мы так разговаривали. Она откровенно призналась, что много раз хотела позвонить, но боялась, и сейчас очень рада встрече. Я легко и свободно с ней болтала. И ещё в коридоре меня встретила твоя сотрудница Майя Павловна (правильно?) и тоже расспрашивала с большой заинтересованностью. Римма на мой вопрос, что говорят о тебе, ответила: "В основном, хорошо, но на собраниях говорят, как положено". Специального собрания не было, зачем же говорить на неспециальных?

Звонила Илона – завтра привезёт очередную кипу детских тряпочек.

Наташа прислала скорбное письмо о Высоцком со стихами их студента. Я ответила сразу и не коротко, т.к. хотелось поскорбеть вместе с ней.

В Латвии попала в автомобильную катастрофу Ира Каплан. Я её не знаю, но встречала её фамилию в списке подписантов, а Ася с ней дружна.

8 августа. В комнате я одна: кто в отпуске, кто в колхозе, а кто просто в бегах. Побегу сейчас и я к Зое [Боярской].

Событий нет, звонков даже нет. Вчера видела В. Говорит, что у него появился собственный серый дядя, который дёргает его за верёвочку, а В. не знает из чего свита эта верёвочка и заметно нервничает. [Кто такой В., я не вспомнила, а смысл сказанного в том, что «серый дядя» не говорит, какие «грехи» за В. знает, за что может «привлечь»]. Рассказал, что у Г. Якунина при обыске взяли копию докладной поверенного по делам религии, в которой тот расписал, кто из священнослужителей "наш", а кого надо срочно менять. За это Якунину грозит страшная кара, тем более что одна из копий ушла на Запад...

12 августа. Два дня я мечтала о том, чтобы приехать к тебе в ссылку. Продумывала варианты: как и что есть, какая работа, какое жильё (от вагончика до хорошей комнаты с отдельным входом и приусадебным участком), как строить взаимоотношения с соседями и сослуживцами, чем заниматься вечерами, как уберечь детей от болезней и дурного влияния, о засолках, о диафильмах. Старшие, конечно, останутся жить одни – как организуется их быт, о встречах и письмах. Я извела себя этими мыслями- мечтами. И как тебя убедить, что я очень хочу с тобой быть и не боюсь начать всё сначала, как добиться разрешения на отъезд к тебе.

Сейчас прочла у Буковского страшную мысль, что если на "химии" человек в чём-то провинится, то его отправляют в лагерь, и весь срок, проведённый на "химии", не считается. Но, наверное, можно и не допускать срывов. Мы будем вести себя очень хорошо. И совсем не страшно, что дети не в Москве начнут учиться. Мы не дадим им залениться. И совсем неплохо, если они хлебнут трудностей.

Вот такая моя мечта – надежда. На работе я мало об этом думаю, но в свободные те два дня извела себя.

Глеб немного огорчился тем, что я писала тебе в последнем письме. Он, конечно, хотел бы твоего освобождения, но ему грустно было слушать о твоём покаянном письме. [Бурцев зачитывал мне, как я теперь понимаю, самый первый вариант Заявления для печати – от 30.06.1980; см. выше) - в нем есть и «буржуазно-коммунистические взгляды», и «отщепенец», а что уж я запомнила и пересказала Глебу, не вспомню, конечно]. Лето получилось у Глеба с ребятами неудачным – ничего не заработали [шабашили на стройках, скорее всего]. Со вчерашнего дня он собирался заняться другой работой.

Сегодня утром получила от Гали письмо, очень ласковое и заботливое, с желанием поехать после лагеря в Волгоград. Днём помчалась за билетами. Удалось даже купить обратный на 30 августа за лишний рубль. Довольная вышла из кассы, как будто сама поеду. Моя надежда поехать во Псков-Пушгоры не осуществилась. Ну и хорошо – Галю зато сама встречу и на фруктовой базе поработаю-поем. А то ведь за всё лето только раз поела яблочек (отец привозил на дачу).

16 августа. Вчера я позвонила Бурцеву, ни на что особенно не рассчитывая. Вдруг на мой обычный вопрос: "Ну, что скажете?" он ответил: "Так, к концу месяца домой придёт". Не могу сейчас припомнить, какие слова в ответ проговорила, потому что я потом так много раз проговаривала этот разговор, искала лучшие слова, что совсем в вариантах запуталась. Потом он сказал, что "конечно, не без этого..." Я в ответ: "Ну да, ладно...", подразумевая, что не без суда. А уже через 15 минут, когда вырвелась, я стала думать, что он имел в виду телевизор. И, по-видимому, твоё интервью для ТВ уже записано, но приурочено к какому-то дню. Бурцев обещал позвонить. Наверное, сообщит, когда на тебя смотреть. Потому что, если бы был суд, то он не мог так смело заявить о финале. Чего они ждут? Не на 21 ли августа наметили? Суд так быстро нельзя провести, ведь ещё не вызывался адвокат. Тёмка, узнав, тут же решил, что телевизор. Тут же нарисовал уже привычную картину: ты, подкормленный и одетый в новый костюм,

который мы потом не увидим никогда, говоришь, как читаешь, что-то для тебя написанное... Он этот вариант даже не переживает. А по мне суд и условное наказание было бы лучше. После телевизора они не оставят тебя в покое. Так что это будет тоже условное наказание – разве что можно в отпуск поехать.

Теперь все мои мысли о том, как придёшь и войдёшь, как я тебе буду рассказывать, как тебя слушать и много-много вокруг этого. Но, Витенька, не думай, что я не смогу пережить и изжить телевизор. Вот Тёмке и изживать не надо. А мне немножко надо. Может, станет меньше друзей. Любящие тебя останутся.

Анютка теперь очень часто спрашивает, когда ты вернёшься. Она уже сообщила Тёме, видимо, подслушала разговор родственников, что надо до Брежнева дойти, чтобы папу освободили. Вернулись они с Украины 13-го утром. Алёшу в первый миг я не узнала – посерел и осунулся. Что-то съел и в последние дни лежал, температурил. Оля просила их оставить – им детки не мешают. А когда Тёмка отказался, то поехала с ними в Киев, чтобы проводить их до родственников, где можно было подождать до поезда с 11-ти до 21 вечера. Алёша и там лежал, а Тёма ходил по Киеву (опять недоволен, что мало) и купил тебе в подарок "слайдоскоп". Первое, что сообщили детки: "Мы привезли папе игрушку".

Оля только на следующий день могла поехать домой, так что два дня у неё ушло на детей. Но, надеюсь, она хоть что-то купила в Киеве. Магазин у них совсем пустой. Кормить детей было, конечно, не просто. Молоко они перестали пить, и Оле пришлось доставать вермишель и макароны. Во время их визита пришла посылка от деда с мандаринами, сухим мясом и печеньем. И всё ушло на прокорм детей. Тёмка, похоже, помогал в хозяйстве. Но просьбу мою посмотреть, что им нужно в хозяйстве, не выполнил. У детей никаких воспоминаний пока не проявилось. Может, прав Тёмка, что зря я устроила эту поездку. Но что поделаешь, не хватает моего ума, нет твоего – ума главы нашего семейства.

М.И. [Мина Исааковна] сказала, что Игорь Губерман в Красноярском крае на культпросветработе, Тата едет к нему. О нём была хорошая передача, повторялась, но мы ведь не слушаем радио. С М.И. мы встретились вчера, чтобы поехать на кладбище к Юлии Самуиловне. Бедная М.И. работает сейчас и за врача, которая в отпуске, и принимает по 50-55 человек.

Сегодня я была на Киевской базе, на помидорах. Наелась их. Ещё мы ели перец, яблоки, утащили пакет с вишнёвым (олимпийским) соком. А поработали всего до 12-ти. Хотим ходить только сюда, т.к. обращение приятнейшее, к тому же рано отпускают плюс отгулы (смогу пойти на твой суд).

18 августа. Вчера приехала Галя и уехал Тёма. Галя выскочила стройная и милая и всё рассказывала, рассказывала. Были очень хорошие ребята-москвичи (не то, что в классе), и расставаться ей было жаль. Но в лагерь она больше не поедет – выросла. И ни разу не спросила про тебя. Бережётся?

Тёма уехал в Углич, откуда они впятером пойдут 100 км по тайге, чтобы выйти в Ярославле. Час добрый!

21 августа. Получила зарплату и премию, сниженную за "низкое качество НИР". Днём побегала по магазинам в поисках куртки Тёмке и подарка Т.П. В обед позвонила адвокат и просила после работы приехать. Я-то подумала, что она начинает работать, а значит всё-таки суд, т.е. ни домой не отпускают, ни через телевизор не пропускают. Последнее, правда, хорошо. Еле дождалась 5-ти часов, и к тому времени у меня опять начало болеть сердце. Пришлось сосать валидол.

Оказалось, всё не так. Она уезжает в отпуск и просит расторгнуть договор, что я и сделала с огорчением. Дала телефон, и сегодня я уже договорилась с её другом. Он переговорит с Бурцевым, а потом снова со мной. От Сильвы

Абрамовны узнала, что они должны уложиться до 4 сентября (9 Валериних месяцев), т.к., похоже, им дальше не продлят срок следствия. А бурцевскому "придёт домой" она не удивилась, истолковав, что не успевают и потому отпустят до суда. Почему тогда Бурцев говорил о конце месяца, а не о 4-ом сентябре? Ещё 11 дней до 4 сентября, а ведь в последний день могут и продлить.

22 августа. Вчера весь день проработала, даже не поехала в консультацию получить 20 рублей назад. Вечером отправилась к Померанцам. Застала Зин. Алекс. с подругой. Гр. Сол. был в больнице – его покусала собака. Вернулись они (с женой отца Зин. Ал.) в 9.15. Начали пить чай, вспоминать. Меня не отпустили одну (Гр. Сол. не мог меня проводить), так что приехала я домой утром.

О чем говорили? Я сказала им об отказе адвоката и о её заключении, что не успевают. Конечно, не следовало бы говорить, чтоб не сглазить. Досадовала на себя. У Зин. Ал. я расспрашивала, как она относится к С.А. и Л.Н. Толстым, т.к. Я.И. ответил на мою рецензию - от меня требовались новые аргументы. Ещё говорили на высокие темы. Зин. Ал. верит в преображение. Не насыщение потребностей, а преображение. Это мне понятно, т.к. наши потребности в основном духовные, наряды и еда не особенно отвлекают. А может, надо сперва насытить человека, а потом начнут преображаться потребности? А может, так всегда и будет: кому-то духовные потребности важны, кому-то – другие? Скорее всего, последнее правильно, по крайней мере, в обозримом будущем. Я так примерно и сказала. Так сейчас, но человечество взрослеет и, если оно не станет мудрым, то плохо кончит.

Обскурантами считать Толстого, Достоевского и Гоголя (как Я.И.) оба отказались. У всех были обскурантистские мысли, но в своём творчестве они больше этих мыслей.

Конечно, обсуждали польскую забастовку. Стали глушить после того, как "враги" передали их требования; ведь кроме экономических требований, польские рабочие, "подучаемые диссидентами", выдвинули политические: отмену цензуры, освобождение всех политзаключённых, час по телевидению для церковных передач и что-то ещё, чуть ли не свободу частному сектору и его расширению. Герек обещает всё выполнить, но они почему-то продолжают бастовать. Было ещё требование свободного въезда-выезда для немцев (наверное, в Гданьске, потому что в "Правде" появилось сообщение о возобновлении претензий Западной Германии на эту бастующую землю). В польском правительстве перемещения, по заявлению Герека введены "крикуны", т.е. те, кто предупреждал, что добром это всё равно не кончится. Наше злое молчание не будет слишком долгим. И это может плохо сказаться на твоей судьбе. Наверное, Бурцев и не виноват, что не может тебя отпустить до суда.

28 августа. Сегодня он на мой вопрос: "А как с обещанием, что к концу месяца домой придёт?" ответил: "Месяц ещё не кончился". Но понадобившуюся справку на тебя из домовой книги забрала его сотрудница, а мне так хотелось заглянуть ему в глаза, чтоб прочесть там для себя-тебя надежду на выход или получить хоть какие пояснения. Завтра буду опять звонить, ведь завтра последний рабочий день месяца. Нечего его жалеть. Зачем обещал?

Паспортистке пришлось объяснять, что выписка нужна в прокуратуру, а сидишь за письмо Брежневу. "У меня вот сын в армии. Ну и что? Значит, так нужно. Наверху виднее. Мы не можем оголять границы".

Да, народ твёрдо знает, что вводить войска в Афганистан было нужно. Ирочка, моя соседка и Наташа тоже считают, что было надо. Тоже народ.

У Бурцева с Глебом была беседа. Начал с вопроса, не изменил ли Глеб своё решение не давать показания на редакторов "Поисков". Понятно, что не изменил. Подтверждает

ли, что было решение редакторов не давать друг на друга показаний. - "Не знаю таких решений". - "Но Сокирко сказал о нём". - "Не намерен подтверждать или опровергать показаний человека, который сидит за решёткой". – "Кто из вас главней: Вы или Абрамкин?" – "Я согласен принять на себя главенство, если..." – "Нет, это никому из них уже не поможет. Особенно Абрамкину. Он никогда уже не вернётся. В лагере получит второй срок, если будет себя и дальше так вести. Сокирко и Гримм дают показания... С Вами же начнём работать после суда. Суд даст на это указание".

Глеб говорит, что намерен на полгода сбежать [например, в далёкий город] а перед этим думает позвонить своим "приятелям" в КГБ, чтобы понять, чего ему ждать. Между прочим, Бурцев сказал, что в КГБ есть люди, резко [негативно] к Глебу относящиеся (как-то он это по-иному сказал), но они должны действовать в рамках закона.

Вышел № 9 "Поисков". Он называется теперь "Поиски и размышления". Редакторы ссылаются на ваш опыт и отказались себя называть.⁹⁴

Журнала Глеб ещё не видел. А ЗЭС № 9 всё же не вышел. У редактора этого выпуска [С. Белановского] какое-то удивительно не наше чувство времени. Я имею в виду не историческое, а деловое, обычное время. Такой феномен! Какие ещё были события за неделю? В субботу я ходила на занятия в Рублёвский музей. Меня поразило, как теперь толково говорили люди. Больше двух часов просидели у иконы трёх пророков – Осии, Азиса и Софронии, чесали вдоль и поперёк и в

⁹⁴ А. А.: «Что Вам известно о об этом самидатском журнале?». Л. Т.: «Практически ничего. Его издатели хорошо законспирировались. Нашла упоминание этого журнала на сайте Международного Мемориала: «**«Поиски и размышления»**, публицистический журнал, 8 номеров которого вышли в «самиздате» в 1980–1981. Анонимная редакция нового журнала считала его преемником «Поисков», нумеруя выпуски двойной нумерацией с 1(9) до 8 (16)».

литературном, и в историческом, и в художественном планах. Я когда и могла, не решалась вставить словцо, т.к. чувствовала себя совсем отставшей за пропущенные 6 занятий. Но зато прямо в понедельник помчалась в Ленинку, чтобы читать к следующему занятию "Протоевангелие от Иакова". В нём описание жизни Марии. Я не все слова разобрала, смысл не всех предложений поняла, но некоторые сведения - удивительные...

Всё, в ночь на субботу приехали детки. Лето почти кончилось. Кончится совсем, когда приедет Галя. Детки уставшие, тихие, улыбающиеся, славные. Мне радостно их видеть, купать, трогать, слушать. Аня полна желания учиться читать. А я, стыдясь, думаю, что в субботу их придётся надолго оставить одних, чтобы пойти в Рублевский музей (у Тёмы в то утро посвящение в студенты).

29 августа. Сегодня я узнала два горестных счёта: Якунин – 5+5, Таня [Великанова]– 4+5, у обоих ст. 70.⁹⁵

Последнего слова Таня не говорила, только сказала: "Фарс кончился, ну и ладно". На следствии так и не разговаривала, ст. 201 не подписала.⁹⁶ В свидетелях были, в основном, заключённые, которые показывали, какая хорошая в лагерях жизнь. Ася [Великанова] сказала, что какое-то нехорошее показание дал Саша Солдатенков. Но про саму Асю ничего не

⁹⁵ Т. Великанова была осуждена на 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима плюс 5 лет ссылки; Г. Якунин – к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима плюс 5 лет ссылки.

⁹⁶ А. А. «201-я, что это за статья?». Л. Т.: «Статья 201 УПК РСФСР содержала требование представить последственному все материалы следственного дела на ознакомление, статья 203 велела следователю написать протокол, где указать, что с материалами подследственный ознакомлен и замечаний не имеет (или имеет такие-то). Принято, что подследственный под протоколом что-то пишет или просто расписывается, что ознакомлен с материалами (поэтому правильно было бы сказать, что «не подписала протокол», но упрощают...) С этим протоколом поверх всех материалов дела, оно (дело) поступает к прокурору (на следующий этаж) и потом в суд».

сказал... [а мог бы, раз решил давать показания] .Таня отводила адвоката ⁹⁷ , которая защищала её как могла (как женщину и мать), и просила 2 года ссылки (минимальную кару по этой статье). Ася считает, что адвокат показала себя юридически неграмотной. На суде были сёстры и дети, остальные на улице. Суд был в нашем районе, но меня там не было, потому что узнала только сегодня, в 2 часа... [Когда писала, не знала, что подходы к суду были перекрыты]

А о суде над Якуниным знаю только, что он тоже длился три дня... Ещё не знаю, как кончился суд в Калининне над И. Дядькиным, который провел социально-демографический расчет естественной и искусственной убыли населения СССР и опубликовал свои данные на Западе. ⁹⁸

31 августа. Ещё одну книгу проглотила "Сказку о тройке" Стругацких – продолжение "Понедельника..." Сейчас напишу о ней, а потом начну стирку. Детки стоят в очереди за арбузами

... Ну, ладно. Дети вернулись без арбузов. Не хватило терпения выстоять очередь, зато просить не будут. Очереди жуткие в эту осень за овощами и фруктами.

Вчера я хорошо поработала на семинаре в музее. Говорила не самое умное, но сердечное, чем расположила к себе Сергеева. Рассказывая, он потом обращался ко мне. Теперь мне нужно не разочаровать его в себе, т.е. не мудрствовать, а говорить только то, что чувствую.

Сегодня ночью ты мне снился. Наверное, потому, что я вчера всё рассказала С. [Сулимовым] и П. [Полищукам]: и про

⁹⁷ А. А.: «Что значит «отводила»? Уже в процессе суда? Ведь адвокат в нем участвовала, судя по сказанному дальше». Л. Т.: «Таня сказала: «Адвокат нужен вам, а не мне, и мне не нужен второй обвинитель». Адвокат по ст.70 был обязателен, а как свою защитницу Таня этого адвоката не воспринимала.

⁹⁸ Суд над И.Дядькиным (его основная специальность - геофизик) пройдёт позже, в сентябре 1980 г. Получит он три года колонии по «нашей» статье 190-1.:

обещание Бурцева, и про твоё письмо для печати, и о конце следствия, и про своё письмо тебе. Был день рождения у детей С. [Сулимовых], но пили мы, в основном, за твоё возвращение. Все они тебя очень любят, особенно женщины.

Вчера Володя крестил Олю и крестился сам. Испытал приобщение.

1 сентября. Вчера ночью в последний момент перед нашим с Леной выходом детки завопили так, что пришлось их брать встречать Галю. Поезд опоздал на 1 час 10 мин. В зале ожидания, где нам нечаянно удалось ухватить два места, Алёша начал спать. Но зато, когда мы, большие, были заняты больше тем, как ухватить сумки и запихнуть мешок с яблоками в рюкзак, детки устроили Гале салют из своих радостных "Галя!", "Галичка!"

Сейчас я дома одна. Первым ушёл Тёма. Он намерен до первой лекции зайти в школу – такая традиция. У него ещё нет цветов. Потом Галя. Хотя плохонький, но букет у неё был. После 8-ми выскочили и мы. Детки взяли с собой "гостинцы" – бабушкины пряники и сливы. Цветов у них уже не было, дома осталось только три гладиолуса для учительницы музыки.

Сейчас пойду звонить Бурцеву – в пятницу не застала. Но, наверное, его не будет – он закрывает дело Валеры, а возможно, вас троих. Я беспокоюсь, что ты, зная про адвоката – женщину, не примешь мужчину. Бурцев говорил, что не нужна моя бумага, подтверждающая, что адвокат мой. Это значит, что и адвокат не нужен? – Скорее всего. Сегодня вечером, если Бурцев вернётся на работу, я узнаю результаты окончательных переговоров. Но то, что ты завтра не придёшь, это ясно. Завтра он только звонить мне собирался (это я сама предложила свой звонок сегодня). В общем, не позже как завтра утром, будет всё ясно. Доживём до вторника.

Сегодня день подписки, но я не стою на почте в очереди, попробую опять к кому-нибудь вступить в компанию на "Литературку". А твою "Правду" и так...

Сегодня я использую один из двух отгулов, а то придёт начальник 4-го, мне и одного не дадут. Но всё же один я берегу на день твоего суда.

С работы взяла с собой отчёт и одну заявку. Ещё надо погладить бельё, кое-что зашить-дошить, детей встретить вкусным ужином. И дописать тебе нужно.

Мама прислала с Галей очень много яблок, помидоров, слив, пирогов, пряников. И не взяла мои деньги. Валя прислала арбуз. Галя в основном сидела дома, а один раз даже на маминой работе. В поезде ехала с девочкой, которая имеет занятий больше, чем она, и везде в лучших. Больше ничего не успела рассказать.

Вчера я сказала деткам, что обиделась на них – так орали-просились, а на улице ушли вперёд. Лена их пожурела: "Вот маму огорчили", на что Аня легко ответила: "Ничего. У неё память хорошая (способная забыть нехорошее)".

Разговор с Алёшей на обратном пути. Я: "Ну вот, мы почти все собрались. Папы только нет". - "Он, наверное, вернётся, когда будет снег". "Соскучился?" - "Да" – "Ты теперь не думаешь, что папа наш самый лучший?" – "Не думаю. Но это всё-таки не наверняка(?), потому что каждый думает, что его папа самый лучший".

А сегодня утром с достоинством: "Я толковый". Попытались вчера учиться читать. Удивительно, но Алёша быстрее и точнее складывает буквы в слога, Анюта же вся извивается от напряжения. Помнишь, как я тогда на диване, когда мне нужно было обдумывать теорию диссертации.

Не написала ещё о книге Буковского. Впечатление сильное: от искренности, глубины чувств, верности себе. Ты понимаешь, я не могу назвать его экстремистом – изжил он экстремизм в юности. Просто у него очень активное отношение к жизни. Хорошо относится ко всем категориям з/к, с терпимостью и, больше того, с врождённым демократизмом. Резок бывает, когда неумолимо. Он вполне одобряет НЭП, в отличие от многих диссидентов. Ну и, конечно, естественно, что наша среда его из себя выплюнула, не смогла проглотить, не жевался. Я совсем не

хочу тебе такого пути, у тебя другой. Дай Бог, тебе его выдержать до конца!...

3 сентября. Вечером в понедельник Тёмка вернулся поздно и принёс "утку" (это стало ясно только через несколько часов, я успела напечалиться, а хуже всего, пересказала её нескольким людям). Ему сказала Таня П. [Пронина], а ей её мама, а той М.Л. [Михаил Леонидович - дядя], что тебе отмеряны три года ссылки за неправильные философские воззрения. Теперь я знаю, что это результат разговора М.Л. и Вити [Пронина-сына]. Просто предположение Вити стало при пересказе уверенностью, а Тёме сказали, как вчерашнее сообщение "врагов". Он даже сел слушать радио, но глушат безбожно, видно, из-за поляков.

Вчера я не дозвонилась Бурцеву. Его девица в 10 час. сказала, что он будет после 12-ти, а в 12, что он уже ушёл, при этом искал меня. Ну что на это скажешь? Бурцев появился только сегодня и сказал своё "так". А потом спросил: "Ждёте?" – "Жду". – "Ну, подождите до завтра. Завтра всё должно определиться. Последний день". Голос совсем человеческий. Не от него зависит окончание, и нет у меня к нему неприязни.

Но день вчера был тяжким. Как мне не хотелось говорить, смеяться, садиться за общий стол обедать (последнего избежала, уйдя на встречу с С., чтобы отдать книжку). Почему так угнетающе подействовала цифра 3? Наверное, потому, что я жду 3 года ссылки от суда, а это значит с пересчётом твоих тюремных всего год ссылки останется. Но как я смею на это надеяться?

Оля О. [Оболонская] рассказала, что купила польскую комсомольскую газету, на первой странице которой написано крупными буквами: "Чего хотят рабочие", а дальше интервью и их требования. Оля говорит, что всё время представляет, как бы ты радовался каждому пункту, но, прочитав, я подумала, что не каждому, точнее, каждому по-разному. Но в целом, ты, наверное, уже знаешь и радуешься.

Вечером в понедельник я узнала, что адвокат задержался в Черновцах (там заболел судья) и будет в среду или в четверг.

Вчера Глеб рассказал, что он напросился на разговор в КГБ. Они не удивились, только спросили: "За визой?" А он, наоборот, хочет выяснить своё положение.

(4 сентября Витя был освобождён на подписку о невыезде, а 13 сентября комитетская «Волга» отвезла нас в подмосковный пансионат).